

179875

ОКЛЯБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
Ж У Р Н А Л

1944₂

5-6

ОГИЗ

ГОСЛИТИЗДАТ

ПАВЕЛ ШУБИН

Благодарность вождя

Он каждого из нас благодарит
За то,

Что там мы

Не заledenели.

Где гаснет солнце в ледяной метели,
И не сторели там, где снег горит.

Он каждого из нас благодарит
За то, что сквозь атаки штыковые
Мы по телам врагов прошли — живые
Косым свинцом оплаканы навзрыд.

За то, что завтра солнце озарит
Великий день победы, а не тризны.
За мужество — от имени отчизны —
Он каждого из нас благодарит.

В сердцах своих, забывших про покой,
Мы пронесем — сильнее час от часа —
Сухой огонь короткого приказа,
Подписанного сталинской рукой.

Карелия

Ни луга, ни синего вира —
Поземка сечет валуны,
Здесь хватит снегов на полмира,
На сотню пустынь — тишины.

Но с нами в морозных окопах
Живут в первозданной красе
Дубы на заоблачных тропах,
Степные ромашки в росе.

И Волга черемухой машет,
И жпмолость плещет в Орле:

Огромная родина наша —
На снежной карельской земле.

От Святи до моря Баренца
Изгибы траншей ледяных —
От сердца солдатского к сердцу —
Согреты биением их.

Германских и финских дивизий,
Здесь гибель и ночью и днем,
Должны и въюжные выси
Прикрыты гремучим огнем.

И нет ничего нам роднее,
Чем снежная эта земля,
И в сполохах небо над нею,
И реки ясней хрустала.

Нам в жизни еще доведется
Поя вишнями спать у плетней,
В ковыльной степи из колодца
Поить полудичих коней.

Но всем, побывавшим на Лице,
На Каменной лысой горе,
Когда-нибудь Север приснится,
Леса в ледяном серебре,

И свист настигающей стали,
И лыжни стоверстная нить,
Суровые, дальние дали,
Которых нельзя позабыть!

На Вермане

Здесь солнце с холодом бок о бок;
Еще капель звенит с сосны,
А уж в низины с лысых сопок
Туманные сползают сны.

Клубится снег над головою,
Как вытряхнутый из мешка,
И ветер ноет в черной хвое,
Как в частых зубьях гребешка.

Ползи, ругаясь, вверх по склону,
Туда, где снег сошел на-нет,

И в звездном небе бродит сонно
Мерпающий зеленый свет.

Он вдруг сверкнет каленой сталью
И скроется за облака,
И развернет над смутной далью
Седые дымные шелка,

Сквозь них — валы аквамарина,
Светящиеся изнутри...
Ты узкой лыжни белофинна
За той игрой не просмотри!

У самого моря

Здесь облака до пояса
Недостают сосне,
Здесь льды — и те до полюса,
В тысячелетнем сне;

И даль — не даль, а псевдаль, —
Над нею день иссяк,
И полночь тянет неводом
Колючих звезд косяк.

Какой из них отмечена
Судьба моя была? —
Темным-темна неметчина,
Земля белым-бела:

Лиловая и снежная,
Приснившаяся вновь,
Суровая и нежная,
Как первая любовь...

Не попросту соседствовать
В окопе потесней —
Мне с нею вместе бедствовать
И радоваться — с ней;

Ее путем задеоренным
Ходить — не пропадать,
К ее ключам серебряным
Губами припадать...

И в дрожи боя близкого
Грозна она, светла,
Как сталь артиллерийского
Могучего ствола;

И только трепет зуммера.
И молнии стеной —
В наплыв германских сумерок,
В глухой позор земной,

Без отдыха, без промаха,
Чтобы навек была,
Как вешняя черемуха,
Она белым-бела,

Рассветная, предзорная,
В резьбе сосновых крок,
Зеленая, озерная,
Цохожая на сон.

Верность

Был зелен лес,
И ясный день—безмерен,
И тихо плыли облака в реке,
Когда он встал, своей присяге верен,
С тяжелой гранатой в руке.

Пред ним гора горячего металла
Воздвиглась, лес перемешав с травой,
И он заметил злобно и устало
Прищур холодный шели смотровой.

И черный крест над пушкой тупорылой
Как будто реял в воздухе пустом,
Чтоб над его окошечком-могилой
Означиться кладбищенским крестом.

Но он стоял, упрямо сдвинув брови,
Не чувствуя ни страха, ни тоски,
И лишь толчки тяжелой, жаркой крови
Далеким звоном полнили виски.

И где-то смутно-смутно, на мгновение,
Мелькнул далекий волжский горолок,
Окошки в сад, закрытые сиренью...
...и он всем телом ринулся в бросок,

И, падая средь пламени и гула,
И чувствуя, как душит дурнота,
Успел увидеть, как в дыму мелькнула
Броня с куском разбитого креста...

Прошли недели.
И дожди прошли.
И камыши пожухли на затоне,
И первые морозы обожгли
Кленовых листьев алые ладони.

Он просыпался. Он не замечал
Сестры, врача, йодоформа запах...
На грудь ему взбирался, грохоча,
Крестовый зверь на гусеничных лапах.

И он в десятый, в сотый раз вставал
Во тьме, в бреду, своей присяге верен;
Был сух в гранате яростный запал,
И летний день все так же был безмерен;

Река текла,
Прозрачная до дна...

...И набухла наволочка кровью.
Он слушал сон палаты. А война
Еще гремела тут, у изголовья.

Полмига

Нет,
Не до семян,
Не до славы
Я век свой хотел бы продлить,
Мне б только до той вон канавы
Полмига, полшага прожить;

Прижаться к земле,
И в лазури
Июльского ясного дня
Увидеть оскал амбразуры
И острые вспышки огня.

Мне б только
Вот эту гранату
Злорадно поставив на взвод,
Всадить ее,
Врезать, как надо,
В четырежды проклятый взвод.

Чтоб стало в нем пусто и тихо,
Чтоб пылью осел он в траву!
...Прожить бы мне эти полмига,
А там я сто лет проживу!

Дорогами победы

ОДЕССА. КРЫМ. СЕВАСТОПОЛЬ

1. ПОД КРЫЛОМ САМОЛЕТА

Мы летели в Одессу.

Самолет идет над огромными просторами освобожденной нашей земли. Чем дальше от Москвы, тем меньше снега, и за Орлом тонкая его пелена уже не может скрыть следов войны, истерзавшей за эти два года русскую землю. Вся она в круглых желтых язвах орудийных окопов, в глубоких, извилистых разрезах траншей, в толстых шрамах противотанковых рвов, в густой сыпи воронок от мин, бомб, снарядов. Под крылом проходят города с зияющими пустырями разрушенных кварталов, с обугленными коробками домов без крыш. Чернеют сожженные деревни. Страшным видением, от которого сжимается сердце, проходят справа развалины Днепрогэса... Горько и больно видеть лицо родной земли, изуродованное войной.

Сколько человеческого труда, таланта и надежд было вложено в эти заводы, села и города, сколько светлой мечты о свободной и привольной жизни! — и всё это разрушено, разломано, сожжено. И сколько человеческого страдания, которого не увидишь глазом, осело на этой земле, где прошел немец — палач, убийца и разрушитель, уничтожитель всякой жизни и свободы...

Мысль отказывается найти меру возмездия.

Если кто устал в лишениях военного времени, если кого тяготит трудная жизнь третьего года войны, — я хотел бы, чтобы он вот так, с самолета, где быстрый полет сжимает пространства и откуда глаз охватывает всё разом, увидел бы эти огромные просторы разоренной земли, залитой человеческой скорбью, увидел бы эти города — и следы городов, деревни — и золу деревень. Я хотел бы, чтобы он угадал в этих развалинах бледные призраки умерщвленных немцами наших людей, подумал бы о пропавших и разлученных семьях, о детях, бесследно исчезнувших на дорогах войны, о нашей молодежи, уведенной отсюда в рабство. Все трудное покажется ему тогда

легким и выполнимым. Огромная несправедливость врагу, причине этого зла и беды, придаст ему сил. Все можно сделать, увидев это.

Говорят, мы, русские, отходчивы и добросердечны, мы легко забываем причиненное нам зло. Этого зла забыть нельзя. О нем надо помнить всегда и везде: в окопе и в атаке, на заводе и в поле, в школе и в семье, на работе и во сне. О нем надо будет помнить и в день окончательной нашей победы. Нашего счета фашистской Германии не смогут оплатить до конца ни она сама, ни связавшиеся с нею государства, ибо чем можно оплатить драгоценные жизни людей наших? Но пусть немцы и те, кто разрушал вместе с ними, годы и годы неправляют все беды, причиненные ими нашим городам, нашей земле. Это они смогут сделать — и это они обязаны сделать!

Чем дале к югу, тем прозрачней и ярче синева неба. Дружная весна подняла всходы. Зеленными коврами лежат внизу поля, влажной, прелой чернью темнеют массивы поднятой язби. Ползут по узким полевым дорогам тракторы, и кто-то машет платком пролетающему самолету... Жизнь, неистребимая, неуничтожаемая, кипит на полях и преобразует землю. И удивляешься, какая огромная сила живет в нашем народе! В пламени войны, рядом со сгоревшей хатой, в лишениях и в горе, едва вернувшись на родные места, он уже трудится в поле, возвращая хлеб для нашей страны, для ее армий.

Нельзя победить страну, в которой труд идет по пятам боя вплотную, как вплотную за огненным валом артиллерии идет в атаку солдат. Нельзя сломить страну, в которой сила народа, как живая вода в сказке, одним касанием возвращает жизнь убитой врагом земле. Такой народ и такая страна — непобедимы.

Невыразимо, — слепительно, торжественно и спокойно, — сверкнуло в глаза широкое Черное море. Мы легим вдоль берега на Очаков, и совсем другая земля проплывает внизу. Не видно мягкой черноты вспашки; узкими, редкими полосками идут бедные посевы; пусты и

заброшены поля. Здесь недавно были немцы. Лишь глубокие царапины траншей бегут вдоль крутого берега моря. Так и кажется: стоял здесь немец, стоял, втиснув в нашу землю шпы подкованных своих сапог, пока не ударили его сокрушительным ударом под подбородок, — и тогда он упал, поскользнувшись и испаравая землю обеими подошвами.

И вот мы подлетаем к Одессе.

Узкими, длинными озерами блестят внизу лиманы Куяльницкий, Андреевский, Хаджибейский, проходят Лузановка, Григорьевка, Крыжановка, видна Пересыпь...

Как странно видеть линию нашей обороны с самолета. Тогда, в осаде, нам казалось, что она страшно далека от города — целых двенадцать километров! Мы гордились этим и радовались этому. Теперь, с самолета, видно, что кольцо обороны было угрожающе близко, вплотную к городу. И уже не понимаешь, как смогли защитники Одессы держаться за ней более двух месяцев.

Оборона была создана за несколько дней, в боях, под снарядами, минами и бомбами врага. На фронт вышли части Приморской армии, Чапаевская дивизия под командованием генерал-майора И. Е. Петрова и моряки одесской базы. Здесь не за что было зацепиться — ровная, как блюдо, степь, в которой разбросаны редкие пригорочки да торчат посадки из акаций и кустов. В степи, без укрытий, в наснях вырытых окопах, защитники Одессы остановили врага.

Город, стиснутый в кольцо, шрикатый к морю, сказал:

— Нет. Так легко вы здесь не пройдете!

И на долгие шестьдесят девять дней задержались у Одессы дивизии врага, кидаешь в атаки по семь—восемь раз в день. Круглые сутки висели его самолеты над городом и рейвом, бомбя дома и корабли. Батареи Дальника, Дофиновки и Григорьевки обстреливали город и порт. Враг старался порвать тонкую ниточку морской коммуникации, единственную связь с Большой землей — с Севастополем. Части Красной Армии, полки морской пехоты, морские береговые батареи, повернутые в тыл — на сушу, авиация, базировавшаяся на засылаемых снарядами аэродромах, корабли, отбивавшиеся от воздушных атак, и горожане, беззащитные от бомб и снарядов, держали Одессу.

Город сидел без пресной воды: городская станция водопровода в Беляевке была в руках врага. В газете появилось постановление горсовета о нормах отпуска питьевой воды и о рытье колодцев во дворах и на улицах. Это напоминало средние века: крепость в осаде, вода на исходе.

Одесса вовсе не была крепостью. Это был мирный, веселый и друлюбивый город, никогда не шмыглявший об осаде. Но в великой отечественной войне оказалось, что Одесса и в самом деле была крепостью: крепостью негибаемого советского духа.

Городу было трудно. Фронт проходил по предместьям — почти до самых окопов ездили на трамвае. Аэродромы немцев придвинулись к городу. Противовоздушная оборона не успевала предупреждать жителей, и часто свист бомбы раздавался ранее воя сирены. Неистребимый юмор одесситов изобрел особое наименование такой воздушной тревоги: «УБ» — «уже бомбили».

Дома, построенные из пористого известняка, разваливались от бомбы до самой панели, и жители нашли надежные убежища в Аркадии, в каменоломнях. Туза под вечер таборами тянулись семьи, чтобы утром вернуться на работу. Воздушные палачи сбросили пятисотку на трамвайное кольцо, в огромную толпу женщин и детей... Те, кому пришлось видеть страшную эту площадь в тот вечер, навсегда запомнили ее.

Ненависть кипела в Одессе, в окопах, на батареях, на кораблях. Ненависть жила в сердцах красноармейцев, моряков и горожан. Ненависть к врагу помогала держаться и совершать подвиги, на которые уже не обращали внимания: подвиги стали нормой поведения защитников Одессы.

Подростки-колхозники и девушки провожали разведчиков по тылам врага, по родным местам. Юноши взялись за винтовки. Научные работники стреляли из орудий. Лейтенант Длюнский Бойко, командир батареи, преподаватель марксизма-ленинизма в Индустриальном институте Одессы, 17 сентября в течение девяти часов прямой наводкой на триста метров отбивался у Лилянтала от окружавших его румын. Вся его батарея была из одесситов: инженер-пишевик, инженер-электрик, токарь, электросварщик... Старики в разрушенных бомбежкой цехах делали свои — одесские — минометы, мины, починали трофейное оружие, в изобилии доставляемое с переднего края после отбитых румынских атак. Здесь делали «гвоздемты» — страшный, но страшный на близком расстоянии прибор: водопроводная труба, начиненная гвоздями, шурупами, обломками металла. Здесь ковали «одесские кипжалы», особенно полюбившиеся разведчикам, здесь сочинили особую модель танка «НИ» («на псуг») — трактор, обшитый броней и снабженный пулеметом и пушкой, конструкция морского инженера капитана Когана (семь таких «НИ», однако, с успехом опрокинули румынскую атаку у Дальника). Женщины ходили под снарядами по огородам у перед-

того края, заготавливая бураки и картошку в рывну...

Одесса дралась чем могла и как могла. И каждое утро врага встречало упрямое и гордое слово: «нет!»

Основой обороны города были морские береговые батареи капитана Дененбурга. Орудия пришлось повернуть с моря на сушу. Всю осаду они били по дорогам, по резервам, по накапливающимся перед атакой румынам. Корректировщики-моряки вылезли на передний край и, сидя под самым носом у румын, ловили малейшее их передвижение. Точность флотского «огонька» полюбилась армейским командирам, и, как правило, огонь морских батарей вызывался не раньше того, как цепи румын поднимались уже в атаку. И каждая из батарей — Никитенко, Шкирман, Куколева — мгновенно и точно отвечала на «заказ» армейских командиров, после чего происходил телефонный обмен любезностями: «Спасибо, моряки, в самый раз!..» — «Кушайте на здоровье...»

Батарея старшего лейтенанта Куколева, очутившаяся в прямой видимости румын, была в особенно трудном положении: едва она открывала огонь — противник начинал засыпать ее своими снарядами. Но Куколев тут же жаловался Шкирману, тот «призывал немцев к порядку» своими точными залпами, и куколевцы продолжали огонь, всегда убийственный для врага.

На этой героической батарее, все время жившей под угрозой прямой атаки врага (и однажды отбившей его прямой наводкой), царил тот удивительный жизнерадостный флотский дух, которым отличается в бою моряк, где бы ни привелось ему драться. Для характеристики я привожу, ничего не изменяя, страничку моей записной книжки от 21 сентября, заполненную на командном посту батареи Куколева.

«10.12. Кончился налет на батарею. 6 «Юнкеров», повреждений нет.

10.14. Кок принес завтрак. Куколев: «Что так скоро?» Оказалось, кок переждал налет в кустах у компоста: «Боялся перебежать полянку, больно строчили пулеметами...»

10.22. Звонит Ишков (корректировщик, лейтенант): «В ложбинке (координаты) румын штук полтора». Куколев от колетты: «Мало». Снова звонок: «Двести набралось». — «Мало, обождать».

10.30. Ишков: «Штук триста есть». — «Шевелятся? Нет? Ждать».

10.32. Ишков: «Лезут!» — «Вот это дело другое...» Идет стрельба.

10.36. Куколев телефонисту: «Спросить Ишкова, как румыны себя ведут?» — «Где-гуг». — «Куда? Может, на наших?» Обиженный голос Ишкова: «Куда ж они могут еще бежать? Удирают!.. Ориентир такой-то, отсе-

чем от ложбинки». Батарея стреляет беглым огнем, вахтенный у журнала философски: «Стреляли по живым целям, а теперь писать как?.. По мертвым?..»

10.38. Ишков в восторге: «Сапоги в восторге, а в сапогах поги!.. Огоньку, огоньку!»

10.40. Огневой налет на нас с Александровки. Куколев вызывает Шкирмана, жалуется: «Сосед обижает». Шкирман открыл огонь. Тут же голос Ишкова: «Кончено. Вопросов больше не имею, сотни руманештей тоже». Куколев командует дробь¹. В компост заскочили командиры первого орудия Синицын, Хорошилов, Кисельман — ухитрились втроем вести огонь под снарядами. Куколев: «Почему в укрытие не ушли?» — «Да в нас не падало, товариш старший лейтенант...» А штаны у них — с дырках, и Синицын ранен...»

За все дни, проведенные на батареях, только раз я и видел сумрачные лица. Это было, когда долго не подвозили из Севастополя снаряды и пришлось отказывать армейским командирам в «огоньке». Зато, когда «огурчики», наконец, доставили, батареи тут же закатали «концерт без антрактов».

Когда Одесса была фактически оставлена, когда армия уже шла на транспорте в Крым для боев на Ишуньских позициях и морские полки — Первый и Третий — уже грузились ночью на последние транспорты и когда окопы перед румынами были пустыми, — морские батареи Одессы день и ночь били по всему фронту, создавая у румын впечатление подготавливаемого решительного удара. И, выпустив последние снаряды, батарейцы взорвали на рассвете орудия и ушли на шлюпках последними из Одессы. Свисте суток румыны боялись поднять головы. Только на следующий день они вошли в город. Это румыны называли: «Мы взяли Одессу штурмом...»

Героическая работа летчиков полка майора Шестакова, которые под обстрелом батарей врага подымались с аэродрома, не успевали к переднему краю набрать высоту, летали на машинах, трижды исчерпавших ресурсы, — была второй особенностью Одессы. Летчики делали по пять-шесть вылетов за день. Часть из них вынужденно обучалась, ночным полетам, что сильно сократило ночные визиты немцев. Истребители работали за илтурмовиков. Замечательный по смелости и внезапности налет совершила эскадрилья старшего лейтенанта Елохина — летчики Маланов, Осечкин, Королев, Череватенко, Моисеенко, вместе с командиром полка майором Шестаковым. Бреющим полетом, почти в темноте, на рассвете они вышли на вражеский аэродром, сожгли на земле четырнадцать немецких бомбардировщиков — и два дня Одесса отдыхала от бомб...

¹ Сигнал отбоя, прекращение огня.

В 29 сентября каждый из летчиков этого полка имел не меньше ста боевых вылетов за осаду, а поле уничтожил девятью три немецких самолета...

Здесь, в Одессе, прошли великолепную боевую школу корабли. Крейсера и миноносцы приходили обстреливать берега, тралящики вели упорную опасную работу по расчистке для них фарватеров. Сторожевые катера несли конвойную службу и особенно досаждали врагу в охране Одессы с моря: они изображали собой в море выносные посты ПВО и заодно встречали гостей таким огнем, что часто самолеты, не доезжая груза до Одессы, сбрасывали бомбы на катера. Здесь выработались те моряки-катерники, которые потом увенчали себя славой в феодосийском и керченском десантах, в борьбе за Новороссийск. В Одессе провел начало войны будущий Герой Советского Союза Державин, здесь начинали свой славный боевой путь командиры катеров Тимошенко, Скляр, Михайлов, Щербинин...

И здесь, в Одессе, рождалась в те дни бесмертная слава морской пехоты. «Черная туча», «черные дьяволы» — эти прозвища, данные врагом советским морякам, дравшимся на суше, появились в Одессе. Здесь воскресли традиции гражданской войны, здесь возродилось орлиное племя матросов революции, чьи бушлаты и бескозырки чернели когда-то в телях Донбасса, в лесах Урала и под Царицыном. Здесь, в Одессе, было положено начало сияющим подвигам морских бригад и полков, дравшихся потом под Севастополем и под Новороссийском, на горных перевалах Кавказа и в степях Кубани, на Таманском полуострове и в Керчи. Даже под Москвой, в дни нашего январского наступления 1942 года, я встретил потом многих моряков, защитников Одессы.

Командиром Первого морского полка и его организатором был полковник Яков Иванович Осипов, командир Одесского порта, матрос с «Гангута» и «Рюрика», командир матросского отряда на Волге в гражданской войне. В этом прекрасном коммунисте, отважном воине и тонком психологе сказались лучшие качества моряка. Осипов и его комиссар Митраков сумели создать из сборменного отряда моряков с разных кораблей, из разных частей монолитную грозную силу. Полковник Осипов на своей легендарной машине, на которой он носился по своим «хозяйствам», был вездесущим. Его видели моряки в самые опасные моменты рядом с собой. Шуткой, серьезным разговором, личным примером отваги и военной смекалки он учил моряков биться на суше, и за короткий срок полк Осипова приобрел в Одессе заслуженную славу.

Мы пролетаем над Жеваховой горой. Ру-

мыны стремились взять ее, чтобы стрелять по Одессе прямой наводкой. На этом участке в начале августа их остановил Первый морской полк и до подхода подкреплений фактически один держал две недели весь правый фланг фронта за Пересынью.

Дрогнуло сердце: внизу аккуратным прямым углом видна агротехническая посадка у Ильичевки. Самолет проходит низко, и видно, что акации ее и кустики покрыты густой зеленью. Тогда, в осаде, я не нашел здесь ни одного целого листочка: все они были сбиты, прострелены, сорваны металлическим дождем осколков и пуль. Три недели сидел здесь в окружении третьей батальон осповского полка моряков, отбиваясь от двух пехотных и одного артиллерийского полка румын.

Обрыв берега у Григорьевки... Сюда с кораблей высадился десант моряков для захвата немецких батарей, обстреливающих порт и не дававших нам спокойно выгружать с транспортов войска и боезапас. Операция, внезапная и смелая, началась в ночь на 22 сентября: крейсера высадил десантный Третий морской полк, самолеты сбросили в тыл врага моряков-парашютистов. Первый морской полк ударил из своей знаменитой посадки под Ильичевкой во фланг немецкой батареи. Трехдневный бой моряков отбросил румын на девять километров — дистанция для Одессы огромная! — за Гильдендорф. И по улицам Одессы провозили немецкие орудия, и на стволе каждой пушки было написано: «Она стреляла по Одессе — больше не будет!» и одесситы, как всегда бурные в чувствах, провожали орудия, отбитые моряками, аплодисментами.

Позже я увидел эти орудия у Исторического музея в Севастополе, и это получило в моих глазах особый, важный смысл.

В Севастополе бились Третий морской полк и моряки Первого морского полка. Здесь были артиллеристы с одесских батарей. Сюда пришли с Перекопа и части Красной Армии, державшие Одессу, и сухопутной обороной Севастополя командовал тот же одесский генерал-майор И. Е. Петров, и сторожевые катера одесских дивизионов охраняли Севастополь с моря и конвоировали приходящие в него транспорты с Большой земли. Одесса возродилась в обороне Севастополя, и традиции одного города-героя перешли к другому.

Навсегда запомнился мне тот солнечный октябрьский день 1941 года в осажденной Одессе, когда в новом — зловещем — звучании услышал я родное, с детства любимое слово Севастополь.

Это было в самый тяжелый период начала войны. Немецкие молчища подходили к Москве. На севере они вплотную осадили Ленинград. Здесь, на юге, их армии подкатились к

Мариуполю и Таганрогу, стучались в Перекоп, и угроза Крыму стала реальной. Одесса осталась в глубочайшем тылу врага. Севастополь, который сам готовился к обороне, уже не мог снабжать ее боеприпасами. Родина, напрягавшая все силы на огромном фронте, где на каждом участке шли тяжелые бои, не могла присылать резервов ни в Крым, ни в Севастополь. Каждый воин был на счету, и каждый воин был нужен в Крыму, в Севастополе.

Едва мы отметили двухмесячный юбилей обороны Одессы, как я узнал о том, что наши морские полки, Приморская армия и корабли эвакуируются в Крым для защиты Севастополя. Приказ Верховного Главнокомандования отзывал нас в Крым.

Одесса сделала все, что требовала от нее родина. Шестьдесят девять дней она оттягивала на себя двадцать дивизий врага,— и могла бы держать их и дольше, если бы Крыму не угрожала опасность. Половину румынской армии перемолола в боях Одесса,— и всю бы уничтожила, если б не Крым. По шесть врагов приходилось на каждого из защитников Одессы,— по десять бы приняли, если бы не Севастополь...

Лишь теперь, когда, всматриваясь вперед, уже ясно различаешь в кровавых дымах войны сияющий облик победы и когда, оглядываясь назад, видишь этапы великой войны уже отлитыми в бронзу истории,— лишь теперь понимаешь, чем была Одесса в ходе отечественной войны.

Одесса была первым городом, который сумел не только задержать, но и надолго остановить огромные полчища врага, ослепленного легкими европейскими успехами. Чтобы пройти всю Францию до Парижа, Гитлеру понадобилось тридцать семь дней. И шестьдесят девять дней он топтался у Одессы. Эти цифры многозначительны.

Одесса начала свою героическую оборону в первых числах августа. В конце его начал свою героическую эпопею другой морской город — Ленинград. В октябре началась великая битва за Москву, закончившаяся декабрьским разгромом немцев. В ноябре на их пути встал Севастополь. И, наконец, в ряду городов-героев поднялся над Волгой Сталинград — могила немецких успехов, первый видимый всем луч несомненной нашей победы.

Но зарождение этой победы было здесь, в Одессе. Одесса учила нас, как сдерживать напор врага, чтобы дать стране драгоценные дни и месяцы, нужные для подготовки встречного сокрушительного удара.

На бушлатах моряков, встреченных мной в первые дни освобождения Одессы, я увидел севастопольские медали. На гимнастерках красноармейцев, штурмовавших Севастополь

на самом трудном участке, я видел медали Сталинграда. Это не совпадение. Это логика отечественной войны. Города-герои отдадут друг другу старые долги. Одесса научила Севастополь, как держаться против огромных сил врага. Героический пример Севастополя научил Сталинград стоять до конца. Там, в Сталинграде, оборона наша обернулась наступлением. Города-герои пошли на запад,— и севастопольцы пришли к Одессе, сталинградцы — к Севастополю.

Уходя из Одессы, мы, конечно, не могли еще понимать, что такое Одесса в истории отечественной войны. Но сердцем, любовью к родине, горечью нашей за ее раны и страстной ненавистью к врагу мы угадывали это, и каждый из защитников Одессы, покидая ее, говорил, как клятву:

— Мы вернемся, Одесса... Мы вернемся!

И мы вернулись.

2. В ОДЕССЕ

На промежуточном аэродроме мы справлялись, как садиться в Одессе: это был третий день ее освобождения, а у пемцев есть привычка минировать аэродромы. Летчик, только что прилетевший из Одессы, деловито пояснил:

— Летите на школьный аэродром, там немцы для нас «Т» выложили... Садитесь к нему впритирочку, аккуратно получится.

И вот мы увидели это «Т» — посадочный знак. Он был огромных размеров и, вопреки правилам, черного цвета. Снизившись, мы рассмотрели, что это был «Мессершмитт-323» — громадная транспортная многомоторная машина. Утром 10 апреля она, нагруженная немецкими офицерами, коврами, штабными, швейными машинками и прочим, что считают нужным вывозить немцы, пыталась взлететь. Обгорелые ее обломки лежали на аэродроме, распростерши гигантские крылья в виде буквы «Т». По этому оригинальному посадочному знаку мы и сели в Одессе. Рядом чернели обгорелые самолеты помельче, и на бетонной взлетной дорожке лежали бомбы. Немцы не успели ни взорвать аэродрома, ни взлететь...

Мы пошли в город по Овидиопольскому шоссе, разглядывая сожженные и разбитые машины. Награжденное добро виднелось в них. Лежали брошенные узлы, оказавшиеся пометой немцам, бжившим из Одессы пешком. На Мельничной улице, которая вливается в шоссе, мы увидели около двухсот машин сразу: они были нагромождены друг на друга и все сгорели.

Вечером 9 апреля вся эта масса машин ринулась на шоссе. Получилась пробка, машины задержались. Тогда из домов на перет-

ние машины полетели гранаты, те вспыхнули, и огонь перекинулся на всю колонну. Немцы выскочили из машин. Их встретил винтовочный огонь, уложивший тут до двухсот солдат и офицеров: партизаны, вышедшие из катакомб под городом, провожали из Одессы ненавистных гостей. Одеситы потеряли в этом бою пять человек. Могилы их виднелись рядом в сквере, в цветах и флагах.

Так встретила нас Одесса: следами разгромленного врага и памятниками мужества одесских патриотов.

Мы пошли дальше, в город.

Тени каштанов, начинающих уже одеваться листвою, лежат на мостовых густой чернью, яркое южное солнце слепящим светом заливают широкие и прямые улицы, и встройной перспективе красивых домов виднеется вдали синее просторное море... Одесса встречает нас праздничной толчеей на улицах, красными флагами на домах, сиянием солнца и моря, улыбками встречных, быстрым певучим говором распросов и приветствий и — Одесса без этого не Одесса! — шумными стайками черномазых мальчишек с ваксой, щетками и скамеечкой за спиной. Мы покорно подчиняемся неизбежному ритуалу вхождения на Дерибасовскую — и ставим правую ногу на скамеечку.

И кажется — не было этой тридцатимесячной разлуки с Одессой. Она все та же, — живая, шумная, страстная, какой была она в горячие дни обороны. И под каштанами ее снова проходят ладные фигуры красноармейцев с оружием, и моряки в высоких сапогах, оживляя в памяти первые дни морской пехоты, взбираются на деревья с катушкой связи, и танки грохочут по брусьчатой мостовой, и тот же дух неистребимой энергии, живости, жажды деятельности, присущий Одессе, кипит на улицах. Только удивляет тишина в небе и невозмутимая ясность его синевы: тогда, в осаде, в нем постоянно белели облачка прапирельных разрывов, и вечный гул очередного «Юнкерса» висел над городом, время от времени сменяясь воем бомбы или свистом снаряда с Дюфиновки или из-за Дальника.

Но первый же разговор с крохотным жрецом чистоты, колючим над моим ботинком, сразу напоминает о тридцати месяцах рабства вольного города. Протягивая слачу, мальчишка юднил лицо, и меня поразило полное отсутствие передних зубов. Шепелявя, он объяснял:

— Офицер румынский... Вакса у меня задохла, я плюнул на щетку, а он увидел, да так даст мне сапогом в лицо... Так и выскочили...

В серых его глазах промелькнул мрачный

огонек. Он оглянулся (видимо, по привычке, нет ли кого чужого) и закончил:

— Ну, мы им тоже насолили. Две баночки с ваксой стали носить: одну — для наших другую — для румын. Серной кислотой разбавляли... Ух, и горели у них сапоги... В труху!

Он заеменялся. Выщербленный оскал детского рта остался в моих глазах страшным видением бесправия и рабства. И вся радость свидания с Одессой омрачилась. Я смотрел на улицы — и зияющие провалы разрушенных немецкой бомбежкой домов все время напоминали мне об этом изуродованном детском рте.

Среди знакомых со времени осады разрушений мы увидели и новые.

Почтамт, уцелевший до нашего ухода из Одессы, стоит теперь одной стеной, зияющей гигантскими проломами, сквозь которые видны небо и заваленный рухнувшей крышей великолепный зал. Немцы, уходя, взорвали почтамт тремя столикораграммовыми бомбами. Здание ЦДКА развалено. Вокзал, изумительный одесский вокзал, больше не существует: вместо него за деревьями сквера видна низкая груда камней. В подвалах многих домов и особенно учреждений были заложены мины замедленного действия и мины-сюрпризы: те, которые взрываются через месяц-два при повороте определенного выключателя или при открывании какой-либо двери. Но по всем улицам на воротах мы встречаем успокоительные надписи: «Дом свободен от мин. Старшина такой-то».

Эти разрушения сделаны и подготовлены немцами. 20 марта, не надеясь на стойкость румын, немцы взяли оборону Одессы на себя. Они сменили румынский гарнизон, отослали румынские власти и пытались удержать натиск Красной Армии. Когда дело оказалось проигранным, немцы за пять-шесть дней до подхода наших войск к Одессе начали по плану взрывать город и промышленность. Они уничтожили все заводы, порт и его сооружения, зажгли хлебный элеватор. На улицах через каждые два квартала вы натываетесь на яму в панели: здесь взрывом мины уничтожался колодец телефонного кабеля. Десятки домов стоят на улицах, еще тлея в перекрытиях.

Так мы увидели у набережной красивейшее здание музыкальной школы имени Столярского; развалины его еще дымилась, огоньки перебегали под пеплом обугленных балок, и странно было услышать из глеющих руин звуки рояля. Кто-то весело играл чижика одним пальцем, влохновенно, но нехотати барабана пятерней по басам. Зайдя во двор, мы увидели одесского парнишку за великолепным роялем. Рядом, в нише ворот, стояло еще пят-

надать совершенно целых инструментов. Их вытащили из огня преподаватели школы. И на уцелевшей колонне подъезда уже бежал рукописный листок, объявляющий о наборе слушателей в новом помещении школы.

Одесситы спасали не только инвентарь горящих школ и учреждений. Они отстояли и самые здания. Так было с Одесским оперным театром.

Он был намечен немцами к взрыву и сожжению в последний момент—после трех часов дня 9 апреля. Немцы знали, что одесситы, патриоты своего театра, установили за ним наблюдение. Провести мины в подвалы незаметно было нелегко, а делать это явно немцы не решились: одно дело рвать заводы на окраинах и сооружения порта, куда русским был запрещен допуск, другое — публично расписаться в уничтожении культурных ценностей.

Утром 9 апреля немцы объявили по городу приказ: с трех часов дня все окна квартир закрыть ставнями или шторами, а все двери—иметь открытыми. Появление на улице или у окна после трех часов дня каралось расстрелом.

Одесситы сидели по домам, со страхом ожидали грабежей, убийств, взрывов домов, из которых запрещено выходить.

Мы разговаривали с женщиной, которая ухитрилась все же посмотреть в щелку ставни. Через час после закрытия окон в огромному дому против ее окна, в здании жандармерии около памятника Ришелье, поехала машина, похожая на бензозаправщик. Немецкий солдат полил из шланга бензином стены до третьего этажа, другой скатил бочку. Машина отошла. Солдат дал очередь зажигательных пуль, бочка вспыхнула. Дом мгновенно загорелся, и машина пошла дальше.

Так и зажигали немцы одесские дома, в том числе и гестапо на Новосельской, где нашли потом в подвалах двести сорок обгорелых трупов.

Разрушение города, все население которого было загнано в дома, факельщики и подрывники должны были производить в течение 9 и 10 апреля. Но им помешала Красная Армия.

Уже горел на молу элеватор, раздавались взрывы в порту и в городе, летели стекла в расположенных рядом домах, и люди в них со страхом ждали своей очереди, когда в пятом часу дня 9 апреля над Одессой повисло огромное облако черного дыма. Его видели наши передовые части, ворвавшиеся на окраины Одессы, и те из одесситов, которые рисовали выглядывать со дворов. Это был немецкий сигнал «общий отход»: прорыв наших войск был совершен, и поджигателям оставалось

убегать за спешно отступающими немецкими полками.

Наши войска ворвались в город по пятам врага. Батарея морских артиллеристов майора Солянова, бывшая немцев еще под Новороссийском, успела подвезти орудия в Одессе еще тогда, когда немцы выходили из порта. Прямой наводкой моряки потопили две быстроходных десантных баржи с войсками—первую четырьмя, вторую тремя залпами. Моряки-разведчики, ворвавшись на Пересыпь, еще застали там немцев, готовивших взрыв железнобетонных мостов на дамбе. Два паровоза под парами стояли на мостах, чтобы увеличить разрушения. Моряки огнем отгоняли немцев и перерезали горящий шнур. Советские войска ворвались в Одессу стремительно и внезапно, и благодаря этому враг не успел выполнить намеченный им план разрушений. Шоссе на Овидиополь, забитое машинами и техникой, влечные, захваченные по квартирам, в сараях и уборных, порой в женском платье, и не взлетевшие на аэродромах самолеты свидетельствуют о том, как была взята нами Одесса.

Так остались целыми многие здания, в том числе оперный театр и одесская городская библиотека с ее двумя миллионами книг.

Бак и артисты, работники библиотеки дежурили по ночам, следя за тем, чтобы немцы не проносили мины. Это были О. В. Ягуш-Ковская, двадцать четыре года заведующая книгохранилищем, М. М. Дерибас, внучка основателя Одессы, работающая на каталоге сорок шесть лет, Ботов, Бабышев и директор библиотеки А. Н. Тюнев, связанная с нем с 1919 года. Этим людям удалось сделать еще одно огромное дело.

По приходе румын в Одессу представитель румынского «министерства просвещения» Видрашко явился в библиотеку с требованием изъять всю политическую и советскую литературу. Работники библиотеки представили ему каталоги одного только абонементного отдела. Тысячи книг были вывезены из библиотеки. Но все книги основного фонда, каталогов которого патриоты с риском для себя не представили комиссии,—остались. И нам показали их в одном из нижних книгохранилищ, вход в которое был замаскирован, — в полной целости и сохранности.

На улицах Одессы мы обратили внимание на кресты, аккуратно по трафарету наведенные белой краской на целом ряде домов. Оказалось, что дом, на котором нарисовали белый крест, свободен от евреев: здесь уничтожение еврейского населения было закончено.

Правительственная комиссия установит точные цифры уничтоженного румынами населения Одесщины. Но цифра в 200 000 человек,

которую нам называли, не будет преувеличенной.

Сателлиты Гитлера всячески откращиваются от участия в страшном деле уничтожения мирного населения в оккупированных местах. Они утверждают, что это делают фашисты, немцы, гестапо, зондеркоманды.

Но Одесщина и Одесса с первых дней оккупации были отданы румынам. Вся Одесщина до Буга составила область, названную Транснистрией, что означает — Западное Буковина. Управлял Транснистрией румынский губернатор, работали румынская жандармерия и полиция, стояли здесь румынские войска.

Уничтожение мирного населения началось сразу же после захвата румынами Одессы. На шестой день вступления румын в город на улицах и в Александровском парке закачались на деревьях тела повешенных «заложников» общим счетом до шестисот человек. В селе Богдановка, в 104 км от Одессы, было сожжено и уничтожено 54 000 человек населения Одесщины и Бессарабии.

Все эти страшные дела производились румынами. Таким образом, миф о том, что сателлиты не принимают участия в истреблении гражданского населения, еще раз разрушен историей румынского господства на Одесщине. Им введено даже нечто новое в ужасное дело массовых убийств. В ров заранее бросали бочки с горючим и поджигали его. Жертвы, привезенные из лагерей и тюрем, прогонялись по краю оврага цепочкой, и каждый, получивший даже легкое ранение, падал в пылающий костёр и сгорал, не оставляя следов.

На румынском же языке напечатаны те удостоверения, которые мне показывали в Одессе люди, пережившие унижительные и отвратительные процедуры медицинского осмотра, исследований и свидетельских показаний. После массовых уничтожений румынская полиция придала этому преступлению видимость «законности». Человек, которого обвиняли в принадлежности к еврейской национальности, мог апеллировать к суду. И румынский военно-полевой суд выдавал удостоверение с фотокарточкой: «Предъявитель сего такой-то прошел обследования, и наличия в нем еврейской крови судом не доказано». Я привожу точный перевод документа, который разоблачает ложь о «непричастности» румынского правительства к вопросам расистской теории. Такие удостоверения показали мне интеллигентная женщина Анна К. и парикмахер Опанас Ф.

По этому поводу я имел беседу в лагере для военнопленных с румынским полковником Теофианеску. Я задал ему вопрос, каким образом офицерская честь и достоинство вой-

на могут быть совмещены с уничтожением безоружных жителей города, более того — с уничтожением детей и женщин. Полковник Теофианеску посмотрел на меня круглыми глазами и ответил, что об уничтожении в Одессе населения он «ничего не слышал».

Вернее всего, на неизбежном суде истории маршал Антонеску сделает такие же круглые, невнимательные глаза и ответит той же удобной фразой, что он «ничего об этом не слышал».

Но это видели и слышали тысячи жителей Одессы и окрестных деревень. Это делали румыны, их полиция, их жандармерия, их солдаты, их офицеры. И отвечать за это румынские палачи будут наравне с немецкими.

Румынские захватчики, кроме этого страшного пятна, стяжали себе в Одессе незавидную славу непревзойденных воров и взяточников. По квартирам шатались румынские капралы под предлогом осмотра для постоя, — и каждое такое посещение означало пропажу. Румыны не брезговали ничем: чайной ложкой, шапкой в передней, детским свитером и даже грязными носками. Особый доход для румынских солдат представлял комендантский час. Артист оперного театра рассказал нам поучительную историю.

Часа за полтора до прекращения движения по городу его остановил румынский солдат с автоматом. Артист показал на часы, румын покочкал головой и повел его за собой. Он водел артиста по всему городу полтора часа, вздыхая, ворча и чего-то ожидая. В три минуты одиннадцатого он привел жертву в комендатуру. Когда в следующий раз другой румын на другой улице за час до срока так же подошел к этому артисту со словом «комендатур», наученный опытом артист поспешно выдал ему пять марок — и румын даже любезно довел его до дому, защищая от других любителей легкой поживы.

В Одесском оперном театре стоит своеобразный памятник неизвестному вору: армянского маршала Антонеску. Это бронзовый канделябр — пастух и пастушка. Рука пастушки обломана до локтя: в последние дни румынский капрал польстился на нее, решив, что это не бронза, а золото.

А на улицах висят грозные приказы городского головы о соблюдении порядка и о прекращении краж. Эти приказы начинаются необычайно вышито: «Мы, Герман Пынтя, примарь города Одессы, в соответствии с установлениями германского командования...» и заканчиваются порой совершенно не в тоне такого манифеста: «...приказываем к такому-то числу очистить выгребные и помойные ямы...»

Немцы, сменив пышного Германа Пынтя, продолжали грабить город, уже до этого разграбленный румынами. За двадцать дней сего-

его хозяйничанья они вывезли стаяки, мебель, посуду, рояли, белье... Из оперного театра они украли партитуры и оркестровые партии ста тридцати шести опер и балетов. Наши войска не дали закончить им грабежи и разрушения.

Понятно, как встречали одесситы наших бойцов. Моряки-разведчики рассказали мне об этом кратко и выразительно:

— Влетели мы в Одессу все в пылище, а к центру попали чистыми, как стеклышко: всех нас поцелуями обмыли...

В городе—смешение всех городов. Тут люди с Донбасса, из Харькова, из Киева, с Кубани, из Крыма—те, кого немцы при отступлении уводили с собой. Тысячи трагедий, потеря, разлук...

Сводка, которую мы прочитали в газете, заставила нас слышать в Крым. Снова, как тридцать месяцев тому назад, по Одессе пролетело слово Севастополь. Теперь оно звучало иначе—торжеством, радостью, победой.

И я снова — во второй раз — покинул Одессу для Севастополя.

На прощанье мы вышли к одесской лестнице. Внизу расстигались гавани, порт, причалы. Всё это когда-то кипело жизнью, и всё теперь было мертво. Дымился еще огромный элеватор, всё еще горело в нем зерно. Несколько раз его тушили, и несколько раз оно самовозгоралось. Глухо рвались внизу мины—иные сами, потому что отработал часовой механизм, иные рвали на берегу наши саперы.

Горький запах дыма, запах, которого не забыть и который томит душу чувством беды, горя и разрушения, тянула от моря. И снова мысль о возмездии заслоняла радость свидания с освобожденной Одессой.

Огромное горе видел я здесь, в этом некогда веселом и счастливом городе, в городе-воине, два месяца отбивавшемся от румынских полчищ. Громадные разрушения видел я здесь.

Немцы и их лакеи, румыны, должны восстановить все, что они разрушили. Голы и глыбы должны они работать — и работать так же аккуратно, истоиво и настойчиво, как разрушали.

3. ГНИЛОЕ МОРЕ — СИВАШ...

Поразительна неудержимая мощь быстрой крымской весны. Все здесь — в зелени, в буйном росте, в стремительном движении жизненных соков. Молодая трава ярко зеленеет всюду, где в камнях есть хоть клочок земли, причудливо изогнутые ветви горного дубняка скрыты листвой, под обрывами лилового перьвые цветы, и даже самые скалы опутаны плющом, карабкающимся к солнцу по острым

выступам желтого камня,—а долины внизу белеют пушистым снегом яблонь и груш, и розовые букеты фруктовых деревьев разбросаны в сочной зелени трав на влажных склонах у речек.

Земля, накопившая за зиму огромную силу вечного своего возрождения, радостно и буйно творит новую жизнь. Солнце, благословенное солнце Крыма, встает в прозрачной прохладе розовых зорь и садится в полыхающей ликующей закатах. С черноморского неба, синего и высокого, не оскорбляемого туманами, оно бьет прямыми своими лучами на горы и долины и, к слову сказать, припекает уже надоедливо. Но люди в защитных гимнастерках—рядовые и генералы, юноши и ветераны—только радуются теплу.

Долгие месяцы провели они в холодных открытых траншеях Малой земли, в длительном подвиге строительства переправ через Сиваш, в постоянной борьбе с ледяной и горько-соленой водой Гнилого моря. И так же, как земля, войско накопило за эту зиму огромную силу. Встало солнце победы — и неудержимая мощь стремительного удара вырвалась из сырых траншей сивашского плацдарма, хлынула на Крым и согнала врага с плоскогорий, степей и гор, как сгоняют снег могучие весенние лучи.

И вот, пройдя стремительным маршем весь Крым до подступов к Севастополю, герои Сиваша, шурясь, блаженствуют на солнце, каждым кусочком тела впитывая давно забытое тепло. Но попробуйте завести с ними разговор о Малой земле, о переправах, о трудных месяцах подготовки прорыва. Вам будут рассказывать об этом, как о чем-то смутно вспоминаемом, почти забытом и, — самое удивительное, — как о чем-то вполне естественном, легко выносимом и не стоящем особого внимания...

— Ну, сидели в траншеях без землянок, без костров, частенько без горячей еды, мерзли—это правильно... Потом наловчились — «лисий норы» нарыли: трубу такую в стенке окопа выроем, а за ней—вроде лещерки пошире... Человек пять-семь набьется, падышат—и вовсе тепло... Там и от бомбежки ошкорожно было, если вход толково сделан—узкий, чтоб осколки не влетали...

— Походить взад-вперед по этому Сивашу пришлось, это точно. За боеприпасами, за харчем всё ходили, пока переправы строили. Иные до ста раз его переходили—ничего, дело выполнимое, только вода там очень злая: голая соль... Верно его называют: Гнилое море... Ноги до язв разбедало,— и сапоги на помогали. Главное дело—обсушиться негде. О костре и не мечтай—ни тебе лесу, ни возможности: все на виду, земля плоская, по

каждому дымку, по огоньку — бомба либо снаряд...

— Питьевую воду берегли, это вам тоже правильно рассказывать. Ее сперва через Сиваш таскали, — с колодцами ничего не получалось: до восьмидесяти метров били, а вода всё горькая, сивашская... До сладкой воды дорылись — что праздник был... А так рассказывать больше нечего...

И вот поговоришь так и лишний раз задумаешься о благородной скромности, о целомудрии русской военной души.

Велик народ, умеющий превращать подвиг в будни, и страшна для врага его мощь. Не вспышками героизма — великолепного, но кратковременного напряжения всех сил — побеждает такой народ, а длительным, истовым трудом войны, равномерным, непрекращаемым, неостановимым, — и нет в мире силы, какая смогла бы помешать народу-труженику, взявшемуся вырастить победу. Победа взойдет неизбежно, как всходит урожай на поле, поливом жарким потом тяжелой пахоты. Огромный труд огромного народа вложен в дело отечественной войны, и труд этот уже приносит свои плоды: победа, полная и окончательная, зреет у нас на глазах.

Здесь, в войсках Героя Советского Союза Крейзера я узнал о том великом военном труде, который подготовил прорыв наших войск в Крым. Дело военных историков описать этот прорыв во всех деталях. Я расскажу об одной лишь стороне этой эпопеи — о строительстве переправ через Сиваш.

За два с лишним года пребывания в Крыму немцы создали сильную инженерную оборону во всех местах вероятных наших ударов. Две линии — Турецкий вал и Ишуньские позиции — защищали узкий перекопский перешеек. Восточнее, против того узкого места Сиваша, где в 1920 году провел в Крым свой войска Михаил Фрунзе, немцы создали сильнейшие укрепления. Так же приготовились они и на третьем опасном участке — у Чонгарского моста. Везде были настроены доты, насыты глубокие противотанковые рвы и густая сеть траншей, заминированы подходы, сосредоточена артиллерия и подведены отборные немецкие войска.

1 ноября наши войска вгрызлись в линию немецкой обороны Крыма. На правом фланге, на Перекопе, войска гвардии генерал-лейтенанта Захарова прорвали укрепления Турецкого вала и заняли за ним плацдарм для будущего наступления. И одновременно с этим войска гвардии генерал-лейтенанта Крейзера форсировали Сиваш, но совсем не в том месте, где ожидали немцы. Это было сделано в широкой части Сиваша, на том участке, где немцы держали заслон из румьльских диви-

зий, надеясь на непроходимость Гнилого моря. Герои сталинградских и миусских боев ринулись вброд, преодолев одним броском три километра ледяной воды и вязкого ила, атаковали румын на плоских берегах крымской земли, отбросили врага, заняли береговую полосу и закрепились на ней. Так образовалась в Крыму еще одна Малая земля — сивашский плацдарм, зародыш будущей грандиозной победы.

Войска еще окапывались в рыхлой, мокрой и плоской степи, когда на поддержку им начали перевозить через Сиваш артиллерию. Орудия уходили колесами по ступицу в жидкую лиманную грязь. Тогда саперы сочинили нечто вроде саней — плоты на полозьях. На них ставили орудия и волоком, людской силой, начали перетаскивать через Сиваш орудия, сначала легкие, потом более крупные. Иные тащили по сто, по сто двадцать человек, шаг за шагом, в течение семи-восьми часов, по колена в ледяной воде, на холодном ноябрьском ветру.

Так пришлось перетаскивать через Гнилое море орудия и грузы. Кони не хотели ступить в его ледяную воду: едва войдя в нее и чувствуя, как ноги уходят в вязкий ил, конь вырывался и выскакивал на берег, храпя и кося глазом на опасную мутную гладь, затаивающую в себя. Тогда саперы связывали коню ноги, клали его на сани и волоком перетаскивали в Крым лежащего коня. В глубоких местах вода заплескивала на сани, и русский солдат бережно подымал коню голову, оберегая его от мертвой воды Гнилого моря...

Для прорыва в Крым надо было сосредоточить на Малой земле танки и тяжелую артиллерию. Это грузное хозяйство доставлять волоком на саях было невозможно. Поэтому уже на восьмой день после захвата плацдарма началось на Сиваше грандиозное строительство двух переправ — беспримерный подвиг сталинградцев-саперов.

Если бы эта гигантская работа была произведена в мирное время, она стала бы известной всей стране. Огромный объем работ, небывалые темпы их, изобретательность в замене материалов, которых не могло быть под рукой, работа часами в воде — в зимней соленой воде Сиваша, — это было бы темой стихов, рассказов, фильмов, это наполнило бы целые полосы газет. Но война принуждала к тайне. И мы ничего не знали о великом труде саперов до тех пор, пока выстроенные ими сивашские переправы не выполнили своего назначения. Они стоят теперь суровыми и величественными памятниками красноармейскому труду.

Среди множества островков Сиваша есть один остров, который называется — Русский остров. Именно через него и повели русские саперы огромный мост с материка и с острова на Крым — длинную гать. Одновременно рядом, в более широком месте Сиваша, начали строить дамбу для танков и самых тяжелых орудий.

На строительство переправ немцы сбросили до сорока тысяч бомб. Работы ежедневно обстреливались артиллерийским огнем и минами. Все дно Сиваша было изрыто воронками, и люди, переходившие его вброд с продуктами или снарядами, стали теперь проваливаться в воду с головой. Но никто не ушел с работы — во время обстрела пригибали головы и продолжали строить мост, насыпать дамбы. Работали по двенадцать часов в сутки, не успевая за время отдыха обсохнуть. Десятки тысяч кубометров земли было вывезено на Сиваш, одних мешков с землей на подкрепление краев дамбы пошло 60 000. Мост был закончен ранее дамбы, но если учесть все работы по его восстановлению после бомбежек и обстрелов — его за время подготовки к прорыву в Крым фактически построили дважды.

Наконец к началу февраля гигантская дамба, которую вели одновременно с двух сторон, была готова. Оставалось соединить ее двухсотметровым мостом. Но в дело вмешалась стихия.

12 февраля разразился шторм небывалой силы. По Гнилому морю, вся глубина которого — полметра, стали ходить волны высотой в метр: Черное море нагоняло сюда воду восточным ветром, волны начали размывать дамбы. За четыре дня шторма работа тысяч людей была сведена на-нет. Дамбы были размыты. От них осталось два хвостика — по полтора метра от каждого берега.

Пришлось начинать всё сначала. Сроки подходили — пора было начинать вторжение в Крым. Командование сказало саперам:

— Стройте, сколько успеете... Но стройте!

Снова бешеная, огромная, титаническая работа, под бомбежками, под обстрелами, на ветру, в воде, с одной тревожной мыслью: не успеем — не будет танков, не будет тяжелых орудий... Самозабвенно, яростно, вдохновенно работали саперы-сталинградцы и до начала операции сумели восстановить два километра дамбы. Остальное должен был соединить мост. Но его достроить уже не успевали, — пора было начать перебрасывать на Малую землю тяжелую технику.

И ее все-таки перебросили.

Понтонеры майора Иванова под огнем перевозили танки на паромках между незаконченными частями моста. Стальная сила шла че-

рез переправу без задержки, накатываясь на плацдарме. Удар навис над врагом...

И снова показала себя капризная приморская весна: над северным Крымом разбухивалась пурга — снежная пурга с ледяным ветром. Толстые пласты сухого снега завалили трапезы, бойцы не успевали откапываться. Застывало и отказывалось работать оружие. Пронзительный ветер сбивал людей с ног.

И это вытерпела великая армия советского народа, бойцы сталинградских дивизий, герои Донбасса и Миуса. Через несколько дней после бурана был подан сигнал общего наступления с обоих плацдармов — с перекопского и сивашского, а далеко на юге, под Керчью, с другой Малой земли, ударили войска генерал-лейтенанта Еременко.

Немцы ожидали, что с сивашского плацдарма наши войска пойдут прямо на юг, на симферопольское шоссе. Там немцами была подготовлена крепкая оборонительная линия и сосредоточены лучшие войска. Но командование Фронта повело наступление по-своему: сделав мощный бросок на юг, наши войска резко повернули на восток, стремительно овладели соседним полуостровом, отрезав на нем румын, прорвали здесь оборону — и в этот прорыв хлынули наши танки и войска. В тот же день они овладели Джанкоем.

Эта операция решила судьбу Крыма. Немецкие дивизии, оставив в Джанкое и Симферополе склады, вооружение, боевую технику, покинулись в Севастополю. С трех плацдармов, — сивашского, перекопского и керченского, — советские войска погнали немцев к последнему рубежу обороны — к кольцу укреплений, окружающих Севастополь.

4. НА ПОДСТУПАХ К СЕВАСТОПОЛЮ

И вот после двухлетней разлуки я снова вижу Севастополь.

Вздымаясь из воды бухты, подобно огромному кораблю, отягощенному нагромождением рубок, мостиков и надстроек, взбегает на крутые скалы ярусам своих кварталов чудесный город флота и солнца, садов и моря. Дымка дали скрывает разрушения, воздух, нагретый апрельским солнцем, струясь, дрожит у стекол стереотрубы, — и город поэтому кажется живым и целым: будто на камешках его трапах шумят веселые толпы и под колесной Графской пристани плещет на широкие ступени бело-синий прибой моряков, и алые девичьи платки крутятся в нем лестничными цветочками, подхваченными волной, и со ступеней «Динамо» летят в лазурную воду бронзовые тела севастопольских мальчишек, как всегда, первыми открывая купальный сезон, и тысячи молодых людей смеются, мечтают, учатся, любят и живут той полной, свободной

жизнью, какой жизни они до первой бомбы, ударившей в этот город на рассвете страшного июньского воскресенья...

Но легкий поворот винта стереотрубы возвращает к действительности. Темная гряда Сапун-горы, изрытой траншеями врага, покрытой бетонной сыпью дотов, уставленной орудиями и минометами, возникает в поле зрения. И новое видение встает перед глазами.

Я вижу, как свежим октябрьским утром бьются на этих горах юноши в бушлатах и бескозырках—курсанты Училища береговой обороны, все до одного комсомольцы. Вперед других они ринулись навстречу лавине врага, прокатившейся от Перекопа к Севастополю, и остановили железный ход ее танков и машин. Я вижу, как в траншее, высеченные в каменистом грунте скал, прыгают с машин первые отряды моряков, красноармейцев, добровольцев-горожан, как сдерживают они натиск врага до подхода наших резервов. И трудным суворовским маршем, без дорог, через горные перевалы, таща на себе орудия и снаряды, спешит к ним Приморская армия, защищавшая недавно Одессу, с боями пробиваются к ним другие герои Одессы—моряки Первого морского полка. Только нет уже среди них полковника Осипова,—он убит в бою на прорыве... Идут на севастопольские горы из Евпатории моряки Седьмой морской бригады, отбиваясь от врага, подходят и Третий морской полк, сходят с кораблей прибывшие сюда армейские полки... И вот уже занят героями рубеж, с которого долгие восемь месяцев никто не сойдет ни на шаг. И корабли из бухты стреляют через горы по резервам врага, а по переднему его краю метко и страшно бьют морские береговые батареи Драпушко, Александра, Магушенко... Первый штурм Севастополя начался.

Двести пятьдесят дней, каждый из которых был доверху набит смертью, держали севастопольцы родной город. Три длительных штурма, сотни тысяч снарядов, десятки тысяч авиабомб, тысячи атак... Камни не выдерживали—падали дома и лопались скалы, а севастопольцы стояли. Море кипело от взрывов, стоном стонала земля, темный столб каменной пыли качался над скалами, над городом, над бухтой, а севастопольцы стояли. Шли дни, недели, месяцы—и все на тех же рубежах, неотступно и недвижимо, в великом мужестве стойкости, таинственной и страшной для врага, стояли севастопольцы.

Всё на этих скалах полно славы. На Мзкензиевых горах мы нашли скелеты в бушлатах среди груды стреляных патронов, рядом с заржавленными автоматами. У Балаклавы—патронный ящик, на крышке которого начата

надпись химическим карандашом: «Прощайте, товарищи, здесь бились моряки-черноморцы: Александр Ко...» И кровавое пятно свидетельствует, что надпись начата была слишком поздно. Над немецкой траншеей, над головами немецких солдат красноармейцы заметили на отвесной скале еще хорошо различимую надпись суриком: «Смерть немецким захватчикам!». Немцы не смогли уничтожить надпись, неведомо как сделанную моряками на этой недоступной круче,—и она кричит с горы в долину предсмертным зовом, призывом к мщению, лозунгом победы. И бойцы-сталинградцы выполнили этот завет севастопольских моряков, и немцы в траншее под надписью вошли в счет мести за безыменных героев, сражавшихся тут два года назад.

Севастопольцы бились здесь, не отступая ни на пядь. Бились, умирая, но не славаясь. Бились, унося с собой в смерть столько врагов, сколько видели перед собой. Здесь, навесив на пояс гранаты, кинулись под немецкие танки пятеро бессмертных сынов Черного моря: Фильченко, Цыбулько, Паршин, Красносельский, Одинцов. Здесь взорвал себя вместе с батареей ее командир капитан Александр. Здесь семьдесят четыре моряка трое суток держали старый Константиновский рavelич, не пропуская немцев к воде, по которой уходила из Южной бухты последние катера.

Уже сложились в народе легенды о севастопольцах. В Симферополе мне рассказали о том, как на рассвете 4 июля 1942 года старый пастух в Джанкое услышал в прозрачной тишине солнечного утра далекую песню. Он прислушался. Это был «Интернационал». Его прерывали глухие взрывы и залпы. И поверили люди старику, что это пели матросы в Севастополе на тонущем корабле, уходя в воду и стреляя из последних орудий, пели так мужественно и громко, что ветер донес их голос через весь Крым...

Мужество и благородство, стойкость и доблесть, верность родине и ненависть к врагу вечны, как море и скалы, будут обрывать Севастополь сияющим венцом славы.

Оскорбительно и тяжело было увидеть теперь на скалах нашей славы немцев. Они заняли наши прежние позиции, рассчитывая удержаться на них долго. Линию обороны, построенную нами, они укрепили и дополнили. К нашим минам, оставшимся перед траншеями, они добавили тысячи своих. Взорванные нами или разрушенные их снарядами наши доты они восстановили и усилили бетоном и сталью. Они имели на то время. Почти два года они строили свою линию обороны вокруг Севастополя,—жалкие «хозяева» Крыма, боившиеся партизан, боившиеся десантов с моря, боившиеся прорыва наших войск в Крым.

Немцы перетащили сюда остатки своей артиллерии, спасенные в бегстве по Крыму. Вдобавок они привезли сюда орудия и минометы из Румынии. Под нависшие скалы они подложили взрывчатку, готовясь обрушить их на наши наступающие цепи. В отвесных скалах они вырубали узкие каменные норы и поставили там пулеметы, которых не сможет взять ни бомба, ни снаряд и которые могут сдерживать натиск батальонов. Долины и ущелья они перекрыли трехслойным огнем артиллерии. Огромное количество прожекторов и зениток приоткрылось — отражать нашу авиацию.

Немцы писали в своих приказах: «Солдаты! Фюрер приказал держать крепость до последнего патрона. Позади нас пространство, жизненно необходимое для сохранения крепости Севастополь. Впереди нас плохая русская пехота, которая не страшна немецким гренадерам в их мощных укреплениях...»

Но в том же приказе № 1036/44 от 20 апреля по 98-й пехотной дивизии после этой патетики идет трезвый торговашеский расчет: «Каждый солдат, кто патроном «фауст» уничтожит русский танк, получает двухнедельный отпуск с немедленной отправкой на самолете». Та же цена, о которой в Крыму мечтал каждый немецкий солдат, объявлена для наволочников, противотанковых орудий — уже за два танка, и для штурмовых — за три. Расчет по-немецки, по аккуратной таксе.

Однако немецкий солдат, видимо, не очень-то соглашался с формулировкой «плохая русская пехота». На пристанях у готовых к отправке кораблей появлялись зайцы — солдаты, не имеющие билета на посадку. И пункт 3-й приказа обязывает офицеров «силой оружия отвести на старое место таких солдат или застрелить за проявление трусости».

Немецкое командование успокаивало солдат: «Прорыв русских в Крым только выгода для нас. Мы заманили их в огромную ловушку: фюрер готовит колоссальный удар по побережью с целью запереть русские войска в Крыму. Недалек час, когда под Севастополем мы перейдем от обороны к наступлению и уничтожим окруженных на полуострове русских...»

В другом указании оно твердило: «Своей обороной крепости Севастополь немецкая армия докажет всему миру, что на этих мощных позициях можно держаться сколько угодно. Мы сумели раздавить здесь русских, но им никогда не взять Севастополя, который держат немецкие войска...»

Видно, все это мало действовало, и немецкое командование рапускало в солдатской среде слухи о новом «секретном оружии». Пленный ефрейтор рассказал, что со дня на

день ждут его применения: это будет порошок, рассыпаемый с самолетов. Он понизит температуру до ста семидесяти градусов мороза, и вся местность на десятки квадратных километров замерзнет.

И только тогда мы поняли, почему это в последние дни апреля чудесная крымская погода испортилась и в воздухе похолодало. Мы решили, что порошок этот немцы посыпали где-нибудь далеко в море, либо сделан он из вращ-сырья и сработал только на пять градусов вместо обещанных ста семидесяти...

Не помогли немцам ни патетические слова, ни торговля отпусками, ни хвастовство, ни фантазии. Цифры беспощадно издеваются над ними, а цифры — остаются в истории.

Мы держали Севастополь двести пятьдесят дней. С момента подхода наших войск немцы провели в Севастополе только двадцать пять дней. Ровно в десять раз меньше.

Мы держали Севастополь в последнем июньском штурме двадцать пять дней. Немцы выдержали здесь только двое с половиной суток нашего первого и единственного штурма. Выходит тоже ровно в десять раз меньше.

Арифметика складная и очень убедительная...

Штурму Севастополя предшествовала тщательная подготовка. Нужно было разведать систему немецкой обороны, нащупать их огневые точки, проложить проходы в бесчисленных минных полях. Бойцов, опытных в степных боях, надо было приучить к незнакомым им действиям в горах, где вся война идет по-другому. Надо было подтянуть тылы, отставшие в стремительном марше армии через весь Крым, подвезти снаряды.

Вход в Севастополь преграждала сильнейшая инженерная оборона немцев. Вот один из участков обороны на высоте 282.0.

Здесь саперы обезвредили менее чем на трех километрах фронта до двух тысяч мин. У подошвы горы были бетонированные огневые точки, в скалах ее — глубокие норы с пулеметами, на крутом склоне горы — сплошная траншея с укрытиями от бомб и тяжелой артиллерии, вторая траншея — на гребне. Подходы к горе защищались несколькими батареями и десятиствольными минометами. По ночам она непрерывно освещалась ракетами: немцы высматривали работу наших саперов. Каждый шорох и стук вызывал плотный ружейный и пулеметный огонь, и время от времени, захлебываясь, лаля миномет.

Такой — настороженной, огрызающейся, утыканной от подошвы до гребня оружием и солдатами — мы увидели эту высоту, когда поднялись на наш наблюдательный пункт против нее, чтобы посмотреть ночные действия нашей авиации.

Сразу же, как село солнце, с запада потянуло прохладным ветерком. Свежий и влажный запах моря пересилил теплый аромат молодой листвы. Темная южная ночь быстро упала на горы и долины, скрыв от глаз знакомые места, дорогие сердцу. Яркие звезды, звезды Черноморья, переливаются и сверкают в небе, и на переднем крае — тишина предгрозя.

Но вместо нарастающего гула мощных бомбардировщиков, которого мы ожидаем, в этой тишине нетерпеливо и деловито тарыхтит над нами немудрящий мотор. Это выходят на работу крохотные самолеты «У-2» — «короли воздуха», «кукурузники», «комары», — каких только ласково-шутливых прозвищ не давали им за годы войны армия и флот! Враг зовет их иначе, более близко к правде: «стоячая смерть».

«Комар» идет над нами неторопливо, уверенно, буднично, словно везет почту. И тотчас навстречу ему поднимается в небо высокий лес световых столбов. Мы считаем их: двадцать один прожектор встречает одного «кукурузника»...

Прожектора мечутся в небе, пересекаются, слезаются лучами, останавливаются, как бы советуюсь, а мотор «кукурузника» все тарыхтит, и действительно кажется, что «стоячая смерть» висит на одном месте, рассматривая из темноты, где бы повернее сбросить бомбу или дать меткую очередь. Небо в безумии прожекторов, в фейерверках красных трасс, пулеметных очередей. Крохотный самолет все жужжит и жужжит над передним краем немцев, как неотвязный комар. И сидит на этом самолетике какой-нибудь юнец-летчик, залорный и веселый, издевающийся над немцами. И вот — первое его «здрасьте!»: на переднем крае немцев грохает небольшая, но злая и точная бомба...

А справа и слева уже жужжат другие «комары». Их целый рой. Прожектора мечутся, не в силах поймать каждого. С темного неба то там, то здесь летят на землю светящиеся кривые белые трассы: это «кукурузники» всем колхозом навалились на нужный им объект. Они бьют немцев с малой высоты — пулеметы отчетливо слышны. Время от времени в разных местах переднего края грохают бомбы.

И вдруг сердце сжимается: одного «комара» прожектор все-таки поймал. Восемь лучей, стремительно прочертив небо, сходятся вокруг пойманного в слепящий пучок. Медлительный и упрямый «У-2» плывет серебряной сияющей точкой, и вокруг нее вопыхивают разрывы снарядов, и к ней вздымаются из земли быстрые пункты красных трасс. «У-2» продолжает идти прямым курсом, по-прежнему неторопливо и деловито, и хочется

крикнуть этому юноше, великодушному в дерзком, своем упрямстве: «Да уходи ты скорей, ныряй в темноту!»

Долгую минуту «У-2» идет в самой гуще искрищихся разрывов, в сетях пулеметных трасс. Потом под ним встает на земле круглая вопышка бомбы, вторая, третья... «Комар» нашел куда ужалиться — и тотчас он исчезает из скрещения лучей. Невидимый, он посылает из тьмы к прожекторам издевательскую очередь белых светящихся пуль, и тот, кто знает азбуку Морзе, может расшифровать точки-тире этой занятой стрельбы: телеграмма кратка, ядовита и крайне обидна для немцев, но для печати, к сожалению, не годится.

Другой «комар», попавший в скрещение прожекторов, предпочитает более серьезный разговор. Он снижается, ведя за собой прожектора и яростно огрызаясь: белая трасса его пуль летит точно в плоскости одного из лучей — и один прожектор гаснет. На другие тем временем навалились остальные «комары». Вопышки бомб встают у самых прожекторов. Фронт сдается, прожектора поспешно гаснут. Из темного неба с малой высоты опять стучат пулеметные очереди крохотных самолетов, и падают на передний край злые их бомбы. Небо в тарыхтении моторов, — возвращающихся «кукурузников» сменяют другие.

Во время этой воздушной суматохи началась война на земле. Одна из важных высот, преграждающая нам путь в долину, вся полыхает ракетами. Идет ночной поиск разветчиков, а может быть, частная атака. Торопливо взлетает в небо немецкий снаряд — вызов артогня. В ложбине против нас залаяло, забухало, запылало коротким пламенем: десятиствольный миномет поспешил на помощь напуганным немцам. Но не успели выпущенные им мины долететь до высоты, как в самой ложбине, у миномета, вопыхивают разрывы наших снарядов. Артиллерия, ожидавшаяся, когда миномет откроет себя, накрыла его. Тут же встает и пламя бомбы. Это сверху подбавил лично от себя очередной «комар».

В небе «брунчит» прерывистый гул «Фокке-Вульфа», пришедшего на помощь. Он долго бродит в небе на большой высоте, опасаясь наших зениток, потом шкирует — и клает серию бомб в пустопорожнее место. Его правожалют наши зенитки. Второпях «Фокке-Вульф» сбрасывает вторую серию бомб на свои же траншеи. Единогласно выносим ему благодарность за помощь нашим «У-2».

В небе снова заметались немецкие прожектора. Теперь они уже не обращают внимания на «комаров» и их бомбы. Дело пошло всерьез. Пришла наша тяжелая авиация. Высо-

же под звездами вспыхивают огненные точки разрывов снарядов. Вся мощь зенитных батарей, согнанных сюда немцами со всего Крыма, встречает наши самолеты. В ответ в небе повисает ослепительно сияющая гроздь световых бомб. Ярчайшие люстры, миллионы свечей, плывут над севастопольскими бухтами, белым пламенем полыхают на их берегах разрывы тяжелых бомб,—и долгое вздрагивающее зарево пожара остается на этих местах. Новые люстры, новые всполохи в бухте, новое высокое зарево. Вражеские транспорты горят, идет бомбежка места погрузки немцев на уходящие в Румынию суда. Часть солдат, приготовившихся к вожденному путешествию, в билетах больше не нуждается. Другая часть держит в потном кулаке билеты, но не имеет кораблей, названных на них: корабли горят или лежат на дне у причалов бесформенной грудой. На оставшиеся корабли грузятся оставшиеся немцы.

Проследим нормальный, так сказать, «типовой» переход немецкого каравана из Севастополя в Румынию.

Бомбежка бухты закончена, наши самолеты ушли. Под спасительным покровом темноты караван выходит в море. Сразу же за углом Херсонесского мыса его встречает восточная группа торпедных катеров капитана 2-го ранга Дьяченко. Очередной убыток в кораблях и людях. Несколько дальше на караван насккивает западная группа катеров капитана 2-го ранга Проценко. Новый урон...

Караван выбрался подальше от берегов. Рассвет. С неба на немцев пикируют морские штурмовики подполковника Манжосова. Новый метод, которым они бомбили немецкие корабли, дает, как говорят морские летчики, «полную гарантию — в правый глаз капитану». Еще два-три корабля идут вместо Румынии на дно вместе с немцами, мечтавшими спастись из Крыма. Караван, сильно поредевший, вышел, наконец, в открытое море. Штиль, полдень, тишина. И вдруг—торпеды... Это дорвались до работенки подводные лодки контр-адмирала Болтунова.

Кажется, всё. Оставшиеся немцы с нетерпением поглядывают на открывающиеся румынские берега. Но у нас есть еще самолеты генерал-лейтенанта авиации Ермаченкова. Снова град бомб, новые пузыри на воде...

Черноморский флот в боях на коммуникациях противника нанес ему огромные потери. С момента прорыва наших войск через Сиваш и Перекоп потоплено: 69 транспортов водоизмещением от 1000 до 5000 тонн, 56 БДБ—быстроходных десантных барж (каждая берет до 500 человек), 2 сторожевых корабля, 2 канонерских лодки, 3 тральщика, 27 сторожевых катеров и 32 разных судна (в том числе и торпедные катера). Всего 191 судно.

Почти столько же повреждено нашим огнем, торпедами и бомбами. Часть из поврежденных кораблей затонула на дальнейшем переходе, но в черноморском счете их не значится: утопленными считаются только те, гибель которых зафиксирована фотоснимком или засвидетельствована наблюдением с двух различных кораблей.

Пользуясь временем подготовки к штурму Севастополя, мы поехали к черноморским летчикам и катерникам, или, — как называли их в штабе армии, — «регулирущикам движения на Черном море».

5. НА ТОРПЕДНЫХ КАТЕРАХ

Ровный изумительный пляж, недвижная гладь бухты, глубокая синева которой переходит у берега в бледно-голубую, как бы забеленную молоком, волну ленивого прибоя. Легкий ветерок, сыпучий, нагретый солнцем песок, острый, иодистый запах водорослей, — лечь бы тут, заложив руки за голову, и лежать так, ни о чем не думая, впивая всем телом живительные лучи раннего крымского солнца и укрепляющее дыхание милого моря...

Но место уже занято. Там и здесь видны на пляже раскинувшиеся полуголые тела, загорелые, как и полагается курортникам, лохерна. Они лежат здесь, греясь на солнце, хотя весь пляж изрыт еще траншеями, изуродован колючей проволокой, и приземистый дзот, сложенный из камней и облитый бетоном, угрожающе смотрит в море, а рядом с ним торчат шест с надписью «мины», — благословенные места отдыха и лечения обезображены следами врага, смертельно боявшегося десанта с моря.

Возле отдыхающих ажуратно разостланы на песке бушлаты, шинели, регланы, флечелки, и чуть видные струйки пара, дрожа, вздымаются от них в прозрачном воздухе. Одежда насквозь мокра. Это высыплются и обсыхают моряки торпедных катеров, вернувшихся поутру из ночной операции. У обломков пристани видны и сами катера: задрав вверх свои приплюснутые носы, они тоже дремлют в тихой воде.

Уже несколько дней базируются здесь моряки капитана 2-го ранга Проценко, отмеченные в приказе Верховного Главнокомандующего в числе отличившихся в боях за Севастополь. Впрочем, вряд ли можно назвать базой разрушенный причал, пустынный пляж, группу сожженных домов, грузовики с горячим и торпедами и удивительный камбуз: обыкновенный костер, на огне которого моряк, выставив солнцу голую спину, варит в ведре уху из рыбы, добытой тут же у пристани.

Однако в условиях последних месяцев катерники считают эту «базу» первоклассной. В первые дни прихода в этот глухой угол Черного моря они «базировались» на голом пустынном берегу. Морьяки оставались на катерах, мокрые с головы до ног, греясь поочередно в отделении моторов, а командный пункт — радиостанция и штаб — разместился в воронке от бомбы, дно которой родное Черное море заботливо устлало морской травой, высушенной солнцем. На плоском берегу это было единственным укрытием от ветра. Впрочем, и его пришлось занимать с боем: в воронке до прихода катерников «базировалась» группа собак, которые весьма неохотно уступили это жилое помещение. Воронка считалась дворцом: в ней не дуло, было мягко и сухо, и можно было, наконец, вытянуть ноги... Три дня провел штаб в этом «дворце», три дня, полной напряженной работы по организации первых торпедных атак на дальних коммуникациях врага.

Это было в начале марта. Одесса была еще в руках врага. Вместо долгого и опасного пути из Севастополя в Констанцу, где немецким караванам приходилось часть похода совершать в светлое время суток и подвергаться атакам наших кораблей, подлодок и авиации дальнего действия, немцы справедливо предпочли пользоваться этим, более коротким и более безопасным путем — из Ак-Мечети в Одессу. На этом пути им не угрожали наши подлодки и авиация, так как немцы успевали проходить опасные районы под покровом темноты, а у берегов Крыма и Одессы они выходили под прикрытием береговых батарей и своих самолетов.

Наши торпедные катера, находившиеся в кавказских базах, здесь, казалось, никак не могли проявиться: железной дороги, по которой их могли перебросить сюда, к нашему берегу не было, а переход их через все Черное море в район, где для катеров не было никаких баз, считался невозможным. Поэтому немцы спокойно доставляли в Крым боезапас, продовольствие и войска и так же спокойно выводили из Крыма награбленные богатства.

Тем удивительнее для немцев была внезапная потеря двух транспортов в мирном уголке Каркинитского залива. Неведомо откуда появились тут советские торпедные катера. Кратчайший и удобнейший путь из Крыма в немецкие тылы оказался под угрозой. Каждую ночь вражеские караваны, шедшие из Ак-Мечети, начали терять корабли...

Этот небывалый в истории торпедных катеров длительный переход был выполнен моряками капитана 2-го ранга В. Т. Проценко. Катера своим ходом в туманную и штормовую погоду пересекли все Черное море и без обо-

рудованных баз, без мастерских, без возможности отдыха для личного состава начали топить немецкие корабли.

Переход этот, опрокинувший долгие представления о возможности использования торпедных катеров и о человеческой выносливости, еще раз доказывает справедливость той оценки наших офицеров и бойцов, которую дал в своем первомайском приказе товарищ Сталин: высокий моральный дух и наступательный порыв, возросшее искусство и боевая выучка с особенной силой сказались в этом исключительном переходе.

Чтобы понять подвиг черноморских катерников, надо знать, что такое торпедный катер. Эта стремительно несущаяся по воде скорлупка, футляр для торпед, приспособлена для короткого плавания, для быстрого удара. Вся она открыта, все люди в ней в воде от брызг и волны. Оглушительно гудят моторы. Скорость требует страшного напряжения внимания. Глаза болят от соленых брызг, тело стынет в промокшей одежде, качается на ветру. Сотреться хотя бы глотком горячей пищи невозможно, как невозможно смениться на боевом посту, — все на катере несут службу бесценно. Когда же в море гуляет даже небольшая волна, плавание на катере превращается в езду на машине, которую сумасшедший шофер гонит по железнодорожным шпалам со скоростью восьмидесяти километров: каждая встреча катера с волной отзывается сильнейшим ударом. Если вы в рубке, — вы вынуждены стоять на согнутых ногах, пытаетесь спружинить эти непрерывные толчки и удараясь об обивку рубки спиной, грудью, плечами. Если вы находитесь у моторов, — вас бьет о более острые и твердые предметы, и поэтому вам следует работать одной рукой, крепко держаась другой за поручня. Это занятие забавляет в первый час, надоедает на втором, становится мучительным на третьем и валит с ног любого здоровяка на седьмом часу похода.

Катера капитана 2-го ранга Проценко шли с Кавказа в Каркинитский залив более суток, причем для скрытности перехода была выбрана соответствующая погода — то есть волна до шести баллов и густой туман.

Осталось неизвестным, кто устал за этот поход больше: командиры ли катеров, которые бесценно стояли у штурвалов двадцать шесть часов подряд, всматриваясь вперед сквозь брызги волн и белесую мглу тумана, сам ли командир катеров, капитан 2-го ранга Проценко или его штурман, капитан-лейтенант Кушнеров, на офицерской чести которых лежала огромная ответственность за все катера, доверенные их опыту и знаниям? Мотористы ли, от которых поход потребовал полной

гарантии работы их механизмов, ибо малейшая поломка означала остановку катера на середине Черного моря и последующую его гибель? Боцмана ли, чей пустяковый недосмотр мог обернуться на этом небывалом переходе трагической катастрофой, или радисты, которые, скрючившись в своих ящиках-каютах, держали непрерывную связь между катерами? Бесплезно сравнивать и считаться. Каждый на своем месте сделал то, чего он не сделал бы ни при каких других условиях. Всех поддерживала одна мысль, одно стремление: дойти до западной базы, чтобы бить потом врага у берегов Крыма, бить за Севастополь, за Одессу.

На катере старшего лейтенанта Куражина в начале похода лопнула рулевая тяга. Проценко хотел отправить катер обратно. Но команда, которая вместе с командиром плавает на этом катере с самого начала войны и первая в соединении получила ордена, взмолилась: разрешите подремонтироваться... Капитан 2-го ранга Проценко дал на ремонт короткое время. Тогда старшина группы мотористов Юшин полез в воду. Четверть часа провел Юшин в ледяной воде, вслепую, на ощупь исправляя рулевое управление. Корабль получил возможность продолжать путь.

Катера шли строем клина. Видные в начале перехода, они вскоре скрылись из глаз Проценко в навалившемся тумане. Потом их поглотила ночная тьма. Время от времени Проценко протягивал к радисту руку за микрофоном и окликал по радио командиров. Порой кто-либо терял свое место в строю, и катера уменьшали ход, ожидая: оставить катер один в пустыне Черного моря было невозможно. Потом вновь начинали реветь моторы, и вновь катера прыгали по волне, избивая в синяки и в кровь людей...

На восьмом часу перехода Проценко был вынужден скомандовать «стоп», хотя никто не отстал: на том катере, где он шел, моряки стали стучать зубами, дрожа от холода и ветра. По радио повнеслась непредусмотренная уставом команда: «по сто грамм, по куску свинины, по плитке колы!». Отдых пять минут! И такие остановки пришлось делать не раз.

На пятнадцатом часу похода боцман одного из катеров был отпущен в моторное отделение погреться. На пост он не вышел: в тепле его свалил сон — мгновенный и беспробудный. Его подняли только через час. Пришлось запретить морякам спускаться в тепло.

На двадцать втором часу три командира на очередной остановке упали у штурвалов, потеряв силы. Проценко приказал боцманам заменить их: в соединении все боцмана обучены управлению катером, и не раз эта мера

спасала катера в бою. Но — велика сила флотского упрямства! — едва взревели моторы, командиры, как тени, шатаясь, вновь встали к штурвалам и вцепились в них обочевенными руками...

В конце похода один из катеров оторвался от строя и исчез. Долго искал и ждал его командир соединения. Катер не отозвался. Там и осталось неизвестным, какое именно повреждение заставило его отстать от строя. И только через месяц, когда была взята Красной армией Ак-Мечеть, до нас дошла героическая история этого катера — еще один великолепный пример черноморской стойкости и мужества.

Исправив повреждение, катер стал пробираться самостоятельно. Очевидно, за время ремонта его сильно снесло, и он вышел к берегу прямо к Ак-Мечети, занятой тогда немцами. Командир понял это только тогда, когда увидел перед собой в бухте пять быстроходных десантных барж и на берегу — сильные батареи. Он развернулся для ухода и тотчас открыл огонь по баржам. Рыбаки на берегу видели, как немцы, не пытаясь отвечать огнем дерзкому катеру, попрыгали с барж в воду. Катер уходил. Батареи открыли огонь с запозданием. Из рубки катера вызывающе показался красный флажок, как бы дразня немцев. Огонь их усилился. Флажок упал, но тотчас же его подняла другая рука. Еще через полминуты маленький корабль исчез во мгле. Свидетели героического поведения катера — рыбаки — вздохнули облегченно: ушел...

И он бы ушел, если бы не несчастное совпадение обстоятельств: у самой Ак-Мечети он нарвался на охранение. Три сторожевых катера и одна быстроходная десантная баржа встретили его сильнейшим огнем. Он стрелял до последнего патрона. Снаряд попал в моторное отделение, катер потерял ход и начал тонуть. Немские катера попошли вплотную и потребовали, чтобы экипаж сдался. Командир катера лейтенант Игошин застрелился на глазах у немцев. Выпавший из руки командира пистолет подобрал боцман и тоже застрелился. Немцам достались лишь четыре тяжело раненных моряка. Их привезли в Ак-Мечеть, и там моряк Агафонов, раненный в таз и в голову, рассказал обо всем этом двум русским женщинам — врачу и санитарке госпитали — и умер у них на руках.

А к вечеру немцы скрытно, на двух автобусах, вывезли с батарей и с барж более тридцати трупов своих солдат, убитых огнем катера лейтенанта Игошина...

Остальные катера добрались до освобожденных нами берегов. Отсюда без базы, без мастерских, в тяжелейших условиях они на-

чали свою двухмесячную боевую работу, закончившуюся только теперь, с ликвидацией крымской группировки немцев. За это время советскими моряками потоплено несколько немецких транспортов, быстроходных десантных барж, сторожевых и торпедных катеров. Командир подразделения капитан 3-го ранга Местриков совершил набег на Ак-Мечеть, утопил нагруженные войсками две десантных баржи. Командиры катеров Умников, Дотошинский, Акчулин, Шенгур, Вублик, Хабаров, Константинов еженощно выходили на поиски караванов противника и топили его корабли.

С того времени, когда немцы были прижаты к севавтопольским бухтам, катера занялись «регулированием движения» и в этой части Черного моря. Капитан 2-го ранга Проценко, похитив сам в ночные атаки, нашумел наиболее выгодные для перехвата врага позиции, и не было ночи, когда бы катера вернулись без «улова». В одну из таких ночей группа катеров, ведомая капитаном 3-го ранга Туль, наскочила на немецкий дозор, влвое сильнейший по численности, и попала под круговой огонь; Туль понял, что единственный шанс выиграть бой — это кинуться в атаку. Он повел свой катер на корабли противника. Остальные наши офицеры, поняв своего командира, повторили его маневр. Огонь противника смешался, немецкие сторожевики были вынуждены бить друг по другу, а катера провалились — и через полчаса «отыгались» на встреченных сторожевых катерах, утопив один из них.

Настойчивость в поиске врага, дерзость в атаке, терпение в засаде, меткость торпедного и артиллерийского огня, личная отвага каждого катерника — вот качества моряков командира Проценко. Ордена и медали свидетельствуют об их боевых подвигах. Дорогую для каждого советского моряка награду — Нахимовскую медаль — первым среди других получил боцман Рыжов. На штыке его пулемета разорвался вражеский снаряд, осколок ударил Рыжову в щеку, под глаз. Переязычавшее его моряки решили, что глаз вытек. Командир катера хотел идти в базу, чтобы сдать боцмана врачу.

— Не стоит, — сказал Рыжов. — Если глаз вытек, доктор не поможет, а не вытек — до утра дочерью... Чего ж с торпедами возвращаться...

Катер остался в море, поймал немецкий корабль и вернулся утром. Глаз боцмана, к счастью, удалось спасти.

Два командира катеров, неразлучные друзья Пилипенко и Подымахин, пришли к Проценко с просьбой, сделать их «свободными охотниками», то есть разрешить им искать врага по своему усмотрению. Командир согласился, с одним, впрочем, условием:

— Вы оба по сих пор ерунду всякую топите — ВДБ всякие, катера... Без трубы не приходите ко мне, чтоб настоящий корабль был, с трубой, понятно?

Друзья, обрадованные, ушли. Две ночи они ходили на «свободную охоту» без всяких результатов, а днем шушукались в «клубе» — на песке пляжа, склонившись над картой, что-то колдуя, прикидывая всевозможные курсы крупных кораблей врага. Над ними уже, как полагается, начали подшучивать: показывали на летающих чаек — «Охотнички, подстреляйте!», подсаживались к ним «послушать охотничьи рассказы»... Друзья дулись, но терпели.

Зато терпение капитана 2-го ранга лопнуло. На третье утро, едва катера вернулись с моря, он вызвал к себе Подымахина и Пилипенко и сурово спросил:

— Ну, охотнички, как у вас дела?

— Труба, товарищ капитан второго ранга, — сдержанно ответил Пилипенко.

— Ну, раз дела у вас труба, возвращайтесь в звено. Хватит. Поохотились...

— Ей-богу, труба, — сказал Подымахин. — И дымила на совесть. Тысячи на три покойничков был, не меньше...

Так и стали они ходить в самостоятельные операции в чине «свободных охотников». При мне Проценко, давая задания отряду катеров на ночь, серьезно предупреждал командиров:

— На вест от этой линии не лазить — там наши охотнички зверствуют. Попадется им — конец. Они нынче в азарте: Пилипенко вчера коров потопил, нынче злой ходит...

Когда командиры разошлись, я спросил его, что за коровы? Оказалось, ночью подняли от Пилипенки радио с моря: «потопил баржу коровами». Сперва решили, что подшутил шифр, но утром выяснилось — и точно: на десантной барже, кроме немцев и румын, были... коровы. Одну из них Пилипенко хотел прибуксировать за рога — славное получилось бы блюдо взамен потопившей ухи, — но буксир на большом ходу лопнул, и корова осталась на широте такой-то, долготе такой-то.

Удивительно, как весело и легко в этом прекрасном боевом коллективе. Люди устают выше возможного. Поутру они приходят с моря, тут же начинают перебирать механизмы и латать полученные за ночь пробойны, обедают на своей «базе» осточертевшей ухой, спят на пляже, сушась на солнышке, — и с темнотой снова уходят в смертельную игру с сильно вооруженными кораблями противника. И всё же неистребимый флотский дух веселья и жизнелюбия царит на этом клочке песка и развалин.

Но стоит вам заговорить о тех, кто погиб, как глаза офицеров и моряков темнеют. И вме-

сто безудержно веселой молодежи вы видите перед собой взрослых, много повидавших воинов. Вспоминают лейтенанта Игошина и его подвиг, с уважением и грустью говорят о капитан-лейтенанте Григории Левищеве: он был первым, кто утопил торпедой немецкую БДБ еще тогда, когда остальные командиры не знали, как попасть в такую малую и верткую цель. Другую БДБ — шестую на его счету — он встретил, имея торпедные аппараты уже разряженными по другим целям. Левищев кинулся на нее в атаку, изображая готовность выпустить несущующую торпеду. Баржа начала маневрировать, яростно отстреливаясь. Под ее огнем Левищев трижды демонстрировал выход в атаку и своим маневрированием загнал БДБ на наш берег. Он погиб в бою с самолетами противника. Четверо раненых моряков плыли с ним к берегу, но командир их был смертельно ранен и умер в воде, пытаясь еще помочь друзьям слабыми движениями рук.

Одно имя погибшего друга блещет за собой другое. Тенями славы и мужества встают перед вами образы моряков, отдавших жизнь за победу. И каждый из живых, понизив голос, немногими, но сильными словами, выразит вам то, что горит в его душе: боль и горечь за погибших соратников, страстная ненависть к врагу.

И тогда становится понятным, как выходят в ночную атаку эти молодые и веселые люди, что делает точным их глаз и твердой их руку.

Это страстная воля к победе, которая одна может успокоить их сердца, тоскующие о боевых друзьях. Это — жажда возмездия.

6. ВОЗМЕДИЕ

Грабители и палачи, два с половиной года расхищавшие богатства Крыма и порабощавшие его население, уходили из Севастополя крадучись, тайком, во тьме. Они уходили, спасаясь от возмездия, надвигающегося на них через степи и горы Крыма, из глубин великой нашей страны.

Но от возмездия не уйти. Оно ждало их и в море.

В темноте нарастает над водой гул: торпедные катера, стремительные и разящие, невидимые во тьме, разыскали караван. Они врываются в строй военных кораблей, охраняющих транспорты, они проскакивают огневую завесу, находят цели — и шлют в них свои разрушительные торпеды. Снова ослепляют немцев белые взрывы. Костры горящих кораблей полыхают на воде, освещая тонущих гитлеровцев. Затем пламя уходит в воду, ночь снова становится темной и тихой.

Караван продолжает путь, уменьшившись в добрую треть. Бледнеют звезды, над морем встает нежная зоря крымской весны.

Пробуждение дня, вечное возрождение света, встающего из тьмы, символ торжествующей жизни... Сколько надежд рождал он в человеческих сердцах, сколько поэм и стихов вызвал он, сколько людей обожествляли этот таинственный и прекрасный символ неумирающей жизни!.. И как страшен этот рассвет для солдат и офицеров гитлеровской армии — армии разбоя, армии мрака.

Не жизнь, а гибель несет им розовый свет зарп, не надежду, а отчаяние, не бессмертие, а черную бесславную гибель. Беспощадным обличителем встает над морем солнце. Яркие его лучи упираются в крадущиеся по Черному морю корабли тысячами указующих перстов: «Вот они, убийцы, грабители, палачи! Вот они — те, кто губит жизнь!»

И в высоком небе уже гудит над Черным морем самолет. Человек в морском кителе внимательно смотрит вниз на чистый простор знакомого моря. Темные полоски кораблей, белые ленточки бурунов, светлые следы кильватерных струй — караван врага... Разведчик посылает на далекий берег радиосигнал и тотчас уходит просматривать море в других районах.

Караван резко меняет курс в тщетной попытке избежать разящего удара. Но негде спрятаться врагу на сверкающей поверхности Черного моря. Оно выдаст его своим друзьям-морякам — Черное море, советское море, свистель славы двух городов-героев, море, истерзанное фашистскими минами, море, принявшее в вечные свои объятия тысячи жизней наших людей, безоружных жертв фашистской войны... Дети и женщины Одессы, старики и девушки Севастополя бледными, качающимися тенями бродят в глубинах тяжелой нижней воды Черного моря и призывают к возмездию. Они проходили здесь на кораблях, отмеченных знаком Красного креста, — фашистские летчики засыпали их бомбами. Они карабкались на шлюпки, на обломки, — фашисты с бреющего полета расстреливали их в воде. Мы пытались спасти свои семьи из осажденных городов, — фашисты ставили на курсе транспортов магнитные мины...

Черное море не забыло этого, как не можем забыть мы. Врагу не спрятаться в чистых его просторах. Белыми бурунами пены оно отмечает ход их кораблей, увозящих убийц от заслуженной кары. Серебряным блеском сверкает оно под солнцем, выдавая этим темные полоски кораблей, доверху набитых палачами, и долго хранит на ровной глади своей следы кильватерных струй, облекая черноморским летчиком пошек врага.

И они находят его. Ненависть обостряет их зрение. В союзе с Черным морем и с ненавистью они находят врага во мгле и в тумане.

Однажды черноморские летчики-гвардейцы Героя Советского Союза Челнокова вышли на штурмовку военных кораблей врага, приближившихся к Севастополю. Группу вел гвардии старший лейтенант Николай Пысин. В море был дождь, видимость исчезла, только десять-пятнадцать секунд полета отделяло летчиков от мглстой завесы, скрывающей береговые скалы. Соседняя группа вернулась, гвардейцы продолжали поиск. Туман лежал до самой воды, и заданной цели летчикам найти не удалось. Тогда Николай Пысин, пользуясь мглой, прикрывавшей его самолеты от береговых зенитных батарей, повернул к севастопольским бухтам. В одной из них под охраной сторожевого катера прокрадывалась в море немецкая ВДВ. Гвардейцы утопили оба корабля точной серией бомб, сброшенных со ста метров.

Сегодня, когда мы беседуем на аэродроме с Николаем Пысиным и его другом, гвардии лейтенантом Александром Гургенидзе, только что приведшими с удара свои эскадрильи, небо солнечно, а море гладко и чисто. Но караван, обнаруженный нынче утром разведкой, сумел запутать следы. Долго и настойчиво искали его в море гвардейцы, почти до предела горючего. Наконец показалось три транспорта, каждый в три тысячи тонн, под охраной шести ВДВ и сторожевых катеров. Удар был нанесен — эта группа летчиков утопила транспорт, одну ВДВ, повредила охранный катер, и по свежим следам за караваном помчались другие штурмовики добивать врага.

Оба этих морских летчика-гвардейца стоят друг друга. Оба они — командиры эскадрилий, у обоих по два ордена Красного Знамени, у обоих более пятидесяти боевых вылетов только за время с начала боев за Крым и у обоих все вылеты «результативные»: гибель вражеского корабля или серьезное его повреждение.

Оба они говорят не о себе, а о своих воспитанниках. У Гургенидзе «молодежь» — прошлого года выпуска из школы. Но за каждым из них по полсотне боевых вылетов и по два ордена: Кузнецов Георгий, Дымов, Бурштейн, Шумилов. У Пысина такая же молодежь, воюющая всего год. Но и у него все летчики имеют те же полсотни боев, у многих из них по два ордена: Благодарев, Петр Бабыкин, Василенко, Казаков.

И оба друга в свое время «присаживались». У Гургенидзе, штурмовавшего под Керчью зенитную батарею, немцы разнесли

стабилизатор и сорвали элерон. Он все-таки повел подбитый самолет на свой аэродром. Двадцать пять минут он вел его, изо всех сил вытягивая ручку обеими руками. Руки отказывались тянуть ручку. Тогда Гургенидзе охватил ее ногой, вцепился руками в борт и так, противодействуя стремлению самолета зацепиться в землю, довел его до своего аэродрома...

— Устал очень, — братко подытожил он рассказ.

Пысина сбили над Темрюком осенью прошлого года, он сел в плавни в 30 км за линией фронта и вернулся вместе со стрелком через фронт. Второй раз он упал с простреленным мотором в воду. Самолет утонул. Пысин четыре часа плыл в море, уходя от занятий немцами Анапы. Когда его вытащил катер, обгорелые его руки уже не чувствовали холодной воды...

И, наконец, оба в один голос говорят о своем командире Герое Советского Союза Челнокове в одинаковых выражениях:

— Мы своим летчикам передаем только то, чему нас самих командир учит. Будем так драться, как он, — и остальные, на нас глядя, немцам насолят. Вы на него в бою посмотрите — поймете...

А как летчики умеют «насолить» немцам, показывает один факт. Незадолго до перебазирования сюда, летчики подполковника Челнокова штурмовали в Судак десантные баржи, собравшиеся вывезти немцев в Севастополь. Четыре уже отошли от берега, когда на них налетели наши морские штурмовики. Три были потоплены на глазах у немцев и румын, производивших посадку на остальные, стоявшие еще у берега, четвертая загорелась. Войска отказались грузиться на баржу и двинулись к Севастополю пешком.

Так сказать, обучение показом...

Настойчивость и стремление во что бы то ни стало поразить врага отличают всех летчиков соединения подполковника Манжосова. Штурмовые самолеты висели над морскими коммуникациями врага, делая в среднем по два-три боевых вылета в день. Однажды гвардейцы вернулись на базу, не отыскав каравана. Сели злые, помолчали, пока техники заправляли самолеты, — и вновь пошли над морем. Уже не имея данных разведки, превратившись в разведчиков самп, они всё же нашли караван. Гвардейцы Гургенидзе и Пысин штурмовали двумя группами караван и из трёх транспортов по тысяче тонн один утопили и два повредили. При этом стрелок-радист Борисов сбил одного «ME-109» из воздушного сопровождения каравана. Тут же летчики подразделения Героя Советского Союза майора Степаняна младшие лейтенанты Попов и Глу-

харев атаковали другую группу каравана. Из двух БДБ они утопили одну и зажгли вторую, уничтожили торпедный катер охраны и подбили сторожевой корабль.

Мы рассматриваем фотоснимки этой штурмовки, — таково правило морских летчиков: привозить с моря «квитанции». Торпедный катер, снятый со ста метров, отчетливо виден на воде белым пятном пены, брызг, огня и дыма: он взлетел вместе со своими торпедами. Рядом продолговатым неуклюжим четырехугольником видна на воде БДБ. Немцы строили эти БДБ для вторжения в Англию, а воевать им пришлось у нас на Черном море. Кстати сказать, это судно несправедливо называют баржей: это сильный, живучий боевой корабль с хорошим ходом, с мощной зенитной артиллерией, с водонепроницаемыми отсеками и даже с коекакой броней. На ее палубе возле черных пятен людей, стреляющих из зенитных автоматов, только что встал первый росток взрыва. На второй фотографии, сделанной самолетом группы прикрытия несколькими секундами позже, этот дымок разросся уже в огромный клуб, закрывший всю палубу. Третий снимок — на отходе — свидетельствует о том, что здесь была БДБ, только широким пятном пены, масла и взбаламученной воды.

Мы перелистываем альбом. Что ни штурмовка, то и гибнущие корабли... Дымные ключья, водовороты пены тонущие транспорты, белые пятна бомб, разорвавшихся у самого борта, уничтожающих осколками людей, прорывающихся кораблей... Хрюмая, они уйдут от удара летчиков Манжосова, чтобы через три-четыре часа попасть под новый удар их сосетей — летчиков дальней авиации Черноморского флота...

Тама́нский, Керченский, Новороссийский счета здесь уже закрыты и положены в архив. Летчики завели новый — Крымский счет. В подразделении Героя Советского Союза Челнокова с начала крымского наступления основные ведущие группы гвардии старших лейтенантов Пысина и Гургенидзе и гвардии капитанов Покалюхина и Николаева утопили 23 корабля врага, из них 5 транспортов до 3 тысяч тонн и 11 БДБ, и серьезно повредили 22 корабля, из них 6 транспортов и 11 БДБ. Все эти пловучие средства в основном были нагружены гитлеровскими войсками, перевозимыми из Крыма на другие фронты.

Почти такой же счет имеет подразделение гвардии майора Степанянца Евг. летчик, дважды и трижды орденюсы Попов, Юсуп Акаев, Андрей Божок, Глухарев. Удали пов отработали новый метод бомбометания, требующий огромной выдержки спокойствия и отваги, дающий стопроцентный эффект.

В одном из боёв их группы вел Герой Советского Союза Степанянц. Результат: из трёх крупных транспортов в 3—3,5 тысячи тонн уничтожено два, третий сильно поврежден, утоплен торпедный и сторожевой катера, повреждена одна БДБ и два катера, а из воздушной охраны метким огнем штурмана Удовиченко и стрелка Петера сбито два «Фокке-Вульфа».

Работа черноморских летчиков на дальних морских коммуникациях врага началась в Крыму в условиях перебазирования, на взорванных аэродромах, на голом месте, когда первое время летчики жили «под крылом», когда не было ни базы, ни мастерских и техника голыми руками ремонтировали самолеты, «набравшие барахла», то есть порядочное количество пуль и осколков. Но ждать базы было некогда. Так с самых первых дней освобождения Крыма в сводках Совинформбюро стали появляться сообщения об ударах черноморских летчиков по кораблям врага.

Летчиков-черноморцев вела в бой великая ненависть и жажда скорее вернуть родной Севастополь. Семьи погибших там друзей, призраки стариков и женщин, потопленных в Черном море фашистами в тяжелые месяцы осады, стоят перед их глазами. И когда на ровной морской глади появляются перед штурмовыми самолетами темные черточки вражеского каравана, летчики-черноморцы безошибочно и точно посылают свои бомбы в корабли врага.

На них — гитлеровцы, немцы и румыны, грабители, палачи, убийцы и воры. Они расхитили богатства благословенного Южного полуострова. Они пожгли здесь деревни почти на всем пути от Симферополя до Чатыр-Дага. Они разрушили здесь города, взорвали лечебницы и санатории, опоганили южный берег, превратили в камни Севастополь. Они уничтожили тысячи наших людей, никогда не бравших в руки оружие.

И вот они платят жизнью за жизнь, кровью за кровь, криком за крик ужасом за ужас.

Это не месть. Это страшнее мести. Это возмездие — страшное, но справедливое.

Долго мы ждали победы. Стиснув зубы, протерев слезы, собирая все душевные силы, мы уходили, чтобы победить. Победа пришла из глубин нашей родины. Она пришла в величии народного духа, в труде отцов и матерей, в героизме и славе сынов. Она пришла и в Крым, она стоит над Севастополем и над Черным морем — и в руках ее сверкает холодный меч возмездия.

Мы уничтожаем, а не мстим. Мы просто очищаем нашу землю и море от племени убийц, созданных, выдрессированных и брошенных на наши дома и семьи непревзойденным убийцей и палачом — Адольфом Гитлером, которого также ждет возмездие.

7. НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ

Крутясь и извиваясь по склонам, бежит вверх горная дорога, пробиваясь через густой и высокий лес. Он играет на солнце всеми мыслимыми оттенками зеленого цвета от темной, почти синей глубины, скэпившейся в широкой листве огромных деревьев, до ярчайшей, поражающей глаз светлой зелени молодой травы. Крымская весна ликует в горах возрождающейся жизнью, радуя красками, ароматами, щебетом птиц, звонким рокотом горных речек, и голубые тени снегов на близких вершинах струят по склонам прохладу. Благословенный край солнца, гор и моря, простой и мудрый мир природы раздумчивая и живая тишина... Покой и чистота первозданной красоты...

И вдруг на самом перевале из зелени показываются бойницы, траншеи, доты и рядом — три могильных креста, черных с белым: немецкое укрепление. Оно оскорбляет глаз, как плевок на картине.

Мы останавливаем машину и входим в это жилище страха.

Да, здесь жил страх. В самой глубине «завоеванного жизненного пространства», в громадном удалении, от какого бы то ни было фронта, стоит это немецкое укрепление неким символом. Немцам не было житья здесь, на полуострове, который они два года считали своим. Они вырубали лес, нарыли глубоких траншей, опоясывающих кругом дом, настроили из бетонных труб огневые точки, каменной стеной перегородили шоссе, в три кола поставили проволоку, натянули пулеметов, гусеницами танков прикрыли козырьки окопов — и так, прислушиваясь к таинственной тишине горного леса, вздрагивая и оборачиваясь, сидели они здесь под презрительным взглядом старого Чатыр-Дага, ежеминутно ожидая, что с его крутых склонов, из густых его зарослей, из узких ущелий вырвутся на Южный берег партизаны.

По всему шоссе видны следы этого страха.

Там, где дорога идет в горном лесу, деревья вырублены метров на полтора-два по обе стороны каждого поворота: боялись партизанских снайперов. У мостов — огневые точки: боялись партизанских подрывников. Но то и дело встречаются у шоссе битые, сожженные машины разной давности гибели. Некоторые из них еще хранят очертания тупорылых транспортеров, широкозадых грузовиков, а порой — кокетливых офицерских лимузинов. Три зимы партизаны заваливали по ночам дорогу, подкладывали мины, взрывали шоссе, подстреливали шоферов, и машины катились с кручи, увлекая с собой в пропасть немцев.

Там же, где дорога бежит по ровному безлесному плоскогорью, немцы пожгли деревни, чтобы население их не кормило партизан. Сергеевка, Шамхай, Ангара — десятки деревень уничтожены. Залыменные голые стены торчат в пышных бело-розовых букетах садов печальным и страшным знаком беды и насилия, и издалека — из Балхасарая, из Евпатории, из Джанкоя — возвращаются на родные места женщины и дети выгнанные отсюда немцами. У них нет с собой ничего: немцы не дали на сборы и пяти минут. Они заходили в хаты, лаляли: «Вег! Вег!» — и семьи в чем были, уходили в горькую даль скитаний по захваченной врагом и разграбленной им родной земле.

Многие семьи ушли в горы вместе с партизанами, разделяя с мужьями и сынами страшные лишения. Ни одной ночи на том же месте — постоянные облавы, бои, окружения партизанских отрядов. Голодали и холодали. Люди забыли вкус соли. Были дни, когда ели траву, заваривали в кипятке мох. Повсюду удалось привести из степи скот, и тогда партизанский табор оживал.

В вечных боях с карательными отрядами кочевали в горах партизаны, держа семьи «в глубоком тылу». Мы поинтересовались, что могут означать эти слова там, где фронт был кругом, и нам объяснили: «самая середка...» Семьи располагались у вершины горы, а на склонах ее кольцом передвигались в боях партизаны. Незадолго до прорыва наших войск в Крым немцы начали новую облаву, четвертую за эту зиму. Партизан притеснили к самым вершинам. Женщины и дети мерзли. Тогда партизаны укрыли их от ветра в штабелях срубленного когда-то леса и ушли отбиваться от немцев. Вернувшись, после ожесточенного боя, они не увидели штабелей: все было открыто глубоким снегом, — он валил трое суток. Десятилетний парнишка Коля Журавлев рассказывал мне об этом с удивительным спокойствием:

— Под снегом даже теплой было, мы прямо отогрелись, а то ветер да ветер... А мамка ровет, — не найдут, говорит, нас. Мы откапываться.... Роем, роем руками, — а куда его денешь, снег-то? Там же тесно было... Хорошо, наши сверху нашли, откапали...

Коля полностью в немецком обмундировании: зеленоватый френч, лягушачьи штаны, сапоги с шипами, пилотка с пришитой нажекошь алой лентой: обносился и обобралился, приходилось пользоваться трофеями. В этой последней облаве партизаны вошли до крайней степени лишения. Не было ни еды, ни патронов. Но еще не разрядились аккумуляторы радио, и газета, — поразительная партизанская газета на обрывке бумаги, на которую

ударами щетки терпеливо переведена с набора краска, — сообщала новости с далеких фронтов. На последнем яростном дыхании держались люди в начале апреля, и в день, когда командиры вышли к отрядам с известием о прорыве наших войск в Крым, громовое «ура» потрясло горы. В тот же день партизаны скатились с гор грозной лавиной мести. Они помогали частям Красной армии в освобождении Симферополя, добивали отступающие отряды немцев на дорогах к Севастополю. На юге они ринулись на Ялту, Алушту, Массандру, перехватывали немцев на пути бегства.

И вот Южный берег расстилается под нами прекрасным видением, знакомым миллионам советских людей. Край здоровья и отдыха — обезображенный, расхищенный, изуродованный.

Алушта... В ней осталась примерно половина санаториев — и то лишь стены: инвентарь разграблен. Вокруг сожженные деревни. Одна из них — Улузень — уничтожена совершенно: боязь партизан. По этой же причине другая большая деревня Устькут окружена сплошным кольцом минных полей; людей на работы выводила из нее секретными ходами полиция. Для возможности обстрела подходов к Алуште вырублено множество садов, уничтожены целые гектары виноградников. Мосты на ялтинском шоссе были заминированы, но их спасла алуштинская молодежь: вслед за немецкими подрывниками они прокрались к мостам и вытащили до полутора тонн взрывчатки.

В Алуште мы разговаривали с военнопленными немцами. Один из нас завел речь о литературе. Солдаты мялись: они читали только дубовые «вицы» — тупые немецкие шутки в журналах. Зато обер-ефрейтор Пауль Форайтер решил блеснуть культурой перед своими солдатами и перед русскими офицерами. Он из зажиточной семьи, учился в университете, у отца была машина, на которой он катался в Шлезвиге, и поэтому в армии он стал шофером. Он сыпал именами авторов, которых он читал (запнувшись, впрочем, на Гейне) — Гёте, Лессинг, Шиллер, Эберс...

— Энгельс, — подсказал я.

— Яволь, конечно, Энгельс...

— А что вы больше всего любите у Энгельса?

Он самодовольно усмехнулся:

— Я так много читал, что не смогу вспомнить названий. Я большой поклонник литературы, особенно немецкой. Вам странно слышать это из уст солдата?

— Нет, отчего же, — сказал я. — Но все-таки, что больше всего вам нравится у Энгельса? Роман его или пьесы?

— Пьесы, — ответил обер-ефрейтор.

Я смотрел на этих пленных немцев, готовых угожливо и подобоострастно отвечать на любой вопрос, и мне вспомнилась тяжелая сцена в Евпатории. Мы сидели там вечером в русской семье, пережившей два с лишним года немецкого господства. Нам было весело, мы смеялись, — и вдруг хозяйка, прислушавшись, встала. Из-за стены доносились глухие рыдания.

— Кому нынче счастье, кому горе, — сказала она. — Соседка... Была днем на раскопках за вокзалом. Мужа нашла там в яме... И сынишку...

Вспоминая об этом, я глядел на ефрейторскую морду с подстриженными усиками, на гитлеровского молодчика, радующегося плену и безопасности, охотно беседующего о литературе. Такие, как он, убивали во рвах наших детей и женщин. Пусти его сейчас на волю, верни его в вольчую стаю, — он нес бы нам новое зло, жег бы дома, убивал бы беззащитных людей. Он — немец, наглый в успехе и подлый в неудаче, зверь, когда чувствует свою силу, и трус, когда чувствует силу другого. Крепче держите пойманных палачей, друзья!..

Не ему ли работник пионерского лагеря в Артеке Николай Федорович Гнеденко сказал свои последние тихие слова, исполненные человеческого благородства? Это было в первые дни прихода немцев на Южный берег. Немцы шли по Артеку, постреливая в статуй, раскрывая ударом сапога двери, оглядывая наших людей. Они повели с собой жену Гнеденка: еврейка. Николай Федорович взял ее за руку: — Что ж, пойду и я. Мы одинаковые люди.

Его расстреляли вместе с ней в очередной партин, подлежавшей фашистскому уничтожению.

Когда вы вернетесь в сказочный свой лагерь у синего моря, дети, вспомните о благородстве души обыкновенного русского человека. Пусть память о нем будет вечно жить в Артеке, в приют юности, вступающей в жизнь.

В печальном зрелище разрушений, разграблений и бед, причиненных немцами и румынами Южному берегу Крыма, запоминаются отдельные картины. Дико и странно было увидеть в Гурзуфе, в прекрасном когда-то здании лечебных процедур санатория РККА, — коновязь, кормушку, навоз. На рубильнике мраморной распределительной доски в кабинете «горного солнца» — кварцевых ламп — висела еще уздечка, подтверждающая, что здесь, в лечебнице, немцы держали лошадей. Почему и зачем нужно было превращать в конюшню целый и исправный дом здоровья, — нам, русским, никогда не будет понятно.

Дом в Гурзуфе, в котором жил Пушкин, разграблен. В комнатах музея грязные следы румынского постоя, наспех брошенные вещи, от-

вратительное белое, воняющее из угла, и на паркете следы костра. Жилье не чище конюшни. И на огонь этого костра пошел ствол того кипариса, к которому Пушкин каждый вечер ходил на свиданье, как к другу. Тонкий пенек его стоит у двери, и только пушкинские слова на разбитом мраморе доски свидетельствуют о том, что кипарис этот мы сберегали долее ста лет.

Ялта. Она производит впечатление не разрушенного города. Но лучшие дома на набережной — это только стены. Санатории, как везде, разграблены. Двадцать три (почти половина ялтинских здравниц) сожжены. Двенадцать из них немцы сожгли при последнем уходе, остальные — в январе 1942 года, когда десант наших моряков в Керчь и Феодосию заставил немцев приготовиться к оставлению Ялты.

Здесь мы узнали, как ялтинцы ходили в Симферополь в поисках хлеба и продуктов. Немцы давали пропуск только на группу в десять человек, — и все десять обязаны были вернуться вместе. Известен случай, когда одна из женщин, не осилив долгого пути пешком по горам, слегла в Симферополе. И остальные девять ждали ее выздоровления, тратя обмененные продукты на оплату ночлега, на взятки и на собственное питание. Через месяц группа вернулась в Ялту к голодным семьям с пустыми руками.

Было огромной радостью увидеть в Алушке замечательный Воронцовский дворец. Немцы разворовали здесь все полотна передвижной выставки Русского музея, часть фарфора и ковров, но основные ценности дворца-музея спасены его работниками.

Разнежившись на крымском солнце, немецкий комендант Алушки и всерьез поверил, что Крым стал немецким навеки. Да и как не поверить: сам фельдмаршал Манштейн получил в дар от Гитлера все Кичкины в качестве личного имущества. Дачи и санатории разбирались генералами, присматривалось подходящее имение для Розенберга, и сам комендант тоже отхватил себе услабку рядом с Алушкой. Все как будто устанавливалось прочно, навсегда. И комендант, любитель искусств, решил сохранить для будущих гостей Воронцовский музей.

Дворец был принят им под его покровительство и объявлен немецким музеем. Комендант даже лично присутствовал при посещениях комиссии, приехавшей из Берлина для отбора ценностей, достойных храниться в германских музеях. И тут началось трудное время для работников музея.

Они усердно расхваливали комиссию копии, выдавая их за подлинники. Редчайшее полотно английского художника Хогарта «Полятик»

привлекло внимание берлинского эксперта. Один из работников музея послешил объяснить, что это копия, — очень хорошая, но все же копия.

— Я думаю, — сказал немец с самодовольной тупостью. — Если бы это был подлинник, он висел бы в Дрезденской галлерее...

И эксперта поспешно провели дальше. В библиотеке немцы отобрали некоторые редкие книги на итальянском и французском языках. Но воронцовское собрание русских книг, а вместе с этим и ценнейшую коллекцию гравюр удалось спасти.

Из библиотеки есть ход в так называемую «железную башню», где и находились эти сокровища. Дверь туда сделана в виде двери книжного шкафа. Немцы открыли ряд стелных шкафов. На четвертом пустом шкафу немцы перестали интересоваться стелными дверьми, а пятая — вела к башне...

Но тактика генерала-мечената, решившегося сохранить музей для будущих гостей из Германии, не получила одобрения офицерства. Они начали «изъятия» своим способом. Капитан Дитман срезал низы портретного ковра Фех-Али-шаха, висевшего при выходе на львиную лестницу. Мы посоветовали повесить здесь плакат: «Украдено капитаном германской армии Дитманом».

Другой капитан украд из музея французскую бронзу — статуэтку Психеи. Она была установлена на мраморе, и стачать ее незаметно было нельзя. Капитан начал тщательную подготовку к воровской операции. Четыре дня он аккуратно посещал китайскую комнату, где на камине стояла Психея, и старался остаться там один. На пятый день Психея исчезла, а постамент остался. Оказалось, капитан германской армии все четыре дня терпеливо свинчивал крепления статуэтки — и под конец все-таки стачил Психею.

Все побережье от Феодосии до Севастополя и дальше, у Евпатории, представляло одно и то же зрелище. На пляжах минные поля, траншеи, проволока, доги, хитрые препятствия из поставленных на ребро снагторных коек, управляемые из догов фугасы. Это — следы еще одного страха: страха перед десангом с моря.

Есть такое английское выражение — «fleet in being» — флот в существовании. Оно означает, что сила флота измеряется не только теми боевыми действиями, которые он ведет, но и самым фактом наличия его на данном море, потенциальной его угрозой. Укрепления на всем побережье Крыма — великолепная иллюстрация к тому, какое значение имел и имеет на Черном море существующий там наш флот. В Крыму немцы везде держали гарнизоны в ожидании возможного десанта. В Румынии и до сих пор порядочное количество войск сидит

в береговых укреплениях в готовности отразить возможный десант.

После взятия Севастополя мы снова проехали по Южному берегу, на этот раз дорогой через Байдары. Нельзя было покинуть Крым, не насладившись одним из прекраснейших в мире зрелищ, возвращенных нам победой. У Байдарских ворот мы остановили машину и пошли к ним пешком.

Голубым, фиолетовым, дрожащим маревом распахнулось за каменной аркой море, высокое, как небо, и неотделимое от него. Взгляд, утомленный за часы дороги теснинами ущелий, нависшими скалами, близкой зеленью деревьев, вдруг уходит в ослепительный голубой простор, — и не можешь пенять, где в нем начинается небо и где кончается море. С этой огромной высоты оно не лежит а стоит перед глазами, и глаз не может найти линий горизонта. Если можно где ощутить — почти увидеть — бесконечность, это может быть только здесь.

Сколько раз я любовался отсюда Черным морем, но никогда еще эта мысль не приходила ко мне с такой волнующей ясностью. Бесконечная даль — даль пространства времени, славы — расстилалась передо мной. Далекие горы невидимых берегов как будто ясно виднелись в дрожащей дымке. Боевые походы славян, предков наших и современников ожили в волшебных переливах голубизны.

И на вязких дубовых челнах, на высоких деревянных кораблях, белеющих громадами парусов, на стройных стальных крейсерах, несомая вперед и вперед ударами грубых весел, свежим брамсельным ветром, рокошущим пеняем турбин, — плыла по Черному морю слава русского флота, плыла в века, в бесконечность грядущих времен, бессмертная, великолепная и огромная, как само Черное море.

8. СЕВАСТОПОЛЬ

Над всем широким полукольцом фронта от Северной стороны до Балаклавы воздух гремит, раскалывается, гудит, перекатывая грохот залпов: идет артиллерийская подготовка штурма Севастополя. Снаряды тяжело шелестят над головой, непрерывно и нескончаемо, — и временами кажется, что мы находимся под сплошным металлическим сводом, перекинутым от наших огневых позиций к переднему краю немцев.

На гребне знакомой высоты, длинным горбом выгнувшейся перед наблюдательным пунктом, вдруг прорастает высокий и частый лес: у правого края гребня одно за другим быстро встают в ряд фантастические деревья из земли и дыма. Стена гибели еще стоит над немецкими дотами и траншеями, погачивая свою пышную черную листву, а рядом с ней, про-

должая ее, уже прорастает на гребне новый лес, — и не успевает он слиться в сплошную пелену, когда еще левей вновь взвиваются к небу тесным и точным рядом черные дымы.

Это гвардейские минометы дали по высоте 282.0 три последовательных залпа. На минуту-полторы общий гул стрельбы заглушается плотным рокотом их разрывов, как будто длинная очередь пулемета, тысячекратно усиленного в звуке и в разрушительной силе, простучала рядом.

К исходу первого часа весь горизонт перед нами уже неразличимо затянут дымом и пылью разрывов. Темные облака все выше встают над горами, отделяющими нас от Севастополя. Гроза разразилась над немцами — гроза гнева, расплаты, возмездия.

В начале войны Севастополь дал родине драгоценные восемь месяцев задержки немецкого наступления. Оттягивая на себя войска, предназначенные немцами для удара через Керченский пролив на Кавказ, продолжая оставаться в их тылу опаснейшим плацдармом и угрозой, Севастополь выигрывал в войне время, так нужное родине для подготовки встречного удара. Моряки и красноармейцы держали Севастополь, а далеко от них, в глубине огромной нашей страны, на Урале, в Сибири, в Средней Азии, разворачивалась военная промышленность, ковалось оружие победы.

И вот во всей великолепной мощи оно пришло сюда — оружие, созданное родиной за два года разлуки с Севастополем. Оно пришло освободить героический город, чья самозабвенная борьба помогла рождению этого оружия. Густой бас тяжелых орудий и оглушающие хлопки штурмовой артиллерии, яростная скорогворка гвардейских минометов, ураганный вой стремительных «Илов» и высокое гуденье бомбардировщиков, прерываемое тяжкими плотными ударами бомб... Если б люди, которые великим своим трудом бойцов глубокого тыла создали это оружие, могли бы увидеть его вот так — всё разом, в общем согласном действии, в могучей силе одновременного удара! С какой гордостью и удовлетворением слушали бы они этот голос победы, подготовленной их собственными руками!

Позже, на скатах Сапун-Горы, мы увидели следы этой прошумевшей грозы. Все три километра склона были изрыты, все было в свежих огромных ямах. Земля здесь вся перевернута травой вниз. Сперва нас поразило малое количество трупов, — мы знали, что вся гора была занята немцами. Но, бродя по склону и натываясь на торчащие из земли руки и ноги, на стволы орудий, заваленные камнями, на прутья арматуры дотов, которые выглядывали из желтой ямы причудливыми букетами засохших, перепутавшихся ветвей, — мы поняли,

что здесь видимых следов ожидать не следует: между двумя соседними воронками было едва три-четыре шага на тронутой металлом земле...

Только так и можно было прорвать сильнейшую оборону немцев на Сапун-Горе, как, впрочем, и в других узлах сопротивления. Если бы не удалось добиться такой плотности, силы и меткости огня, то при первой же нашей атаке исправно отработали бы все минные поля, и все немецкие доты, дзоты, щели, огневые точки встретили бы атакующих ливнем свинца. За Сапун-Горой мы зашли в оставленный безавшими немцами бетонный дол. Он живо напомнил мне доты линии Маннергейма: такие же толстые стены, броневые укрытия, узкие амбразуры, таблицы пристрелянных до метра рубежей, солиднейшее убежище в нижнем этаже... Сила такой крепости, на которую немцы потратили два года труда, могла быть раздавлена только прямым попаданием.

Однако это не значит, что после такой блестящей артиллерийской подготовки нашей пехоте оставалось лишь пройти триумфальным маршем: высота Безымянная, расположенная возле Сапун-Горы, встретила батальон Дебальцевского полка жестоким огнем, и там, спасая от него товарищей, ринулся на амбразуру дота красноармеец Н. Афанасьев. Он был убит, но тело героя закрыло амбразуру — и рота провалилась...

Словно какая-то сила восторга торжества и жажды окончательной победы несла людей на траншеи, доты, на орудия и пулеметный огонь отчаянно сопротивлявшегося врага, несла вперед, к Севастополю. Последние километры до него наши передовые части прошли одним рывком, за несколько часов — штабы не успевали отмечать продвижение частей. К середине дня 9 мая войска ворвались в город. Начались уличные бои.

Они закончились к ночи, а рано утром мы пробирались к Севастополю, лавируя на машине по шоссе между войсками, орудиями, танками. Все это стремилось к Херсонесу для последнего расчета с немцами: там, на мысу, вдающемся в море, у немцев был подготовлен последний рубеж для прикрытия посадки на пловучие средства. Обогнуть эту лавину было невозможно. Мы оставили машину и пошли пешком.

С жадностью я всматривался в медленно раскрывающуюся передо мной картину великого города. Раннее солнце сияло на небе, по-утреннему бесцветном, и вода бухты, не огражая еще яркой синевы, блестела светлой гладью. Справа, на скалах, лепились крохотные домики Корабельной стороны, зияющей темными пятнами сторевших кварталов: лишь изредка радовали глаз целые крыши и садки. Слева, на зеленой высоте Исторического бульвара, видне-

лось здание панорамы севастопольской обороны. Издали оно казалось целым, но обугленный каркас купола чернел на небе острыми прутьями, торчащими, как иглы тернового венца — знака страдания и мук. У выхода в море бессмертным видением флотской славы вставал из воды старый Константиновский рavelин. Черный дым покачивался над центром города высоким столбом. Гудели в небе штурмовики, идущие на Херсонес, грохотала за Рудольфовой горой артиллерия, добивая там немцев. На высоких развалинах адели флаги, поставленные ворвавшимися ночью в город первыми нашими бойцами.

Всё это навсегда запоминалось на медленном шаге. Торжественное раздумье волновало сердце. Каждый камень передо мной был дважды полит русской кровью его защитников.

Если бы я поддался чувству я стал бы на колени и земным русским поклоном поклонился бы великому герою двух оборон. мученику двух осад, огромной могиле тысяч героев, братьев моих по морю, по чести, по оружию.

Шоссе спустилось в Лабораторную балку, и первые севастопольские дома лепясь по горе, встретили нас. Тут, неподалеку от вокзала, в кювете шоссе, мы увидели первого немца, убитого в уличном бою.

Он лежал в пыли и ничтожестве, навзничь в зеленом своем лягушачьем олеянии. В левой его руке был зажат автомат, в правой — курица. Хозяинка домика, увпдев, что мы с удивлением рассматриваем эту карикатуру, неожиданно воплотившуюся в действительность, пояснила:

— Это, как к вечеру стрельба пошла, он заметался, схватился бежать, — заскочил к соседке на двор, ухватил курицу — и вниз... Тут его наши и подстрелили...

Мы пошли дальше, дивясь на это свидетельство неистребимой тяги к грабежу, пересиливающей в немцах страх.

Вокзал открылся перед нами грудой камней, дыбом вставшими рельсами, длинными рядами вагонов с фашистским гербом, холодильники, пассажирские, товарные, платформы... Десятки их были сброшены немцами в море, но эти остались.

В бухте за вокзалом, накренившись, стоял пловучий кран, взорванный немцами, а за ним — по всему берегу бухты — торчали из воды мачты и трубы, мостики и надстройки немецких кораблей, потопленных бомбами наших летчиков. Черными обломками стен виднелся по берегу разрушенный порт, и группы наших бойцов уже тушили пожар большого склада.

Знакомой дорогой над бухтой мы поднялись от вокзала к улице Ленина. Совинформбюро два года назад сообщало: «За все 8 месяцев

обороны Севастополя враг потерял до 300 000 своих солдат убитыми и ранеными. В боях за Севастополь немецкие войска понесли огромные потери, приобрели же — руины».

Да, это так. Одни руины. Город разрушен десятками тысяч бомб, сброшенных на него немцами за время осады. Мы прошли все главные улицы города — и не видели ни одного целого дома. Только два — водная станция «Динамо» и санаторий имени Сталина возле нее — походили на дома. Все остальные — разрушены. Дом Красного флота, библиотека, театр, исторический музей, новое кино, гостиницы «Интурист», «Франция», «Приморская», штаб флота, чудесный дворец на горе — филиал ДКФ, огромный Дом подводников, Сеченовский институт, Дом специалистов на улице Карла Маркса — всё это или торчащие стены или просто высокие груды камней.

С волнением подходили мы к Приморскому бульвару. Я искал глазами вздымающуюся из воды белую колонну, с которой орел осеняет шпироклами крылами бухту — памятник погибшим кораблям, затопленным черноморцами в первой осаде. За деревьями бульвара вздымался тот огромный столб дыма, который был виден еще издали, — у берега горел танкер, подорванный нашей авиацией и прибывший к бульвару. Памятника не было видно, и горькое чувство кольнуло меня.

Но внезапный порыв ветра сильно качнул облако дыма — и на мрачном его фоне величественно и празднично просияла стройная белая колонна. Она прорезала черный немецкий тым светлым видением несокрушимой, неуничтожаемой силы. И на миг мне показалось, будто я вижу, как из руин и дымов, из развалин и пожаров вновь встал над бухтой прекрасный город — целый, величественный, в зелени и в цветах, живой и счастливый город-герой, воспитавший два поколения верных сынов отчизны — севастопольцев.

Так будет. Кончится война — и родина восстановит Севастополь, колыбель мужества, верности и славы, во всей его величавой красе, и памятники героям второй обороны встанут на высоких скалах над Черным морем, и здание папорамы второй севастопольской обороны займет другую высокую гору, перекликаясь с первой, и венец двойной славы осенит Севастополь.

Но сегодня...

Сердце сжимается при взгляде на город. Обратительные следы немецкого сапога оскорбляют великие могилы. Против Сеченовского института физических методов лечения — изуродованного, разрушенного, взывающего к мести печальным видением обезглавленных рядами статуй — стоит аппарат дымовой завесы, баллон, манометр. Рядом немецкая на-

пись: «Не приближаться, ядовито!» Это же предупреждение повторено на румынском языке. Русского перевода нет: не беда, если русский человек и отравится просачивающимся из баллона газом.

Для русских — другие надписи. У Владимирского собора, стена которого развалена рядом, стоит на углу разрушенной улицы плакат-обриг: «Кто пойдет дальше, будет застрелен. Портовый комендант». Здесь начиналась запретная зона — Карантинная бухта, Рудольфова гора: там было несколько уцелевших зданий, в которых жили немцы.

Возле этого плаката мы встретили двух седых женщин, и от них мы впервые услышали то, что после подтверждали все встреченные нами редкие жители Севастополя.

Начиная с 25 апреля по кварталам Зеленой горки, Воронцовой горы, Корабельной слободки, где в уцелевших маленьких хатках только и жили севастопольские семьи, начали ходить с облавой немцы. Заходили в дома с короткой командой «Вег! Вег!»... Забирали всех подряд: стариков, женщин, детей.

Их отвели в Стрелецкую бухту и начали грузить на баржи и транспорты — на палубу. В трюмы же пошли немцы. Русским объясняли: «Когда летчик будет бомбить — машите платками, показывайте детей, плачьте, кричите!..»

Так немцы, терпя от нашей авиации и торпедных катеров большие потери в караванах, прибегали к чудовищному способу маскировки. Мы знаем случаи, когда немцы гнали перед собой в атаку русских женщин и детей, прикрываясь ими от нашего огня. Но эта «маскировка» не имеет себе равной по подлости.

И это преступление немцев надо записать на их кровавый счет.

Из разговоров с севастопольцами мы узнали, что в городе все время выходила подпольная газета «За родину». Ее издавали неведомые нашим собеседникам люди. Но о газете слышали все; те, кто сам не читал ее, получали новости из уст других. Все события войны: победа под Сталинградом, наше зимнее наступление, прорыв в Крым, — все было известно севастопольцам. Мы встретили женщину, которая через машинистку управления волокалалом доставала бумагу и передавала ее для газеты знакомому, а тот уже отдавал «неизвестно кому». В строгой тайне выходило несколько экземпляров газеты. В той массе клеветы и лжи, которой немцы пытались отравить сознание советских людей, правдивое слово о войне, самое напоминание о родине было делом огромной значимости. Оно стоит подвига на фронте. И делу этому лучшие люди Севастополя отдали свои жизни: 10 апре-

ля немцы расстреляли восемь подпольщиков-коммунистов...

Вечером 10 мая в Севастополе был салют. Это был изумительный салют победителей: город и армия ликовали. В небо взвивались ракеты одна за другой целый час подряд. По небу чертили огненные трассы. Где-то бухали орудия. На гребне холма, против домика, где мы расположились почевать, мы увидели также черные разрывы, вздымавшиеся на бело-красно-зеленом фоне ракет: кто-то за немением ракет рванул на радостях парочку-другую трофейных гранат...

В ту ночь немцы еще держались на Херсонесском мысу, пытаясь грузиться на последние транспорты и баржи. Оттуда доносился другой салют: их бомбила наша авиация, обстреливала артиллерия. И я подумал: с каким чувством отчаяния и безнадежности смотрят немцы из своих дотов, из траншей, с пристаней на сияющий огнями город победы.

Мы выгнали их из Севастополя, мы добывали их остатки на мысу. Черное будущее открыло перед ними завесу. Настанет день — и они так же будут цепляться за тот последний клочок земли, который будет еще в их руках, а мрачная бездна гибели будет ожидать их так же неотвратимо, как ждало их в тот вечер глубокое Черное море за последней линией траншей.

Свидание мое с Севастополем было кратко. Мы должны были покинуть его. Утром перед отъездом я поднялся на гору в центре города — к собору, на разрушенных стенах которого уцелели мраморные доски с именами черноморских адмиралов, защитников Севастополя в первой осаде: Нахимов, Истомин, Лазарев, Корнилов.

Я был здесь один на один с великим городом. Бухта синела внизу. Море уходило в бесконечную даль. Севастополь сбегал к нему ступенями лестниц, развалинами домов, садами, бульварами. Всюду, куда хватал глаз, виднелись одни руины — рассыпавшиеся дома, недвижные трупы кварталов. Зелень ли-

сты пробивалась в мостовых, одичавшая сирень лиловела в камнях.

В благородном молчании доблестной воинской смерти лежал передо мной великий город Черноморского флота, уничтоженный немцами, но не сдавшийся. Я смотрел на его руины и думал о том, что дивная слава Севастополя будет вечно жить в сердцах людей.

Город на скалах — он сам стоял в двух оборонах, как скала. Город у моря — он сам несет в себе душу моря, бессмертную, гордую и отважную. Город южного солнца — он сам сияет в веках следительным блеском военной доблести.

И вот что осталось нынче от него: скалы, море да солнце. Да бессмертная слава, которая возродит эти груды камней.

Торжественная могучая тишина истории плывет над развалинами, — истории, созданной моими прадедами и творимой моими современниками. Дыхание веков проносится над городом, унося в будущее двойную славу Севастополя, славу двух оборон.

И в отблеске этой славы я вдруг ощутил собственное бессмертие. Оно лежало на моей груди круглой пластинкой бронзы на светло-зеленой ленте. Я был один здесь на горе: я снял с груди свое бессмертие и поцеловал его — севастопольскую медаль, которой родина приобщила меня к бессмертной славе бессмертного города.

Никогда с такой силой не ощущал я счастья и гордости принадлежать к великому народу, жить в великой эпохе и быть свидетелем великих дел. На высоком холме разрушенного Севастополя в час его освобождения, в день возрождения его к жизни я с необычайной ясностью понял это.

Из-за одного такого мгновения стоит жить.

Сладостен миг победы. К ней, к победе, друзья! Все силы для нее, все мысли, все чувства.

К победе, друзья, — с великим Сталиным, с великим народом!

Апрель — май 1944 г.

Площадь цветов

Драма в четырех актах, пяти картинах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

АННА СЕРГЕЕВНА КАШИРИНА, 52 лет
(по мужу — КОШЕЛЕВА).

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА — ее сестра, 55 лет.

НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА — вторая сестра,
50 лет.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ — их отец, 75 лет.

КАТЯ — дочь Анны Сергеевны, 20 лет

ИВАН ИВАНОВИЧ МУШКИН, 30 лет.

АНАТОЛИЙ БЕРКУТОВ, 30 лет.

ГЮТНЕР — немецкий лейтенант.

ПЕРЕВОДЧИК — вертлявый молодой немец.
Немецкие солдаты.

Посыльный — старик.

Место действия — маленький провинциальный
город за тысячу километров от Москвы.

Время действия: осень 1941 — весна 1942 года.

АКТ ПЕРВЫЙ

Картина первая

Светлая комната с двумя окнами налево и стеклянной дверью на террасу, выходящую в сад. Направо — винтовая лестница, ведущая в комнату второго этажа. За ней дверь на кухню и кафельная печь. Под лестницей — арка, отделяющая вторую комнату; арка задрапирована.

Посреди комнаты стол с лампой и самоваром. Налево, под окном, диван. Много цветов в вазах. На стене висит в футляре кларнет, стальные часы с огромным маятником. В правом углу — большое зеркало. В левом — буфет, на нем медная ступка.

Поздний час. Горит керосиновая лампа под белым абажуром. Окна и стеклянная дверь завешены одеялами. Анна Сергеевна вытирает посуду, тревожно поглядывая на часы. Татьяна Сергеевна что-то вяжет. Надежда курит, сидя на диване. Доносится гул артиллерийской стрельбы.

АННА. Так поздно, а Кати все нет.

ТАТЬЯНА. Не беспокойся, Анюта, ее проводит Иван Иванович.

НАДЕЖДА. Тоже защитник! Козьявка несчастная.

АННА. Зачем, Надя, ты так говоришь? Иван Иванович очень приятный, воспитанный человек.

ТАТЬЯНА. Надежда не знает его.

НАДЕЖДА. Да, Танюша, ты угадала. И я удивляюсь, что Анюта до сих пор питает уважение к этому ничтожеству.

АННА Иван Иванович — единственный человек, с которым можно посоветоваться. Ну что мы, беззащитные женщины, понимаем в том, что происходит? Все куда-то убежали... Исполкомовцы тоже убежали — потеряли голову. Один Иван Иванович сохраняет самообладание.

НАДЕЖДА. Чего ему убежать? Не все ли равно козявке, на каком цветке сидеть?

АННА. Надя, ну как можно это говорить? Иван Иванович секретарь горсовета, ответственный работник...

НАДЕЖДА. Ответственные ушли, чтобы бороться с немцами, остались козявки.

ТАТЬЯНА. Мы тоже остались.

НАДЕЖДА. И мы — козявки.

АННА. Но ты подумай Надя, куда же нам было уходить? Четыре женщины и старик. На верную гибель?

НАДЕЖДА. Да, ты права. Анюта. Улитка. И та переползает с места на место, тащит на себе свой дом, а наш дом разве потащишь яд себе?

АННА. Вот именно. Что мы без этого дома? В нем вся наша жизнь...

НАДЕЖДА (насмешливо). Жизнь?

АННА. Тебе, Надя, конечно, легко решать такие вопросы. Ты всегда держалась в стороне от житейских забот. А я все силы свои вложила в эти стены. Отец всю жизнь свою блил, чтобы построить дом, обеспечить нас теи-

ным углом. Танюша всадила в этот дом всё свое учительское жалование за десятки лет. И вдруг бросить всё на призывол судьбы и бежать куда-то в Сибирь, к чужим людям, в хлебники, ютиться в углу из милости и кланяться за каждую картофелину, когда в подвале у нас и картошка, и огурцы, и моченные яблоки. Это безумие, Надя, и я очень рада, что Иван Иванович открыл мне глаза.

НАДЕЖДА. Смотри, Анюта, как бы он не помог тебе закрыть их.

АННА. Да вот медная ступка. Ей больше ста лет. В ней наша прабабушка толкла сахар. И для меня — это святиня... Как же я могу ее бросить? Я — земной человек, мне дорога каждая вещь, каждая тряпка... А ты всё такая же, как в юности, живёшь в мире своих фантазий, витаешь в облаках и презираешь простую жизнь.

ТАТЬЯНА. Ну вот, опять схватка. И так всю жизнь. Нпкак не можете понять друг друга.

НАДЕЖДА. И не поймём никогда. Жизнь прошла мимо нас, большая, яркая, красивая, всех закрутила, понесла куда-то, как река в половодье. Только вот мы, Каширины, остались за своим высоким забором умирать среди милых нам вещей, среди медных ступок, цветов и кур.

АННА. А чем плохо мы жили? Небогато, правда, да ни в чем не нуждались, и чужого хлеба не ели, всё своими руками. Жили тихо, никому от нас зла не было, звезд с неба не снимали, жили скромно, как все.

НАДЕЖДА. Как все... маленькпе, серенькие людишки... Ну, хорошо, — мы свой век отжили, назад не вернешься. Но зачем вы Катю обрекаете на такую судьбу? Зачем вы привязали её к своему забору? Вы не отпустили её в Москву, в театральный институт. Вы губите в ней актрису. Вы торопитесь выдать её замуж за этого ничтожного Мушкина. Вы не разрешили ей уехать в эвакуацию с Крамскими. Там, в Сибири, она была бы в полной безопасности. А что будет теперь, вы подумали?

АННА. Может быть, немцы уже не такие плохие, как их расписывают эти писатели. Они трогают только тех, кто сопротивляется. А мы будем жить тихо, неприметно. Катя будет всегда дома, с нами...

Довосятся глухие раскаты артиллерийской стрельбы. Звенят стекла.

ТАТЬЯНА. И зачем Катюша пошла в такое время?

НАДЕЖДА. Я попросила её сходить в библиотеку за книгой. Мне нужно закончить перевод с английского...

АННА (раздражённо). Господи, ну кому теперь нужны твои переводы с английского?! Твои иностранные языки.

Распахнув драпировку, входит Сергей Петрович.

ТАТЬЯНА. Папа, опять стреляют.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. На войне всегда стреляют. И даже убивают. Ты — учительница и должна знать эти элементарные вещи.

НАДЕЖДА. Каширины знают жизнь только по книгам, а в книгах война изображается, как интересное происшествие.

АННА. Надя, оставь, ради бога, свои колкости! Ты видишь, я вся дрожу... Боже мой, где же Катюша?

Она в тревоге мечется по комнате, задевзя вещи. Что-то свалилось со столика и разбилось.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ (надевая полубоук). А ведь мы забыли в саду выкопанные луковичи гладиолусов.

АННА (в отчаянии). Папа, ну какие теперь гладиолусы! Ты никуда не пойдешь.

НАДЕЖДА. Я схожу в сад и принесу. (Открывает дверь на террасу.) Уменьшите огонь в лампе, папа. Какая тьма!.. И что-то горит вдали.

Все бросаются к двери.

ТАТЬЯНА. Это, кажется, в центре города.

АННА. Нет, это вокзал.

Раздается взрыв большой силы.

НАДЕЖДА. Это наши лётчики бомбят город. Нас бомбят свои же.

ТАТЬЯНА. Как это свои? Зачем они будут бомбить наш город?

НАДЕЖДА. Наш город стал немецким, и мы — немецкие, и нас нужно бомбить, и будут бомбить.

АННА. Жутко, дом на экране, почти в поле. Среди людей было бы веселей сейчас.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Нет, Анна Сергеевна, я нарочно построился в стороне. Там пожар — и ты гори, а тут поспокойней... Ты не забыла сорвать антоновку, которую я оставил до первых морозов?

АННА. Папа, ты, как ребёнок: антоновка, гладиолусы. Смотри, какой ужас творится там... И Кати нет до сих пор... Я, верно, сойду с ума...

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Сходить с ума еще рано. Война только начинается, дорогая Анна Сергеевна. Ум еще пригодится. Внучка придёт, а вот антоновка помёрзнет, а ведь это наш

хлеб. На автоновку можно выменять много муки. Картошку всю сыпали в подвал?

Ему не отвечают. Раздается второй громкий взрыв. Тишина.

НАДЕЖДА. Вокзал бомбят. А какое было красивое здание! И как хорошо было встречать поезда и думать, что люди едут куда-то в далёкие края, в Москву. Теперь уж нам никогда её не увидеть. Мы — немецкие. Как страшно и... стыдно (закрывает руками лицо и стоит неподвижно).

ТАТЬЯНА. Я не понимаю почему наши отступили? Ничего не понимаю.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Всё ясно. Мы — русские, мирный, трудолюбивый народ. Мы все строились, сады выращивали...

НАДЕЖДА. А учительница Татьяна Каширина в это время водила своих учеников в поле, рассказывала про цветочки... Вот теперь поспели и ягоды.

ТАТЬЯНА. Цветы тоже нужны человеку, душе его, сердцу... И кто знает, может быть, мои ученики сейчас храбро бьются с немцами, потому что научила их любить цветы, поля, родную землю.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ (весело). Правильно, Татьяна Сергеевна! Цветы. Сим победиши!

НАДЕЖДА (насмешливо). Цветы против танков!

ТАТЬЯНА (горячо). Да, да! Танки бесильны, если человек любит цветы своей родной земли.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Так, так, Татьяна Сергеевна, цветы. Сим победиши! А посею нужно всё-таки принести гладиолусы. (Идёт на террасу.)

АННА. Я умру, если Катя сейчас не придёт...

ТАТЬЯНА. Не волнуйся так, Анюта. Тебе вредно. Успокойся, родная. Я сейчас оденусь и встречу её. (Торопливо одевается.)

АННА (Надежде). Если что-нибудь случится с Катей, то ты будешь виновата. И вообще ты скверно действуешь на Катю.

НАДЕЖДА. Я люблю Катюшу не меньше, чем ты с Таней, но вы своей любовью губите её.

АННА. Ты не была матерью и не понимаешь меня...

НАДЕЖДА. Да, я лишена счастья материнства... высшего счастья женщины.

АННА. Но ведь полковник Беркутов был женат...

НАДЕЖДА. А Каширины убеждены, что любить женатого — великий грех.

АННА. Ах, опять эти упреки! Можно подумать, что тебе всё еще двадцать лет.

НАДЕЖДА. В пятьдесят лет тяжелей, потому что нельзя исправить то, что сломано в молодости. Вы убили во мне мать. Теперь убиваете Катю.

Возвращается из сада Сергей Петрович с цветочными луковичками. Татьяна берет у него ящик.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Их нужно опустить в погреб, Тапюша. В комнате слишком тепло.

ТАТЬЯНА. Я сейчас спущусь, папа. (Отдвигает диван, снимает ковёр — под ним крышка люка в подвал.) Посвети мне, папа.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ (берёт лампу). Кстати, послушай, как там себя чувствуют пчёлки? Нет ли воды?

ТАТЬЯНА. Ну, какая там вода, папа. Подвал чудесный, в песке. Только ты, папа, мог выбрать такое замечательное место для дома. Входит Катя с бледным, испуганным лицом. За ней Мушкин. Он в шляпе, хорошо отглаженном пальто, с тросточкой. Анна бросается к Кате.

АННА. Наконец-то... Катюша, родная! Как я измучилась!

МУШКИН. Здравствуйте. Анна Сергеевна. Мое почтение, Сергей Петрович. Привет, Надежда Сергеевна. (Пожимает всем руки.) Ну вот и доставил вам Екатерину Петровну в полном благополучии. Пожалуйста расписочку!

КАТЯ. Разве я пакет?

МУШКИН. Так сказать, фигуральное выражение.

НАДЕЖДА. Остроумие образованного человека. Катюша, ты принесла книгу?

КАТЯ. Книги горят... Всё горит... Всё.

МУШКИН (расхаживая). Бомбы рвутся всюду, стрельба... Пожары... Признаться, даже мне, мужчине, жутковато. Война — страшное зрелище... Наш Сердеченск не видел ничего подобного со дня своего основания! Колпмар!

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Сердеченск видел под своими стенами татар и половцев.

МУШКИН. Но разве то была война, Сергей Петрович? Стрелы, копья.. кипящая смола. Но вы посмотрели бы на немецкие танки, Сергей Петрович! Тигры! Львы! Слоны из железа и стали. Рёв, грохот, рычание. Это ужас... ужас, что такое.

НАДЕЖДА. Если так страшно, то зачем же вы остались в городе?

МУШКИН (удивлённо). Зачем я остался? Разве вам непонятно до сих пор, Надежда Сергеевна? (Отчеканивая слова.) Я остался потому, что остались вы, Каширины. Разве мог я покинуть вас в такой страшный час? Вас, беззащитных женщин и глубокого старца? Это было бы подлостью с моей стороны. Вы — мои друзья. Вы согрели мою одино-

кую жизнь теплом своей ласки и любви. Если уж суждено погибнуть, то только с вами.

АННА. Я всегда считала вас, Иван Иванович, нашим другом. Спасибо вам. Спасибо.

МУШКИН. Анна Сергеевна, поверьте! Моя жизнь — ваша жизнь. Я столько пережил за этот день.

АННА. Да, да... Вам угрожает большая опасность, Иван Иванович. Вель вы же ответственный работник. А немцы в первую голову расправляются с такими-то... коммунистами...

МУШКИН. Я беспартийный, Анна Сергеевна. Всё собирался подать заявление, и всё как-то откладывал. Какое-то предчувствие, так сказать, было, будто кто нашептывает: «подожди».

НАДЕЖДА. Но ведь вы служили советской власти?

МУШКИН. Да, служил, так сказать. Но вот взгляните на эти часы. Пыляз Буре. Хорошие часы, но сами они не могут идти. Их заводят. И они идут уже полсотни лет. Тикают. Они тикали в кабинете какого-нибудь фабриканта, потом фабрикант исчез, часы же продолжали тикать, их продали, а вы их купили. Они так же хорошо тикали и при советской власти, служили вам, и мы говорим: хорошие часы! Я и вы, — все мы, нас таких много, — мы — часы. Кто-то поднимает гирию по утрам, гирия по закону Ньютона тянет вниз колесико нашей судьбы, и мы действуем не по своей, так сказать, воле, а механически Тикаем. Теперь гирию нашей жизни будут подтягивать другие, и мы будем тикать, потому что часы нужны и теперь.

АННА. Вы удивительно просто умеете всё объяснить, Иван Иванович. Сразу стало спокойней на душе. В самом деле, если разобраться, то ничего, пожалуй, страшного и нет. Мы — обыкновенные, простые смертные, и мы не отвечаем за то, что было раньше.

НАДЕЖДА. Часы нельзя обвинять в измене. Какая радость!

МУШКИН. Ну, посудите сами. Возьмем хотя бы вашу семью. Вы жили, как жили тысячи людей: копались в своем саду, огороде, выращивали овощи и, так сказать, питались... Анна Сергеевна хозяйничала, правила домом. Татьяна Сергеевна обучала ребятшек решать задачи, писать. Надежда Сергеевна делала переводы с иностранных языков... Сергей Петрович разводил гладиолусы и яблони... Катерина Петровна вообще невинное создание. И никаких у вас нет, так сказать, грехов. Вы ни во что не вмешивались, на митингах не выступали, вперед не лезли, жили тихо, мирно, как живут букашки, так сказать. Вы жили в своём тихом домике, за высоким забором, и вам не было никакого дела, кто там проповедывал и строил социализм. Вы жили, так сказать, своим маленьким государством, по своим

тихим законам, и вы ни за что не отвечаете. Вы краткие духом!

Каширины смотрят на Мушкина со страхом, точно он читает им смертный приговор. Только на лице Надежды злобное презрение.

НАДЕЖДА. Крот-кие... От слова — крот.

ТАТЬЯНА. Но ведь я учила детей, Иван Иванович, в советской школе. Я учила их ненавидеть рабство... насилие... фашистов. Я воспитывала в них чувство любви ко всему человечеству...

МУШКИН. Да, помню, помню, Татьяна Сергеевна, ваши слова: «Детки, все люди — братья...» Романтический бред. Татьяна Сергеевна! Как говорит поэт: «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». Вы, Татьяна Сергеевна, навевали нам сон золотой. Ну, что ж, ошиблись. Ошибка же, как известно, не ставится в фальшь. Тем более вы ведь говорили не свои слова, а чужие, так сказать, механически. Учитель подобен патефону, который исполняет любую песню.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Но вот я, Иван Иванович, имею благодарность от советской власти, медаль Всесоюзной сельскохозяйственной выставки за мои цветы. Я служил своему народу сердцем. Я не патефон и не часы, Иван Иванович! Мои гладиолусы украшали жизнь людей.

МУШКИН. Но ведь в политике ваши гладиолусы не имеют никакого отношения, Сергей Петрович. Гладиолусы ваши, так сказать, беспартийные. Как я, как вы все. Цветы одинаково бесстрастно украшают и роскошный дворец богача и белую лачугу дровосека... И ваш высокий забор есть символ вашего вмешательства в полигаку. Подобно тихой Швейцарии, вы сохраняете нейтралитет во всякой войне. Кстати, Москва занята немцами...

НАДЕЖДА. Этого не может быть.

МУШКИН. Точно, Надежда Сергеевна. Красная Армия отступает за Урал. Корабль, который вез вас в страну социализма, потерпел, так сказать, крушение. Ну и что же? У вас есть свой остров Уединения и преданный слуга — Пятница. И пусть вокруг бушует океан, Анна Сергеевна будет разводить кур и солить огурцы.

АННА. Иван Иванович, мы своё прожили, но Гатя... Я так боюсь за неё. Молодая, красивая девушка и... немцы. Вы же сами говорите — это львы...

МУШКИН. Анна Сергеевна, пусть только лев прикоснётся к ней своей лапой! Я первый брошусь в клетку со львом и вырву Катерину Петровну из страшного пасты! И еще неизвестно, у кого больше мужества: у того, кто безоружный бросается в клетку льва, чтобы спасти

жертву, или у тех, кто бежит домой за ружьем.

НАДЕЖДА. Да, вы войдете в клетку, Мушкин, в этом я не сомневаюсь и вы останетесь живы, Мушкин, как та собачка, которая жила в одной клетке со львом. Помните? Лев даже полюбил собачку и тосковал, когда она издохла. Но она всё же издохла, белая собачка.

МУШКИН. Вы очень кстати напомнили эту трогательную историю. Надежда Сергеевна. Эта история очень поучительна. Она показывает, что и у льва есть сердце.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Когда лев в клетке, но сейчас-то он на свободе?

МУШКИН. А кто знает, каков он на свободе? Кто наблюдал, как ведет себя лев на свободе?

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Кое-что слышали.

МУШКИН. Да вель это рассказы робких людей, Сергей Петрович! Ну, посудите сами. Я тоже немного боялся. Но вот они пришли. Я в это время в горсовете составлял ведомость о наличии противопожарного оборудования. Вошёл лейтенант Гютнер, вежливо отрекомендовался, похвалил, что я продолжаю свою работу, и предложил мне быть секретарём местной управы. Зарплата 400 рублей, паёк хлебный 200 граммов...

АННА. Ну, вот видите, как хорошо.

КАТЯ. И вы согла... сались?

МУШКИН. Я мог, конечно, стать в позу оскорблённого патриота и отказаться. Это было бы красиво, но... глупо. Да, я согласился, потому что думал о вас, Катерина Петровна, о вашей судьбе, о ваших детушках, о вашей мамаше, о престарелом дедушке.

АННА. Боже мой, сколько мы вам доставили беспокойства, Иван Иванович! Я никогда этого не забуду.

НАДЕЖДА. Да, это невозможно забыть.

МУШКИН. Теперь что требуется от вас? Чтобы вы жили, как и раньше, тихо, смиренно, нейтрально, так сказать, никого у себя не принимали. Ну, мне пора уходить. Да, чуть не забыл! Надежда Сергеевна лейтенант Гютнер предлагает вам быть при нем переводчицей. Двести граммов хлеба.

АННА. Как хорошо, Надя! Вот и пригодились твои иностранные языки.

НАДЕЖДА. Передайте вашему Гютнеру, что Надежда Кашпирова — человек, а не собака, которую можно поманить куском хлеба.

МУШКИН. Напрасно отказываетесь. Двести граммов и должность. Так сказать, доверие. Подумайте, Надежда Сергеевна. До свидания! Завтра утром я навещу вас. Кстати, Сергей Петрович, завтра к вам придут из городской управы за цветами, чтобы возложить на могилы павших немецких солдат...

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Какие теперь цветы?

Осень! Всё отцвело. (Указывая на цветы в вазах.) Вот всё, что осталось.

МУШКИН. Ну, хотя бы эти. Они будут свидетельствовать о вашей, так сказать, беспристрастности. До свидания! Завтра я навещу вас. (Раскланивается, целует руку Кати, уходит. Некоторое время все молчат.)

КАТЯ. Как стыдно... и страшно.

ТАТЬЯНА. Па-те-фон... Я — па-те-фон?

НАДЕЖДА. Наконец-то ушел этот подлец!

АННА. Надя, я требую, наконец, чтобы ты уважала моих друзей. Требую, как хозяйка, как старшая.

НАДЕЖДА. Теперь хозяйка уже не ты, Анюта, хозяин — лев, а ты — собачка... Жалкая, несчастная собачка.

АННА. Ты становишься совершенно невыносимой, Надя! Ты рвешь всем нервы, и без того тяжко.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Да, часы идут. (Почти не слышно.) Но заводить мои часы я буду сам, своими руками...

КАТЯ (обнимая его). Милый дедушка... Раздается стук в дверь. Все замирают. Стук повторяется.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Это ветер. Яблоня стучит ветвями... Эх, забыли мы снять зимнюю антоновку!

Снова стук. Катя смело идет к двери.

АННА. Катюша, ради бога не подходи! Иди лучше к себе. (Увлекает её от двери к лестнице, ведущей в верх.)

ТАТЬЯНА. Кто здесь?

Доносится слабый невнятный голос.

НАДЕЖДА. Да ты открой и спроси, чего боишься? (Идёт к двери, открывает.)

В комнату вползает человек в комбинезоне летчика.

НАДЕЖДА. Кто вы? Что с вами?

ЛЕТЧИК. Я — свой... Потерпел аварию... Помогите...

Катя быстро сбегает вниз по лестнице.

КАТЯ. Вас подбили?

ЛЕТЧИК. Да... Я уже сбросил бомбы на вокзал.

НАДЕЖДА. Вы... Это вы бомбили наш вокзал?

ЛЕТЧИК. Да, я. И попал очень точно, в самое здание. Но снарядом повредило мотор... Начался пожар... И я спрыгнул на парашюте... Кажется, вывихнул ногу... И вот увидел вас дом...

КАТЯ. Тетя Надя! Тетя Таяня!.. Что же мы стоим? Мама!..

АННА. Я не знаю, как вас зовут, товарищ. Но...

ЛЕТЧИК. Анатолий Беркутов.

НАДЕЖДА. Беркутов?!

АННА. Видите ли, товарищ Беркутов. Мы понимаем... ваше положение ужасно. Вы так страдаете, но мы беззащитные женщины; мы всего боимся...

КАТЯ. Мама!

НАДЕЖДА. Таня, давай скорей бинты. Катя, иди там, в моей комнате. На столике...

К а т я бежит наверх.

АННА. Чем мы можем помочь вам? Ведь вас ищут. Может быть, идут по вашим следам. Боже мой! Да закрой же дверь, Таня! Что нам делать? Они могут войти к нам.

БЕРКУТОВ. Если вы боитесь... я уйду. Я поползу дальше.

НАДЕЖДА. Анна, как тебе не стыдно! Таня, помоги же мне поднять товарища!

Они пробуют поднять раненого. Им помогает Сергей Петрович. Катя принесла иод. бинты.

БЕРКУТОВ. Снимите с меня комбинезон и дайте скорей какую-нибудь гражданскую одежду.

НАДЕЖДА. Вы из Москвы?

БЕРКУТОВ. Да, из Москвы.

КАТЯ. Значит, Москва наша! Наша!

БЕРКУТОВ. Я вылетел отсюда в восемь часов вечера. Сегодня.

НАДЕЖДА. Спасибо вам за добрую весть.

БЕРКУТОВ. Спасибо вам за ваше доброе сердце. Ужасно болит нога. Кажется, перелом...

АННА. Ну, вот видите, вам нужен врач, а что мы можем сделать? Вас лучше отвести к врачу. Он тут недалеко живет... Скворцов Николай Павлович...

КАТЯ. Мама!

БЕРКУТОВ. Врача потом... а сейчас поскорей переодеться. А комбинезон спрячьте... бросьте...

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. В подвал его, Танюша, бросай. Я сейчас принесу пиджак, брюки. (Уходит за драпировку.)

БЕРКУТОВ. Если сюда войдут немцы, скажите, что я ваш родственник... пострадал при бомбежке города. И зовите меня не Анатолий... как-нибудь еще. Я, кажется, потерял документы. Их могут найти.

НАДЕЖДА. Мы будем вас называть... (в о л н у я с ь) Виктором...

БЕРКУТОВ. Так звали моего отца.

НАДЕЖДА (п о т р я с е н н о). Неужели!.. Виктор Беркутов...

ТАТЬЯНА. Надя, да помоги же мне снять сапоги.

КАТЯ. Вам очень больно?

БЕРКУТОВ. Вы меня спрячьте куда-нибудь. И простите, что я вам причинил беспокойство. Я поправлюсь и уйду.

АННА. Иван Иванович что-нибудь придумает.

Куда-нибудь спрячет вас. У нас такой маленький домик.

КАТЯ. Мама!

Сергей Петрович приносит пиджак, брюки.

БЕРКУТОВ. Я уйду... не беспокойтесь.. я понимаю.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Вот брюки, только вам будут коротки...

КАТЯ. Мы спрячем вас в шкаф. У меня в комнате... такой большой...

БЕРКУТОВ. В шкаф... куда-нибудь. Только скорей.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Катюша, милая, ну, разве можно человека втиснуть в шкаф? Его в подвал нужно.

ВСЕ (о б р а д о в а н н о). В подвал! В подвал! Да, в подвал!

АННА. Но там же всё заставлено... ящики... мешки... бочки с огурцами. Нет, нет... только не в подвал...

КАТЯ. Я сейчас приготовлю там постель. Тюфяк я отнесу свой (бежит по лестнице в свою комнату).

БЕРКУТОВ. Мне не нужен тюфяк. Как-нибудь доски. Ну, вот теперь я похож на обыкновенного жителя города Сердеченска. Спасибо вам. Где ваш подвал?

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Танюша, открывай люк! Кому-нибудь нужно стоять внизу и поддерживать... Но все мы старые, немощные, чорт побери.

Катя тащит тюфяк, простыню, подушку и исчезает в подвале.

АННА. Ну, зачем же пуховую подушку? Одеяло я другое дам, только не это! (Уходит за драпировку.)

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Осторожней, чтоб улыби не потревожить...

Татьяна и Надежда тащат Анатолия к люку.

КАТЯ (высовываясь из люка). Всё готово.

ТАТЬЯНА. Катюша, придерживай ноги. Мы опускаем...

БЕРКУТОВ. Оружие там, в комбинезоне... Дайте мне.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ (осторожно вынимает из комбинезона пистолет). А он сам не выстрелит? Ужасно боюсь этой штуки.

Громкий стук в дверь.

НАДЕЖДА. Скорей закрывайте люк, Таня!

ТАТЬЯНА. Но там же Катя.

НАДЕЖДА. Скорей! (Захлопывает люк.) Ставь на место диван!

Анна входит со старым рваным одеялом и в испуге смотрит на дверь. Стук еще сильнее, громкие голоса.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Кажется, львы рычат.

АННА. Боже мой, мы пропали. Я говорила. Татьяна застилает лок ковром, ставит на него диван.

НАДЕЖДА. Папа, ложись скорей на диван! Ты умираешь...

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ (ложась на спину). То есть, как это... умираю... Я не хочу умирать... не умею умирать.

Татьяна открывает дверь, врываются немецкие солдаты с лейтенантом Гютнером.

ГЮТНЕР. Stehen Sie ruhig!

НАДЕЖДА. Нам приказано стоять спокойно. Stehen Sie ruhig!

ГЮТНЕР (удивленно оглядывает ее). Sprechen Sie deutsch? Wo ist Ihre Waffe?

НАДЕЖДА (улыбаясь). Мы—женщины. Unsere Waffen sind Tränen.

ТАТЬЯНА. У нас умирает старый отец.

НАДЕЖДА. Ja. Wir weinen am Sterbebett unseres Vaters.

ГЮТНЕР. Wo haben Sie den russischen Soldaten verborgen?

НАДЕЖДА (показывает на отца). Da ist unser alter russischer Soldat. Er hat bei Port-Artur gekämpft.

ГЮТНЕР (осветив фонариком лицо Сергея Петровича). О свежий покойник! Скоро надо копать могила. (Солдатам.) Durchsuchen!

НАДЕЖДА. Что ж. обыскивайте.

Солдаты осматривают комнату, поднимаются по лестнице в комнату Кати. Гютнер снимает со стены футляр с кларнетом.

ГЮТНЕР. Oh, mein Liebling! (прикладывает к губам, наигрывает детскую мелодию, вроде «Чирик-пик-пик, где ты был») Я охрен уважай старый шеловек. Мой тоже есть старый

Grossvater... Grossmutter... (Кладет кларнет на стол.)

Солдат хватает инструмент и сует в мешок. Lassen, Fritz!

Солдат вынимает кларнет из мешка и кладет на стол.

Aufwiedersehen.

Немцы уходят. Сестры стоят в оцепенении.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ (лежа). А я, кажется, того... в самом деле умер... Вот так штука! Жил-был Сергей Петрович Каширин, обыватель города Сердеченска. Семьдесят пять лет жил... Три четверти века. Порядочно, чорт подери! И вот помер... Лежит на диване в собственном доме, и дочерп оплакивают его... Соседи придут на поминки,— они любят вспоминать о человеке, когда он уже помер... А через год-два и они забудут. И Сергей Каширин умрет второй раз и уже окончательно исчезнет из памяти людей. А за что, собственно говоря, помнить его? Что он совершил такого в своей длинной жизни? Подведем итоги... Он выстроил дом, вырастил сад. Он воспитал трех дочерей. Одну, чтобы солить огурцы, разводить кур и готовить обед. Вторую, чтобы она помогала первой. Третью... научилась пяти языкам, чтобы никого не понимать... Скверно жил старичок! Очень скверно! (Встает, идет к буфету, достает графин с малиновой настойкой, наливает.) Дочери! Сергей Петрович Каширин скончался. И не нужно плакать о нем... Зря жил он на свете три четверти века и коптил небо. За новопредставленного раба божия Сергия! (Пьет.) Да, за раба (наливает и пьет)... За свежего покойника! (Выбрасывает из вазы цветы, швыряет на пол и топчет ногами.)

ТАТЬЯНА. Папа, что ты делаешь?

Занавес

АКТ ВТОРОЙ

Картина вторая

На другой день утром. Обстановка та же, что и в первом акте. С окон сняты одеяла. За стеклянной дверью видны деревья с осенней золотистой листвой.

По лицам Кашириных видно, что они не спали всю ночь.

Анна, прикладывая руку к голове, морщась от боли, говорит смертельно усталым голосом.

АННА. Нет, я не вынесу этой пытки... Бак болит голова!

ТАТЬЯНА. И это первый день! Что же будет дальше?

АННА. Все мы измучены, полны страха и ожидания, что случится что-то ужасное.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Мудрецы говорили: «Начало премудрости — страх». Таяя, наблей чаю. Покрепче.

АННА. Хотя бы Иван Иванович поскорей пришел... Он что-нибудь посоветует...

НАДЕЖДА. Неужели ты намерена рассказывать ему о том, что произошло в нашем доме?

АННА. Но у кого же искать совета? У тебя? Я не могу так жить... Не могу!

НАДЕЖДА. А если нужно?

АННА. Но почему именно мы, Каширины, должны выносить эту муку? Ведь если бы этот Беркутов... если бы он был нашим родственником, хотя бы дальним. Ну, это я понимаю, но ведь он чужой нам человек.

НАДЕЖДА. Для тебя все люди, не носящие фамилию Кашириных, чужие. А мне он—свой человек...

ТАТЬЯНА. Надя ужасная фантазерка... Ей вчера даже почудилось, что этот Беркутов имеет какое-то отношение к полковнику Виктору Беркутову. Но разве возможно такое совпадение? Так бывает только в романах, Надя.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Надо бы чаем его напоить. Проведать, как он там. И потом надо придумать что-нибудь этакое... лечебное.

ТАТЬЯНА. У него сломана нога. Нужен хирург. Мы бессильны, папа.

АННА. Конечно, его нужно отправить к врачу... положить в больницу... лечить...

НАДЕЖДА. Пойти к немцам, сказать, что у нас советский раненый летчик и его нужно поместить в больницу? Да?

АННА. Но почему же нет, Надя? Ведь ты же сама видела вчера. Они совсем не звери. Кларнет папы не взяли... Вежливые.

НАДЕЖДА. Да, они очень вежливые. Они вежливо повесят раненого на нашей же яблоне, вот здесь под окном, чтобы ты могла любоваться бесплатным зрелищем.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. А почему, собственно говоря, нужен врач? Хирург? Что такое перелом кости? Что тут страшного? У меня в саду такие штуки случаются каждый год...

По лестнице спускается Катя, она идет на цыпочках, говорит шопотом.

КАТЯ. Ну, как там? (Указывает рукой на пол.)

ТАТЬЯНА. Я так вчера испугалась, Катюша, когда стали стучаться немцы, а ты была еще там... Не помню, как захлопнулась крышка люка... Тебе страшно было там?

КАТЯ. Нисколько, тетя Таня. Вам, верно, было страшно?

АННА. Но ведь они могли открыть подвал, и тогда что было бы с тобой? Я чуть не умерла со страха...

КАТЯ. Но Анатолий же вооружен... И он сказал, что живым не сдастся,—дудки, говорит. Было так жутко и... интересно... Там ужасно темно и тихо, и все слышно, как они топали сапожками, и голоса. Мы затаили дыхание... Мне стало жутко, но потом я подумала: я же здоровая, а у него сломана нога, и ему хочется стонать, и нельзя... И тогда сразу весь мой страх куда-то исчез. Анатолий меня успокаивал и просил извинения, что причинил нам такое беспокойство.

НАДЕЖДА. Оп, вероятно, из культурной семьи...

КАТЯ. Да, он какой-то удивительный... Даже когда зуб болит, и то невозможно удержаться от стоана, а ведь у него кость поломал...

ТАТЬЯНА. Это ужасно! Я помню, отбила молотком палец на руке и то...

АННА. И ты побежала к врачу, он сделал холодный компресс, потом согревающий. А вы хотите, чтобы человек со сломанной ногой обошелся без врача... Таня, сейчас же сходи за доктором Окворцовым.

КАТЯ. Анатолий просил, чтобы никому не говорили, что он здесь.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Раз так, то мы сами должны оказать ему медицинскую помощь.

АННА. Папа, ты ужасно наивный человек! Подумай, перелом ноги...

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Ну, что ж такого? Помнишь, у нас бурей сломало коричневую, твою любимую? Попалам переломило ствол, и половинки держались на одной тонкой кожурке. Я сделал из палок шины, крепко забинтовал, замазал кругом рану оконной замазкой, и дерево выжило.

ТАТЬЯНА. Но ведь то дерево, а это живое человеческое тело.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Человек более живуч, чем дерево. Итак, приступаем к операции. Катюшенька, принеси мой ящик с садовыми инструментами.

Катя уходит.

АННА. Папа, ты с ума сошел!

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Я, конечно, сойду с ума, если ты будешь мне часто напоминать об этом. На мой век ума хватит. И ни у кого Сергей Каширин не станет занимать ума, и тебе не советую, Анна Сергеевна Кошелева.

ТАТЬЯНА. Катя-то как ожила, глаза горят... И еще стала красивее.

НАДЕЖДА. Человек всегда становится красивей, когда его душа просыпается для большого дела.

Катя приносит ящик. Сергей Петрович копается в нем, звеня и гремя.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Нужно быть хирургом, и я буду хирургом.

АННА. Но ведь это невозможно.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Если нужно, то человек должен сделать все, даже невозможное. Катюшенька, милая, принеси мне палки, что я спрятал на чердаке. Ореховые. В углу возле печного бора.

Катя мчится по лестнице вверх. Входит посыльный.

ПОСЫЛЬНЫЙ (старик). Меня из городской управы прислали. За цветами. На венок убитым немцам.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Цветы побиты морозом. Понял? Моро-зом.

ПОСЫЛЬНЫЙ. Понятно, Сергей Петрович. Цветы, как и человек, тоже солнышко любят. А теперь мороз на дворе. Зябко!

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Да, зябко... (Напевает.)

Отцветла уж давно хризантемы в саду,
А любовь все живет в моем сердце боль-
ном...

Хорошо певал этот романс полковник Берку-
тов... Эх, молодость!

ПОСЫЛЬНЫЙ. А вы, Сергей Петрович,
все такой. Сколько я вас помню, не стареете.
Стало бегать, так и сказать: завяли, мол.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Так и скажи. Одна,
мол, крапива в саду осталась. Если жела-
тельно крапивы—пожалуйста.

ПОСЫЛЬНЫЙ (смеется понимаю-
ще). Крапивы? Хе-хе-хе... По Сеньке и шап-
ка. (Уходит через террасу.)

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ (напевает). А лю-
бовь все живет в моем сердце боль-но-о-ом.

АННА (со слезами). Мы погибнем
все... Боже мой, за что нам такое страда-
ние?

Катя приносит палки.

НАДЕЖДА. Мушкин был твоим учеником,
Таня?

ТАТЬЯНА. Да, Мушкин мой ученик. А
ведь в детстве он был хорошим... Дети! Пом-
ню—писали диктант. Я диктовала: «На сто-
ле лежит померанец». Мушкин написал это
слово через «и». Спрашиваю его: «Почему
ты так написал, Ваня?» А он отвечает:
«Потому, что помираниец — это покойник и
он лежит на столе». Так я и не смогла убе-
дить его, что померанец не покойник, а горь-
кий апельсин. Он был очень упорный.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Из него вырос дейст-
вительно горький фрукт.

КАТЯ. С чердака видно, как дымится го-
род. А утро такое чудесное, багровые сады. И
так жалко-жалко нашего милого города. До-
мики стоят малюсенькие... жалкие, серень-
кие...

НАДЕЖДА. Вокзал горит еще?

КАТЯ. Горит, тетя Надя. И я теперь уже
не скоро увижу Москву.

НАДЕЖДА. Ты не спрашивала. Катя, на
какой улице он живет?

КАТЯ. А может быть, и никогда не уви-
жу.

ТАТЬЯНА. Полковник-то Беркутов жил на
Божедомке?

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Приступим! Таня, от-
крывай люк!

КАТЯ. Его надо покормить. Мама, у нас
есть что-нибудь от ужина?

АННА. Не знаю. Я ничего не знаю. Де-
лайте, что хотите.

ТАТЬЯНА. Там пирог с капустой в буфет-
е. Яички...

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. И захвати малиновую
настойку и стопочку. Две стопочки, Катюша!

АННА. А замазку захватил?

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Какую замазку?

АННА. Что окна замазывают на зиму.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Нет, Анна Сергеев-
на, меня на этом не поймаешь. Я еще не
спятил.

Спускается в подвал. За ним Катя.

НАДЕЖДА. Таня, ты стань у окна и сто-
рости, чтобы кто-нибудь не подглядел. Я бу-
ду дежурить у двери... Анюта, а ты пойдти на
кухню, посмотри, закрыта ли там дверь на
крючок?

АННА. Нет, я не выдержу этой пытки!
(Уходит.)

НАДЕЖДА. Таня, мне не нравится настро-
ение Анюты. Она может все погубить. Я не
умею воздействовать на нее, у тебя это луч-
ше выходит. Я прошу тебя, Танечка, следи
за Анютой во все глаза. Война вошла в наш
дом. Нам предстоит выдержать страшное сра-
жение за жизнь этого человека... И еще про-
шу: не напоминай о Беркутове... Не трогай
мою рану, она не заживает и не заживет до
самой смерти. Этот Беркутов так похож на
него. Может быть, это сын Виктора Алек-
сандровича?

ТАТЬЯНА (обнимая ее). Надя, про-
сти...

НАДЕЖДА (взглянув в стеклян-
ную дверь). Мушкин идет! Таня, скорей
закрывай люк!

Татьяна бросается к люку подвала.

ТАТЬЯНА (кричит в подвал). Папа!
Катя! Мушкин идет! Скорей вылезайте!

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Ты с ума сошла... У
меня операция!

Татьяна захлопывает крышку люка, сдвигает
диван. Мушкин стучится в дверь, но
Надежда не открывает.

НАДЕЖДА. Сейчас, Иван Иванович! Ключ
заскочил. (Открывает дверь.)

МУШКИН. Ну, как вы провели эту ночь?
Я так бесполоквал. А тут еще в городе тре-
вога. Подбили несколько самолетов, и немцы
всю ночь некали летчиков. Пришлось помо-
гать... Все летчики разбились вместе с само-
летами. Один или два ушли...

ТАТЬЯНА. Они были у нас... Ночью...

МУШКИН. Кто?! Летчики?

НАДЕЖДА. Немцы. Ваши хозяева.

МУШКИН. Господи, ну, зачем же они бес-
покоят ваш дом... Ведь я же говорил им, что
в доме Кашириных одни старые женщины.
Я говорил лейтенанту Гютнеру, и он обещал
не трогать ваш дом. Как они вели себя?

ТАТЬЯНА. Иван Иванович, Анюта так
волновалась. Мы боялись за ее рассудок. Ра-
ди бога, учтите это. Она не в себе...

Входит Анна.

АННА (обрадованно). Иван Иванович! Наконец-то вы пришли! Мы так измучились. (Рыдает).

НАДЕЖДА. Еще бы! Ворвались вооруженные, обыскивают, ищут какого-то русского солдата, и где ж? В доме Кашириных.

АННА (рыдает). Мы столько пережили. Это ужас... ужас!

МУШКИН. Да, да. Я представляю ваше волнение. А Катя? Где она?

НАДЕЖДА. Куда-то вышла...

ТАТЬЯНА. Скажите, что происходит в городе? Ведь мы ничего не знаем.

МУШКИН. В городе спокойно. На улицах патрули. Но у меня, конечно, пропуск. Срочно составляют списки населения. Приходится помогать. Они вводят для каждого жителя номера.

АННА. Я не понимаю. Иван Иванович, зачем же номера эти?

МУШКИН. Вместо паспорта. У вас, Анна Сергеевна, будет свой номер, допустим, шестьсот шестьдесят шесть. И вы будете носить его на груди. Вот и все. Ничего страшного.

НАДЕЖДА. То есть как же ничего страшного? Был человек, его звали Анной Сергеевной Кашириной, и вдруг нет человека, остался от него только один номер шестьсот шестьдесят шесть...

ТАТЬЯНА. И у меня будет номер?

МУШКИН. Непременно.

ТАТЬЯНА. Что же это... как на вешах, на книгах в библиотеке? Номер инвентаря?

МУШКИН. Да, мы — инвентарь.

НАДЕЖДА. Но ведь это оскорбительно для человека! Клеймо, как у животного.

МУШКИН. Ничего оскорбительного в этом я не вижу... Порядок. А где же Катерина Петровна?

ТАТЬЯНА. Она, может быть, в своей комнате. Катюша! Катюша-а!

Довносится приглушенный крик под полом. Татьяна передвигает стол, дребезжит посуды.

НАДЕЖДА. Она в ванной. Купается.

ТАТЬЯНА. Или на чердаке... Развешивает яблону для сушки.

МУШКИН. Я знаю, чердак ее любимый уголок. Я притащу ее сейчас отсюда. (Идет по лестнице вверх.)

Татьяна быстро сдвигает диван, открывает люк.

ТАТЬЯНА. Катя, скорей!

Катя вылезает из подвала.

НАДЕЖДА. Анюта, предоставь действовать, говорить только нам. Молчи, иначе мы — погибли...

КАТЯ (тихо). Ой, как я испугалась! Где он?

ТАТЬЯНА. Пошел наверх, тебя ищет. Скажи, что ты была в ванной. Как там?

КАТЯ. Дедушка начал, конечно, с малиновой настойки... Для крепости рук, говорит, чтобы не дрожали. И Анатолий выпил, ему нужно... может быть, это смягчит боль.

Слышно, как Мушкин кричит: «Катерина Петровна! Катя!» Голос приближается.

ТАТЬЯНА. Анюта, милая, ни слова!

АННА. Ах, сделайте, что хотите. Только оставьте меня в покое...

Мушкин спускается с лестницы и, увидев Катю, весело улыбается.

КАТЯ. А я в ванной была. Чудесно выпугнулась!

МУШКИН. А волосы сухие.

КАТЯ. Я мою их только дождевой водой. Мыло такое скверное.

МУШКИН. Я принес для вас, Катерина Петровна, кусок душистого. (Вынимает из гармана, нюхает.) Немецкое...

НАДЕЖДА. Отвратительный запах... Трупами пахнет.

Под полом раздается стук и голос Сергея Петровича: «Откройте!»

КАТЯ. Боже мой! Это же я закрыла телушку в подвале! Бедный дедушка! (Отдвигает диван, пытается поднять крышку.)

МУШКИН. Разрешите, Катерина Петровна, я вам помогу! (Идет к ней.)

КАТЯ (испуганно). Нет! Нет! Я сама! Ни с места, Иван Иванович! Не думайте, что я уж такая беспомощная женщина... Сядьте!

МУШКИН. Подчиняюсь... Мне нравится в Катерине Петровне вот эта, так сказать, независимость характера.

Катя открывает люк, откуда показывается голова Сергея Петровича.

КАТЯ. Дедушка, милый, простите, что я захлопнула крышку.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Все в порядке! Перевязал, забинтовал.

Катя обнимает его, целует, что-то шепчет МУШКИН. Кого это вы лечили, Сергей Петрович?

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Лечил? Да, лечил.

МУШКИН. И вид у вас, как у заправского хирурга, рукава засучены.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Бочку лечил, Иван Иванович. Рассохлась бочка с огурцами. Ну, вот и лечил ее. Нагнал обручи. Я ведь все умею делать, Иван Иванович. Я — садовод, ичеловод, цветовод, боцдарь, столяр и... хирург для всех искалеченных... предметов домашнего обихода.

ТАТЬЯНА. Иван Иванович говорит, что немцы повесят нам на шею какие-то номера...
КАТЯ. Что это еще за новость?

МУШКИН. Обыкновенные номера, так сказать, бирки с цифрой.

КАТЯ. Позвольте, как же это так? И я буду ходить с биркой?

МУШКИН. И вы, Катерина Петровна.

КАТЯ. Ну, это дудки!

АННА. Катя, откуда у тебя эти выражения?

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Так, бирки, значит... Такие, какие я привязываю к своим яблокам? Дощечки с номером и названием?

МУШКИН. Нет, только номер, без названия.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Но позвольте, Иван Иванович, есть, например, яблона коричневая, есть антоновка, анис, коробовка. Даже у деревьев есть имена. Чем же мы хуже?

МУШКИН. Вот у вас одна яблона называется: «Сладкая каширинская». А извините, яблочки-то ужасно кислые... Так что и имя человека ничего не выражает, так сказать, пустой звук. А номер есть точное и неотвратимое. Мой, например, номер я уже знаю — десятый.

НАДЕЖДА. Единица — лейтенант Гютнер, а ноль — сбоку — Мушкин. Да, это очень точно!

КАТЯ. Мушкин — десятый! Это звучит, как королевский титул.

МУШКИН. Да, это звучит громко, Катерина Петровна... И вы услышите это в свое время. Вы веселы, но вы не знаете, как сжалось мое сердце, когда я ступил на ваше крыльцо. Я увидел на ступенях кровь. И я подумал...

Все в оцепенении.

КАТЯ. И что же вы подумали, Иван Иванович?

МУШКИН. Что с вами случилось какое-то несчастье... И еще я подумал: «Не дай бог, чтобы этот летчик, которого ищут немцы, допел до вашего крыльца».

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Да ведь это же я сегодня утром резал курицу. Пеструшку, помните? Рябенькая такая была.

КАТЯ. Да, такая пестренькая.

ТАТЬЯНА. Ну да, та самая, рябенькая, хромая.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Ой, учудил! Ха-ха-ха!

Все смеются, и Мушкин хохочет.

МУШКИН. Так говорите, рябенькая? (Хочет схватившись за живот.)

АННА (рыдая). Боже мой! Боже мой, я не вынесу этого кошмара...

КАТЯ. Mamochka, родная, успокойся.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. И потом, Анна Сергеевна, не забудь, что ты хозяйка и должна накормить гостя обедом.

МУШКИН. Да, Анна Сергеевна, откровенно говоря, я голоден. И ладшу с курицей очень люблю, как вы знаете... Вот мы ее, пестренькую, и скушаем! (Хочет.)

Никто не смеется. Мушкин настороженно разглядывает Кашириных.

АННА. Я пойду готовить обед. (Уходит.)

МУШКИН. Она чем-то страшно потрясена. Скажите, может быть, случилось что-то очень неприятное, какая-нибудь опасность угрожает вам?

ТАТЬЯНА. Нет, что вы, Иван Иванович... Просто нервы.

МУШКИН. Как-то тяжело сегодня чувствуется. И все вы какие-то странные. Душно как-то... У вас кровь на руках, Сергей Петрович.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. А это... от «пеструшки»... Забыл умыться. (Уходит.)

ТАТЬЯНА. Мы полвека эту ласку копили.

МУШКИН. Когда я подходил к вашему дому, то в саду нашел бумажник. (Внимает из кармана бумажник, раскрывает его.) Удостоверение на имя летчика Анатолия Беркутова... фотокарточка...

КАТЯ. Можно посмотреть?

МУШКИН. Пожалуйста, Катерина Петровна... Смотрите, не влюбитесь. Молодой, красивый.

ТАТЬЯНА. Не шутите так зло, Иван Иванович, ведь вы же знаете, кем занято сердце Катиши.

КАТЯ. Да, интересное лицо... Верно, очень храбрый человек.

МУШКИН. Ну, знаете, не очень много нужно храбрости. Бросил бомбу и улетел. Это легко.

КАТЯ (горячо). Как же это так легко? Лететь за тысячу верст... из самой Москвы.

МУШКИН. Откуда вы знаете, что из Москвы?

Катя растерянно молчит. Тишина. Доносится отчаянный предсмертный крик курицы.

НАДЕЖДА. Само собой ясно, что из Москвы. Только Москва может посылать самолеты на такое огромное расстояние.

МУШКИН. Но Москва у немцев?!

КАТЯ (справившись с волнением). Как же так легко, Иван Иванович? Вот в ваших руках его удостоверение... Значит, ему было нелегко... Сбит... Ранен... Страшная боль... Все бросил. Смотрите, даже орден здесь в бумажнике. Красное знамя. Я никогда так близко не видела. Как красиво... Это дают только героям.

НАДЕЖДА. Что же вы теперь будете делать с этими вещами?

МУШКИН. Вещи без их владельца меня не интересуют. А вот Катерине Петровне, я вижу, очень понравилась эта игрушка. Даже глаза сверкают. Могу подарить вам, Катерина Петровна.

КАТЯ (прикладывает орден к груди, задумчиво). Нет, мне никогда не носить такой высокой награды...

МУШКИН. Полюбуйтесь и забросьте по-дальше, неровен час попадетесь на глаза немцам, а тогда уж сами понимаете...

КАТЯ. Да, я только полюбуюсь... Я не буду держать у себя.

ТАТЬЯНА. Она у нас совсем еще ребенок, Иван Иванович... Правда? Входит Сергей Петрович, вытирая рука полотенцем.

МУШКИН. Что-то вы, Сергей Петрович, сегодня разозлились на кур? Вторую пеструшку зарезали?

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Все равно слопают немцы.

ТАТЬЯНА. Я вот не могла бы и курицу зарезать. А как же это... если человека?

МУШКИН. Ужасно как-то сегодня тяжело на душе. Спойте, Катерина Петровна мое любимое из «Пиковой дамы»: «Ах, истомилась, устала я...»

КАТЯ. Нет, Иван Иванович, не могу. Сейчас у меня нет настроения... Действительно, «истомилась, устала я».

ТАТЬЯНА (грустно). Да... «Туча пришла и грозу принесла... Счастье... надежды разбила...» Я помню, была на «Пиковой даме».

МУШКИН. Пиковая дама означает тайную недоброжелательность.

ТАТЬЯНА. И мне стало страшно-страшно, когда Герман подошел к старой графине с пистолетом... И она от страха умерла... Мне стало так жалко-жалко...

МУШКИН. Графиню?

ТАТЬЯНА. Нет... Германа. Он убил из-за любви к Лизе... Как странно устроена жизнь: убить из-за любви.

НАДЕЖДА. Любовь не знает препятствий...

МУШКИН. В первый раз, кажется, я должен согласиться с вами, Надежда Сергеевна. Да, любовь не знает препятствий... Меня в городе уже называют предателем... Пусть! Я готов пойти на все во имя моего чувства... моей любви...

НАДЕЖДА. Я говорю не о вашей любви. Преступление Германа и ваше остается преступлением, и его ничем нельзя оправдать. Но есть высшая любовь. И на ее пути грех убийства становится подвигом...

КАТЯ. Ну, пошло-поехало... Ужасно не люблю, когда говорят про покойников... Иван Иванович, отгадайте загадку... Очень веселая и остроумная...

МУШКИН. Я очень люблю интересные загадки.

КАТЯ. Ну, раз и отгадайте: «Какая разница между покойником и горьким апельсином? И какое сходство?»

МУШКИН. Ну, опять про покойников говорили...

АННА. Катя!

МУШКИН. Сходство между покойником и горьким апельсином? То, что и то и другое невозможно кушать...

КАТЯ. Нет, не угадали! А разница?

АННА. Катя!

МУШКИН. А разница в том, что... одному нужен гроб, а другому не нужен...

КАТЯ. Не угадали! Не угадали! Сходство в том, что и тот и другой — померанец. Фрукт такой есть, горький апельсин... А разница в том, что померанец — покойник пишется через «и», а фрукт пишется через «е».

МУШКИН (хо-хо-чет). По-ми-ра-нец. Шутница вы, Катерина Петровна! Ей-богу, стало весело и легко... и даже захотелось моченых яблок... Это вы виноваты, Катерина Петровна. Придется мне лезть в погреб за мочеными яблоками.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Оя... моченые... сейчас еще нехороши, Иван Иванович... Вот месяца через два-три... Тогда будут вкусны...

АННА. Как раз к свадьбе, Иван Иванович.

МУШКИН. Нет, это слишком долго ждать. Гютнер сказал мне: «Поторопитесь со свадьбой, господин Мушкин, пока хозяин города я. Я устрою пир на весь город». Прошу вас, Анна Сергеевна, не откладывать. Двух недель вполне достаточно для подготовки...

КАТЯ. Ой! (Падает в обморок.)

АННА. Катюша, что с тобой! Иван Иванович, с Катей обморок... Скорей помогите! Мушкин бросается к Кате. Общий переполох.

Занавес

АКТ ТРЕТИЙ

Картина третья

Прошел месяц. Подвал: бочки, ящики, мешки, улья. На ящиках постель, на ней лежит Беркутов. Возле горит маленькая керосиновая лампочка. Сергей Петрович ошупывает ногу Беркутова.)

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. А здесь больно?

БЕРКУТОВ. И здесь не больно.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Врешь! Должно быть больно. Медя, брат, не обманешь... Это ты с Катей можешь играть в кошки-мышки, а

мне говори прямо... Вот сейчас я нажму на мышелок. В анатомии сказано: «Мышелками называются два массивных бугра на нижней оконечности бедренной кости. Они служат для сочленения с надколенником». Больно?

БЕРКУТОВ. Нет... Совсем... не больно.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ (садится, вынимает из кармана бутылку). Не вижу я, что ты за человек! (Наливает в стакан вино.) Давай выпьем... Тебе это на пользу, да и у меня в голове атакая, брат, циркумдукция!

БЕРКУТОВ. Это что за болезнь?

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Это по-научному... Из анатомии. Означает круговое движение, а проще сказать — вертячка... (Пьет.) По глазам вижу, что тебе здорово больно. Признавайся.

БЕРКУТОВ. Больно.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. А почему же ты не стонешь?

БЕРКУТОВ. Воля... Она сильней страданий.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Так... Стало быть, ты железный? Это и Катя про тебя говорит...

БЕРКУТОВ. Нет, я обыкновенный... Как все...

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. А Надежда говорит, что ты — необыкновенный... Доброволец?

БЕРКУТОВ. Нет, призван... Я раньше был техником-строителем... Я мирный человек. Я строил вокзалы, санатории, дома... Люблю строить. Приятно, когда из-под руки выходит что-то красивое. Жить веселей на земле...

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Так... Значит, неохота была идти на войну?

БЕРКУТОВ. Ну, конечно... Я воевать никогда не собирался. А раз пришло такое время, ничего не поделаешь...

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Так... Что ж, у тебя был свой домик, семья, ребятки?

БЕРКУТОВ. Нет, домика не было. Я одинокий.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. А за что ж ты воюешь?

БЕРКУТОВ. За то, чтобы у меня после войны свой домик был, семья... ребятки. Опять хочу дома строить. И себе выстрою... Красивый дом, и чтоб кругом была зелень, цветы...

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Так... Вот эта стратегия мне нравится! А то ведь послушать моих женщины... «Он, мол, герой. Необыкновенный. Он, мол, как Джордано Бруно, — это Катя говорит. — Бруно свою веру отстаивал... идею. А его за это на костре сожгли. В Риме. На «Площади цветов»... Живьем!

И потому-то его помнят, что он не за свой интерес погиб, а за все человечество»... А вот поговорил с тобой, и как-то уютней на душе стало. Выходит, и ты такой, как мы. Домик себе мечтаешь выстроить, и детишки чтоб были... А Катя с Надеждой тебя во святые возвели... А я не люблю святых. С ними страшно... Им не больно, а мне больно. Я их не понимаю, и они меня не понимают. Вот и я боялся, что ты святой... А вот и тебе больно... И ты мне родной стал. Давай выпьем. (Пьет.) И я пришел к тебе со своей болью. Мне ведь поговорить не с кем. Был друг доктор Скворцов Николай Павлович, да и тот теперь съезжился, боится выходить... Теперь в городе все друг дружки сторонятся. С оглядкой живут... Каждый за себя боится. Да и ходить к знакомым не хочется. Бирку надо на шею надевать. А с биркой стыдно на улицу показаться... Не то лошадь, не то овца... Я тебе все сейчас по порядку разъясню... Я вот этот дом всю жизнь свою строил, по копейке сколачивал. Дом застрахован за пятьдесят тысяч, да разного имущества тысяч на двадцать. А теперь выходит, что я зря старался. Все прахом пойдет, псу под хвост. И Надежда говорит: «Так, мол, нам и надо, обывателям»... И выходит, что я вроде мерзавец какой-то, — над домиком своим трясусь. А мне, может, надо по другому действовать, как Катя говорит: «Запалить этот дом к чорту, чтоб немцам не достался...» И самому, как Бруно, на костре сгореть, а? И тогда, мол, человечество помнит будет вечное, что жил-был такой Сергей Петрович Кашпирин и вон какой номер отколол! А я слаб духом... Я не могу, как Бруно... Мне домика жалко. А вот ты понимаешь меня. Пожалел... Страшно, брат, жить теперь, а?

БЕРКУТОВ. Страшно... Кроме моего самолета, еще два обито, а ведь на них было тридцать человек экипажа... И все сгорели...

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Тридцать?! А-а... Тридцать душ...

БЕРКУТОВ. Жалко товарищей... А ничего не поделаешь. Надо же вас спасать, Сергей Петрович. Вот и погибли за вас... тридцать душ...

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Так... Сгорели? На костре? А? За меня? За мой дом?

БЕРКУТОВ. Да, во имя вашего счастья... Путь к счастью людей всегда шел через костер...

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Вот ты куда меня привел... Та-ак... Я к тебе с болью своей пришел... И ты меня домиком своим, детишками успокоил. А теперь к костру повел, — мол, прыгай, Сергей Петрович Кашп-

рин; а? Как Бруно? За тебя люди горят, и ты — гори. Так? За цветы? За домик?

БЕРКУТОВ. Вся страна наша была в цветах. Всюду были цветы, даже на заводских дворах и вокруг литейных цехов... Да, мы жили на «Площади цветов». И вот враги превратили эту площадь в костер. Они жгут нас за нашу веру в человека, в счастье его на земле, в торжество его над извечным злом мира. Мы горим... Но, подобно Джордану, мы не откажемся от нашей веры в человеческий разум, пока бьется наше сердце...

По лестнице спускается Надежда.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Ты права, Надежда... Он — святой... И мне с ним страшно...

НАДЕЖДА. Виктор, скажите, где ваше оружие?

БЕРКУТОВ. Со мной. Что случилось? (Шарит под подушкой, не находит оружия.) Странно... Утром пистолет был под подушкой.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Куда же мог деваться? Сюда же никто не заходил.

БЕРКУТОВ. Утром была Катя... Приносила мне чай...

НАДЕЖДА. Теперь мне все ясно... (Устало садится.) Она наделает беды...

БЕРКУТОВ. Но что случилось?

НАДЕЖДА. То, чего нужно было ожидать, чего я боялась... Мушкин догадывается, что мы прячем вас. Он, как гончая собака, идет по следам вашей крови. Рвется сюда, в ползал... Нам стоит огромных усилий удержать его. Теперь он переменил тактику. Зная, что Анна — самый слабый солдат нашего гарнизона, он терроризирует ее. Анна всего боится. И он требует, чтобы Катя немедленно вышла за него замуж. Анна согласна...

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Она продает Катю за дом... Говорит, что если Мушкин будет родственником, то немцы не тронут нашего дома...

БЕРКУТОВ. А Катя?

НАДЕЖДА. Она сказала, что лучше смерть, чем этот позор. Что-то нужно придумать, иначе разразится катастрофа.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Да, Катя может на все решиться. Она вся в меня... Горячее у нее сердце... Не кошелевское... кашмирское.

НАДЕЖДА. Мушкин сейчас явится за окончательным ответом.

Пауза.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Ты — военный человек... Полавай команду. Наша крепость в осаде... Как Порт-Артур. Я в Порт-Артуре поваром служил у генерала Стесселя... Мы бы никогда не сдались, если бы этой генерал не изменил... И теперь я опять в Порт-Ар-

тур попал... И кроме тебя, никому нам командовать...

НАДЕЖДА. Нужно огнать оружие у Кати. Это вы должны сделать, Виктор. Она послушает вас... Только вы можете повлиять на нее...

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Пойду пришло Катю сюда... (Указывая на Надежду.) Вот и она в молодости такая была... Неукротимая... (Поднимается по лестнице.)

БЕРКУТОВ. У вас есть какие-нибудь родственники или знакомые? Я мог бы перебраться к ним, чтобы облегчить ваше положение.

НАДЕЖДА. Это невозможно, Виктор. Боятся. Да и мы не можем согласиться на это... перекладывать на других свою беду. Нет, мы должны до конца выдержать испытание... Вас сама судьба послала нам. Для нас вы — Москва. Мы мечтали о ней всю свою жизнь, но так и не увидели ее... И вот Москва сама пришла к нам... Вы — наш дорогой гость.

БЕРКУТОВ. Я принес с собой беду в ваш дом.

НАДЕЖДА. Скажите, ваш отец — офицер?

БЕРКУТОВ. Нет, рядовой...

По лестнице быстро спускается Катя.

КАТЯ. Вы меня звали?

НАДЕЖДА. Рядовой...

БЕРКУТОВ. Катя, верните мне оружие.

КАТЯ. Мне оно необходимо.

БЕРКУТОВ. Это опасная штука, Катя. С ней нужно уметь обращаться...

КАТЯ. Я умею. В школе нам показывали, как разбирать, заряжать... прицеливаться.

БЕРКУТОВ. Зачем вам оружие?

КАТЯ. Нужно, чтобы кто-нибудь из дома нес охрану... Все может случиться. А вы беспомощный... Вы же не можете себя защищать! Если ворвутся немцы?

БЕРКУТОВ. Оружие даст мне последний исход...

КАТЯ. Нет, нет... вы должны жить... Вы будете жить.. Я... мы все хотим, чтобы вы жили...

БЕРКУТОВ. А я хочу, чтобы вы жили. Дайте пистолет, Катя.

КАТЯ. Одно с другим несовместно... Чтобы вы жили, кто-то должен умереть...

НАДЕЖДА. Катя, что ты задумала?

БЕРКУТОВ. Убить человека не так легко, как вы думаете, Катя... И я не могу позволить, чтобы вы на это пошли... из-за меня. Отдайте оружие!

КАТЯ. Как я ненавижу его!

Беркутов пытается подняться.

НАДЕЖДА. Зачем вы встаете, Виктор?

БЕРКУТОВ. Я не хочу быть причиной вашей гибели... Я уйду. (Поднимается,

пытается встать на ноги, теряет равновесие.)

КАТЯ (поддерживая его). Вы никуда не уйдете...

НАДЕЖДА. Виктор, родной... Вель вас ожидает смерть...

БЕРКУТОВ. Я—солдат... Мне все равно...

КАТЯ (удерживая его). Вы не можете даже стоять... Это сумасшествие!

БЕРКУТОВ. Я поползу...

КАТЯ. Я не пущу вас. Тетя Надя, закрой-те люк!

НАДЕЖДА. Вы обижаете нас, Виктор... Вы—родной нам человек. Спасти вас — это не повинность, а дело нашей любви. (Идет к люку.)

КАТЯ. Если вы уйдете... то... то мне останется лишь последний выход...

Беркутов медленно опускается на полстель. Надежда возвращается от люка.

НАДЕЖДА. Есть другой выход, Катя... Только выслушай меня спокойно. Мы с Таней долго думали, и она предлагает такой план. Нам нужно выиграть время, пока не выздоровеет Виктор. Месяца два-три. Мы должны обмануть Мушкина. Мы возьмем его в плен, обезоружим и, кстати, успокоим Аньюту. Она ведь все понимает и страшно волнуется, когда ты, Катя, засиживаешься в подвале.

КАТЯ. Она поэтому и торопится выдать меня замуж. Но этого не будет!

НАДЕЖДА. Катя, выслушай спокойно, родная... Ты должна согласиться с требованиями матеря. На время...

КАТЯ. Нет, нет! Я не хочу этого слышать! Не смейте мне говорить об этом!

НАДЕЖДА. Это нужно, Катя. Ты дашь согласие Мушкину быть его женой, но это только согласие... Вообрази, что ты находишься на сцене. Ведь ты же будущая артистка. И вот по ходу пьесы ты должна поцеловать актера, которого ты не выносишь... Ты играешь роль невесты. Вот для тебя, кстати, и практика. Проверь свой талант.

КАТЯ. Боже мой, какая гнусная... отвратительная роль!

БЕРКУТОВ. Да, это гяжело. Обман — самый неприятный род оружия. Но сейчас война, и обмануть врага любыми средствами, чтобы победить его, — это так же почетно, как и драться с оружием в руках...

НАДЕЖДА. А через два-три месяца Виктор поправится, и мы отведем его к партизанам, в Белый Мох... Я слышала, что они там... И оттуда он уйдет в Москву.

КАТЯ. Да, да... В Москву... В Москву.

НАДЕЖДА (обнимая Катю). Катюша, родная... Ты должна спасти его. (Уходит.)

БЕРКУТОВ. Катя, отдайте пистолет. Теперь ваше оружие — хитрость.

КАТЯ. Какая постыдная роль!

БЕРКУТОВ. Да, вам трудно, Катя... Очень трудно... А разве мне легче? Да войны я строил вокзалы. Но враг навязал мне тяжелую роль разрушителя, и я сбрасываю бомбы на мои вокзалы. Когда я нажимаю кнопку, чтобы сбросить бомбы, мне хочется кричать от боли. И я потом плачу, только никто не видел и не увидит моих слез...

КАТЯ. Это ужасно! Какая жестокая жизнь!

БЕРКУТОВ. Мы уйдем в Москву, вместе, Катя.

КАТЯ. Вместе? Разве это возможно?

БЕРКУТОВ. А разве могу я оставить вас здесь на верную гибель? Нет, я не хочу... не могу покупать свою жизнь ценой вашей жизни...

КАТЯ (возвращая оружие). Вот вы и обезоружили меня...

По лестнице спускается Анна с тарелкой дымящихся пельменей.

АННА. Откушайте-ка горяченьких.

По лестнице спускается Сергей Петрович и Татьяна.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Стоп! Пельмени без малиновой настойки — не еда!

БЕРКУТОВ. Спасибо, Анна Сергеевна. Не знаю, когда и как смогу отблагодарить за вашу ласку.

ТАТЬЯНА. Мы полвека ту ласку копили. Не знали, куда ее девать... Кушайте на здоровье.

КАТЯ. Мама, я... согласна...

АННА. Ну вот, Катюша, как хорошо! (Обнимает ее.) Анатолий Викторович, Катя выходит замуж за Ивана Ивановича.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Что-о? Катюша, ты что, олурела?

КАТЯ. Дедушка, милый..., так нужно.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. А я не желаю! Не позволю!

ТАТЬЯНА. Папа, над нашим домом нависла гроза, и нам нужен громоотвод...

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Никаких громоотводов! Пусть лучше все сгорит к черту! Не желаю! Не желаю — и все! Запалю дом! Ничего не жалко!

АННА. Анатолий Викторович, хотя бы вы успокоили старика. Совсем потерял голову...

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Нет, я нашел свою голову, Анна Сергеевна Кошелева! И продавать Катюшу за дом... не позволю! Не хочу быть мерзавцем! За меня... за нас тридцать душ погибло, а я буду жалеть свой дом?! Запалю!

АННА. Но пойма, папа, мы же погибнем... Я не могу больше выносить эту пытку! Не могу! (Уходит.)

ТАТЬЯНА. Вверху же никого нет... Мы ужасно беспечны! (Быстро уходит.)

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Стесседи! А я не желаю сдавать свой Порт-Артур! Не хочу отступать!

БЕРКУТОВ. Для победы иногда приходится и отступать, совершать маневр, обойти, окружить врага. Вы мне верите, Сергей Петрович?

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Тебе верю...

БЕРКУТОВ. В таком случае исполняйте мои приказания. Подчиняйтесь дисциплине. Вы—рядовой солдат нашего осажденного гарнизона. Спрячьте меня среди этих ящиков... Оставьте открытым люк. Пусть Мушкин входит сюда... Здесь останется Катя. Он будет объясняться в любви, а вы немного погодя оформите по обычаю православных предков. Понятно?

(Надежда, Катя и Сергей Петрович прячут Беркутова за ящиками. Вверху раздается стук.)

НАДЕЖДА. Таня сигнализирует. Чужой!

КАТЯ. Это он!.. Скорей уходите!

Надежда и Сергей Петрович поднимаются по лестнице. Слышен радостный голос Мушкина: «Наконец-то!»

КАТЯ. Какая жестокая жизнь!

МУШКИН (спускаясь по лестнице). Наконец-то, Катерина Петровна...

КАТЯ. Ах, Иван Иванович.. Ради бога... не ходите сюда!. Я в таком затрапезном костюме... Моченые яблоки заплеспевали, и вот я перебираю...

МУШКИН. Как хорошо, что мы с вами наедине... здесь, в подвале... (Подозрительно оглядывается.) Анна Сергеевна сказала мне...

КАТЯ. Да, я согласна, Иван Иванович.

МУШКИН. Какое счастье, так сказать! (Целует руку ее.) Я просто не верю ушам своим... Катя, как я счастлив!

КАТЯ. И я так счастлива, что мне даже стыдно... за свое счастье.

МУШКИН. Вам, Катя, нечего стыдиться этого счастья. Я купил его дорогой ценой... Я так измучился, так страдался. Мне все казалось, что вы играете мной, как кошка, так сказать, с мышью... что вы не любите меня...

КАТЯ. И как могла притти вам в голову такая чудовищная мысль?

МУШКИН. Простите, Катя. Да, я стал подозрительным. Мне все кажется, что меня обманывают... подстерегают, чтобы ударить из-за угла. Когда я прохожу по улицам города, я вижу, как смотрят на меня... Меня ненавидят... И я никому не верю. (Оглядывается.) Кто это здесь пельмени ел?

КАТЯ. А это... дедушка. Он так обрадовался, что скоро будет наша свадьба, и выпил... И с тарелкой пришел сюда меня поздравлять...

МУШКИН. Нет, я не верю своему счастью... (Целует ее руки.) Теперь я могу признаться вам, Катя... Мне казалось, что вы скрываете что-то от меня... Я, очевидно, был болен манией подозрительности. Мне чудилось даже, что вы здесь в подвале прячете того... летчика.

КАТЯ. Да, да, вы больны, Иван Иванович. Ну, подумайте, что вы сказали! Просите сейчас же прощения! На колени!

МУШКИН (опускаясь на колени). Простите, Катя... Я так виноват перед вами... По лестнице спускаются Анна с иконой, Татьяна, Сергей Петрович.

ТАТЬЯНА. Вот они где, два голубка... Воркуют...

АННА. Дети мои! Дайте я благословлю вас... Будьте счастливы.

МУШКИН. Поверьте... моя жизнь — ваша жизнь, мамаша. (Целует ее руку.)

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Горько! Ивану Ивановичу горько!

Мушкин целует Катю.

АННА. Что ж мы стоим здесь... Пойдемте в комнаты...

МУШКИН. Но теперь уже готовы моченые яблоки, мамаша?

ТАТЬЯНА. Да, да... теперь они готовы, Иван Иванович.

Уходят все, кроме Сергея Петровича. Он стоит с графином, еликает и пьет.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Слышь, командующий! А не нам с тобой будет горько? Маневр, брат, очень рискованный и противный... И у меня вместо правнуков и правнучек могут появиться прадедушки... прадедушки... И в башке у меня такая циркумдукция! (Пьет.) Да... На «Площади цветов». Живьем! Вот это—человечище!

Занавес

АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ

Картина четвертая

Конец апреля.

В доме Кашириных выставляются земные рамы. Этим заняты Татьяна и Надежда. Сергей Петрович с Катей вытаски-

вают из подвала ульи, выносят в сад. Анна толчет что-то в медной ступке.

В раскрытую дверь на террасу видны яблони в нежной зеленоватой дымке распускающихся листьев.

ТАТЬЯНА. Как хорошо! Снова весна, солнце... И так легко-легко, словно и не было этой страшной зимы...

НАДЕЖДА. Тanya, нужно поскорее убрать раму на чердак, дать Виктору хоть полчаса подышать свежим воздухом.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Осторожно, внучка. Не так... возьми с этой стороны. Пчелки не любят порывистых людей... С ними нужно обращаться спокойно...

КАТЯ. Дедушка, нужно торопиться, милый... Времени так мало... Мамочка, поторопись с кофе.

Они выносят улей через стеклянную дверь. Анна уходит в кухню.

ТАТЬЯНА. Почему-то всегда весной бывает немного грустно и хочется чего-то необыкновенного, приходит какое-то беспокойство, и хочется говорить людям какие-то ласковые-ласковые слова...

Татьяна и Надежда уносят раму по лестнице вверх на чердак. На одну минуту в комнате никого нет. Затем в стеклянную дверь быстро входит Мушкин и тревожно оглядываясь, прячется за драпировку. Входит Анна, устало садится.

НАДЕЖДА. Любям нужны ласковые дела, Тanya.

АННА. Я как арестованная в собственном доме... Они не доверяют мне, следят за каждым шагом, за каждым словом... И даже Катя сторонится меня... Что-то скрывает... Я всем, как чужая... Но сегодня он уйдет. И я первый раз сегодня усну спокойно.

Сверху по лестнице спускаются Татьяна и Надежда.

НАДЕЖДА. Анюта, готовь скорее кофе. Я закрою окна, кажется, уже хорошо проветрили... Надо покрасивее убрать стол. Ведь он первый раз будет сидеть за столом с нами как человек...

Анна уходит.

ТАТЬЯНА. Вот он уйдет, и снова мы остаемся одни...

НАДЕЖДА. Сегодня у нас праздник. И пусть все будет красиво, чтобы запомнилось до конца наших дней...

ТАТЬЯНА. Лишь бы не испортил нам праздник этот страшный Мушкин. Мне кажется, что он все знает... В последнее время он какой-то тревожный и злой... Неужели Анна могла...

Входят Сергей Петрович и Катя.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Ну, пчелок выпустили на свободу, теперь давайте вытаскивать на просушку нашего пленника. Истомился он! Катя, закрывай дверь. Сейчас вы увидите, что мой хирургия восторжествовала.

Он поднимает крышку люка. Татьяна постилает чистую скатерть. Надежда ставит на стол цветы. Входит Анна, берет ступку.

НАДЕЖДА. Анюта, готово у тебя?

АННА. Вот измельчу в ступке зерна и заварю кофе. (Стучит пестиком.)

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ (торжественно) Лазарь, возьми одр свей и ступай... пити кофе!

Из подвала вылезает Беркутов. Он улыбается, щурясь от яркого света. Идет по комнате, опираясь на палочку, но твердо и уверенно. Вздвигаясь разглядывает Каширинных.

БЕРКУТОВ. Как странно все кажется после темноты. Свет режет глаза. Здравствуйте! Здравствуйте, родные...

От волнения он не может говорить, все Каширины смотрят на него с улыбкой радости, нежно и удивленно.

ТАТЬЯНА (вытирая глаза). Как вы бледны!

БЕРКУТОВ. При дневном солнечном свете вы какие-то другие... Праздничные. Светлые...

НАДЕЖДА (порывисто обнимает его, целует). Родной... за что мне такое счастье?!

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Надежда, не задерживай, иначе он будет обниматься весь день, а времени у нас в обрез. (Идет к буфету, достает графины с малиновой настойкой.)

АННА. Простите меня... что я... тогда в первый день так нехорошо обошлась с вами...

БЕРКУТОВ. Не вы, а я должен просить у вас, Анна Сергеевна, прощения за все тревоги и страдания, которые я причинял вам...

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Кто старое помянет, тому глаз вон. А ну-ка, пройдишь, пройдишь! Дай поглядеть, как ты шагаешь. Крепко я тебя забинтовал, а? Ножкой, ножкой пристукни! Веселей!

Беркутов идет по комнате к драпировке. Так, молодец!

БЕРКУТОВ. Сергей Петрович, дайте же обнять вас, моего чудесного хирурга! (Обнимаются.) Спасибо. Спасибо всем вам, милые... родные...

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Приступим! (Наливает рюмку.) За здоровье нашего гостя!

НАДЕЖДА. За сына!..

БЕРКУТОВ. За этот крохотный домик, за вас, Каширины!.. Вы люди с мужественным сердцем. Вы тоже солдаты великой войны. Вы—герои.

ТАТЬЯНА. Ну, что вы, Анатолий! Герои — это те, кто совершает подвиги, а мы обыкновенные... маленькие людишки... каких миллионы.

БЕРКУТОВ. Нет, вы не маленькие люди. Вы великие духом.

ТАТЬЯНА. Нам все-таки нужно установить строгое дежурство. Часовые должны стоять на своих постах. Я буду следить за окном, ты, Надя, за дверью. Дверь на кухне закрыта?

НАДЕЖДА. Какой вы счастливый, Виктор! Скоро будете в Москве. Москва... Красива она?

БЕРКУТОВ. Да, красивая... Я живу недалеко от Кремля, в двухстах метрах, возле Охотного.

НАДЕЖДА. А не на Божедомке?

БЕРКУТОВ. Нет, в Георгиевском переулке. Собственно, теперь он куда-то пропал. Построили огромный дом, а наш переулок вывели в арку этого дома на улицу Горького, так что теперь и не найдешь сразу. Ну, вот, а рядом Кремль... И я ночью всегда слышу звон часов на Спасской башне и крик петуха...

АННА. Петуха? Разве в Москве разводят кур?

БЕРКУТОВ. Мой отец — страстный любитель-птицевод, и у него такой голосистый петух, всегда поет по ночам.

АННА. Как это интересно! А ты, Надя, всегда меня упрекаешь, что я вожусь с курами. А петух и возле Кремля поет.

КАТЯ. Петух будет напоминать нам этот домик. Правда, Толя?

АННА (потрясенно). Катя, я не понимаю, о чем вы говорите.

КАТЯ. Ах, да. Мы... Я забыла сказать тебе, мама, что...

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Все ясно, Катюша. Все ясно! Выпьем за вашу счастливую жизнь... за будущих правнуков и правнучек!

АННА. Катя, я, кажется, мать. Я ничего не знаю. Ничего не понимаю.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Да что тут непонятного? Полюбили друг друга. Поженятся и будут жить в Москве... Эх, жаль только, что я уже не смогу побывать в Георгиевском переулке.

АННА. Что же это такое? Как это так? Я ничего не понимаю! Я же благословила тебя с Иван Ивановичем.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Начхать на этого Ивана Ивановича. Отступление кончилось!

БЕРКУТОВ. Анна Сергеевна, милая, я люблю Катю... это уже давно. И вот мы решили жить как муж и жена.

АННА. Но вы же уходите?

БЕРКУТОВ. Да, и вместе со мной уходит Катя.

АННА. Это невозможно! Как же это? Вы отбираете у меня все, чем я живу... дышу...

Мы спасли вас от гибели... лечили... страдали... А вы ограбили нас... меня... Вы...:

КАТЯ (бросаясь к матери). Мама! Мамочка, успокойся!

АННА. Я не хочу ничего слышать. Вы устраняете против меня какие-то заговоры... скрываете... Я сойду с ума! Ты никуда не пойдешь, Катя. Я не пущу тебя на смерть. Ты одна у меня...

КАТЯ. Мамочка, родная... Пойми...

АННА. Ничего не хочу понимать! Я пойду к Иван Ивановичу. Я...

ТАТЬЯНА (обнимая Анну). Анюта, милая... Катя любит Анатолия. Не нужно мешать ее счастью!

АННА. Меня обокрали... обманули... (Рыдает.) Я должна остаться одна... старуха... Нет, лучше умереть...

ТАТЬЯНА. Анюта, пойми, если ты хочешь, чтобы Катя осталась жить, ей нужно уйти из города с Анатолием. Это единственный выход в жизнь. Они уйдут в лес, к партизанам, и оттуда их переправят в Москву.

АННА. В лес! К партизанам! На верную гибель?! Нет, этого не будет! Не будет! Не будет!

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Анна, надо рассуждать здраво и не сходить с ума раньше времени. Мы — старики... Отжили свой век, а Катюша только начинает жить... Я — за!

АННА. Ну, хорошо... Полюбили. Пусть кончится война — и тогда живите. Все будем жить вместе. Но зачем же сейчас?

ТАТЬЯНА. Пойми, Анна, если Катя не уйдет сейчас, Мушкин ее погубит. Выбирай.

АННА. Нет, нет. Иван Иванович не такой. Он этого не сделает. Он любит Катю.

ТАТЬЯНА. Вот потому-то он и погубит ее. Он — зверь, мелкий хищник, хорек. Он погубит из ненависти к нам. Ведь он же догадывается. Мы со дня на день откладываем свадьбу. Он нервничает, стал подозрителен к нам. Я уверена, что он все знает и выжидает лишь удобного часа, чтобы всех нас погубить.

НАДЕЖДА. Катя на время расстанется с нами. Потом кончится война, и мы все поедем в Москву, в Георгиевский переулок.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Все? А кто же останется дома? Удивительно неразумные женщины. Здесь у меня сад, пчелки... цветы... Дом, наконец! Как же это его бросить и уехать?

КАТЯ. Я должна уйти. Нужно провести Анатолия в лес, к партизанам. Я знаю дорогу. Мы туда ездим за грибами. Урочище Белый Мох... Я могу вернуться домой, если вы настаиваете... Я буду ждать вместе с вами, когда окончится война. Решайте.

ТАТЬЯНА. Нет, конечно, уйти нужно совсем. До конца войны, и ты, Анюта, должна примириться.

АННА. Нет, Иван Иванович не сделает ничего худого. Я все объясню ему как мать. И он поймет меня. Насильно мил не будешь.

ТАТЬЯНА. Но даже если он примирится, то все же остаются немцы. Разве они посчитаются с тобой, Анна? Ты же знаешь, что всех красивых девушек они стогняют в эти страшные дома для солдат. Подумай, какой ужас ожидает Катю!

КАТЯ. Если это... то я... покончу с собой.

БЕРКУТОВ. Как бы вы ни решили, я не оставлю здесь Катю. Она—моя жена, и я имею право действовать так, как я считаю нужным. Я не могу обрекать Катю на верную смерть.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Вот это я понимаю—муж! А я все ждал, ждал, когда же, наконец, заговорят мужчины. С ними разве столкнешься? Итак, решено! Выпьем по последней.

АННА. Но как же я? Как я буду жить?

ТАТЬЯНА. Во имя будущего, Анюта.

АННА. Но что я скажу Ивану Ивановичу? Как объяснить ему, куда исчезла Катя?

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Скажем, что уехала к бабушке.

АННА. Но ведь он же знает, что никакой бабушки нет.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Раньше не было, а теперь появилась. Война. Во время войны все бывает.

ТАТЬЯНА. В самом деле, это серьезный вопрос. Ведь мы останемся одни, а Мушкин—не такой дурак, чтобы поверить нам.

БЕРКУТОВ. Скажите, что какие-то немецкие солдаты ворвались ночью в дом и увели с собой Катю.

АННА. Боже мой, опять лгать, притворяться, обманывать. Опять нескончаемая пытка. Мы остаемся одни... дряхлые, беспомощные...

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Ничего, Анюта, не горюй! Мы еще повоюем. Главное сражение мы выиграли. Остальное неважно.

КАТЯ. Дедушка, милый! (Обнимает его.)

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Только смотри, Катюша, чтобы правнуки мои были похожи на него (показывает на Беркутова). К чорту кротких! Вот смотри, даже у гладолусов листья, как мечи. Гладолус пол-латыни значит меч. Сим победиши!

БЕРКУТОВ. Ну, Катя, нам пора собираться. Спустишь в последний раз в свою тюрьму. А как не хочется расставаться с этими

чудесным весенним днем! (Спускается в подвал.)

НАДЕЖДА. Москва... Москва... Какая ты счастливая, Катя!

Мушкин быстро выходит из-за драпри, захлопывает крышку люка, вынимает из кармана большой висячий замок, вешает его на крышку и кладет ключ в карман. Пока он это проделывает, все Каширины стоят остолбенело, в немом ужасе.

МУШКИН. Вы не ожидали, конечно, чем кончится вся ваша конспирация? Молчите? А надо поговорить. О многом надо поговорить нам. (Старается говорить спокойно, но это плохо удается.) Да, вам сказать нечего. Вы сказали все, и я слышал все. Теперь буду говорить я, Иван Иванович Мушкин! Я был другом вашей семьи. Я любил вас. Я полюбил вас, Катерина Петровна, полюбил так; как может любить только одинокое сердце. Я отдал вам все: свою любовь, заботу, дружбу. Я понимал, что, оставаясь у немцев, я делаюсь предателем, так сказать. Но я сделался предателем из любви к вам. Я знаю, что меня ждет, если вернется советская власть, но я не считался с этим ради вас. Что же вы сделали со мной? Как вы отплатили мне за все, что я сделал для вас? Вы тайли в сердце своем подлую измену! В то утро, когда я увидел кровь из крыльце, я уже догадывался, что вы спрятали у себя летчика. Я видел это по вашим лицам. Нет, я не поверил в вашу «пеструшку», Сергей Петрович! Мушкин не так наивен, как вы думаете. Вы, Катерина Петровна, разыграли комедию с обмороком, чтобы отвлечь меня от подвала. Вы играли не очень искусно, Катерина Петровна. Из вас не выйдет актрисы. Но все это были только подозрения, догадки оскорбленного сердца. Я говорил себе: нет, это моя мнительность. Каширины неспособны на такую подлость. Я еще сомневался... долго мучился... пока, наконец, Анна Сергеевна не раскрыла мне всю тайну.

Каширины с ужасом смотрят на Анну.

ТАТЬЯНА. Анюта. Боже мой, неужели?

АННА (задыхаясь от волнения). Я... Я ничего... Я не... не говорила... Зачем вы говорите?..

МУШКИН (злорадно). Вам, конечно, трудно признаться в этом, Анна Сергеевна. Вы ведь теперь тоже предатель.

АННА. Не верьте. Я ничего... Я не говорила...

МУШКИН. А каким образом я мог очутиться вот здесь, за драпировкой, и слышать все, если бы не ваше содействие, Анна Сергеевна?

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Значит, и в нашей крепости нашелся Стессель?

ТАТЬЯНА. Ты предала нас, Анюта? Будь же ты проклята!

Анна рыдает.

НАДЕЖДА. Таня, не нужно... Разве ты не видишь, что он хочет, чтобы мы своими руками убили Анну? Сам он боится этого — трус! Он хочет сделать нас своими палачами.

АННА. Ведь я же считала вас честным... Вы лжете, лжете... (Плачет.)

МУШКИН. Катерина Петровна, что же вы не утешаете бедную мать?

КАТЯ. Мама... Что вы сделали, мама?! (Плачет.)

МУШКИН. Плачьте, Катерина Петровна! Я тоже плакал от вашей подлой измены. Вы насмеялись надо мной, над моим святым чувством. Вы обманывали меня, лгали в глаза... нагло... Вы разыгрывали фальшивую любовь ко мне. Вы превратили меня в шута! Вы могли сказать мне честно, что разлюбили.

КАТЯ. Я никогда не любила вас.

МУШКИН. Ложь! Вы целовались со мной... там, на чердаке, возле печного борава. Забыли?

КАТЯ. Это было... Это я сделала, чтобы убедиться, как вы мне противны. Это было нужно, чтобы возненавидеть вас.

МУШКИН. Вы, Катерина Петровна, позволили себе даже большую смелость, так сказать, нетерпение...

КАТЯ. Замолчите, гадина!

МУШКИН. Нет, не замолчу! Пусть слышит он там (топает ногой по крышке люка). Эй, вы! Несчастный любовник! Слышите? Так знайте же, что прежде чем вы обняли ее, она уже была моей... Вы обманывали Беркутова, а Беркутов обманывал вас, Катерина Петровна, он скрыл от вас, что давно женат...

КАТЯ. Неправда! Всё ложь...

МУШКИН. Вот письмо его жены, Верочки. Оно тоже было в бумажнике, но я вам не показал. Вот полюбуйтесь! (Бросает ей письмо.) Приятное открытие, правда?

КАТЯ (поднимает письмо, читает, бледнеет и, сжав кулаки, бросается к Мушкину). Вы негодай!

ТАТЬЯНА (удерживая ее). Катюша, не нужно, родная... Ведь никто же не верит. Ты чистая... святая... (Кричит.) Вы чудовище! Анюта, милая, прости меня. Я тебя обидела. Теперь я вижу, что...

МУШКИН. Молчите, старая сводница! Разве не вы твердили мне, что сердце этой коварной змеи занято мной? Забыли?

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Вы спятили, Иван Иванович. Определенно спятили. (Ищет гра-

фин глазами, берет его в руки и наливает вино в стакан.)

МУШКИН. Молчите, старый комедиант! Теперь вы меня не проведете своей «пеструшкой». Я знаю, какая кровь была на ваших руках, лжехирург!

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Почему «лже»? Я все-таки вылечил ногу человеку... (Он не выпускает из рук графин, разглядывает на свет вино.) Я честно сделал свое дело, Иван Иванович. Я всю жизнь свою прожил честно...

МУШКИН. А вы что же молчите, Надежда Сергеевна? Только вы одна были честны в отношениях со мной. Вы открыто ненавидели меня.

НАДЕЖДА. Да. И научила всех ненавидеть вас.

МУШКИН. А мне на это наплевать! Наплевать! (Плюет на пол.)

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. В моем доме я не позволю плевать, Иван Иванович! Идите на улицу и плюйте там, сколько вам угодно, но не в моем доме.

МУШКИН. Отныне этот дом больше не принадлежит вам! Сегодня его займут немцы. Хозяин дома — лейтенант Гютнер. Он будет здесь через часоколько минут.

КАТЯ. Ну, это дудки!

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Да, дудки!

МУШКИН. В эту дудку будете играть не вы (показывает на кларнет), не вы, Сергей Петрович, а лейтенант Гютнер... И вы, Катерина Петровна, запоете под эту дудку другие песенки. Уже не из «Пиковой дамы»... Да, будете петь так, как захочет лейтенант Гютнер, и будете плясать перед ним...

КАТЯ. Нет такой силы на свете, чтобы заставить меня. Я уйду туда, куда хочу.

МУШКИН. В лес? К партизанам? В Москву? Не-ет! Нет, Катерина Петровна, вы никуда не уйдете! И он, ваш любовник (стучит ногой в крышку люка), и он никуда не уйдет! Слышите? Ни-ку-да! Он принадлежит лейтенанту Гютнеру. И вы, Катерина Петровна, принадлежите лейтенанту Гютнеру. Вы — немецкий инвентарь, так сказать! Вам повесят на шею бирку и отправят в такой дом, где вам будет очень весело. Там у вас будет много любовников. Анна, прижимая к груди пестик от ступки бросается к Мушкину.

АННА. Этого не будет! Не будет. Не будет...

НАДЕЖДА (поддерживая под руку Анну). Таня... Катя... Помогите же мне поддержать Анну. Она совсем ослабела...

Татьяна и Катя окружают Анну, под-

держивая ее. Анна медленно, не спуская глаз с Мушкина, движется к нему, прижав пестик к груди, и все женщины, сомкнувшись вокруг Анны, движутся на Мушкина. Сергей Петрович стоит с пустым графином, он держит его за горлышко, как графату.

МУШКИН (кричит торжествующе). Ее возьмут... В публичный дом! Слышите? В публичный! И я приду к ней... Ха-ха-ха!

Анна идет, высоко подняв пестик, и все Каширины, как по сигналу, бросаются на Мушкина.

Занавес

Картина пятая

Через полчаса. Та же обстановка. Следы борьбы: поваленные стулья, на полу банки с цветами. В позе смертельно усталых людей в разных местах комнаты — Татьяна, Надежда, Анна, Катя. Сергей Петрович стоит над люком.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Глубже, глубже закапывай его! В левом углу... Там песок... Мягче копать... Чорт возьми, я строил этот погреб, чтобы сохранять пчел на зиму, моченые яблоки, картошку, лукавцы моих гладилосов... И вот теперь приходится зарывать в нем какую-то падаль. (Подходит к столу, ищет графин, видит на полу осколки). Графин разбит. Кажется, я графином ударил его по голове... Ничего не помню... Я убил его...

АННА. Это я...

КАТЯ. Нет, мамочка! Это не ты...

НАДЕЖДА. Мы все убили... Каширины.

ТАТЬЯНА. Мы не могли без слез зарезать курицу и вот убили человека...

НАДЕЖДА. Не человек он, а вошь.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Вошь? Нет, паук... За паука сорок трехов прощается. Паук!

Из подвала вылезает Беркутов. Он успел переодеться в костюм Мушкина и чем-то стал похож на него. Все Каширины смотрят на него испуганно, как на привидение.

ТАТЬЯНА. Как я испугалась! Я думала... это Мушкин...

БЕРКУТОВ. Теперь ему не воскреснуть. Но костюм его очень пригодился, а особенно удостоверение на имя секретаря Сердеченской городской управы и пропуск с настоящей немецкой печатью. С такими документами можно смело отправляться даже днем. Вы готовы, Катя?

АННА. Она не пойдет с вами. Вы обманули нас!

БЕРКУТОВ. Я ничего не понимаю... Что случилось?

АННА. Вы обманули Катю. Я сойду с ума...

БЕРКУТОВ. Катя, объясните мне... Я ничего не понимаю.

КАТЯ (протягивает письмо). Это письмо вашей жены.

БЕРКУТОВ (берет письмо). Да, это от Верочки. (Челует письмо). От сестры... Последнее письмо... Она убита во время бомбежки. На третий день войны. Она была очень похожа на вас, Катя... Однако нам пора, Катя. Прощайте!

ТАТЬЯНА. Прощайте!

НАДЕЖДА. Прощайте, Виктор... мой сын. Это ничего, что... рятовой... Мы все рятовые... Прощайте!

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Не прощайте, а до свидания! Эх, вы, женщины! (Уходит, вытирая глаза.)

АННА. Прощай, Катя... (Плачет.)

КАТЯ. Мамочка, прости меня за жестокость. Мне тяжело... стыдно покидать вас... беззащитных. Простите.

Беркутов и Катя уходят. Молчание. Каширины смотрят в окна, провожая взглядом уходящих.

ТАТЬЯНА. Надо бы убрать в комнате... И люк закрыть... Я боюсь, Надя.

НАДЕЖДА. Я закрою, Танечка (Заврывает.)

ТАТЬЯНА. Но как же мы будем жить дальше? Как на кладбище... Страшно...

НАДЕЖДА. Так и будем жить.

ТАТЬЯНА. Руки бы надо помыть... Вей я голыми руками... (Содрогаясь.) Боже мой, что сделали с нами враги!

НАДЕЖДА. Подними пестик от ступки пшмы. Все надо тщательно осмотреть, чтобы не было никаких следов.

ТАТЬЯНА. Но как же мы будем жить-то, Надя? Как? Если бы кто-нибудь раньше сказал, что я, Татьяна Каширина, своими руками... вот этими руками, которыми правила ученические тетрадки, проверяла задачки, что я... своего ученика...

НАДЕЖДА. Таня, это уж из Достоевского. Помоги мне поскорей все поставить на место. (Ставит на стол цветы.) Все должно быть в порядке. Пусть увидят немцы, что здесь живут тихие, мирные люди.

АННА. Пусто и темно на душе. И страшно.

НАДЕЖДА. Было бы страшней, если бы мы в час общего бедствия остались в стороне от людей. Но вот и мы воюем. Придет время, вспомнят люди и нас, Кашириных, и скажут нам спасибо. Разве не в этом счастье?

Слышны голоса приближающихся немцев.

ТАТЬЯНА. Они идут.

АННА. Катя... Катя...

НАДЕЖДА. Таня, позови папу...

Татьяна уходит. Вламываются немцы.

Гютнер, вертлявый молодой немец переводчик, солдаты.

ПЕРЕВОДЧИК. Это дом Каширских?

НАДЕЖДА. Что вам угодно?

ГЮТНЕР. Я помнить вас. Sprechen Sie deutsch?

НАДЕЖДА. Сегодня я буду говорить только по-русски. На своем языке.

Входят Сергей Петрович и Татьяна.

ПЕРЕВОДЧИК. От имени лейтенанта Гютнера объявляю, что вы должны немедленно покинуть этот дом.

НАДЕЖДА. За что вы лишаете нас собственного дома?

ПЕРЕВОДЧИК. За то, что вы укрывали у себя русского летчика.

НАДЕЖДА. В нашем доме нет никакого русского летчика.

ПЕРЕВОДЧИК. Это мы сейчас вам докажем. (Солдатам.) Общитесь подвал! (Солдаты лезут в подвал.)

ПЕРЕВОДЧИК. Нам точно известно, что вы прячете у себя русского летчика.

НАДЕЖДА. Вам сказал это Мухкин?

ПЕРЕВОДЧИК. Да. Это ваш близкий знакомый?

НАДЕЖДА. Он лгал вам.

ПЕРЕВОДЧИК. Он сам придет сейчас и подтвердит.

НАДЕЖДА. Он не придет сюда.

ПЕРЕВОДЧИК. Нам лучше знать.

НАДЕЖДА. Нет, я знаю лучше, чем вы. Он не придет. Он был здесь и сказал, что ему надоела роль предателя... что в нем проснулась совесть... что он хочет восстановить свою честь... Больше он вам служить не будет. И он уехал очень-очень далеко... чтобы искупить свою вину...

Переводчик переводит Гютнеру.

ГЮТНЕР. Sie lügen!

НАДЕЖДА. Нет, я не лгу. Я говорю правду.

Из подвала вылезают немецкие солдаты, едят моченые яблоки.

СОЛДАТ. Oh, der Keller ist sehr gut! Карош подвал... Кушать много-много...

ПЕРЕВОДЧИК. Вы никого не обнаружили? (Повторяет вопрос по-немецки.)

СОЛДАТ. Dort ist niemand!

ГЮТНЕР. Durchsuchen!

Солдаты обыскивают дом.

ПЕРЕВОДЧИК. Уходите! Вас могли подвергнуть более жестокому наказанию, но, учитывая ваш возраст, пощадили.

ТАТЬЯНА. Нам же нужно собрать вещи...

ПЕРЕВОДЧИК. Все вещи должны остаться здесь. Они собственность германской армии. (Солдатам.) Выносите все из подвала и наиболее ценные вещи! Что у вас в подвале?

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Всякие продукты. Капуста, картофель, соленые огурцы... моченые яблоки и даже — померанцы.

ГЮТНЕР. О, я ошен люблю померанец!

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Специально для вас берег! Кушайте на здоровье.

ГЮТНЕР. Der Pommeranzenschnaps ist prima!

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Померанцевая настойка полезна, особенно когда в желудке этакая циркудукция.

ГЮТНЕР. Цир-кум-дукция. Не понимай.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Ну, этакое в животе круговое вращение.

Переводчик переводит Гютнеру, тот весело улыбается, хлопает по плечу Сергея Петровича.

ГЮТНЕР. Старый шеловек ошен веселый.. Цир-кум-дукция!

Солдаты вытаскивают из подвала мешки, бочки, ящики, улы, выносят мебель.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ (снимая со стены кларнет). Ну, это уж вам не нужно, а мне пригодится...

ГЮТНЕР (вырывая кларнет). Руссишен музыка грустный. Немецкий музыка веселый... (Наигрывает какую-то примитивную мелодию.)

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Да, теперь можно... нужно уходить отсюда. Пойдемте!

ПЕРЕВОДЧИК. Предварительно вы должны надеть бирки с вашими номерами. (Смотрит в тетрадку.) Ваши номера с шестьсот первого до шестьсот пятого включительно. Где ваши бирки?

ТАТЬЯНА. Мы никуда не выходили из дому, они нам не были нужны.

ПЕРЕВОДЧИК. Но сейчас вы уходите и должны надеть бирки.

Татьяна берет с буфета бирки, надевает на шею свою «602», передает остальные Анне и Сергею Петровичу. Они надевают.

ТАТЬЯНА. Возьми, Надя... Твой—шестьсот четвертый.

НАДЕЖДА. Я не надену. Я не животное, а человек.

ПЕРЕВОДЧИК (глядя в тетрадь). Шестьсот четвертый... Катерина Петровна Кошелева. Двадцати лет... Где она?

ТАТЬЯНА. Она... она ушла к знакомым... в город.

ПЕРЕВОДЧИК. Без бирки ушла?

ТАТЬЯНА. Да, она ушла без бирки.

ПЕРЕВОДЧИК (Надежде). Почему вы не надеваете бирку? Ваша шестьсот пятая.

НАДЕЖДА. Я сказала вам, это я не животное, а человек.

ГЮТНЕР. Sofort!

Надежда швыряет бирку на пол.

ПЕРЕВОДЧИК. Вы наживете себе неприятности.

ГЮТНЕР (кричит). Sofort! Ohne Wiederrede!

Надежда стоит неподвижно. Гютнер вынимает из кобуры револьвер.

АННА. Нада, ради бога, надень!

НАДЕЖДА. Нет, Анна. Я хочу умереть человеком, а не козявкой.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Так, Надежда. Так. Человеком...

ГЮТНЕР. Sofort! (Приближается к Надежде с поднятым револьвером) Unverzüglich!

Надежда плюет ему в лицо. Выстрел. Надежда падает.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Так, Надежда, так... Человеком...

ГЮТНЕР. Fort! Hinaus! (Жестом показывает, чтобы Каширины удалились из дому.)

Каширины идут на террасу. Из подвала солдат выносит комбинезон Беркутова. Гютнер рассматривает его и яростно кричит Кашириным, преграждая им путь на террасу.

Sie lügen! Zurück! Zurück!

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ (указывая на мертвую Надежду). Но вот это нам можно взять с собой? Это ведь вам не нужно.

Переводчик переводит Гютнеру.

ГЮТНЕР. Oh, nein! Старый шеловек труднее копать могила. Мы не можем заставить

старый шеловек трудная работа. Мы будем делать крематорий. И будем играть веселый немецкий марш.

Он уходит через террасу, наигрывая на кларнете какой-то марш. За ним, маршируя, уходят солдаты и переводчик.

Каширины неподвижно стоят возле Надежды. Солдат захлопывает двери снаружи. За окнами показывается дым, потом огни слышится треск пламени.

АННА. Они зажгли наш дом! Скорей уходите! (Бросается к двери, но она закрыта.)

ТАТЬЯНА. Боже мой, они заперли нас!

АННА. Скорей в окна! В окна! (Подбегает к окну, раскрывает его.)

Раздается выстрел, и Анна падает замертво.

ТАТЬЯНА. Они хотят сжечь нас... Изверги!

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. Да, это наш костер.

Наша «Площадь цветов». Наш домик сгорит. Но строитель Беркутов выстроит здесь большие, красивые дома. И в новом большом нашем городе будет «Площадь цветов»... Всюду будут цветы. Алые лепестки гладиолусов впитают в себя нашу кровь, и цвет этого пламени... на память о нас... Танюша, приколи мне на грудь мою награду...

Он снимает бирку, швыряет на пол, вынимает из кармана медаль. Татьяна прикладывает медаль на отворот пиджака. Сергей Петрович обнимает ее. Пламя врывается в комнату. Медленно опускается занавес. Доносится треск огня, дикий марш Гютнера на кларнете—симфония войны, разрушения, смерти. Но в пылающей комнате стоят два бессмертных русских человека, и размашисто раскачивается медный, сверкающий, как солнце, маятник стальных часов.

З а ч а в е с .

На краю России

Азиатской волной Амура,
Неба радугой расписной,
Потайною тропой манчжура
Ты манил меня, край лесной.

Ни церквей на холмах зеленых,
Ни плакучих берез на полях,—
Только кедры на горных склонах,
Где за сободем шел гиллак.

Но сейчас, кого ни спроси я,
Все ответят наперебой:
Ты и здесь обжилась, Россия,
С непокупной своей судьбой!

Ты не скоро укрылась тыном.
Сопки. Мари. Тайга. Вода.
С Ерофеем¹, крестьянским сыном,
Ты из Вологды шла сюда.

На чукотский всходила берег,
Где туманы плывут с утра,

Где над скалами поднял Беринг
Государственный флаг Петра.

Землеходцы пришли босые,
Топором прорубая путь.
Не забудь их, мря Россия,
Добрым именем помянуть!

Не найдешь той минуты краше,
Когда люди сказать смогли:
«Все здесь русское, все здесь наше —
От Москвы до конца земли...»

Где-то есть, под Рязанью, что ли,
Не такие, как здесь, места:
За селом — с васильками поле,
Неба звонкая высота.

Что же, пусть небеса другие
Опускаются надо мной.
Ты и здесь мне мила, Россия,—
Край суровый мой, край родной!

Хинганский родник

Тебя я вижу, мой Хинган,—
И лес, и горы, и туман.
Там, среди зарослей густых,
Таяжный ключ звенит, как стих.
Он день и ночь в тиши лесной
Поет серебряной струной.
Тайги хоромы вековые
В нем отражаются весной.

Когда бы утренняя мгла
Над ним сгущаться не могла,—
Я б различил, какой тропой
Олень спешит на водопой.
Он подойдет, напьется тут,
И капли звонко упадут
С пугливых губ на голый камень,
Где даже змеи не живут.

Уронит бор сучок сосновый,—
И вот уже, не чуя ног,
Навстречу дню он скачет снова,
С кедровника сбивая мох.
За ним, сквозь темные леса,
Следят янтарные глаза.

Там рысь — охотница седая —
Идет, на лапах приседая,
Усатой мордой у воды
В олени тычется следы.
Свое увидев отражение
В зеленом зеркале ключа,
Она отпрянет на мгновенье,
Поднимет лапу и, урча,
По отраженью лапой бьет,
И, успокоенная, пьет...

Но вот уходит и она.
Хинган безмолвен. Тишина.
Лишь по отрогам, там и тут,
Дозоры ранние идут.
Боец сюда с пути свернет,
Воды в манерку зачерпнет,
И капли горного ключа
Его в походе облегчат.

Он будет видеть целый день
Своих лесов живую тень,
И слышать, как звенит струной
Родник хинганский за спиной.

¹ Ерофей Павлович Хабаров—первый открыватель Амура.

Топтугары

Даль сибирская сквозная.
Зорь охотничьих пожары —
Наша станция лесная,
Топтугары, Топтугары...

Серебристые подвески
След январского мороза
Надевает в перелеске
Белоствольная береза.

Дыма синняя воронка,
Облак бойкие отары —
Забайкальская сторонка,
Топтугары, Топтугары...

Перегон за перегоном —
Мы спешим скорей на запад,

И тайга несет к вагонам
Зимней хвоем пьяный запах.

И стоят стеною ледкой
Сопок сближенные пары.
Выйдет девушка с брусничкой.
Топтугары, Топтугары...

Забайкалье собирает
Сыновей своих в дорогу,
Забайкалье посылает
Фронту новую подмогу.

Возле шизагинского плёса.
Где шумит кедровник старый,
День и ночь стучат колёса:
Топтугары, Топтугары...

Особое задание

Записки штурмана

Накануне войны я работал в Арктике штурманом двухмоторной летающей лодки. Пилотами на этом самолете были Михаил Васильевич Водопьянов и Эндель Карлович Нусэп.

Мы производили глубокие ледовые разведки в северных морях и в Ледовитом океане, провозжали по арктическим путям караваны судов с лебедками, собирали материал о состоянии льдов, помогали составлять ледовые прогнозы и строить научные гипотезы о природе Арктики. Попутно наносили на карту новые острова и мелли, заливы и речки, горы и ледники, — все, что еще не было известно человеку.

С каждым годом все меньше оставалось белых пятен на карте Арктики. Работа в просторах северных морей и Ледовитого океана была для нас уже простым и привычным делом.

20 июня 1941 года мы вылетели в очередную глубокую ледовую разведку.

Двадцать пять часов без посадки летали мы над ледовым пространством. Наши морские карты покрывались рисунками и условными обозначениями, точно отражавшими состояние льдов, над которыми пролетала наша лодка. В этот полет мы исследовали все Карское море, часть Варенцова и, поднявшись к полюсу, разведали льды океана к северу от берегов Северной земли и к востоку от земли Франца Иосифа.

Этот полет закончился посадкой на реке Енисей в порту Игарка.

День был солнечный, теплый. Легкий ветерок отгонял назойливых комаров.

Экипаж, вернувшийся из далекого полета, в ожидании катера, который должен был доставить его в гостиницу, расположился на берегу Енисея, на бревнах. Мы делились впечатлениями, шутили, смеялись. Высказывались предположения о том, как будет вести себя летчик Черевичный, узнав, что Водопьянов сделал двадцатипятичасовой беспосадочный рабочий полет, как он будет готовиться шере-

крыть этот рекорд. Мы были возбуждены успехом и не чувствовали усталости, хотя проделали большую и утомительную работу. Настроение было самое безмятежное.

На берегу не видно ни одного человека. Это удивляет, так как в такое время здесь обычно оченьлюдно.

Подходит катер. От старшины его узнаем новость, которая сразу настроила нас на другой лад.

Немцы напали на советскую страну.

Началась большая война.

Арктика, без которой мы не мыслили ни своей жизни, ни своей работы, родная Арктика отошла на задний план, расплылась, как в тумане, от одного слова «война».

Сборы были недолгими. Мы улетели в Москву на своем рабочем самолете.

В Москве наш экипаж, почти в том же поларном составе, получил новый четырехмоторный бомбардировщик дальнего действия. Мы влились в состав боевой части, которой командовал полковник Лебедев, и вместе с другими товарищами приступили к ночным полетам в глубокий тыл противника.

Прошло немного времени, и мы привыкли и к яркому прожекторному свету, и к густому разрыву зенитных снарядов, и к огненным струям трассирующих пулеметных очередей, и к залаху порохового дыма. Привыкли и к радостному чувству, которое вызывает удачно сброшенная бомба.

Бомбили мы главным образом дальние цели. Видели пожары от наших бомб в Берлине, Штеттине и многих других немецких городах. Чаще всего мы посещали Кенигсберг и Данциг.

Не обходилось и без неприятностей. На подбитом самолете сажались в далеком тылу врага, лесами и болотами добрались к своим. С загоревшейся на большой высоте машины прыгали на парашютах; приземлялись на линии фронта.

Так, строем клина, вся семерка и подошла к своему аэродрому.

В середине мая 1942 года, тихим безоблачным утром, наш четырехмоторный бомбардировщик возвращался домой после выполнения боевого задания в глубоком тылу противника.

Я был штурманом корабля, которым командовал майор Эндель Карлович Пусэп. На земле отношения между нами были прямо как в песне: если один говорил да, другой говорил нет. Лётчик считал, что погода летная, — штурман говорил, что в такую погоду хороший хозяин собаки на двор не выгонит. Лётчик утверждал, что погода не летная, — штурман извиль насчет того, что лётчикам только на печь да с печи летать или что-нибудь в этом роде.

Но все это только на земле. Стоило нам сесть в боевой корабль, как все разногласия сразу забывались, и начиналась работа душа в душу.

Итак, корабль возвращался домой после трудного, но удачно выполненного задания; ночью мы бомбили военный завод в Германии, цель сильно защищенную. Осколки близко разорвавшегося крупнокалиберного снаряда основательно изрешетили правую плоскость самолета, но и немцы потерпели от нас изрядно: весь экипаж видел на месте разрыва бомб огромный пламя пожара.

Сознание того, что задание выполнено хорошо, что все трудности уже позади и самолет идет над советской территорией создавало такое настроение, что хотелось сделать что-то особенно приятное для себя и для других, тем более что впереди на нашем курсе всходило солнце и майское утро было прекрасным.

— А ну, стрелки! У вас глаза острые, — посмотрите, кто это справа от нас летит? — обратился к воздушным стрелкам Пусэп.

Стрелки доложили, что это «голубая двойка», командир на пей лётчик Родных.

— Понятно, — сказал Пусэп и, поворачивая самолет вправо, пристроился к «голубой двойке», однотипному с нашим самолету, также возвращавшемуся с боевого полета.

— Алло, товарищ Муханов, — сказал Пусэп, обращаясь к радисту корабля. — Свяжитесь с нашими самолетами и попросите всех командиров кораблей, которые видят нас, подстраиваться к нам двоим. Придем домой все вместе, строем.

Подошел самолёт лётчика Лисачева с красной единицей на хвосте и, качнув крыльями, стал слева от нас. Увеличив скорость, догнал нас самолёт лётчика Пономаренко с красной тройкой. Слева подошел Ищенко с красной пятеркой. Откуда-то снизу поднялся и стал в строй лётчик Перегудов. Сверху спустился лётчик Лавровский и, пристроившись, замкнул наше шествие — торжественное возвращение домой.

Нас с командиром самолета вызвали к командиру части полковнику Лебедеву. Дело обычное: доклад о результатах полета. Развернув карту на столе командного пункта и вынув бортжурнал, я стал подробно докладывать о том, как мы летели, где билл зенитки и ловили прожектора, как мы заходили и куда попали бомбы. Говорить хотелось много, подробно, но полковник Лебедев на этот раз तो ропил меня. Закапчивая отчет, я высказал свои соображения, по какому маршруту безопаснее летать и с какой стороны удобнее и безопаснее заходить на цель.

— Ладно, хорошо, — сказал полковник, — это все учтем, но сейчас меня интересует другое. Как у вас дела? — обратился он к Пусэпу.

— Нормально, — ответил Пусэп.

— Как ваш аэроплан?

— С десяток дырок в правой плоскости, а все остальное в порядке.

— Так, хорошо. — И, обращаясь к инженеру части Анурову, полковник Лебедев сказал:

— Сегодня же дырки на самолете залатать, все осмотреть и проверить.

Потом опять обратился к Пусэпу:

— Как у вас с моторами?

— Моторы хорошие — не обижают, жаловаться не на что, — ответил Пусэп.

— Как экипаж? Все ли здоровы и как работают?

— Весь экипаж здоров и работает хорошо.

— Так, прекрасно, — сказал полковник. — Теперь всему экипажу сутки ничего не делать, никуда не ходить, одним словом, отдыхать. А завтра получите новое задание и приступите к подготовке.

— Товарищ полковник, разрешите доложить, что лично у меня с отдыхом ничего не получается, — сказал я.

— Это почему? — спросил полковник.

— Такой уже у меня характер: пока не узнаю задания, уснуть не смогу. Буду сутки лежать и перебирать в мыслях все возможные и невозможные варианты нового задания.

— Ну, уж если на то пошло, придется сказать. Так вот, — на днях полетите в Англию, а оттуда, возможно, и дальше, на запад. Больше сказать ничего не могу, завтра все уточним, а сегодня марш спать.

— Товарищ полковник, разрешите еще один вопрос: в Англию полетим через Берлин? — спросил я.

— Это зачем же вам понадобился Берлин?

— Да чтобы по пути парочку бомб потяжелее сбросить.

— Нет, товарищи, на этот раз полетите без бомб и подальше от Берлина. Ну, все. Спокойной ночи!

И, повернув лицом к двери, полковник выровнял меня из кабинета.

Выдержки хватило только на дневной отдых. Вечером того же дня почти все члены экипажа, крадучись разными путями, приехали к своему кораблю. Там были и бортмеханики Золотарев и Дмитриев, сейчас же деловито взявшиеся за подготовку корабля к полету, и два наших лучших радиста Муханов и Низовцев, приступивших к установке на самолете дополнительных антенн и к приспособлению к ним антиобледенителей собственной конструкции. Воздушные стрелки чистили и смазывали свое оружие, набивали патронами звеня.

Летчики Пусеп и Бухов, заняв свои плотные места, давали указания мастерам о подготовке педалей, советовали, как лучше сделать освещение приборов и затемнение кабины, в случай, если бы самолет попал в лучи тропического света.

Вторым штурманом был назначен Сергей Михайлович Романов. Вместе с ним мы ориентировочно наметили план своей штурманской подготовки.

Не знаю, спали ли хоть немного наши бортмеханики: работа кипела у нашего самолета поздней ночью.

Залатаны и покрашены дырки на плоскостях — следы нашего последнего боевого полета. Проверены и отремонтированы все четыре мотора. Обновлены некоторые приборы. Самолет оштетинился новыми антеннами. Установлена вторая радиостанция. Проверены компасы, авиасекстанты, навигационные приборы и многоползунокпас. В задней большой кабине установлены одиннадцать кислородных баллонов: нетрудно было догадаться, что нам предстоит полет с одиннадцатью пассажирами.

Техническая комиссия под председательством генерал-майора Маркова тщательно осмотрела корабль и моторы и пришла к заключению, что все подготовлено к полету.

Наконец экипаж получил задание.

Лететь надо в Англию и оттуда через океан Америку, в Вашингтон. Обратный полет по тому же маршруту.

Майский теплый, тихий вечер. Большой красный шар солнца спускается к горизонту. Ясные четырехмоторные самолеты, вырванные со своих стоянок, поднимают пыль, навдывают весенний воздух мощным гулом и, избежавшись по бетонной дорожке, отрываются от аэродрома, один за другим уходят на запад, в сторону огненного шара.

(Завистью наблюдаю привычную картину

взлета тяжелых кораблей, а потом долго смотрю в ту сторону, куда они скрылись.

Улеглась пыль. На аэродроме стало тихо и пусто. Только у опушки леса, раскинув могучие крылья, одиноко стоит наш кобальд.

Вечером наступил и наш черед: к самолету подошел трактор и, взяв его на буксир, потащил на взлетную полосу. Поставив корабль на бетон в направлении взлета, трактор, волоча за собой толстый стальной трос, ушел в другой конец аэродрома.

В стороне, на зеленой траве, члены экипажа не спеша натягивали на себя летное обмундирование.

Вдали на дороге, выходящей из соснового леса, блестя в лучах заходящего солнца, показалась колонна легковых автомобилей.

Среди приехавших мы сразу узнали командующего авиацией дальнего действия генерал-лейтенанта Голованова и рядом с ним, к своему удивлению, — Вячеслава Михайловича Молотова.

«Провожать, наверное, кого-нибудь приехал, — подумал я. — Но кто же наши пассажиры?»

Генерал-лейтенант Голованов, приняв рапорт от командира самолета, позвал к себе обоих штурманов и всех троих представил товарищу Молотову.

— Прошу, Вячеслав Михайлович, познакомиться: командир самолета Пусеп, штурманы Штененко и Романов.

— Очень приятно, — здороваясь с нами, сказал Молотов. — Выходит, я теперь шершел в их распоряжение.

— Да, выходит так, Вячеслав Михайлович. Распоряжаться они все умеют, а насчет доставки можете не беспокоиться.

Так вот кто наш пассажир!

— Ну, как вы себя чувствуете? — спросил нас Голованов, показывая взглядом на Молотова, натягивающего па ноги меховые сапоги.

— Немного дрожь пробирает, — откровенно сказал я.

— Ничего, пройдет. Моторы запустите, займете свои места и от дрожи и следа не останется. А главное, мой вам совет: не горячитесь, не спешите, делайте все спокойно. Словом, летите так, как всегда летали.

Одиннадцать пассажиров, среди которых две женщины, и члены экипажа стали занимать места в самолете. Полковник Лебедев не ложил нам рук на прощание и не пустил в самолет никого из любителей рукопожатий, даже вездесущих фотографов. Будучи старым авиационным работником, он знал, как неприятно летчикам, когда провожающие крепкими пожатиями, поцелуями и шелканием фотоаппаратов подчеркивают сложность и опасность предстоящего полета.

В 18 часов 40 минут тяжело нагруженная машина оторвалась от земли. Она с трудом набирала высоту. До Загорска, за полчаса, поднялись на 1500 метров.

Загорск был исходным пунктом нашего маршрута и последним контрольным ориентиром, просматривающимся с воздуха. Отсюда наш корабль лег на свой основной курс — на запад.

Нам предстояло пересечь три грозовых фронта и четвертый фронт — военный. На всем пути предполагался сильный встречный ветер.

Погода внушала опасения. Корабль зарылся в тучи. То и дело в тяжёлых, мрачных нагромождениях грозовых туч вспыхивали ослепительные молнии. Это вынуждало лётчиков всё время ломать курс. Корабль упорно пробивался сквозь облака вверх, к чистому небу. Но отдельные кучевые и дождевые облака поднимались настолько высоко, что нечего было и думать перескочить через них. Эти облака приходилось пробивать.

Весь путь от Загорска до Калининна прошел в ожесточённой борьбе с враждебными силами природы. Грозовые заряды обрушивались на корабль. Потрясающие раскаты грома заглушали могучий рёв четырёх наших моторов. Стрелки компасов плясали и кружились на 360 градусов. То справа, то слева, то впереди по курсу, а то и вовсе около корабля молнии пропизывали гигантские облачные горы.

Штурманы не успевали давать лётчикам новые курсы для обхода облаков. Пришлось ограничиться такой формулой:

— Обходите облака с любой стороны. Держите только общее направление на запад.

Лётчики, обычно иронически относящиеся к мелочной, как им кажется, опеке штурманов, тут забеспокоились, стали то и дело проверять себя:

— Ну как, штурманы, хорош курс?

Но мы и сами не были спокойны: с курсом было явно неблагополучно. Обнаружилось, что на западном курсе штурманский и пилотский компасы имеют расхождение, ни много, ни мало, на 30 градусов.

Мы убрали от компасов все, что могло на них влиять. Осмотрели даже сапоги, подозревая действие на компасы гвоздей и подковок. Но это ничего не изменило. Тогда мы сказали лётчикам:

— Очищайте карманы. Выбрасывайте все металлическое.

Из карманов извлечены были перочинные ножи, портсигары, зажигалки, фонарики и прочее хозяйство. Подозрение паше оправдалось, — показания компасов совпали.

Наконец, забравшись на высоту 6000 метров, мы вырвались из холодного фронта с его мощными тучами и грозами. Вверху расстилось ясное звездное небо. Мы вздохнули с облегчением и принялись за астрономию. По высоте Полярной звезды определили широту, по высоте звезды Вега — долготу. Астрономические измерения проконтролировали по радио маяку и радиопеленгатору и отметили на карте наше расчетное место.

Мы были над линией фронта. Она обозначалась в окнах облаков редкими артиллерийскими вспышками, световыми ракетами и несколькими пожарами.

Встречный ветер, силою до ста километров в час, затруднил полёт. Корабль, медленно набирая высоту, шел на запад со скоростью 250 километров в час. А пока над нами проплывали низкие рваные облака.

За населенным пунктом К, слева от нашего курса, вдруг засветилось несколько прожекторов. По облакам замечались белые круглые пятна. В разрывы туч изредка прорывался длинный свергающий сноп света.

В районе города М. около десятка прожекторов справа от нас долго шарили по облакам, пытаясь обнаружить наш самолёт. Но плотная облачность надежно охраняла нас.

Над Балтийским морем мы перескочили облачность на высоте 7800 метров, задевая выпускной антенной за верхний край густых облаков. Под самолетом быстро неся назад ровный слой облачности, и от этого казалось, что скорость нашего полета неизмеримо возросла.

Высокая облачность простиралась только над Балтийским морем. Дальше на запад всели низкие, слоистые облака.

Все европейские радиостанции прекратили свою работу, а английские ещё не были слышны.

На северо-востоке засеребрился горизонт. Наступал рассвет, угасала Полярная звезда, дававшая нам широту.

Ещё теплелись в небе Арктур и Вега, но они могли нам указать только долготу, тогда как для нас важнее было знать широту — во избежание больших отклонений от маршрута.

Некоторые обстоятельства вынудили нас на ходу изменить план полета. Вартмехауиз усомнился в остатках горючего — хватит ли его, чтобы дотянуть до намеченного аэродрома. Нужно было подумать о сокращении пути.

Вперед по маршруту мы предполагали встретить еще один фронт на высоте четырех тысяч метров. При создавшихся условиях у нас не было уверенности, что мы его перетянем. Поэтому было принято решение: заменить и сократить маршрут, взять несколько южнее

и кратчайшим путем выйти к Шотландскому побережью. Это уменьшало длину пути больше чем на сто километров и, в случае серьезных капризов моторов или нехватки горючего, давало возможность сесть на известный нам запасной аэродром.

Итак, снизившись до трех тысяч метров, мы шли над Северным морем. Вскоре установили связь с шотландскими радиостанциями и сообщили им, куда подходим.

Англичане следили за нашим полетом, знали наш курс и, когда обнаружили наше отклонение, решили, что мы сблизись с пути, и предупредили нас об этом, сообщив прежний основной курс.

Два часа летели мы над Северным морем в сплошных слоистых облаках, но фронта, о котором предупреждал прогноз, так и не встретили. Зато в разрывах облаков увидели в море караван немецких судов, шедший в Норвегию под охраной крейсеров и миноносцев, о чем, конечно, сообщили англичанам.

Пользуясь одной радиостанцией и радиопередателем, мы благополучно вышли к берегу Шотландии. Над островом была ясная погода. Выяснилось, что горючего у нас достаточно и мы можем идти к основному аэродрому.

Летим над Англией. На небольшой высоте прошли над городом Н. Многочисленные аэростаты заграждения быстро опускались при нашем появлении, как бы приглашая снизиться.

20 мая, в 4 часа 55 минут, через 10 часов 15 минут после вылета, первый этап нашего пути закончился посадкой в намеченном пункте. Мы покрыли расстояние в 2700 километров.

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

На аэродроме, где мы сделали посадку, был выстроен почетный караул из взвода шотландских стрелков. Представители английского министерства иностранных дел и советского посольства тепло встретили наших пассажиров и поздравили с благополучным прибытием в королевство Великобритании.

Вячеслав Михайлович Молотов ответил краткой приветственной речью. Шотландские стрелки красиво взяли ружья «на караул».

С аэродрома все пассажиры, оба штурмана и командир самолета на автомашинках отправились на вокзал, откуда специальным поездом выехали в Лондон.

Остальному экипажу было дано указание отдыхать, а после отдыха готовить машину к дальнейшему полету. О ходе подготовки инженеры должны были сообщить в Лондон по телефону. Штурманам и командиру самолета

предстояло провести организационно-подготовительные работы для дальнейшего следования в Америку.

Сидя в мягких, удобных креслах салон-вагона быстро мчавшегося поезда, мы с наслаждением отдыхали, наблюдая в большие зеркальные окна за непрерывно меняющимся красивым ландшафтом северной Шотландии.

Первый этап довольно трудного пути был закончен, с плеч свалилась огромная тяжесть от внутреннего возбуждения не чувствовалось усталости после ночного полета. Поэтому мало кто прилег в тот день в своем купе. Почти все сидели в салон-вагоне, курили сигары и без конца делились впечатлениями от полета. А поезд мчался через километровые мосты, темные туннели, города, леса и зеленые поля.

Мы были голодны. Но так как время первого завтрака уже прошло, а традиционное в Англии время второго не наступило, пришлось туго стянуть пояса и терпеливо ждать.

После десяти часов пути поезд остановился. На глухом полустанке, в нескольких десятках километров от Лондона, было так много встречающих, что мы, три человека из экипажа, оказались отрезанными от наших пассажиров. Машина, в которой мы ехали, шла последней. Она сначала отстала от своих, а затем и вовсе заблудилась. «Совет эмбис», — сказали мы поферу и были немедленно доставлены в советское посольство.

Вечерним поездом 22 мая, в сопровождении переводчика — английского офицера, мы втроем выехали из Лондона на север, в Шотландию, и утром следующего дня прибыли к своему самолету, который должны были в этот же день перегнать на другой аэродром. Но весь день стоял туман, моросил дождь, и англичане не решились выпустить нас. В ожидании летной погоды мы решили ознакомиться с обучением в Англии молодых летчиков.

В классах слепого полета десяток кабин Линка, в которых курсанты проходят предварительное обучение. Во время нашего посещения курсанты решали задачу на тему: «Двухчасовой полет по маршруту». От кабин Линка протянуты провода к приборам на столе инструктора. На столе — карта района полета, покрытая стеклом, а на стекле колесико-приборчика чертит весь маршрут курсанта.

Мы остановились у одного стола. Смотрю на карту. Колесико вначале шло прямо по маршруту, но вскоре свернуло в сторону. Инструктор напомнил курсанту, что надо смотреть за курсом самолета. После этого колесико пошло еще больше в сторону. Инструктор еще что-то сказал в микрофон. Колесико за-

вертелось на месте, а кабина Линка накрепко вилась влево.

Мы улыбнулись. Улыбнулся и начальник школы. Обращаясь к нам, он сказал:

— Ну, этот сегодня домой не пойдет, и уж во всяком случае двойки ему не миновать.

Он повел нас к следующим столам. Здесь все шло без заминки, колесико оставляло прямой след на стекле.

В аэронавигационном классе мы увидели обилие наглядных пособий, в том числе большой рельефный макет местности этого района. Вместо линейек и ветроchetов—один комбинированный прибор, решающий все аэронавигационные задачи. Круглый, с несколькими вращающимися дисками и линейками небольших размеров, этот прибор с помощью ремешка укрепляется на ногу летчика выше колена. По всей вероятности, он предназначен только для летчиков-истребителей.

На третий день погода, наконец, прояснилась, и мы вылетели на другой аэродром. С нами летели два английских офицера: майор-радист и подполковник-штурман, оба работники аппарата министерства воздушных путей сообщения. Офицеры эти выполняли чисто инспекторские функции, выясняя возможность нашего полета через океан.

Майор-радист сидел за бортовой радией и с помощью наших радистов устанавливал связь с аэродромом, проверял радиооборудование.

Подполковник-штурман сидел в штурманской кабине, отмечал на карте точки маршрута, по которому мы шли, и одобрительно кивал головой. Маршрут нам был дан ломанный; основной задачей в этом полете было: обойти подалеже один большой город. Задачу мы решили, повидному, неплохо, инспектирующий штурман был доволен.

Место стоянки, приготовленное для самолета, мы определили безошибочно — со всех концов аэродрома к тому месту стекались люди на автомобилях, на велосипедах и просто бегом. Был обеденный перерыв, и рабочие мастерских толпой направлялись туда же. Даже заядлые любители гольфа, при виде самолета с большими красными звездами, побросали свои палки и устремились к ангару.

Наш самолёт встал в один ряд с четырёхмоторными «Галифаксами», «Бонингами» и «Либерейторами». Он оказался больше и выше всех остальных.

В первые минуты после нашего прибытия у самолета была невообразимая толчея. Люди мешали друг другу, заглядывали в кабину, в стволы пушек и пулемётов, ощупывали руками все наружные детали и просто гладили металл фюзеляжа, как бы определяя его

качество наощупь. Наконец комендант аэродрома, который сначала тоже поддавался чувству любопытства, вспомнил о своих обязанностях и установил порядок. Была выставлена охрана. Она очертила вокруг самолета квадрат и дальше черты публику не пускала.

Посыпались заявки желающих осмотреть самолет изнутри. Английские пилоты, со своей стороны, обещали показать нашему экипажу свои самолеты. Нашим инженерам к этой большой работе по подготовке самолета прибавилась еще одна: быть руководителями многочисленных экскурсий на самолет.

Аэродром, на который мы прибыли, является аэропортом воздушной трассы, связывающей Великобританию с Америкой. Он расположен на берегу Атлантического океана. Это лучший из аэропортов Европы и Америки. Его длинные широкие дорожки обеспечивают взлет и посадку в любом направлении любого самолета.

Многочисленные ангары и большие мастерские являются основными постройками на аэродроме. Здесь базируются, главным образом, четырехмоторные самолеты, реже двухмоторные, так называемые самолеты ближней связи. Сейчас аэродром имеет двойное назначение: используется и как аэропорт дальнего пассажирского сообщения и как база военных самолетов, перегоняемых из Америки в Великобританию. Крупное соединение истребителей, расположенное по соседству, и защитные орудия являются надежной защитой аэродрома.

Мы разместились в гостинице аэропорта. Здесь мы встретились с летчиками всех объединенных наций; среди них было много имеющих мировую известность. Как-то в дружеской беседе с большой группой летчиков стали перечислять по пальцам знаменитых летчиков: больше всего пальцев пришлось на долю русских летчиков.

Каждому из членов нашего экипажа в гостинице была отведена отдельная комната. В большом зале ресторана мы собирались вместе, усаживались за отдельный столик, привлекая внимание всего зала. Перед ужином английские офицеры неизменно приглашали нас в буфет. Там мы угощали друг друга виски-содой и провозглашали тосты за счастливые перелеты и посадки, за СССР и ее союзников и всякий раз посылали проклятия Гитлеру и его шайке.

Большинство офицеров проводили свое свободное время в вестибюле гостиницы. Приходили сюда и мы. Нас тотчас же окружали английские летчики, и начинался обмен сувенирами. В ход шли любые мелочи: монеты, звездочки, пятачки с петлиц, медные пуговицы и даже коробки спичек.

Все летчики, с которыми нам приходилось встречаться, высказывали свое искреннее восхищение героизмом Красной Армии и звание поскорей принять непосредственное участие в этой великой войне.

На аэродроме с корабля были сняты бронепанели, бронеплиты и по одному комплекту запасов пушек и пулеметов. Это значительно облегчило вес самолета. Вместо этого на борт были взяты воздушные жилетки на каждого и две большие надувные резиновые лодки (клипперботы), способные вместить всех. Наши радисты переделывали антенны, настраивали и проверяли передатчики, все готовили основательно. Вечерами они изучали карту, условия связи и инструкцию по связи на полетах через океан с американскими радами. Быстрее всех сговаривались и понимали друг друга именно радисты. Там, где не хватало слов, на помощь приходил международный радиожаргон.

В густом, тенистом парке, окруженном пыльными клумбами, стоит небольшой двухэтажный особняк. Здесь помещается штаб флота самой большой Атлантической воздушной трассы. Здесь, в этом особняке, мы, турки, проводили всю подготовку к дальнейшему полету. Здесь мы получили все материалы, инструкции, указания и исчерпывающие ответы на все наши вопросы.

В нижнем этаже особняка три больших кабинета. В одной из них телеграф. Красивые девушки с одинаковыми прическами стучивают на машинках, принимают и педают телеграммы.

Во второй—синоптическое бюро, где полдюжины синоптиков обрабатывают карты. В отдельном столе старший синоптик дает консультацию экипажам и вручает им пакеты прогнозов. Все прогнозы даются с полной характеристикой погоды по зонам на нескольких листах, отпечатанных на машинке. Синоптические карты копируются на станке и тоже вручаются экипажу.

Третья комната—диспетчерская. Здесь вы можете, ни к кому не обращаясь, узнать, что делается на аэродроме и на всей трассе. На стене большая разграфленная черная доска, в которой мелом отмечается, когда, откуда какой самолет прибудет, когда, куда будет лететь.

В нашем приходе на доске было зафиксировано: «Самолет ТБ-7, командир Пусэн, прилетит 24-го из Москвы и готовится вылететь в Андию».

На второй, большой, во всю стену, доске—карта воздушной трассы с пометками, где какой самолет находится каждый час времени. На третьей доске-карте тонкими шуруками на железных катушках откладываются радио-

пеленги самолетов и снимается местонахождение самолета.

Вдоль стены несколько штурманских столов с картами и навигационным имуществом, за которыми помощники диспетчера ведут прокладку маршрутов самолетов, находящихся в воздухе.

Посредине комнаты—стол главного диспетчера с несколькими телефонами и такими же картами. Главный диспетчер дает указания своим помощникам и мальчику, который, взбираясь по лестнице, делает перестановки на доске-карте.

Здесь же, в диспетчерской, экипажи самолетов могут получить консультацию по вопросам аэронавигации при полетах через океан. За одним из этих столов мы готовились и консультировались.

Беседы с синоптиками, диспетчером и летчиками длились всегда подолгу. Это происходило не только потому, что разговоры велись через переводчика. Все, к кому мы обращались, старались осветить каждый вопрос до малейших подробностей. Казалось, что они сами готовы лететь.

Все служебные разговоры неизменно заканчивались вопросом:

— Ну, как там у вас на Фронте, удержитесь?

— Удержимся,—отвечали мы.

— Ну, ола райт!—и с улыбкой желали нам счастливых посадок.

* * *

На второй день нашего пребывания здесь началось паломничество офицеров всех родов войск из близ расположенных частей к нашему самолету. Приехали и военные моряки с ближней базы, из Лондона на самолете военного министерства прилетели офицеры. Многие из них были специалистами в разных военных областях и расспрашивали обо всем с полным знанием дела.

В это утро из Америки прилетел четырехмоторный пассажирский самолет. Пассажиры направились в рестораны, а летчики, поправляя складки на форменных кителях, после десятичасового полета через океан сразу пошли осматривать наш корабль.

Еще будучи в Лондоне, мы получили указания, что по всем вопросам, касающимся необходимых данных об Америке, следует обращаться к одному полковнику, являющемуся представителем американских военно-воздушных сил в Англии.

Свидание с этим полковником было заключительным этапом нашей подготовки. Он был немногословен и выразился примерно так:

— Если вы, в условиях войны в Европе,

благополучно прибыли из Москвы в Англию, то дальше для вас будет все проще.

Он дал нам набор американских карт и объемистый справочник, в котором собраны сведения о всех радиомаяках и всех воздушных трассах Америки. Заканчивая беседу с нами, полковник попросил разрешения осмотреть наш «ТБ-7».

Итак, мы подготовились для полета к конечному пункту нашего маршрута—Вашингтону.

Вылетая из Москвы, мы предполагали, что в аэронавигационном отношении путь через океан будет самым сложным и трудным. Но изучив до мелочей схему и организацию обеспечения полетов через океан и собрав все необходимые материалы, мы изменили это мнение. Несомненно, самым сложным и трудным участком был полет от СССР до Шотландии. Дальнейший полет от Великобритании до Вашингтона контролировался и обеспечивался землей настолько, что надо быть, как выражаются американцы, большими неудачниками, чтобы не прибыть в намеченный пункт.

В один из свободных вечеров экипаж был приглашен на вечер самодеятельности работников аэропорта. Концерт большого джаз-оркестра транслировался по всей Великобритании. Вечер прошел оживленно и весело. Один из номеров вызвал бурю восторга среди публики. Распорядитель махал руками, строил гримасы, показывая на микрофон,— дескать, весь мир слышит, как вы кричите. Но ничего не помогало. Этот номер можно было бы назвать: «Как охраняется аэродром от воздушных нападений». Содержание его сводилось к тому, что, пока командование получало от министерства разрешение открыть стрельбу, девушки переловили и перебили всех вражеских парашютистов, сброшенных противником на аэродром. Концерт закончился массовой песней артистов и зрителей.

Вечер продолжили в офицерском клубе. В уютно обставленной большой комнате собрались офицеры разных национальностей, многие вместе с женами.

Тянули из шлема виски с содой и под аккомпанемент рояля пели хором песни—русские, украинские, английские, шотландские, канадские... И все песни одинаково хорошо получались.

Заканчивая вечер, распорядитель,—он же режиссер театра,—взобрался на стол и предложил тост за русских летчиков, за Красную Армию, с успехом отбивающую яростные атаки врага.

Нато было поблагодарить хозяев за гостеприимство и тоже провозгласить тост. Обилие нас нашелся оратор, который, по примеру распорядителя, тоже влез на стол и сказал:

— Благодарим за гостеприимство. Прельгую выпить за людей, любящих своих матерей, жен, детей. За людей, которые любят свободу и умеют ее отстаивать и для себя и для своих близких.

Тост произвел впечатление. Некоторое время в комнате стояла тишина. Потом дружными аплодисментами присутствующие как бы выразили свою готовность защищать свою свободу. А оратора бережно снимали со стола десятки рук.

* * *

Несколько раз на день мы сообщали по телефону в советское посольство о ходе подготовки самолета.

Скоро командиру самолета было предложено взять на борт радиста, уже летавшего через океан.

Громадного роста, широкоплечий, боксерского телосложения, ста килограммов весом, таков был четырнадцатый член нашего экипажа, радист, канадец, мистер Кемпбелл, вивший нам с первого знакомства доверие и уважение.

Показывая на объемистый портфель из той кожи, с хитрыми замками, мистер Кемпбелл сказал:

— Здесь радио всего мира.

И нам казалось, что иначе и быть не может. В таком большом портфеле у такого большого человека не может поместиться только половина мира. Конечно, весь мир.

Радисты же наши, естественно, были построены более скептически насчет диванных познаний и данных своего конкурента.

Как бы то ни было, но нашим инженером пришлось еще раз проверить груз самолета—оставить сто килограммов на земле взамен мистера Кемпбелла.

Маршрут на Исландию проходил через Фрерские острова. Такой излом пути удлинит общее расстояние на 200 с лишним километров, но в аэронавигационном отношении это неизмеримо выгодней прямой пути и по времени является кратчайшим расстоянием.

Средствами навигации на этом участке были приводная станция и радиопеленатор аэропорта, с которого мы вылетели, и четыре приводных станции на маршруте. Радиосредств было вполне достаточно. На всякий случай мы приготовились к астроориентировке по солнцу, так как полет предполагал дневной.

Радиосвязь мы могли держать с любой станцией северной Шотландии: везде были круглосуточные дежурства, и мы могли в любое время получить пеленг.

Двадцать седьмого мая из Лондона прибыли наши пассажиры.

Войдя в самолет, они были приятно поражены реконструкцией своей кабины. Вместо металлических скамеек, на которых они довольно чувствительно мерзли в первом полете, стояли мягкие диваны. Общими усилиями наших инженеров пассажирская кабина нашего тяжелого бомбардировщика была переоборудована даже с претензией на комфорт.

К моменту вылета погода по всему маршруту была неважная, хотя синоптики обещали к прилету на место посадки разрывы в облаках.

В доброе мирное время мы бы еще задумались — вылетать или не вылетать в такую погоду. Сейчас же мы решили вопрос не задумываясь. Война приучила нас летать при любых обстоятельствах, и экипаж чувствовал себя уверенно.

Запущены все моторы, со всех сторон бегаются народ посмотреть на взлет не совсем обычной здесь машины и пожелать нам счастливого пути.

Старт был не совсем удобным — с короткой дорожки. Подул свежий ветер, и самолет, в 7 часов 20 минут, 27 мая, с короткой дорожки поднялся в воздух и пошел на северо-запад.

ШОТЛАНДИЯ — ИСЛАНДИЯ

Мы покинули Англию в хмурый день. Низко стлалась облака. Временами шел дождь — то моросистый, редкий, то сплошной, порывистый.

Некоторое время мы шли низко над белыми гребнями океана, оглябая гористые острова и следуя в основном через проливы.

Машину сильно болтало. Воспользовавшись первым незначительным прояснением, мы пошли вверх, за облака. Потеря визуальной ориентировки нас не беспокоила. Нужно было поскорей избавиться от болтанки. А уж там найдем средства и способы ориентировки.

На высоте двух с половиной тысяч метров мы, наконец, добрались к солнцу, и на густые, белые, как вата, облака легла тень нашего самолета.

Через час двадцать минут после взлета мы прошли над радиостанцией на Северном мысе. Это был последний кусок твердой земли Великобритании островов.

Впереди — тысячекилометровый путь над мягким океаном и еще более мягкими облаками. Но воздух везде одинаков, и, рассекая его винтами, четыре мотора дружно несли самолет со скоростью 320 километров в час.

Наступило время, когда мы, штурманы, обычно начинаем интересоваться работой радистов. Пора было определиться.

Не вмещаясь на сиденья, мистер Кемпбелл, головой касаясь потолка, с невозмутимым

спокойствием сидит, сложив на животе руки. Увидев, что мы на него смотрим, он улыбнулся и закивал головой, — дескать, все в порядке. Возле Кемпбелла, прижимившись кокак в тесном проходе, сидят с кислыми лицами два наших первоклассных радиста — Муханов и Низовцев.

Мы отметили на карте точку расчетного места, сняли координаты, составили радиограмму наземным радиостанциям: в такое-то время, находимся там-то.

Радиограмма была переведена на английский язык и вручена мистеру Кемпбеллу. Но он снова заулыбался, закивал головой и спрятал телеграмму в карман. Он объяснил, что наше местонахождение известно и сообщать ничего не надо. Тогда мы попросили его запросить землю о месте самолета или хотя бы частично пеленг, нужные нам для контроля полета.

Мистер Кемпбелл развел руками и долго объяснял, что ничего не надо запрашивать.

Обстановка начала усложняться. Облачность впереди становилась выше, и самолет, не успевая набрать высоту, зарывался в верхушки облаков. Появились признаки обледенения. Надели кислородные маски и надолго оставили в покое мистера Кемпбелла.

Радиостанция на островах почему-то не обнаруживается. До Рейкьявика ещё далеко, его не слышно. Идем без связи. Пользуемся радиостанцией, оставшейся сзади, способом обратной пеленгации. Но из-за большого расстояния этот способ далеко не точен, и мы принимаемся за астрономию. Измерена высота солнца и на карте проложена линия Сомнера. Полчаса терпения. Ещё раз измерили высоту солнца и провели вторую линию. Первую линию передвинули вперед на расстояние, которое прошел самолет за полчаса, и в точке пересечения обеих линий Сомнера поставили время второго измерения. Получаса между двумя измерениями очень мало, — это мы, конечно, знаем, — но этого уже достаточно для определения, что больших отклонений от курса нет.

Через два с половиной часа полета, по расчету, мы находились в районе островов, закрытых облаками. Ещё раз измерили высоту солнца, и Сомнерова линия прошла через острова.

В это время кто-то из экипажа крикнул: — Земля слева! — таким голосом, каким кричали, вероятно, моряки Колумба, увидевшие Америку впервые.

Слева, в разрыве облаков, действительно оказалось что-то темное. Но почему земля слева, когда она, по всем расчетам, должна быть справа? За исключением двух штурманов, для которых было ясно, что земля может быть

только справа, весь экипаж дружно утверждал, что земля видна слева, и к тому же ее очень много — целый архипелаг больших и малых островов. В течение нескольких минут только и слышалось:

— А вот там ещё один остров!

Кто-то увидел селение на острове и даже дым из труб. Понемножку курс самолета сам по себе стал леветь.

Для того чтобы прекратить дискуссию, дошедшую даже до пассажиров (все они тоже видели землю слева), курс самолета был повернут в сторону земли. Через две минуты все разъяснилось, и на самолете установилась тишина.

Оказалось, что разорванные облака бросали тень на низкие сплошные облака, они и были приняты за землю, — что называется, обман зрения. В это время мы поймали волну радиостанции на островах. Выяснилось, что станция работает не на той волне, какая указана в нашем справочнике. Мы еще раз убедились, что земля была от нас справа, и, отметив на карте точку разворота, повернули самолет на Исландию.

Облака подымались все выше и выше; мы перепрыгнули их только на высоте шести тысяч метров. Прогноз погоды и карта с синоптической обстановкой, находившиеся у нас, и тем более действительная метеобстановка не внушали нам никакого доверия.

Радиостанция Исландии хорошо идет на радиокompас, и наш полет в навигационном смысле не вызывал никаких опасений. Но погоду в районе предполагаемой посадки необходимо было знать заранее. На высоте шести тысяч метров, касаясь холодных густых облаков брюхом самолета, летим на аэродром и не знаем, какая нас ждет погода. Невероятная вещь!

Пришлось снова обратиться к мистеру Кемпбеллу.

Сводка была благоприятная, видимость хорошая, облачность 300 метров. Вообще высота подходящая. Беда заключалась в том, что аэродром окружен горами высотой до тысячи метров. Здесь уж трёхсот метров было мало. И мы решили в удобный момент пробивать облака над морем, а не над землей, чтобы не врезаться в горы.

Такой момент наступил через четыре с лишним часа. Верхний край облачности пошёл на снижение, следуя за ним снижались и мы. На высоте трёх тысяч метров, находясь недалеко от южного берега Исландии, мы увидели окно в облаках и море. Заложили вираж и со снижением пошли в это окно. Но наша большая машина в окно не вместились, и мы вопли в облака.

Началось легкое обледенение. Где-то близко высокий берег. Во избежание неприятной встречи с ним пришлось продолжать снижение по прямой на юг, подальше от берегов.

Все эти манипуляции не могли пройти незамеченными для наших пассажиров. Один из них спросил:

— Чем вызваны такие сложные эволюции самолёта и к чему следует готовиться пассажирам?

— Полагаю, что через полчаса пассажиры смогут обедать в Исландии, — ответил командир и добавил, показывая на высокие берега острова: — Снижаться в горах намного хуже, чем над морем.

На высоте пятисот метров мы увидели высокие белые гребни, и, спустившись на сто метров, мы оказались уже под облаками.

Под нами был седой океан. На севере показался южный берег Исландии, ледники которого терялись в облаках.

С приближением к месту назначения необычайно оживился мистер Кемпбелл. Через каждые пять минут он подавал штурману совершенно ненужные в это время радиопеленги и торжествующе улыбался при этом, показывая большой палец. Он был доволен собой и явно приписывал себе успех полета.

Неподалеку от берега нас встретили два истребителя «Аэрокобра». Истребители пристроились по бортам нашего самолета, совершенно не соблюдая необходимой дистанции. Никакие наши сигналы не помогли, и истребители шли буквально вплотную к бортам нашего самолёта.

Так, с присосавшимися истребителями, мы и подошли к аэродрому, рельефно выделявшемуся на однообразно серой местности.

Аэродром был достаточно велик, посадка не вызвала опасений, и мы сели прямо с курса.

Итак, мы пролетели без происшествий и осложнений еще 1590 километров пути. Нас встретил холодный, пронзывающий ветер. Чувствовалось дыхание Арктики.

В ИСЛАНДИИ

Группа офицеров во главе с полковником встретила наших пассажиров. Солдаты и младшие командиры большой группой стояли в стороне. Чувствовалось, что мы прибыли на военный аэродром.

Кинооператор и фотограф, тоже военные, со всех сторон снимали церемонию встречи.

В офицерской столовой были сервированы столы. В дружеской беседе обед прошел быстро и незаметно. После обеда инженеры и стрелки отправились к самолету, радисты —

радиостанцию, а штурманы с лётчиками — метеостанцию, «торговаться» с синоптиками.

Метео-синоптическая станция здесь оказалась беднее, чем на предыдущем аэродроме, принцип обслуживания самолетов тот же. Те же синие папки с картами, те же листы характеристикой погоды, отпечатанные на шинке.

Синоптики охладили нас с первых же слов. Узналось, что уже более полусуток нет связи с Америкой, и когда она будет налажена — неизвестно.

Любезный синоптик посоветовал нам пойти дохнуть, обещаая немедленно сообщить, когда будет восстановлена связь.

Отдыхать не хотелось, полет нас не утолил. Зашли в штаб аэродрома и там получили недостававшие нам сведения. Узнали, что в Исландии до Вашингтона основными средствами радионавигации будут для нас радиомаяки. Последний радиопеленгатор в Исландии может нас проводить на расстояние до 80 километров.

На аэродроме было шумно, то взлетали, то садились самолеты: аэродром этот является базой для разведчиков подводных лодок.

Военный городок возле аэродрома состоит из многочисленных, густо наставленных домиков из гофрированного железа. Каждый домик помещен на большую цистерну, разрезанную в длину пополам.

Вечером перед ужином в одном из таких домиков, в местном театре, нам в течение двух часов демонстрировали кинокартину. Без трерывов между частями и между картинками на экране два часа стреляли, пели, целовались, танцевали, скакали. Словом, как в настоящем кино.

Вечером, в столовой за ужином, офицеры в новых выгнуженных костюмах, в начищенных ботинках усиленно угощали нас неизменным виски с содой, обменивались с нами генирами и расспрашивали нас о событиях в фронте. Летный состав здесь тоже многонационален: американцы, канадцы, англичане, шотландцы, поляки, чехи, словаки.

Близость острова к полярному кругу сказывалась во время нашего пребывания здесь тем, что не было ночи. Солнце едва скроется за горизонт и сейчас же снова всходит почти на севере.

В порту большое оживление. Много судов разных типов и размеров, от больших океанских пароходов до рыбачьих ботов. Есть военные патрульные корабли. Непрерывно гудят гудки, одни суда уходят, другие приходят. На мысах и островах мигают маяки.

К ночи радиосвязь с Америкой была восстановлена, но оттуда сообщили, что погода нелетная. Вылет пришлось отставить.

На следующий день на синоптической станции мы несколько раз подолгу совещались с дежурным синоптиком, выясняли обстановку. Аэродром имеет хорошую радиосвязь с Англией, Гренландией, хуже как раз с Канадой, которая нас больше всего интересовала.

Для переговоров с синоптиком нам дала переводчика. Длинный, бородатый, с синим носом, в потертой морской форме, он называл себя то художником, то капитаном.

Обычно, являясь к синоптику вместе с нами, капитан начинал разговор по-английски. Синоптик долго и подробно объяснял ему обстановку, демонстрируя все на карте. Нам, не знающим языка, но знакомым с синоптикой, было понятно все, но капитан, не знакомый с синоптикой, не мог запомнить все термины и переводил обычно так:

— Погода паршивая, облака острые и длинные, ветер большой, туман густой, лететь не надо, а лучше пойдем пить виски.

После каждого нашего возвращения от синоптика Вячеслав Михайлович требовал от нас подробного отчета и планов на ближайшее время.

Всех пассажиров беспокоила вынужденная задержка. Все уже усвоили основные метеорологические термины, знали, что такое нелетная погода и что такое непрохождение.

Вдруг совершенно неожиданно заштилело. Ветер, дувший в течение двух суток в одном направлении, внезапно стих, и ветроуказатель бессильно повис. Для такого нагруженного корабля, как наш, это сильно осложнило взлет. Но вопрос был решен: летим.

Подсчитали горючее. Инженерный запас — одна тонна — «на всякий случай» — был слит.

Была полночь, а светло, как на закате солнца. Оживленные, повеселевшие пассажиры натягивали на себя меховые комбинезоны и унты. Мы все уже были давно одеты, локуривали сигареты, были готовы занять свои рабочие места. Собралось много провожающих. Командир самолета на автомобиле объехал весь аэродром, выбирая направление взлета. Потом он вернулся к самолету и, не отрывая глаз, смотрел на ветроуказатель, не покажет ли он хоть какой-нибудь ветрышко. Но обесиленный ветроуказатель вяло вертелся во круг маяты.

Пассажиры стояли отдельной группой, оживленно беседуя в ожидании команды «занять места». Они не знали о переживаниях пилота.

тов. После двух удачных перелетов они верили в машину и экипаж.

И пилоты и штурманы впервые позавидовали пассажирам. А Пусэп все стоял и смотрел на указатель ветра, не в силах оторвать от него глаз и не в состоянии сдвинуться с места.

По обеим сторонам стартовой дорожки, во всю ее длину, густо стояли самолеты—разведчики, истребители, бомбардировщики, оставляя узкий коридор для взлета. Убрать самолеты дальше от старта было некуда, предстояло еще одно затруднение. Надежд на скорое усиление ветра не было. Можно было только снова отложить вылет.

Медленно, не спеша, Пусэп начал застегивать парашютные ремни. Экипаж и пассажиры без слов поняли движение командира, быстро затоптали недокуренные сигареты и заняли свои места.

Запущены и прогреты моторы. Самолет медленно сдвинулся с места, подбрюшием в самый конец площадки и развернулся так, что заднее колесо оказалось за бетоном. Для взлета использовался каждый метр полуторакилометровой взлётной дорожки.

— Ну, пошли!—сказал пилот и, взглянув в последний раз с укоризной на ветроуказатель, дал моторам полный газ.

Самолет тяжело, лениво двинулся и, медленно ускоряя разбег, ровно пошел по бетонной дорожке между двух плотных рядов самолетов под горку, в сторону залива.

Через двести метров разбега моторам была добавлена мощность за счёт форсажа газа.

Рёв моторов усилился, самолёт живее пошёл вперёд, и стрелка указателя скорости сдвинулась с места. Но режим моторов, по всей вероятности, был неровный, и самолёт развернуло сначала влево, потом вправо. И, набирая все больше и больше скорость, пошёл наш самолёт вилить от одного ряда самолётов к другому. В последний момент, когда уже надо было поднимать самолёт в воздух, он мчался наискось, к правому ряду самолётов, и на мгновение показалось, что сейчас, сию минуту, произойдет непоправимое...

Но пилот действовал спокойно. Он вырвал машину с левым креном, с высоко поднятой правой плоскостью над рядом самолётов и отвернул самолёт влево. Левое колесо ещё раз коснулось бетона, и в конце площадки, оканчивающейся обрывом у залива, мы были уже в воздухе.

Самолёт низко несся над зеркальной поверхностью залива, и казалось, колёса сейчас заедут воду.

— Убрать шасси!—послышалась команда.

Скорость прибавилась, и уже на противоложном берегу залива высота была метров,— мы могли отвернуть от высокой горы в сторону моря.

Некоторое время, дольше обычного, в молёте была абсолютная тишина.

Пассажиры после говорили, что взлёт Исландии был очень хорош: они даже не чувствовали, когда оторвались от земли.

ИСЛАНДИЯ — КАНАДА

Самолёт низко пронесся над караваном больших океанских пароходов и военных раблей сопровождения. Белый пар взвился над трубами, суда сигналяли мощными гонками. На палубах толнилось много народа все махало шляпами, платками—желала счастливого полета. Отвечая на приветствия наши пилоты резко положили самолет с выла на крыло,— мы пожелаем морякам счастливого плавания. Караван шел на север, в Советский Союз.

Через несколько минут остались позади скрылись из виду высокие ледниковые горы гостеприимной Исландии, так напоминая нам родную Арктику.

Мы остались одни над необозримым, серым, седым океаном. Поднялся свежий ветер тот самый, который так нужен был нам давно... На поверхности океана засеребрили барашки и забелели редкие гребни.

Медленно набирая высоту, самолёт шел юго-запад в сумеречном свете полярного дня.

— Ну, как у вас дела, Эндель Карвич?—спросил я у командира самолета.

— Да сейчас вроде ничего, как будто в порядке, а вот немного раньше было не совсем. А у вас, штурманы, как дела?

— У нас, по всем признакам, должно бы все в порядке. Триста километров пролет по радиомаяку Исландии, да еще послед триста пройдем по радиомаяку на аэродром посадки.

— А ещё две тысячи километров полёт как думаете контролировать?

— А тут и думать много печего. Обла скоро закроют от нас океан, и нам останется только одно небо.

— А что же вы на небе увидите, когда оно такое светлое?

— Посмотрите в южную часть неба, что вы там видите?

— Вижу умирающую луну, и море теплее все ясно. Занимайтесь своим делом, а я говорю с техниками да узнаю, как дела наших пассажиров.

В пассажирской каюте к этому времени установился обычный распорядок. Вячеслав Михайлович, напев пенсне, углубился в чтение. Две девушки о чем-то шептались. Остальные пассажиры сидели группами и о чем-то оживленно беседовали. Кислородные маски со шлемами валялись, небрежно засунутые куда попало: пассажирам было обещано, что кислорода в этом полете не потребуется.

Стрелки-пулеметчики, предчувствуя, что земли под самолётом долго не будет, устраивались поудобнее, с намерением поспать.

Борттехники Дмитриев и Золотарев сосредоточенно наблюдали за приборами, шурували что-то там ручками и, как говорят, устанавливали моторам нормальный режим.

Мы с Романовым готовились к более сложным вычислениям. Готовили секстанты, таблицы, карты и разные мелочи. Одновременно проконтролировали свой путь по радиомаяку.

Через один час полёта мы были на высоте трех тысяч метров. Низко под нами сплошной густой массой лежали необозримые облака, казавшиеся чем-то твёрдым, и самолёт над ними быстро несся вперёд.

Где-то внизу воды Гольфстрема несли свое тепло в Ледовитый океан, в Баренцovo море. Мы не видим поверхности океана, но его теплое дыхание доходит к нам: термометры показывают на восемь градусов выше обычного для этой высоты.

Лучи заходящего солнца освещали северную часть небосвода; их хватало только до зенита, а от него на юг и юго-запад небо было все темнее и темнее. Мы летели в сторону ночи, и небо впереди было черное, мрачное. А нам, штурманам, хотелось, чтобы возможно дальше горизонт впереди был темным, иначе мы не смогли бы вести астрономические наблюдения.

На всем небе только две тускло светящиеся точки — звезда Арктур и ущербленная луна — давали нам астрономическую ориентировку.

Провожаящий нас радиомаяк с Исландии был слышен все слабей и слабей. Вот-вот его не станет слышно вовсе. Решил проконтролировать радиста. Переключил свой коммутатор и убедился, что радист все время слушает радиомаяк. А между тем это для него совсем необязательно, и даже не желательно, так как он должен в это время работать на связь. Обернувшись к Кемпбеллу, я постарался разъяснить ему жестами, что надо устанавливать связь.

Мистер Кемпбелл улыбнулся, закивал головой и снова показал большой палец, — его любимый жест.

А между тем связь была крайне необходима. Дело в том, что, вылетая из Исландии, мы не намечали определенного пункта для

посадки, решили, что когда будем в районе Гренландии и установим связь с Канадой, тогда и определим этот пункт посадки, в зависимости от показаний погоды.

Через полтора часа полета мы перестали слышать радиомаяк Исландии: оборвалась последняя нить, связывающая нас с землей.

Теперь мы были связаны только с Арктуром и луной, но это была ненадежная связь. Восход догонял нас, и нам не уйти от наступающего дня, как бы мы ни торопились...

Через несколько минут и Арктур и луна растаяли в наступившем дне. Сзади нас из-за горизонта выплыло большое ярко-красное солнце. Еще немного — и на белую плотную облачную массу легла тень нашего самолета и побежала вперед нас.

Пассажиры, убаюканные мягким светом утреннего солнца, дружно спали, склонив головы друг другу на плечо. Только Вячеслав Михайлович, не отрываясь, читал при свете лампочки.

Оба радиста, свернувшись калачиком в узком проходе, дремали, положив головы на меховые сапоги третьего — дежурного.

Хотя самолёт шел под управлением автопилота, командиру самолета было не до сна. Навигационные вопросы беспокоили его не меньше, если не больше, чем нас, штурманов.

— Ну, как, штурманы, с астрономией уже покончено? — обратился к нам Пусеп.

— Да, покончили, медленно идем, не успели ударить от солнца.

— А скоро ли будет Гренландия?

— Гренландия будет через час, — ответил я. — Но у меня есть сомнения в том, что мы ее, эту самую Гренландию, увидим, — она будет закрыта сплошными облаками. Этого нам было ожидать по прогнозу, это видно и сейчас по нашей погоде.

— Да, — протяжно сказал пилот, — а как же вы там со своими расчетами обойдетесь без Гренландии? Не проскочите. Да и вообще пора решать, куда будем лететь на посадку. Как обстоят дела у радистов со связью?

Отвечаю:

— С Гренландией будет все в порядке, а с радистами дело обстоит так: двое спят, а третий, дежурный, дремлет на своем сиденье. Сейчас возьмусь за радистов, буду добиваться от них связи с землей.

Я попытался объяснить мимикой и жестами с мистером Кемпбеллом, но ничего из этого не получилось. Тогда взялся за дело знающий английский язык Романов. Он завел с радистом длинную переписку, в результате которой выяснилось, что радиосвязь есть только с Исландией и больше ни с кем.

Я снова решил поговорить с радистом. На

этот раз я сказал ему два слова, понятные всем радистам:

— Рейкьявик. Радиопеленг.

Мистер Кемпбелл обрадованно кивнул головой и заработал на ключе.

Через несколько минут с Рейкьявика получили радиопеленг. Он был равен 280 и показывал, что мы идем правильно по намеченному маршруту.

Но скоро Гренландия, где надо будет решать вопрос смены курсов, а это будет зависеть от погоды впереди. Короче говоря, нам нужна была радиосвязь со станциями, лежащими впереди, а не оставшимися сзади.

Разбудил я своих радистов Муханова и Низовцева и предложил им во что бы то ни стало наладить связь с Канадой. И вот три радиста, разложив на коленях содержимое портфеля мистера Кемпбелла, устроили что-то вроде конференции.

Муханов тыкал пальцем в расписание, указывая на определенную частоту волн, Низовцев быстро перестраивал передатчик на указанную частоту, а мистер Кемпбелл, усиленно нажимая на ключ, с ожесточенным отступлением, затаив дыхание, слушали несколько минут, вращая конденсаторы на приемнике. Не добившись ответа, снова разбирали листки инструкции и искали то, чего не могли найти.

Глядя на их усилия, я вспомнил все большие перелеты, когда сотни станций следили за самолетом и штурману стоило только нажать ключ, как ему сразу отвечало несколько станций на многих частотах. Не то теперь. Война ведется и в эфире. Перепутаны, перемешаны все волны. Нелегко в таких условиях наладить связь на большом расстоянии.

«Неужели придется без связи сделать такой солидный перелет?» — подумал я.

Я тщетно пытался на радиополукомпасе обнаружить хоть какую-нибудь радиостанцию на острове Гренландия. Все было напрасно.

Мысли были направлены на то, как обезопасить наш корабль, предусмотреть все необходимое на тот случай, если бы нам так и не удалось наладить связь.

Антенная лебедка на нашем самолете располагалась недалеко от штурмана. На ней было намотано метров восемьдесят тонкого стального троса.

Тогда я, выпустив всю антенну на лебедке, переключил свой радиополукомпас на выпускную антенну и стал на приемнике ловить по всему канадскому радиоволновому диапазону.

И тут случилось то, чего никогда еще не бывало в моей практике. Я громко, отчетливо услышал звук «а», все время повторявшийся.

Ничего другого не было слышно. Откуда этот звук? Никаких радиомаяков вблизи нет, и не может быть. А источником мог быть только радиомаяк. Смотрю на приемник — глазам не верю. Слушаю в телефон — ушам не верю. Зову Романова, включаю его телефон и спрашиваю, какую букву он слышит. Отвечает: «а». Я показываю на приемник и спрашиваю, какая частота; Романов подтверждает, что всё правильно.

И в это время вместо одной буквы мы услышали две — позывные радиомаяка, одного из предполагаемых для посадки аэродромов. У Романова глаза делаются все шире, он непонимающе смотрит на меня, затем берёт карту и мерит расстояние от нас до радиомаяка. Невероятная вещь: простой маяк с радиусом действия в 300 километров мы слышим на расстоянии 1500 километров.

Так поразившее нас чудо объяснилось двумя причинами: длинной антенной и пространственной волной. Впоследствии мы в этом убедились. Радисты, увидев, как работает мой приемник на выпускной антенне, отобрали ее, лишив меня возможности слушать радиомаяк. Впрочем, это было сейчас не существенно, так как практически на таком огромном расстоянии пользоваться радиомаяком нельзя.

Через четыре часа полёта по расчету времени мы были у южной оконечности Гренландии, о чем немедленно доложили командиру.

В погоде никаких изменений. Те же ровные белые облака, а над ними, на высоте трех с половиной тысяч метров, без колебаний, с привычным шумом плет самолет. Тень теперь не впереди, а немного в стороне, но так же неутомимо бежит вперед, и мы ее никак не можем нагнать.

Гренландия осталась позади, и все вопросы, связанные с ней, отошли, точно их и не бывало. Теперь появились новые вопросы, а с ними новые сомнения: как-то будет дальше, какая погода впереди. Связь с землей нужна дозарезу, а ее все нет и нет.

По прогнозу предполагалось, что на материке погода лучше, чем на острове Ньюфаундленд. Договорились с командиром ориентироваться на Гусс-Бей в Канаде.

Наши радисты, возбужденно роются в объемистой инструкции, крутят ручки, советуют, предлагают, требуют. А невозмутимый мистер Кемпбелл сидит с олимпийским спокойствием, соглашается с радистами, кивает головой, изредка улыбается и методично выстукивает на ключе.

Прошел четвертый, пятый и шестой час полёта. Солнце поднялось выше. Под нами безграничное облачное поле. Кругом чистый,

зрачный арктический воздух. Лучи солнца зайчиками отражаются в стёклах. В такую погоду лететь и лететь, жить да радоваться солнечному дню.

Но внутри самолёта сейчас не до красоты. Командир теребит двух гурманов, два штурмана теребит трёх радистов, и всё это упирается в одно—нужна погода, надо решать, что делать.

Наступило время для решительных действий. На радистов надежды мало. Надо было самому выкручиваться из обстановки, пока не угрожающей, но очень сомнительной перспективе.

Отбираю у радистов большую выпускную антенну и включаю ее на радиополукомпас, предоставив радистам заниматься экспериментом с двумя жёсткими антеннами.

Нахожу на приёмнике радиомаяк Гусс-Бея слышу знакомый звук «а». Мы идем по той стороне зоны радиомаяка и, по моим расчётам, скоро должны будем войти в слышную и по ней без труда выйдем на аэродром. Какая же там погода?

Переключаю приёмник на радиомаяк другого аэродрома и слышу одну букву, от которой у меня и руки опустились: буква не та, которая должна быть по нашему месту и по схеме радиомаяка. Стало ясно, что либо мы далеко от тех точек, которые считаем своим местом, либо один из радиомаяков работает не так, как у нас в схемах указано.

Надо было предпринимать что-то решительное.

— Эндель Карлович,—обратился я к командиру,—подверните вправо градусов тридцать, будем входить в зону радиомаяка.

— А долго ли мы будем в нее входить? Горючего у нас не так уж много.

П Пусэп переключил коммутатор на бортовых и стал с ними подсчитывать остаток горючего.

Минут десять прошли с новым курсом, по зоне маяка не дошли. У меня возникло ощущение, что именно этот маяк на нашей схеме показан неверно. Решил идти прежним курсом, чтобы не увеличивать ошибки, если она была нами допущена. Снова обращаюсь командиру:

— Эндель Карлович! Давайте ложиться на прежний курс.

— Что, уже в зону вошли?

— Нет, зоны мы еще не нашли, но думаю, что скоро найдем. Как с горючим?

— Горючего еще на два часа, не больше. В своих списках американских и канадских радиостанций я нашел три небольшие морские радиостанции, расположенные у берегов нады, которые работали на одной волне по

одной минуте каждого часа. С их помощью я решил проверить свое место и правильность работы радиомаяков. Я легко поймал и зацепил все три радиостанции в течение трех минут. Рассчитав и проложив на карте обратные радиопеленги, я убедился, что больших отклонений от маршрута у нас нет, а маяк Гусс-Бея работает неверно.

Задача была решена. Курс самолёту немного правее. «А» с радиомаяка слышалось все слабее и слабее и, наконец, совсем пропало. До слуха доходил только один тон средней зоны.

Появились разрывы в облаках, сквозь них далеко внизу видно море с плавающими льдинами. По старой полярной привычке, пишу в бортовой журнал: «мелкобитый лед 5 баллов».

В это время на нас свалилось счастье, какое только было возможным в нашем положении. Началось с Пусэпа, который вдруг сказал, что впереди облака кончаются. Кто-то крикнул, что видит землю. И тут же радисты вручили нам бланк со сводкой погоды, в которой было сказано: «В Ньюфаундленде туман, в Гусс-Бее безоблачно, видимость 5 км, ветер западный».

Это было максимальное исполнение желаний. В благодарность я отдал радистам большую антенну, радиомаяк был хорошо слышен на маленькую верхнюю антенну.

Мы вышли на материк и в зоне маяка шли прямо на аэродром. Погода была безоблачная, все облака остались позади, и только в заливе над озерами и речками стоял туман.

Теряем высоту, идем вперед, в самолете становится все теплее. Пассажиры снимают меховое, чистятся, приводят себя в порядок. Радисты через каждые две минуты суют нам всевозможные сводки. Настроение на корабле праздничное, толпа веселые, все замечают, как красиво солнце и вообще какая хорошая погода.

Под самолетом серая, холмистая, однообразная тундра, изрезанная речками и озерами. Серость кругом такая, что не на чем глазу отдохнуть. Под нами длинный узкий залив, вдоль которого мы идем. Где-то в глубине его будет наш аэродром. Но туман над водой расплывается такими причудливыми фигурами, что невозможно определить, где залив, а где озеро. Но мы пользуемся радиомаяком и идем точно в зоне, которая неизбежно приведет нас на аэродром.

Маяк слушаем только мы, штурманы. Пилоты же, как только самолет вышел на материк, взялись за карты, стали сличать карту с местностью. И вдруг в душу нашего командира закралось сомнение. Сколько я не знаю командиров, у всех у них недоверчивые души. Оно и понятно: каждый командир хочет все заранее знать и предусмотреть.

Пусэт осторожно обращается ко мне:

— Что-то местность мне незнакома, никак не пойму, где мы летим.

— Мне эта местность тоже незнакома,— отвечаю я.

— Как так незнакома? Значит, мы идем не туда, куда нужно?

— Да нет, совсем не то. Незнакома местность потому, что я ее впервые вижу. А идем мы правильно по маршруту, только туман так искажает всё кругом, что я и сам, если бы не был уверен в правильности курса, мог бы додумать так, как ты.

— А откуда ты знаешь, что я думаю?

— Это угадать не трудно. Ты сейчас думаешь, что вот и местность незнакомая, и штурманы заблудились, и аэродрома мы не найдем, и садиться придется где-нибудь и как-нибудь. И, наверное, ты вспоминаешь летчика Коккинаки и штурмана Гордиченко, которые где-то недалеко от этих мест сели в тундре.

— Не совсем так, но нечто похожее приходило мне в голову.

— А сейчас?

— Сейчас я об этом больше не думаю и думать не буду, потому что я впереди вижу аэродром и теперь без вас, штурманов, дорогу найду. Техники, выпускайте колеса. Приготовиться всем к посадке.

Мы увидели аэродром. Одна полоса на аэродроме была почти закончена, вторая же еще строилась. Ветер дул влодь готовой полосы, наполовину затянутой туманом.

На наших глазах туман быстро надвигался, вот-вот совсем затянет аэродром. Но если мы сегодня ночью не могли опередить солнце, то туман мы опередили.

Мягко коснувшись колесами ровной поверхности аэродрома, самолет побежал по дорожке. Через пять минут весь аэродром был затянут низким плотным туманом. Сесть теперь было уже невозможно.

Мы рулили на стоянку за автомобилем, который в тумане показывал нам дорогу.

Моторы выключены. После восьми часов полёта мы все выходим на американский материк.

ГУСС-БЕЙ — ВАШИНГТОН

Туман покрыл все плотной пеленой, но это сейчас никого не беспокоило, и мы все с удовольствием ощущали под ногами твердую землю. На аэродроме было тихо и тепло, на душе спокойно. Хотелось расправить плечи, вдохнуть всей грудью теплый воздух с запахом сосны, свалиться на траву, зажмурить глаза и не думать о самолёте, облаках и солёном океане.

Жёлтый диск солнца чуть-чуть просвечивал. Пассажиры, выходя из самолёта, разминались, потягивались и, ступая на тёплую песчаную землю, не могли удержаться улыбки. Цокая руки пилотам, штурманам и бортехникам, благодарили за удачный полёт. Ни ши пассажиры почувствовали, что они совершают необычный полёт и что он дается экипажу нелегко.

Вячеслав Михайлович Молотов обратился штурманам:

— Ну, штурманы, признавайтесь, нами ли отклонились от маршрута?

— Был такой грех, Вячеслав Михайлович, но небольшой,— ответил я и, развернув карту, показал весь маршрут.

— А почему же мы Гренландия не видели, если, по-вашему, так близко прошли от неё?— спросил Молотов.

— Облаками было всё закрыто.

— А разве нельзя было пойти под облаками?

— Нет, нельзя было лететь под облаками в районе Гренландии,— вступился на защиту штурманов командир самолета Пусэт.— Если бы мы из одного только желания увидели Гренландию и уточнить своё место стали свисать в облаках, мы бы в лучшем случае сейчас вертелись над этим туманом, либо всё же никуда ещё не долетели.

— Если так, то слаюсь,— сказал Молотов.

Все пассажиры собрались возле штурманов и с интересом разглядывали на карте линию по которой прошел наш самолет.

За разбором своего полета мы и не заметили, как из тумана поодиночке подходили люди и издали разглядывали самолет и нас всех.

Подшла маленькая автомашинка вездеход «Виллис», из нее вышел офицер и представился:

— Командант аэродрома, разрешите узнать чем могу быть полезен?

По мере того как офицер узнавал, кто мы такие, откуда сюда прилетели,— глаза у него расширились, а когда он узнал, что мы из самой Москвы сюда прилетели, офицер махнул рукой шоферу, и маленькая машинка «Виллис» сорвалась с места и скрылась в тумане.

Вскоре к самолету подошла автомашинка с горючим. Появилась группа американских офицеров—администрация аэродрома. Пассажиры и часть экипажа уехали в аэропорт.

Борттехники остались у самолета. Они не медленно приступили к подготовке самолета к вылету, который, при условии рассеивания тумана, предполагался через два часа.

Борттехник Дмитриев залез на плоскость и сидя верхом на четвертом моторе, что-то та подкручивал. Глядя на него, казалось, что

орттехник шопотом уговаривает мотор не капризничать и обещает ему скоро длительный отдых.

Инженер Золотарев с логарифмической линейкой в руках быстро перевел галлоны бензина в литры, а октановое число горючего определяя одному ему известным способом—«на цвет и вкус». Золотарев отлично правился со всем сложным делом подготовки к заправке нашего корабля на чужом аэродроме.

Все три радиста, чувствуя свою вину за лохую связь в полете, отказались идти в аэропорт и остались на самолёте, чтобы добиться улучшения дальнейшей радиосвязи корабля с землёй. Они попросили меня принести им из столовой десяток бутербродов.

Несколько серых низких одноэтажных старинных домиков на берегу реки и составляя временный городок аэропорта. В столовой на ртом деревянном столе был накрыт завтрак. И стол, и деревянные скамейки, и поуда, и питание, состоящее в основном из консервов, свидетельствовали о том, что люди здесь недавно и устроились пока по-лохому. Но широкое строительство уже шло, материалы и грузы, в большом количестве скопившиеся на аэродроме, не оставляли сомнения, что в недалеком будущем здесь будет настоящий аэропорт со всеми американскими удобствами.

Хозяйка аэродрома проявила широкое гостеприимство и устали всем, чем могли.

Мы с Романовым есть не хотели, а пить перед полетом не рискнули. Да и вообще мы были в таком настроении, в такой, как говорят, штурманской форме, что даже плотный завтрак мог нас ошарашить, развить тугозачерченные внутри гайки.

Всего важнее было сейчас выспянуть ожившую нас в пути погоду, и мы отправились к синоптикам.

До метеостанции было всего, четыреста метров. На половине дороги нас догнал маленький «Виллис» и, лихо затормозив, остановился возле нас. Офицер, сидевший за рулем, жестом предложил нам занять места в машине. Нам хотелось пройти пешком по мягкой траве; наклеил всякие машины, мы попытались было объяснить это офицеру. Мы показывали на солнце, сжимали фуражки, нюхали воздух, глубоко вдыхали его. Но ничего не помогло, и мы вынуждены были сесть в машину.

На метеостанция временная, походная деревянная обстановка. Высокий, средних лет синоптик, зная уже, что нам надо лететь в Вашингтон и что погода предстоит хорошая, много распространялся о погоде, а больше ста-

рался расспросить нас о том, как там за океаном, в Старом Свете.

Отвечал он на наши вопросы примерно так:

— Погода по всему маршруту очень хорошая. А скажите, удержатся русские на Волге?

— Через два часа здесь от тумана и следа не останется. А как по-вашему, до Баку немец не дойдет?

На небольшом листе белой бумаги синоптик написал нам сводку погоды на весь маршрут и, по нашей просьбе, на обратной стороне — вертикальный разрез погоды: значительная облачность только местами и слабый ветер по всему маршруту.

Мы тепло простились и расстались, уверенные в том, что благополучно долетим до Вашингтона, а синоптик — в том, что русские за Волгу немцев не пустят и Баку им не отдадут.

В столовой аэропорта, куда мы вернулись, завтрак был окончен и шли оживленные беседы всё на ту же тему, которая интересовала не только синоптика на метеостанции, но и всех здешних офицеров.

Мы доложили Пуэпу обстановку и сообщили свои соображения насчет того, что примерно через час, когда туман совсем рассеется, можно будет вылетать.

В окно блеснуло солнце, напомнило о теплом солнечном дне, и Вячеслав Михайлович предложил пойти всем к самолету, на воздух, на солнце, на зеленую траву.

По настоянию синоптиков, мы оставили на метеостанции радиограмму о том, что наш самолет в такое-то время вылетает по такому-то маршруту в Вашингтон на высоте 2000 метров. Радиограмма была немедленно передана на все аэродромы, лежащие на нашем пути.

Туман над аэродромом рассеялся. Обычно сдержанный, наш командир развеселился и под общий смех подал протяжную команду:

— По ко-о-ням!

Все заняли свои места. Разом завертелись четыре мотора.

Легко и прямо-прямо побежал наш самолет по дорожке, набирая скорость с кажущимся метром разбега, и незаметно оторвался от дорожки аэродрома Гусс-Бей.

Самолёт шёл на юго-запад. Мы перемещались к южным широтам, солнце грело всё сильнее. Это мы ощущали даже на высоте.

Некоторое время самолет шел вдоль реки, тянувшейся узкой лентой параллельно нашему курсу и служившей для летчика хорошим ориентиром. Мы же, штурманы, доверявшие реке и пилоту, грелись на солнце.

Лениво перебирали мы свои портфели, из-

редка записывали в бортжурнал показания приборов, а в общем, что называется, ничего не делали. Делать, собственно, было нечего. Воздух был прозрачный, и видимость была беспредельной.

Под нами проплывала девственная Канада. Шестьсот километров мы летели над глухими, необитаемыми местами. Никаких признаков жизни, никакого человеческого жилья не встретили мы на этом пути. Всюду холмы и горы, густо поросшие лесом. Однообразную картину изредка нарушали озера и речки, вьющиеся среди лесных зарослей между гор. Нигде нам не встретился ни один «пятачок», годный для посадки самолета. Случись в воздухе что-нибудь с моторами, и дело плохо: сесть абсолютно негде.

Но наши моторы были хороши. Они тянули дружно, ровно.

Кончились леса и горы—под нами зеркальные воды огромнейшего залива Святого Лаврентия. Справа, параллельно нашему курсу, лежал высокий, гористый, покрытый лесом берег залива.

Около пятисот километров мы шли вдоль прямого берега залива Лаврентия.

Мысли наши не были напряжены ни расчетами, ни измерениями, а глаза отдыхали на живописных зеленых берегах и на ровной зеркальной поверхности залива.

На берегу залива кое-где заметно было оживление. Встречались селения, шоссеиные и грунтовые дороги.

В заливе дымили трубами большие и маленькие суда. Чем дальше мы подвигались на юг, тем больше их было. В конце залива, на его берегу, мы увидели и железную дорогу.

Солнце поднималось все выше и все сильнее пригревало. Нагревался и наш корабль. Становилось жарко. Проснувшиеся от жары пассажиры освобождались от всего теплого и, полагая, что уже ежоро Вашингтон, чистили костюмы, разглаживали складки, повязывали свежие галстуки. По кораблю разнесся запах одеколона и духов.

Как и предполагалось сначала, мы следовали на юг вдоль реки Лаврентия на высоте 2000 метров. Но через некоторое время стало так припекало, что не только нам было уже жарко, но, по некоторым признакам, и нашим моторам. И после того как один мотор стал чихать, как объяснили борттехники, от жары, нам пришлось подняться на высоту 3000 метров, где дышать было легче.

Все население корабля разоблачилось, люди остались в том, в чем обычно бывают на земле в жаркую погоду.

Мистер Кемпбелл сидел на своем кресле в расстегнутом сюртуке, галстуке в горошинку и мягкой фетровой шляпе.левой рукой он

прижимал к голове наушники, а правой сидел на ключе и крутил ручки приемника. Все мы привыкли к нему, к его жестам, к зам и выражению лица. Мне было достаточно одного взгляда на него, чтобы убедиться, в связи у него сейчас нет ли с кем. Беда стера Кемпбелла заключалась в том, что считал для себя законом работать по шифр военного времени, а не по привычному всем международному коду. В Америке новый шифр официально был введен, но практически еще не применялся, и американские листы поэтому не понимали мистера Кемпбелла.

Километров двести после залива Святого Лаврентия под нами тянулась обнаженная и ристая местность, накаленная солнцем. Восходящие потоки создали сверху невообразимую кутерьму. Корабль начало швырять, как щелку. Болташка была страшная и сильно беспокоила наших пассажиров. Для нашего и желого корабля она и впрямь была небезопасна.

— Эндель Карлович!—обратился я к Пусэпу.—Ты бы стороной обходил все эти горы.

А как же с курсом, который вы нам дали?

— Да что толку в нем, если от него ничего, кроме неприятностей, нет. Держи средний курс вдоль реки, лишь бы не болтала машину.

— Это мы можем,—согласился Пусэп, — а я думаю, что вы, так же как над океаном, будете придирааться к каждому градусу пути самолета.

Радиот Кемпбелл, перешедший, наконец, к нашему совету, на международный код, связался с Монреалем, через который лежал наш путь. В этом городе находилось Главное управление воздушных сообщений Канады имелся большой, отличный аэродром. Радиоподал нам радиограмму из Монреаля: ни предлагалось сделать в нем посадку, чтобы получить подробную информацию о погоде и дальнейшем маршруте, а также для того, чтобы дать нам в сопровождение самолет до Вашингтона.

Переведенная радиограмма была прочитана командиром самолета.

— Штурманы, как ваше мнение? Будем садиться или полетим дальше? Сколько еще осталось до Вашингтона?—спросил Пусэп.

Романов сидел рядом со мной и, слыша разговор, мотал головой, явно протестуя против посадки.

— До Вашингтона осталось лететь еще три часа,—ответил я.—По-моему, причины, указанные в телеграмме, несомнительны для посадки, так что наше штурманское мнение—лететь до Вашингтона. На всякий случай и

говори с борттехниками, они скажут свое мнение.

Выказались за продолжение полета и наши борттехники, и Пуссэи резюмировал:

— Ну, есть. Пишите радиограмму. Поблагодарите за любезность и как-нибудь помягче откажитесь от посадки.

Я настаивал, что мы благодарим за любезное приглашение, но не имеем никакой нужды в посадке и намерены лететь прямо на Вашингтон.

Радиограмма была переведена на английский язык и вручена для передачи мистеру Кемпбеллу, к явному его огорчению: в Монреале жила его семья, которую он давно уже не видел.

Мы прошли над городом на высоте 3000 метров и увидели, как по белой бетонной полосе монреальского аэродрома шел на взлет четырехмоторный бомбардировщик. Это он и должен был нас сопровождать. Мы не видели, как он набирал высоту и как и где лежал за нами. Очевидно, он нас потерял во встречных разрозненных облаках, которые попадались все чаще и чаще на нашем пути.

Вскоре мы пересекли границу между Канадой и США — единственную в мире границу, где нет ни одного пограничного столба и ни одного пограничного солдата. Ни американцы, ни канадцы эту границу не охраняют.

Под нами была территория Соединенных Штатов Америки, такая же дикая, пустынная и неосвоенная, как и канадская. Как-то не вязалась эта пустыньность с нашим представлением об Америке, с ее размахом, предприимчивостью и деловитостью. Казалось, что каждый сантиметр американской территории возделан и на нем буйно произрастают доллары. А здесь на сотни километров тянутся дикие, таежные места.

Наш прямой маршрут лежал поперек всех воздушных американских трасс, густо оплетающих всю страну.

Мы вошли в густую сеть радиомаяков, которые сидели буквально на каждом градусе моего приемника. Большинство их зон лежало не вдоль нашего пути, но все же они помогли ориентироваться.

Над землей стлалась густая дымка. Появлялась облачность, опускавшаяся все ниже и ниже.

Мы тоже вынуждены были снижаться, и температура наружного воздуха подскочила до 30 градусов выше нуля — угрожающая температура для наших моторов, она нарушала режим их работы. На плоскостях, на перегреженных моторах появились тонкие струйки кипящего масла.

Усилилась болтапка. Встречный ветер уменьшил скорость и удлинял время пребывания

в воздухе. На малой высоте расход горючего на километр пути был больше расчетного, а у нас его было в обрез.

Последние сотни километров полета были самыми трудными. За этот день мы в сущности без отдыха покрыли расстояние 4700 километров, пробыв в воздухе 16 часов. Посадку в Гусс-Бее нельзя считать отдыхом; там мы ни минуты не были в покое, готовясь к полету в Вашингтон. По сути дела, с острова Исландия мы прямо махнули в столицу Соединенных Штатов с маленькой паузой в Гусс-Бее. Пилоты наши устали: через 15 часов полета мы не узнавали своих спокойных, уверенных летчиков. Второй пилот то и дело кричал:

— Впереди, кажется, гора! Штурманы, как там у вас на карте?

От усталости и густой синеватой дымки, которая окутывала землю, ему каждый буторок казался горой. А тут еще изматывала силы летчиков невероятная болтапка. Летели низко, — это требовало напряженного внимания и осторожности.

До Вашингтона оставались последние три сотни километров. Местность под нами все больше преобразовалась. Широкие, прямые автострады пересекали друг друга по всем направлениям. Густая сеть железных дорог опутывала паутинной всю территорию, перерезала холмы, поля, речки, тоннелями уходила в горы. Стало невозможно ориентироваться по карте — так все переплелось и перепуталось.

Перешли на ориентировку по радиомаякам, которых здесь было великое множество. Я то и дело давал летчикам поправки к курсу, переклюкал с одного на другой буквально через каждые десять минут полета. Всякие переговоры по телефону в самолете были прекращены. Говорили только двое: командир самолета и я — штурман корабля. Последние минуты полета проходили напряженно.

Дымка над землей все более сгущалась, облака становились ниже и ниже. Мы летели на высоте 300 метров и бреющим полетом проносились над лесистыми холмами. Температура в самолете доходила до 35 градусов и выше. Мы все изнывали от жары. Перегрев моторов достиг такой степени, когда продолжать полет становилось невозможным. Моторы захлебывались, из них било кипящее масло.

В густой дымке почти бреющим полетом мы вихрем, с грохотом и ревом, пронеслись над огромным портовым городом Балтимора.

Прямые длинные улицы, высокие дома мелькали прямо под нами. Улицы были заполнены сплошными потоками автомобилей. В порту дымили сотни судов, плотно прижав-

пились к стенкам гавани и друг к другу. На многочисленных заводах ослепительно сверкали огни электросварки.

По горизонту—никакой видимости, все заслонила густая дымка. Если бы не радиомаяки, лететь было бы трудно.

Вошли в зону вашигтонского радиомаяка. Развернулись по ней и пошли на аэродром посадки. До него оставались считанные минуты, но нам казалось, что моторы на выдержат и вот-вот надорвутся и замолкнут.

Радиомаяк безошибочно привел нас к большой реке Потомак. На ее ровном, низменном берегу раскинулся просторный, благоустроенный вашигтонский аэродром. Невдалеке, в туманной дымке, виднелся утопающий в зелени Вашингтон. В центре его высился четырехгранный конусообразный серый шпиль маяка Геккеря Вашингтона.

После восьми часов полета мы без лишних кругов, прямо с хода произвели посадку. Наши измученные моторы получили, наконец, возможность отдохнуть. Да и людям был необходим отдых.

В ВАШИНГТОНЕ

Прокатившись по ровной дорожке, самолет остановился. Четыре винта моторов чуть-чуть вращались.

— Выключайте моторы!—распорядился Пуэп.—Наконец-то мы прилетели на место. Открывайте все двери, ставьте лестницы и поживее выпускайте пассажиров и сами выходите, а то здесь задохнуться можно.

Против всякого ожидания, вид у всех наших пассажиров был бодрый и даже свежее обычного: втянулись и привыкли к походной обстановке.

Толпа, стоявшая до этого времени спокойно в тени под ангаром, хлынула к самолету, и все перемешалось. Откуда-то из-за ангаров вынырнули автомашины, на которые усадили всех наших пассажиров.

Весть о прилете советского самолета-бомбардировщика молниеносно разнеслась по всему аэродрому. Из ангаров, мастерских и из ближайших зданий к нашему самолету толпой валил народ, и мы подверглись такому дружескому нападению повышенно любознательных американцев, что в первые минуты прямо-таки ничего не могли понять. У ковраля — сплошной хаос. Огромная толпа со всех сторон облепила самолет. Стало еще жарче. Мы в своих суконных гимнастерках буквально задыхались и страстно мечтали о прохладном ветерке и холодной воде. Нас обнимали, пожимали руки, называли фамилии, знакомились, что-то спрашивали.

Наконец одному американскому офицеру с белой повязкой на левом рукаве и двумя

красными буквами на повязке «О.» и «Д.»—дежурный по аэродрому,—с помощью отделения солдат с трудом удалось навести порядок, вырвать нас из дружеских объятий толпы и увезти в аэродромную гостиницу.

Нам досмерти хотелось окатиться холодной водой и спать, спать, спать. Шестнадцать часов, проведенных сегодня в воздухе, давали себя чувствовать. Но любезные хозяева аэродрома были последовательны и не спешили нас отпустить. Дежурный офицер, молодой, вселый спортсмен, провел всех нас прямо к буфетной стойке, за которой толстый, солидный буфетчик знал, что в таких случаях от него требуется. Кто-то, подняв бокал, провозгласил по-английски: «За русских воинов!» Мы с удовольствием выпили чудесный напиток со льдом и какими-то красивыми ягодами.

Наконец нас разместили по уютным, комфортабельным комнатам.

Какое же мы испытали наслаждение, дождавшись до холодной воды. И, наверное, долго приводили себя в порядок, потому что солнце уже склонилось к западу и дневная жара сменялась приятной теплотой, когда мы закончили свой туалет.

Солнце опустилось за горизонт, быстро сгустились сумерки, на обоих аэродромах завертелись цветные светомаяки. Музыка где-то играла... Когда же это было: туман, океан, Исландия, Канада, радиомаяки, жара. Да и было ли это когда-нибудь? Или все это во мне? Или может быть то, что сейчас,—сон, а на самом деле мы все еще над океаном ищем дороги и никак ее не можем найти?

Я всю ночь видел беспокойный сон, будто бы я ловил очень нужный мне радиомаяк, без которого дальше лететь было невозможно. И вот поймал я радиомаяк, но он забивался какой-то музыкой, от которой никак нельзя было отстраниться. Мучился я мучился и, так и не отстроившись, проснулся... На столе возле моей кровати маленький приемник передавал какую-то музыку, и одновременно тихо слышна была работа местного радиомаяка.

Утром нас пригласили в Вашингтон в советское посольство.

Когда мы все были уже готовы ехать, молодой человек, явившийся за нами, категорически забраковал наши костюмы. Измазанные и измятые в дороге, мы действительно мало подходили для торжественных встреч. Летя в Америку, мы меньше всего думали о костюмах. Теперь нам пришлось разоблачиться. Остались мы в трусах и майках, а костюмы наши куда-то унесли. Через полчаса их возвратили. Они были вычищены, выглажены и новыми крахмальными воротничками.

Наконец мы поехали в Вашингтон. С любопытством рассматривали мы этот город. Мы

представляли его себе совсем не таким. Ду-
шли увидеть город—скопище небоскребов и
каменных громадин, густо наставленных
друг около друга, сплошь состоящих из ас-
фальта, камня и бетона. А это, собственно,
был не город, а парк. Мы ехали не по ули-
цам, а по аллеям. Все утопало в зелени, де-
коративных кустарниках и клумбах.

Типично американским здесь было только
шеломляющее количество автомашин всевоз-
можных марок и фирм.

В городе было праздничное оживление. По
всем тротуарам, паркам и аллеям непрерыв-
но двигалась яркая толпа, на трибунах и ска-
мейках было полно людей в красивых, ярких
постоях. Это было 30 мая—день памяти
американских солдат, погибших во время пер-
вой мировой войны. Народ направлялся на
площадь, к памятнику неизвестному солдату:
здесь должен был состояться митинг.

Наш шофер, чтобы скорее доехать до по-
сольства, свернул вдоль парка и выехал на
другую улицу. Но нам не повезло,— по этой
улице проходила бесконечная колонна военных
рузвигов с американскими солдатами-пехо-
тинцами, и для других машин движение было
закрыто. Шум здесь стоял невероятный. На
рузвигках происходили такие концерты, что
юношам, регулирующий движение, то и де-
ло морщился и грозил белой перчаткой ка-
кой-нибудь особенно шумной капелле. Солдаты
цели, играли, стучали, свистели, подра-
жали крику животных и вообще чувствовали
себя хозяевами улицы.

Не дождавшись конца военной колонны, мы
вернулись и, пристроившись к потоку авто-
машин, последними приехали к советскому
посольству.

На широкой прямой улице, утопающей в
елени, в тени деревьев стоит красивый особняк
советского посольства в Вашингтоне. Но
выйти из машины нам не удалось. Мы по-
ехали дальше и, как потом оказалось, на-
правились в Белый Дом — резиденцию прези-
дента США Франклина Рузвельта.

На улице, в которую мы въехали, почти
все дома стоят в глубине дворов, за железны-
ми оградками. Белый Дом представлялся нам
громадным сказочным дворцом. Но вот маши-
ны свернули в раскрытые железные ворота,
богнули большую клумбу цветов, у которой
озился саловник, и остановились у неболь-
шого двухэтажного особняка, утопающего в
елени. Это и был знаменитый Белый Дом —
одно из самых маленьких в Вашингтоне зда-
ний. Он прост и скром и походит на уют-
ный провинциальный домик в маленьком го-
родке. Его окружают густые буковые деревья,
азоны, декоративные растения.

Нас встретил кто-то из аппарата резиден-

ции и провел в большую комнату первого эта-
жа. Сюда вышел к нам высокий седой гене-
рал и провел нас в кабинет президента.

За письменным столом, в глубине кожаного
кресла, сидел человек, которого мы все
сразу узнали. Высокий, седой, с большим ши-
роким гладким лбом и черными бровями, пре-
зидент Рузвельт рассматривал каждого из нас.

Максим Максимович Литвинов по очереди
представил весь наш экипаж, Рузвельт ска-
зал, обращаясь к нам:

— Я очень рад нашему знакомству, рад
видеть вас благополучно прибывшими в то-
бором здравия. Надеюсь, что вы также благо-
получно доставите мистера Молотова в Мо-
скву. Поздравляю всех вас с блестящим пере-
летом и особенно поздравляю ваших навигато-
ров.

Мы пробыли в Вашингтоне недолго. Но
время, проведенное там, останется в нашей
памяти не только потому, что мы были здесь
очень гостеприимно приняты американцами.
Запомнятся и некоторые встречи, и необычная
для нас обстановка, жизненный уклад, свое-
образная культура. Мы не занимались изуче-
нием американской жизни — это не входило
в наши задачи, да и времени для этого не
было. Так же, как и в других пунктах, мы
немедленно начали готовиться к полету—те-
перь уже обратному, на родину. Но из того,
что мы видели попутно, кое-что достойно вни-
мания, и хочется уделить этому несколько
строк.

ОБРАТНЫЙ ПУТЬ ВАШИНГТОН — НЬЮФАУНДЛЕНД

Густой туман плотной пеленой накрыл аэро-
дром на берегу реки Потомак, где стоял наш
самолет. Мы решили опробовать самолет в
воздухе перед вылетом в Европу.

Медленно тянулось время, и еще медленнее
рассеивался туман на аэродроме.

Командир наш волновался: днем, в жару,
будет трудно поднять наш перегруженный ко-
рабль, а сейчас туман мешал пробному по-
лету.

Из посольства непрерывно справлялись по
телефону, в какое время следует ожидать вы-
лета. И мы решались совершить пробный по-
лет, не дожидаясь рассеивания тумана.

Запустили моторы и на пустой машине,
легко оторвавшись, быстро поднялись над ту-
маном. Совершив полчасовой полет, мы убе-
дились в полной исправности корабля. Пилот
повел самолет на посадку, но тот же несвое-
временный туман помешал ему выйти на посадоч-
ную линию. Три раза мы низко пронеслись
над землей и все три раза проскакивали аэро-
дром. Не знаю, сколько бы еще пришлось
сделать пустых заходов, если бы мне не при-

шла в голову мысль использовать штурманские возможности.

Я вывел самолёт в зону радиомаяка, прохлывшую по линии посадки, медленным снижением подвёл корабль к границе аэродрома и подал команду летчикам: «убрать газы».

Ничего не видя впереди себя, летчики не рехались на это, и самолет низко пронесся над аэродромом. Летчики пожалели, что не выполнили команды штурмана, и пришлось повторить опыт снова. Еще один заход по радиомаяку—и мы благополучно приземлились на аэродроме.

Самолёт был поставлен на заправку горючим и загрузку багажом, а в посольство сообщено, что экипаж и самолёт готовы к вылету.

Полный штиль. Поверхность реки была зеркальной. Солнце пекло нестерпимо. Полошвы садов прилипали к расплавленному асфальту. Самолет так сильно накалился, что к нему нельзя было прикоснуться рукой. По нашей просьбе, пожарная машина полила корабль водой, и он окутался белым паром.

На большом аэродроме прекратилась работа, и многочисленная толпа окружила самолет. Кто-то что-то делал, помогал, суетился, распорядился. Здесь были министры и рабочие, генералы и солдаты. Американцы тепло провожали своих русских друзей в обратный путь через океан, туда, где бушует пламя небывалой войны.

Пожарники израсходовали на поливку самолета три цистерны воды и уехали за четвертой. В тени под плоскостью самолета мы с тоской смотрели на немилосердно палящее солнце, перевалившее за полдень, и размышляли: взлетим или не взлетим в такую жару? Долетим ли засветло до намеченного пункта?

Все было готово к вылету, но не так легко улететь от американцев. Кинооператоры с большими и малыми аппаратами, на треногах, машинах, расставив прожекторы, микрофоны, опутав весь район вокруг самолета проводами, снимали всех и всё. Экипаж выстроился—засняли. Перестроился—еще раз засняли. Входим в самолёт, выходим из самолёта—опять снимают. И все это в свете ярких прожекторов, под палящими лучами солнца. Фотографы не отставали от кинооператоров. Бегали вокруг самолета, шелкали, взбирались на плоскость, прицеливались и бежали в другое место. Все пришло в такое невообразимое движение, что уже нельзя было понять, где экипаж, где пассажиры, где пожарники.

Появились блокноты, визитные карточки, вечные ручки, и все совалось в руки отлетающим с просьбой оставить еще один по-

следний автограф. Всему бывает конец, это же провозжанию не было видно конца.

Наконец командиру самолета удалось врываться из объятий очередного кинооператора и заняться своим делом.

Маленький трактор-тягач на резиновых колесах медленно тащил самолет в дальний конец аэродрома. За самолетом шла большая толпа, ехали вереницей автомашины. Трели киноаппараты, шелкали фотоаппараты, земля, извиваясь, тащилась толстые проволочки от прожекторов и тонкие—от микрофона.

Самолет установили в направлении взлета. Ушел трактор и пожарная машина, складывались киноаппараты и сворачивались провода. Подана команда занимать места в самолете. В это время к самолету подкатила нарядная машина. Из нее вышел пожилой адмирал американского морского флота. Он выразил желание пожать руку Молотову и посмотреть на русский бомбардировщик. Еще несколько минут задержки. Адмирал вскоре вышел из самолета: внутри было жарче, чем в паровой бане.

Штурманская кабина на бомбардировщике—святая святых. Здесь много всяких приборов, ручек управления, и все штурманское имущество всегда в полном порядке, аккуратно разложено по своим местам, все привито, знакомо, и штурман в темноте, на ощупь может управлять всем своим сложным хозяйством.

Разморенные жарой, мы, штурманы, появились перед вылетом еще раз все осмотрели и очень пожалели об этом. Наша кабина, наш алтарь, был чьей-то заботливой, щедрой рукой превращен в... бакалейный магазин. Вся кабина была забита свертками, ящиками, пакетами, корзинками, бутылками, папиросами, апельсинами, яблоками, лимонами, шоколадом, бутербродами всяких сортов, обмундированием, парашютами, резиновыми поясами еще массой всякой мелочи. На приборной щитке стояла большая корзинка с пивом, ручках управления радиополукомпасом лежали пакеты с сыром и колбасой, да и вообще одной ручки не было видно из-за груды всяких пакетов. В кабине пахло лимонами, апельсинами и яблоками.

Моторы были запущены, и самолёт сразу же пошёл на взлёт. Сверху начали лететь пакеты с бутербродами, посыпались апельсины, корзинка с пивом запаталась, готовая слиться на компас. Нехватало рук, что удержать все это шатавшееся и валявшееся хозяйство.

— Штурман, курс!—раздался голос Пупина.

Легко сказать—курс! Целую неделю гонимались, томясь и жили этими курсами,

приготовили, расчертили, записали, даже план составили. А сейчас этот самый курс в штурманской сумке, где-то под бакалейным магазином.

— Аяло, Пусэп! Держите пока на северо-восток, а потом уточним,—сказал я по телефону.

— Как так потом уточним? Почему сейчас нельзя точно сказать курс? — раздался строгий голос Пусэпа.

Пришлось объяснить, в чем дело.

Два свободных радиста Муханов и Низовцев помогли нам разобрать и убрать из штурманской кабины все лишнее.

Самолет вошел в облака, мы пошли вслепую, но через несколько минут ровный слой белых облаков был уже под нами, а наверху—чистое, ясное небо с большим ярким солнцем, катившимся на запад.

Началась нормальная работа — жизнь на большом корабле.

Летчики получили точный курс и включили автопилот. Штурманы, включив радиоприемники, приступили к контролю пути по радиомаякам—единственно верному средству при полете вне видимости земли.

К общему огорчению, полет за облаками лишил нас возможности рассмотреть Америку сверху.

С помощью компасного курса и радиомаяков мы прошли над городами Балтимора и Филадельфия, не видя их. Дальше маршрут шел через Нью-Йорк. Все население корабля стремилось посмотреть на этот город хотя бы сверху. Штурманам задавались вопросы: будет виден Нью-Йорк или нет? Пришлось огорчить всех: облака предполагались до самого конца пути.

На высоте трех тысяч метров, при температуре 12 градусов, мы за облаками прошли над Нью-Йорком и, конечно, его не видели.

Через два с лишним часа полета такая же участь постигла нас и над Бостоном; отсюда мы изменили курс и пошли на север.

Температура снизилась до +8 градусов. Экипаж и пассажиры самолета стали опешно натягивать летное обмундирование. Второпях мистеру Кемпбеллу, самому большому человеку на корабле, достался самый маленький комбинезон. Натягивая его на свои могучие плечи, он согрелся и уже не стал его одевать. Через каждые полчаса процедура повторялась, и мистер Кемпбелл до самой посадки согрелся, борясь с маленьким комбинезоном.

Вести самолет по густой сети радиомаяков так же просто, как при хорошей видимости земли. Для штурманов такой полет не утомителен.

Но радиомаяки скоро должны были кончиться, предстояло выйти на остров и на нем

искать аэродром для посадки. Теперь мы нуждались в сведениях о погоде, чтобы иметь возможность все заранее предусмотреть.

А мистер Кемпбелл разложил на коленях все свои шифры, коды, вывалил на пол содержимое своего большого портфеля, роется в бумагах, что-то записывает и с безразличным видом все стучит и стучит телеграфным ключом. А погода без перемен: сверху светло, внизу темно — ничего не видно.

Город и аэродром Мюнстон мы прошли на высоте 2700 метров. Температура спустилась до +4 градусов.

В который уже раз перечитываем книгу прогнозов погоды, которую нам дали в Вашингтоне. По прогнозу, облака должны кончиться где-то очень близко от аэродрома посадки, не исключена возможность, что даже за ним.

Пролетаем последний аэродром и последний радиомаяк,—дальше океан и где-то в нем, на острове, наш аэродром.

Кончились радиомаяки, начались сомнения.

— Штурман, какая погода на аэродроме? — спрашивает Пусэп.

— Хорошая погода,—отвечаю.

— Нельзя ли конкретнее?

— Безоблачно, видимость пятьдесят километров, ветер слабый.

— Откуда эти сведения?

— По прогнозу.

Командиру мало понравился мой ответ. Он проворчал что-то насчет того, что действительную погоду, точно установленную, он бы предпочел.

Детальная ориентировка была утеряна. Где-то близко высились скалистые берега острова. Каким способом уточнить свое место, чтобы смело направить корабль в облака без риска столкнуться со скалами?

Радиомаяки теперь уже не были слышны. Широковещательные станции не давали нам необходимой точности. Астрономия отпала, одно солнце не могло нам помочь. У меня на блокнотном листе была схема расположения и работы трех морских радиомаяков нашего района, работавших на одной волне, но одной минуте каждого часа. Подобными маяками я уже раз пользовался, когда мы летели из Исландии в Канаду, и тогда они спасли нас от больших неприятностей.

Выждав время начала работы маяков, я за три минуты зашлепентовал три маяка и продолжил на карте обратные пеленги. Треугольник расчетного места самолета находился в открытом море. Подана команда, и самолет с левым виражем зарылся в облака и пошел вниз. Несколько минут напряженного, томительного ожидания.

На высоте 1000 метров облака начали темнеть, и вскоре громко раздалось радостное слово: «вода». Под нами было море, покрытое белыми барашками.

Вахтенный радист мистер Кемпбелл, выглянув в окошко и увидев, — вернее, ничего не увидев из-за густого тумана, окутавшего самолет, — и по-своему оценивая обстановку, отбросил от себя все коды и шифры и заработал на ключе открытым текстом, умоляя всех святых сообщить ему погоду на аэродроме. В ответ он получил телеграмму, из которой он ничего не понял, и передал ее Романову. Прочитав телеграмму, Романов поднял большой палец кверху и сказал радисту:

— Окэй, мистер Кемпбелл.

В телеграмме было всего три слова, написанные латинским шрифтом:

Otchen choroschaja pogoda.

Позднее мы разобрались в том, что произошло. Мистер Кемпбелл работал одним шифром, а с аэродрома ему отвечали другим. Шла часы, и ни мы никого не понимали, ни никто не понимал. Когда же радист заработал открытым текстом, на аэродроме решили, что за радиопередатчиком сидит русский радист, плохо разбирающий новый шифр. И вот администратор аэродрома нашел какого-то чеха, который кое-что понимал в русском языке, и приказал ему написать радиограмму о том, что погода «окэй». Таким образом и была послана эта телеграмма, сразу разрешившая все наши сомнения.

Мистер Кемпбелл был отпущен с вахты на обед, а за радиоаппарат сел Муханов, который продолжал радиосвязь самолета с аэродромом по международному коду.

К острову мы вышли в районе западного аэродрома, откуда через радиомаяк нас запросили, не могут ли они быть нам чем-нибудь полезными. У нас в это время была хорошая радиосвязь с аэродромом Гендер, где мы должны были совершить посадку. Поблагодарив за любезное предложение, мы продолжали следовать на восток.

Облака оборвались именно там, где было предсказано прогнозом. Ясное небо, хорошая видимость, два радиомаяка, уверенная и надежная радиосвязь, — что может быть лучше и приятнее такого полета!

Через семь часов двадцать минут полета наш самолет опустился на громадном аэродроме Гендер, на острове Ньюфаундленд.

Отсюда путь в Европу через океан.

Большое поле аэродрома было забетонировано и электрифицировано. Вокруг аэродрома городок из деревянных стандартных домиков. Большие деревянные ангары. Мощеные дороги. Строительство еще не закончено, кругом до-

рожные машины, ямы, трубы, кирпич и щебень.

Снаружи серые деревянные дома кажутся убогими, но внутри этих домиков все американские удобства.

Аэродром работает круглосуточно. В сумерках заветерял светомаяк, зажглись огни на посадочной полосе.

К нашему прилету на аэродроме собралась вся авиагарнизон. Время было вечернее, поэтому официальная часть встречи была перенесена в офицерский клуб, снаружи походивший на большой деревянный амбар. Внутри же офицерского клуба все было удобно и красиво. Здесь большой концертный зал, уютная столовая, комната для игр с бильярдом пин-понгом и тиром, танцевальный зал, музыкальные инструменты и джаз-оркестр. Ко всему этому — автоматизированная кухня, мраморные умывальники, ванная и душ с холодной и горячей водой.

Наш прилет явился для гарнизона большим событием. Все с интересом разглядывало нас и очень хотели узнать подробности событий в России.

В столовой за большим столом гости сидели вперемежку с хозяевами.

Первый тост начальник гарнизона провозгласил за гостей и пожелал нам счастливых посадок.

Вячеслав Михайлович Молотов поблагодарил любезных хозяев за гостеприимство и поднял тост за крепкий союз советских и американских народов.

Беседа была оживленной, без переводчиков, все очень хорошо понимали друг друга.

Утром следующего дня мы посетили синоптиков. Здесь было уютно, светло, просторно. Работа идет очень организованно и продуманно.

Весь процесс приема сводок и печатанье карт радиошифрован и механизирован. Каждый экипаж, улетающий с этого аэродрома, получает здесь палку с полной характеристической погоды по всему маршруту.

В районе аэродрома была отличная погода. В Исландии, куда мы собирались лететь, метеорологические условия тоже были благоприятны, всё было за то, что вылетать можно и нужно. Однако старший синоптик, делая окончательное заключение, многозначительно вертел в руках толстый красный карандаш и спрашивал нас о вещах, вовсе не относящихся к погоде. Он интересовался составом экипажа и главным образом пассажирами. Узнав, кто наши пассажиры, он решительно написал на палке: «Погода неопределенная, вылетать не советую». Пришлось с вылетом задержаться.

Договорившись с синоптиком, что при пер-

вой же возможности вылета нам позвонят, мы пошли коротать время в офицерский клуб.

Ночью мы с Пусэпом долго не спали и рассуждали о том, что такое лётная и нелётная погода. Договорились до того, что сухопутная оценка погоды не годится при полетах через океан на далекое расстояние, и решили, что завтра, при малейшем проблеске, будем вылетать.

Но утро следующего дня не предвещало ничего хорошего. Туман, снег с дождём, ветер с моря. Погода настолько была явно плохая, что никто не ходил даже на метеостанцию.

В середине дня, играя на бильярде, я часто смотрел в окно, пытаясь увидеть хоть какой-нибудь просвет. Игра не клеилась. Я безбожно мазал. И вдруг сквозь туман я увидел желтое пятно.

— Ребята, вижу солнце! — крикнул я.

Все бросились к окнам, кто-то побежал звонить по телефону. На наших глазах туман рассеивался, и вот сначала показался желтый диск, а вскоре сквозь просветы редкого тумана брызнул яркий луч солнца. И хотя это было мимолетное виденье, у всех появилась надежда. Кто-то сказал:

— А ведь облака совсем тонкие, и пока мы соберемся, их совсем не будет.

Борттехники, радисты и стрелки уехали к самолету. Штурманы с Пусэпом отправились на метеостанцию. Старший синоптик долго раздумывал над синоптической картой, крутил в руках карандаш, на который мы смотрели затаив дыхание. С серьезным видом синоптик медленно вывел красным карандашом на синей палке: «Погода определенная, советуем вылетать».

Старший синоптик посоветовал нам лететь не тем маршрутом, какой мы намечали. Он рекомендовал пройти 300 километров на восток и там в открытом океане повернуть самолет на северный курс и лететь прямо на Исландию. Это был более сложный маршрут, зато с попутным ветром.

Такой вариант большинству из нас не понравился, и мы отказались от предложения синоптика. Решили лететь на Исландию через Гренландию. В полете мы не раз сожалели об этом.

Погода заметно улучшилась, ветер повернул и гнал туман в море. Сверкало солнце, сушило землю и вселяло в нас уверенность в благополучном полете через океан.

Сборы были недолги, и вскоре наш самолет, буксируемый трактором, медленно покинул на линию старта.

Дул свежий ветер, и наш большой самолет легко оторвался от земли и, покачав крыльями гостеприимной Америке, взял курс на Гренландию.

Навигационная сложность полета заключалась в том, что линии магнитного склонения шли перпендикулярно нашему маршруту. Так, на участке аэродрома вылета до Гренландии склонение менялось от 30 до 40 градусов и дальше, от Гренландии до Исландии, снова уменьшалось до 28. Следовательно, штурманам, во избежание большого удлинения маршрута, приходилось рассчитывать на какой-то солидный способ контроля полета. Такими способами контроля мы наметили использование радиомаяков, поскольку это было возможно, и астрономию, в тех случаях, когда маяки перестанут быть слышимы.

Однако все планы, с такой тщательностью подготовленные нами на земле, рухнули довольно скоро после вылета. А пролетев еще немного, мы уже пожалели, что не воспользовались советами синоптика и отказались лететь с попутным ветром по линии одного магнитного склонения.

Мы попали в обстановку, далеко не благоприятную. Остров Ньюфаундленд остался сзади, и под нами был безбрежный океан. Впереди по курсу чернели высокие, мощные облака, перетянуть через которые наш тяжелый корабль еще не мог. Лететь под облаками на малой высоте, только для того чтобы любоваться седыми волнами старика-океана, не было никакого смысла. На этой высоте нам нехватало бы горючего до конечного пункта.

Вскоре самолет вошел в темные, густые, мокрые облака, скрывшие от нас и солнце, и океан. На большом корабле день превратился в ночь. Радиомаяк загух. Радиосвязь прекратилась. Во всем большом мире мы были одни, со всех сторон окруженные грозной стихией.

Вода ручьями текла с потолка и заливала вещи и приборы, забиралась за шею, текла по спине, и холодные капли ее доходили до ног. Было темно, холодно, неудобно и бесполезно.

Самолет с трудом набирал высоту. Стрелка термометра клонилась влево и приближалась к нулю. Становилось холодно. Скорей бы вылезть наверх из этих противных облаков, вздохнуть свободно и услышать радиомаяк. Установим радиосвязь, займемся астрономией, и можно будет разговаривать, шутить и смеяться. А сейчас в самолете тишина, напряжение и суровые лица.

Стрелка термометра подошла к нулю. Стекла покрылись белым льдом. На крыльях слой льда становился все толще и толще. По штурманской кабине застучали срывающиеся с винтов ледяные осколки. Наша большая, мощная машина стала неуклю-

жей, неповоротливой, и вот-вот она совсем откажется от выполнения своих обязанностей.

— Эх, не везет нам сегодня! — сказал Пусэп и, отдав штурвал от себя, повел машину вниз.

На высоте 3000 метров температура воздуха была + 0,5 градуса. Лед растаял, и самолет снова стал послушным. На этой высоте, в потоках воды, на грани обледенения, мы решили лететь по намеченному курсу.

Как высоко над нами облака? Не попытаться ли еще раз пробиться сквозь зону обледенения и выйти наверх? Не будет ли это бесплодной попыткой и лишней потерей времени? На эти вопросы никто не мог ответить.

Из штурманских рук выбиты все средства самолетовождения. Бесконтрольный полет вслепую никак нельзя назвать самолетовождением, с точки зрения штурмана.

Но никогда нельзя сказать «все потеряно». Если только не потеряно самообладание, всегда можно найти выход из тяжелого положения. И мы его нашли.

В большой голубой папке, на нескольких листах и бланках была изложена на английском языке вся погода по нашему маршруту, прогноз и карта синоптического анализа. Разложив на столике все эти карты и бланки, мы вдвоем с Романовым при свете электролампы, под струями ледяной воды, от которой нам уже не было холодно, рассчитали движение циклона и его фронтов. Измеряли циркулем и линейкой расстояния, чертили новый фронт, обозначали направление и силу ветра в нашем районе.

Измерили, подсчитали, начертили и узнали, что мы идем вдоль фронта, на котором и облака высокие, и ветер разных направлений. В общем, оказалось, что мы ничего не знаем о самом главном — о ветре. Зато мы ясно себе представляли, что на этой высоте при полете вслепую в облаках мы неизбежно столкнемся с высокими ледниковыми горами Гренландии.

Мы ломали голову над тем, куда дует ветер. От этого зависело, куда делать поворот — влево или вправо. А может быть, и никуда не нужно поворачивать?

Чорт возьми! Хоть бы краешек солнца увидеть да захватить его на мгновение в секстант, тогда можно снова лететь вслепую, смело отворачивая от Гренландских гор. На всех приемниках абсолютно ничего не слышно, кроме сильного треска. Нам оставалось только рывнуться.

— Летчики, поверните вправо пятнадцать градусов, — даю команду.

— Почему так много? — спрашивает Пусэп.

— Если пятнадцать много, поверните три раза по пять, — отвечаю я.

— Ну, это дело другое, — говорят Пусэп и выполняет команду. Романов, сидевший рядом со мной, улыбнулся. Послышалось удовлетворенное хмыканье летчиков: раз штурманы подают команду, значит они работают и что-то знают.

А летчики все любят, когда в сложных условиях штурман что-то знает, что-то делает и что-то предлагает.

В пассажирской каюте темно. Пассажиры спят. И только возле Вячеслава Михайловича горит лампочка-светлячок, при свете которой он читает.

Все три радиета, мокрые, скучные, дремлют у выключенной бесполезной радиостанции.

Борттехники Золотарев и Дмитриев также клянут носом у приборного щитка.

Вячеслав Михайлович через центрального пушкря просит летчиков предупредить его, когда будет видно Гренландию, он хочет посмотреть на ледники.

Дорого бы я дал в эту минуту за то, чтобы услышать: «облака кончились, видна Гренландия». Но нет, никто раньше нас, штурманов, ничего не увидит и никто раньше нас ничего не крикнет...

За четыре часа напряженного полета вслепую в облаках много было передумано. Уже пройдено расстояние в 1300 километров над океаном. На таком расстоянии каждый градус ошибки в курсе дает отклонение от линии маршрута в 44 километра. У нас же на этом участке магнитное склонение изменилось на 10 градусов, да еще, на основании синоптических анализов, мы повернули самолет на 15 градусов.

А что, если мы ошиблись в своих расчетах и повернули не в ту сторону? Цифра, получившаяся в результате вычисления, была так велика, что не то что Гренландию или Исландию можно было проскочить, но мы рисковали не увидеть и Европу.

«Ну, радисты, просыпайтесь, запускайте ваши шарманки, пошевеливайтесь быстрее, действуйте. Работайте международным языком. Добивайтесь радиосвязи и во что бы то ни стало узнайте, какая погода в Гренландии. Если через 10 минут не добьетесь связи, дайте SOS». Такую примерно записку я передал нашим радистам. Все три радиета энергично взялись за дело, застучали ключами и завертели ручками.

— Александр Павлович, — обратился ко мне Пусэп, — какая высота гор Гренландии?

— На тысячу метров выше нашего полета, — ответил я.

— Какая погода в Гренландии и когда, по

вашим расчетам, мы должны подойти к берегам?

— К берегам Гренландии должны подойти минут через двадцать. А согласно прогнозу, в районе острова должны быть разрывы в облаках. О настоящей погоде ничего не знаю—радиосвязи ни с кем нет.

— На-да, выбрали погоду, — пробурчал Пусэп.

Сергей Михайлович Романов нервно вертел в руках мокрый секстант, грыз карандаш и нетерпеливо смотрел в окно, готовый в любую минуту измерить высоту солнца.

Солнца не было, были только облака и вода в самолете.

Усилия трёх радистов не пропали даром. Им удалось связаться с гренландской радиостанцией, и один из радистов громко, на весь самолет, прочитал сводку: «Облачность высокая — пять баллов. Ветер восточный». По бодрому голосу радиста мы сразу поняли, что самое страшное миновало.

Не успел радист дочитать до конца сводку погоды, как его перебил Пусэп:

— Довольно, сам вижу погоду.

Самолёт из ночи вошёл в день. Сквозь большие разрывы в облаках брызнули лучи вечернего солнца, заблестели мокрые крылья самолета, на стёклах забегали солнечные зайчики.

Народ зашевелился, повеселел, телефоны наполнились разговорами и смехом.

Впереди по курсу, чуть слева, серебром блестели на солнце мощные купола гренландских ледников.

Отметив на карте точку своего нахождения, мы с Романовым переглянулись и улыбнулись, довольные своими расчетами, и каждый из нас, должно быть, подумал про себя одно и то же: «Все хорошо, что хорошо кончается».

Проснулись пассажиры, все облепили окна и любовались суровой красотой природы.

Высокие скалистые берега южной оконечности Гренландии изрезаны узкими, глубокими и извилистыми фиордами. Черные высокие гранитные скалы обрываются отвесно у океана, и у подножия их океан пенится и сердито бурлит.

У берегов голубые льдины. Поднятые волной, они с силой налетают на скалы и крошатся на мелкие куски.

А дальше высятся массивные ледниковые шалки, сверкая в лучах заходящего солнца.

Дикая красота сурового острова напоминала мне великого и неутомимого исследователя Арктики Фридриха Нансена, замечательные книги которого возбудили у меня любовь к Арктике.

Всю жизнь служил он лучшим идеям че-

ловечества и заставлял Арктический край служить человеку. Я вспомнил и то, что сейчас сын этого великого учёного томится в фашистском застенке.

Радисты установили надёжную радиосвязь с Исландией, куда мы направляли свой путь.

Романов вталкивал в пузырёк уровня секстанта планеты, еле видневшейся на юге, и что-то у него плохо получалось. То ли секстант замёрз, то ли планета была плохая, а скорее всего это происходило потому, что сейчас мы уже не так остро нуждались в астрономии.

На два часа полета у нас хватит расчётов из взятого курса, а там, ближе к аэродрому, нам помогут радиомаяк, радиопеленгатор, и тогда может быть, придется обратиться за помощью к астрономии.

Самолет идет под управлением автопилота и летчики, утомленные слепым полетом, съездившись в обледеневших костюмах, повидимому дремлют, потому что уже долгое время молчат и не спрашивают нас ни о том, какая погода по маршруту, ни о том, правильный ли курс держит самолет.

На севере светлая полоска зари идет параллельно нашему курсу, на восток, и скоро из-за горизонта покажется солнце, навстречу которому мы летим.

Высота полета 4500 метров, температура минус 5, в кабине все вещи, ранее намоченные в облаках, обледенели. Воротники превратились в ледышки. Хочется съездиться, закутаться и сидеть неподвижно. Но надо работать. Ну что ж, начнем пожалуй! Я включаю радиоприемник, в наушниках которого слышно две буквы радиомаяка—одна громче, другая слабее.

— Алло, лётчики, поверните влево два градуса, — подаю я команду.

— Из-за такой мелочи не стоило и лётчика беспокоить, — возразил Пусэп, доворачивая машину.

Большой багрово-красный солнечный диск показался на горизонте. Быстро поднимаясь, солнце все более белело.

Наступил новый день. В самолёте погасли огни.

— Сергей Михайлович, послушай радиомаяк, — обратился я к Романову и добавил: — одно ухо хорошо, а два лучше.

— По-моему, буква «а» громче, чем «ге», — ответил Романов, прослушав радиомаяк.

— Два уха хорошо, а три лучше, — сказал Пусэп. — Выключите мне, старому маячнику, телефон, и я скажу точно, какая буква громче, какая слабее.

— Без сомнения «ге» громче, чем «а», — сказал Пусэп, внимательно прослушав сигналы.

— Так держать, — резюмировал я консилиум радиомаячников.

Радисты запросили радиопеленг, проложив который на карту, мы убедились, что все благополучно, и если и были отклонения от маршрута, то такие незначительные, что из-за них действительно не стоило беспокоить летчиков.

Чем ближе мы подлетали к радиомаяку, тем громче были его сигналы, тем острее была его зона, тем точнее надо было выдерживать курс, чтобы вести самолет по зоне радиомаяка. Это нам было совершенно необходимо для выхода на радиомаяк, над которым мы наметили пробиваться вниз под облака, к аэродрому.

Высота полета 2000 метров, температура воздуха ноль. Самолет быстро несется у самой поверхности белых ровных облаков, и временами брюхо его касается мягких белых гребней.

Радисты через каждые десять минут позывают радиограммы с сообщениями о погоде. На аэродроме высота нижних краев облаков опустилась до 500 метров. Нам предстоит пробиться сквозь слой облаков толщиной 1500 метров. Очередная радиограмма гласила: «Горы покрыты облаками, будьте осторожны при подходе к аэродрому». Очень хорошая радиограмма, но мы и без нее знали, что все горы на острове Исландии вершинами уходят в облака, и давно уже наметили план действий.

Мы решили выйти на радиомаяк, от него развернуться и пробивать облака курсом в океан, равным 270 градусам. Все другие курсы снижения ведут от радиомаяка в горы, закутаные облаками. Хорошо, что у нас есть карта крупного масштаба с рельефом местности и расположением радиомаяка.

Сигналы все громче и громче. Радиомаячная зона все острее. Работа напряженнее. Команды отрывистее.

— Два градуса вправо! Так держать! Чуть-чуть влево, еще малость. Так, хорошо!

Быстро нарастает слышимость сигналов, гремит в телефонах. И вдруг на несколько секунд все оборвалось. Потом снова громко-подобный звук сигналов. Маяк под нами.

— Летчики, взять курс двести семьдесят градусов, снижаться под облака, под нами аэродром.

— Есть снижаться! — бодрым, без тени сомнения, голосом ответил Пусэл и, развернув самолет, направил его вниз.

Самолет зарылся в густые облака. Стало темно, появилась вода. Несколько минут ожидания и тишины. Не знаю, есть ли такие летчики, которые сохраняют одинаковое настроение при полетах в ярких лучах солнца, когда видна земля, и в густых черных обла-

ках, в которых не видно конца плоскостей. На нашем же корабле возникшая тишина свидетельствовала о перемене настроения у всех.

На высоте пятисот метров самолет выскочил из мокрых облаков, и мы увидели океан, залив и у подножья коричневой, покрытой мохом горы — хорошо знакомый нам аэродром.

В заливе, в бухте и на рейле стояло много больших океанских кораблей.

Летчики занялись переговорами с борттехниками насчет воздуха в тормозах, выпуска шасси и еще всякой другой сложной техники, предшествовавшей посадке большого корабля.

Мы же, штурманы, собрали свое имущество, рассовали его по сумкам и портфелям и оказались на несколько минут перед посадкой безработными.

По нашей штурманской оценке Пусэл произвел отличную посадку, а большинство летчиков считает, что штурманам угодить очень трудно.

Офицеры, встречавшие нас во главе с начальником аэродрома, были все наши старые знакомые по первому нашему здесь пребыванию. Все они с нескрываемой радостью крепко жали нам руки, обнимали.

Самолет был поставлен на заправку горючим. Пассажиры и большая часть экипажа уехали завтракать. Мы же с Романовым отправились на метеостанцию узнавать погоду и выторговывать разрешение на вылет. Еще по консультации в Ньюфаундленде мы знали, что сюда надвигается циклон с фронтами, не предвещающими ничего хорошего. В Англии же пока еще стоял устойчивый антициклон с хорошей погодой. По всем признакам, надо было спешить с вылетом.

На метеостанции старший синоптик со всеми подробностями рассказал синоптическую обстановку чуть ли не половины земного шара, как будто мы собирались совершить кругосветное путешествие. Наши расчеты совпали с информацией синоптика, который, вручая нам объемистую папку с погодой и всеми прогнозами до Англии и дальше в Европу, советовал как можно скорее вылететь отсюда, мотивируя тем, что через несколько часов погода здесь испортится и надолго. Когда мы прощались, он пожелал нам счастливой посадки в Москве. «Хени лентис Москау, — потом, сняв фуражку, произнес по-русски: — до свидания».

Оставался кусок пути в 1400 километров через океан, и хотя это было в два раза меньше покрытого нами сегодня расстояния, а погода предполагалась значительно лучшая, мы готовились к полету со всей тщательно-

стью. Мы не склонны были считать, что пройденный по воздуху путь становится уже «объезженной» дорогой, по которой второй раз можно лететь без опасения. Воздушный путь ни при каких обстоятельствах не оставляет за собой следа, тем более при полете через океан.

* * *

Оставив Исландию, наш корабль направился прямо на Великобританские острова. В океане, вблизи исландских берегов, заметное оживление. Встречаются пароходы, шхуны и военные корабли. Двухмоторный гидроплан с исландской базы, разведчик и охотник за подводными лодками, пересекал нам путь. Пилот гидроплана, узнав наш самолет, покачиванием крыльев пожелал нам счастливого пути.

Облака оборвались, и по всему горизонту было ясное, солнечное небо с хорошей видимостью. Над океаном штормило. Большие белые гребни поднимались на высокой волне и, падая вниз, разбивались мелкими брызгами. Большой океанский пароход, идущий курсом на Исландию, зарывается носом в волну, высоко поднимается и вновь скрывается; корабль сильно качает.

Наш корабль тоже сильно болтает. Высота 2000 метров, компас работает неустойчиво. Надо бы повыше забраться, где воздух спокойнее и ветер попутный, да и волны как-то смущают: притягивают к себе взгляды и начинают о холодной соленой воде океана.

— Как вы полагаете, Эндель Карлович, — обращаясь к Пусэпу, — не лучше ли нам подняться еще на тысячу метров?

— Да нет, здесь пойдем, надоело по высотам болтаться, — отсюда хоть океан посмотрим, — возражает Пусэп.

Тогда, обращаясь к Романову, я сказал: — Сергей Михайлович, внимательно смотри за океаном, здесь подводные лодки шляются, как бы нам на них не наткнуться.

— Раньше чем мы ее увидим, она нас обстреляет, — ответил Романов и, подмигивая мне, добавил: — высота у нас малая, а океан бурливый, и на нем не сразу увидишь лодку.

Разговор шел громко, специально для пилотов. Вскоре самолет пошел вверх и достиг высоты 3000 метров. Спокойно, без болтанки, с хорошим попутным ветром мы продолжали свой полет на юго-восток.

Первые два часа полета радиомаяк Исландии добросовестно выполнял свои обязанности, любезно провожал нас и безошибочно указывал нам правильный путь.

В середине маршрута был какой-то разрыв, пустое место, где нам никто не мог помочь с земли. Тогда мы обратились за помощью к небу, к яркому полдневному солнцу. Оно сегодня было к нам милостиво. С помощью

солнца мы определили свое место, своевременно обнаружив перемену направления ветра, и внесли поправки в курс.

Во второй половине пути под нами появились облака, скрывшие от наших глаз неприветливый, холодный океан.

Подходя к западным берегам Англии, в том месте, которое было указано нам в качестве входных ворот, мы нырнули вниз, в первое появившееся на нашем пути большое окно в облаках, и на высоте 500 метров пошли дальше под облаками. Кругом было много больших и малых островов. Океан был пройден. Здесь были только проливы и залив.

Внизу под облаками был сильный шторм. Машину жестоко, как щепку, бросало, и я подумал о наших пассажирах, для которых воздушная качка была непривычным испытанием.

Внизу, в проливах, крупные волны белой пеной разбивались о скалы. Небольшие суда, встречаемые нами, временами, казалось, совсем скрывались под волной.

Мы проходим над узким проливом, между двух высоких обрывистых берегов; болтанка усилилась.

Вот и последний остров с высокой горой. Теперь мы почти дома. Еще несколько минут полета — и мы над небольшим городком на западном берегу Шотландии, рядом с которым и находится наш аэродром. Вот теперь можно сказать вполне уверенно, что с океаном благополучно все покончено.

В общей сложности в этот день мы были в воздухе 12 часов 35 минут и сделали над океаном 4100 километров.

На аэродроме нас встречали все наши старые знакомые: работники нашего посольства, англичане — сотрудники воздушного министерства и служащие аэродрома. Как и в первый раз, все работы были прекращены, и даже игроки в гольф, побросав свои палки, прибежали справиться о здоровье Молотова.

Нас всех обнимали, жали руки и сердечно поздравляли с двухкратным перелетом через океан.

Из Америки через океан прибыл на наш аэродром четырехмоторный гигант, пассажирский высотный самолет. Командир этого большого корабля, попросив разрешение, долго и внимательно осматривал наш самолет. После осмотра пилот повел нас к своему кораблю и детально ознакомил с его внутренним устройством. Наши летчики в пилотской кабине интересовались пилотажными приборами, ручками управления и летными качествами этого большого, красивого и удобного корабля. Мы же, штурманы, подробно познакомились с оборудованием штурманской кабины, усло-

виями и методами работы штурмана корабля. Штурманская кабина находилась сзади сидений и не имела окон ни внизу, ни с боков, а только сверху один прозрачный колпак для астрономических промеров. Повидимому, визуальная ориентировка на этом корабле не является средством самолетовождения.

После осмотра самолета мы посетили передвижную, на двух авиобусах, выставку трофейного немецкого авиаоборудования и вооружения. Директор выставки показал все, что у него имелось, и детально рассказал обо всем. В то время некоторые вещи для нас были новы, и мы с интересом и со вниманием слушали его и рассматривали экспонаты. Немного позже мы увидели грандиозную выставку трофейного немецкого вооружения в Москве, никакого сравнения с которой эта выставка, конечно, не могла выдержать.

Вечером позвонили из Лондона и передали приказание: «Пилоту и двум штурманам выехать в Лондон немедленно».

Сборы были недолги. Вскоре мы прибыли на железнодорожную станцию в тридцати километрах от нашего аэродрома.

Все вагоны в нашем поезде имели места только для сидения. Нам троим было забронировано одно шестиместное купе с двумя диванами. Диванов было два, нас же трое. Решили, что двое будут спать, а третий смотреть в окно и изучать местность. Составили расписание, кому когда лежать и когда в окно смотреть.

Ночь выдалась холодная. В купе много всяких краников и ручек. Но сколько мы не крутили краники и ни поворачивали ручки, в купе от этого теплее не становилось.

В Лондон приехали утром с насморгом, помятые и разбитые. Остальные пассажиры, выходявшие из нашего поезда, были не в лучшем виде.

В Лондоне мы узнали, что существует целая куча вариантов и предложений касательно дальнейшего маршрута. Нас и вызвали для того, чтобы во всем этом разобраться и окончательно установить маршрут. Нам было поручено связаться с Москвой и с английским министерством воздушных путей и составить план полета. Большая часть этих вопросов была нами разрешена еще на аэродроме. Поэтому все было организовано и уточнено в течение первой половины дня.

ДОМОЙ

Вымытый, покрашенный, чистый и блестящий стоит наш самолет, готовый к возвращению на родину.

По долгосрочному прогнозу, на всем нашем пути предполагались сплошные облака и сильный попутный ветер. Лучшей погоды и не придумаешь в положении людей, которые

должны пролететь над вражеской территорией незамеченными и возможно быстрее.

К намеченному сроку приехали все наши пассажиры. У самолета собралась большая толпа провожающих. Щелкали фотоаппараты. Трещали киноаппараты. Обычная суета, сопровождающая каждый большой полет.

Полный газ — и самолет ровно покатился по широкой бетонной дорожке, быстро оторвался и с набором высоты пошел над волнами залива. Развернувшись, проходим над аэродромом, внизу мелькают люди, все машут и машут, провожая нас в далекий и небезопасный путь.

К нам пристраиваются два истребителя сопровождения.

Так начался полет па восток, на родину, домой...

За полчаса полета, в вечерних сумерках, мы пересекли остров с запада на восток и подошли к берегам Северного моря. Здесь мы распрощались с истребителями и, поприветствовав друг друга, разлетелись в разные стороны. Под темнеющим небом, на котором уже загорались звезды, направляли мы свой путь к родным берегам.

В задней пассажирской кабине занавешены окна, темно. В правом, ближнем к нам углу, чуть-чуть теплится лампочка, при скудном свете которой Вячеслав Михайлович дочитывает свою книгу. Стрелок центральной пушечной башни с ручным фонариком проверяет и включает пассажирам кислородные аппараты. У бортмехаников на большом приборном щитке потушены все огни, и бортинженер, близко нагнувшись к щитку, по скупому фосфорному свету контролирует работу моторов. У радистов завешено окно и передатчик, и только маленькая зачехленная лампочка бросает свет на столик и на приемник. Оба радиста работают дружно, согласованно и уже установили связь с Москвой.

Первое сообщение: в Москве уже наступил рассвет. Московские радисты в частной беседе с нашими радистами спрашивали: «А у вас как там, уже светло или еще темно-то?».

— Алло, штурманы! У нас подчитана время и место встречи с рассветом и восходом солнца? — спокойным, даже чересчур спокойным голосом обратился к нам командир самолета.

Отвечаю командиру возможно мягче, увереннее и тоже спокойно:

— Рассвет наступит в Балтийском море, а солнце увидим на траверзе Кенигсберга.

— Так, хорошо, — отвечает Пусэп, хотя хорошего тут мало. — А какая, по-вашему мнению, погода нас ожидает по маршруту? Будут ли облака хотя бы до линии фронта?

— По прогнозам,— московскому, английскому и нашему, штурманскому,— предполагаются сплошные облака, вот такие, как сейчас под нами, до меридиана Кенигсберга, а дальше, до конца маршрута, ожидаем безоблачную погоду.

— Ну, добре,— сказал Пусэп, хотя доброго было столько же, сколько и хорошего.— Я буду забираться повыше, а вы смотрите внимательно и обходите все неприятные места, где нас хорошо знают, вроде Кенигсберга, Данцига и других.— И подал команду всему экипажу: — Надеть кислородные маски, включить кислород.

Тяжелый самолет шел на восток с набором высоты. Все наши бортовые часы, работавшие до этого по гринвичскому времени, переведены на московское время.

«Ну, Сергей Михайлович, бери в руки секстант да хватай звезды, пока есть, выбирай любую, много их высыпало на темном небе, да все большие и яркие. Будем ручки радиоконписа накручивать да пеленги прокладывать, будем петлять да следы замечать. Ничего, не поймают, проскочим как-нибудь. Не в первый раз в этих местах бываем»,— думал я, не прекращая работы.

Длина наша дорожка, да коротка летняя почка. Ровно и привычно гудели моторы, дружно и быстро винты тянули наш самолет. Подгоняемые сильным попутным ветром, который вместе с нами возвращался домой, мы быстро шли навстречу солнцу, которое уже позолотило в Москве кремлевские звезды.

Быстро серебрится восток, и все большая часть неба бледнеет. Радиопеленгатор начинает пошаливать—первый признак восхода солнца. «Спеша, Сергей Михайлович. Лови звезды. Полярная звезда уже растаяла, но в зените и на юге еще много крупных, ярких звезд. Измеряй их секстантом, рассчитывай на бумаге, прокладывай на карте. Помогай замечать следы, делать хитрые петли. Вся страна ждет нашего прилета. Сталин не спит и следит за нашим полетом».

— Эй, радисты, передайте радиограмму в Москву: «Место, время, высота и погода». Да не забываете в каждой радиограмме сообщать: «Все в порядке».

Брызнули золотые лучи и рассыпались по горизонту. Выплыло красное большое солнце и, бледнея, пошло вверх.

Наступил день, растаяла ночь—и растаяли облака под самолетом. Над нами было ясное небо, а под нами чистый, прозрачный воздух до самого низу. Ни впереди, ни в стороне от нас на сотни километров, не видно было ни облачка, ни тумана. Наш штурманский прогноз, к сожалению, оправдался.

Далеко внизу под самолетом появился во-

сточный берег Балтийского моря, а еще немного—и море осталось позади. Теперь полнами до самого конца нашего длинного маршрута только земля с войной и пожарами.

Высота 7500 метров, температура минус 32 градуса. Холод не чувствуется, и мы с Романовым работаем без перчаток. Нервы напряжены, мысль работает быстро, внимание насторожено. Кислород заметно убывает. Самолет медленно ползет вверх и быстро идет вперед.

Борттехники Золотарев и Дмитриев, закутанные в меховые воротники, из которых свисают шланги и провода, с большими меховыми рукавицами на руках, неподвижно, как призраки, сидят у приборного щитка; им скучновато и холодновато. Им все равно, где лететь, лишь бы моторы хорошо работали. И сейчас они не думают ни о земле, ни о войне с пожарами, а думают о том, почему падает давление масла у левого крайнего мотора.

Радисты, с расстегнутыми воротниками, со свисающими толстыми кислородными шлангами от масок, закрывающих лица, и с тонкими проводами от племафонов, голыми руками, без перчаток, стучат ключом, вращают ручки, записывают, шифруют, совещаются, спорят и соглашаются и неизменно через каждые полчаса передают короткие радиogramмы о месте и обстановке нашего полета, получают погоду и пеленги, а больше всего ведут частные беседы с московскими радистами.

Пассажиры в своей кабине, прильнув к оконным стеклам, внимательно рассматривают землю.

Воздушные стрелки (пулеметчики и пушкари), как верные стражи, зорко следят за землей и за воздухом, держа руку на спусковом крючке своего оружия. Наши стрелки— бывалые ребята и по опыту знают, что опасность может нагрянуть в любую секунду и с любой стороны.

Медленно плывут под самолетом леса, озера, реки, дороги и мелкие селения. В стороне остаются города и крупные железнодорожные станции.

Высота 8000 метров, температура минус 35 градусов.

— Штурманы, какая путевая скорость и через сколько времени будет линия фронта?— спрашивает Пусэп.

— Путевая скорость 500 километров в час. На линии фронта будем через час,— ответил я.

— Добре. Высоты больше не будем набирать, кислороду маловато, да с такой скоростью нас и на этой высоте никакая собака не догонит.

Центральный башенный пушкар передает по телефону вопрос Вячеслава Михайловича: «Через сколько времени будем в Москве?»

Отвечая:

«Передайте, что в Москве будем через два часа».

И снова тишина, напряженная работа тех, кто занят, и напряженное ожидание тех, кто вынужден ничего не делать.

Радисты сообщили принятое по радио приказание командования: «Линию фронта пролетать на максимальной высоте».

— Вижу линию фронта!— воскликнул Пусэп.

Эта весть быстро разнеслась по всему кораблю, и все свободные от вахты люди еще напряженнее стали смотреть на страшную землю. Нужен был наметанный глаз Пусэпа, чтобы за сотню километров увидеть впереди пожары на линии фронта.

Время идет очень медленно. Еще медленнее плывет под нами земля, и на большой высоте кажется, что самолет повис неподвижно. Проверяю запись в бортжурнале, рассчитываю на карте и на линейке и получаю ту же путевую скорость, равную 500 километрам в час.

Вот и линия фронта, скупо обозначенная редкими большими пожарами, дым от которых стелется на восток. Ни пламени от пожаров, ни оружейных вспышек, ни огневой трассы, ни ракет и разрывов и всего того, чем богата линия фронта в темную ночь,— сейчас, с большой высоты, при ярком утреннем солнце, не видно. Летчики покрутили вправо маленькую ручку на автопилоте с надписью «снижение», и самолет, наклонив нос, пошел со снижением, отчего путевая скорость еще больше увеличилась.

Радисты передали радиограмму: «Миновали линию фронта». В ответ на эту радиограмму приняли приказание: «Посадку произвести на Центральном московском аэродроме».

— Штурманы, рассчитывайте курс на Москву!— кричит Пусэп.

— Есть рассчитать на Москву!— так же громко отвечаю я.

Много ли человеку надо? Сколько волнений, переживаний! Какая напряженная тишина в корабле была всю ночь. И вот пролетели линию фронта, заговорили о посадке, и как будто ничего этого и не было. Голоса бодрые и громкие. Лица веселые. Работа пошла легко и свободно. Послышались шутки, смех.

Высота 400 метров, сняты до чортиков надоевшие, пропотевшие и заиндевевшие кислородные маски.

— Взять вправо двадцать градусов!— подаю команду летчикам.

— Есть двадцать вправо,— отвечает пилот, доворачивая самолет.

— Идем прямо на калининский аэродром,— докладывает носовой стрелок.

— Приготовить ракеты,— командует Пусэп.

Высота 200 метров, температура ноль, почти тепло. Проильвает под крылом Вьлга. Остается слева Московское море, и мы прямо через Клин идем вдоль Октябрьской железной дороги. Пассажиры снимают меховое обмундирование и унты, в самолете становится жарко.

Вячеслав Михайлович Молотов, захлопнув книгу и отложив ее в сторону, стал снимать летное меховое обмундирование.

Высота 500 метров, слегка подбалтывает, под нами паровоз, сильно пыхтя густым белым дымом, тащит длинный товарный состав по Октябрьской дороге, в сторону Ленинграда.

Вот и Москва, наша родная. Вот мы и дома. Самолет низко пролетит мимо Кремля, золотые звёзды которого сверкают в лучах утреннего солнца.

Кто его знает, может быть, сейчас сам Сталин смотрит из своего окна, видит нас, узнал и махнул нам рукой?

Низко проходим над Петровским дворцом и с затихшими моторами мягко касаемся аэродрома и катимся по бетонной дорожке.

Рулим по мягкой зеленой траве и, остановившись у группы людей и автомашин, выключаем моторы. В ушах гудит и звенит.

Волнуясь, не попадая ногами на ступеньки лестницы, выходим из самолета и экипажем выстраиваемся у самолета.

Командир самолета, он же первый летчик, майор Пусэп, отделившись от строя, подходит к командиру авиации дальнего действия, генерал-лейтенанту авиации Головапову и, приложив руку к шлему, докладывает:

— Товарищ генерал-лейтенант авиации, ваше задание выполнено.

Командующий пожимает руки всем членам экипажа, поздравляет с благополучным прилетом и благодарит экипаж за блестяще выполненную рейс.

Большая группа встречающих, здороваясь с пассажирами и с экипажем, смешала наш строй. И вообще все смешалось.

Вячеслав Михайлович, разыскивая всех членов экипажа, пожимал нам руки и благодарил за удачный перелет.

На опустевшем корабле мы быстро долетели до своего родного аэродрома.

На следующий день наш экипаж на том же самолете приступил к выполнению нового задания полковника Лебедева—к бомбардировке глубокого тыла противника.

Песнь о Давиде Гурамишвили

(Главы из поэмы)

КАК ПОСЛЕ БЕГСТВА ИЗ ПЛЕНА ДАВИД ГУРАМИШВИЛИ УВИДЕЛ ТОК

Словно призрак, брел ты слепо,
Сквозь кустарник продираясь,
Не имея крошки хлеба,
Много дней травой питаюсь.

Жалил гнус лицо и руки,
Жгло свирепым солнцем небо.
О, какие вынес муки!
И ни сладостного хлеба,

Ни глотка воды, ни тени
Для измученного тела...
Мнилось: будто запустенье
Всей землею овладело.

Нел ты. Песни безголово
В пересошем горле глохли.
Плакал, но живые слезы,
Как степной родник, иссохли.

— Где ж хранитель? Избавитель? —
Возроптал ты, умирая,
И внезапно ток увидел,
Полный скирд, как берег рая.

Как на отнятый когда-то
Рай, чудесно возвращенный,
Ты глядел на ток богатый,
Измученный, потрясенный.

Полный трепета и света
Ток сиял, как мир счастливый.
Где ты, серп грузинский? Где ты,
Тихий шелест отчей нивы?

Скирдами уставлен тесно,
Это — ток, иль только снится
Мир неведомый, чудесный,
Где, как золото, пшеница?

И лучился воздух, полный
Мглой зерна, как нимб янтарный.
И творцу воздал безмолвно
Ты молитвой благодарной.

И, снопы благословляя,
Молотьбы внимая грому,
Ты упал без сил, рылая,
На пшеничную солому.

ПРИХОД НА ТОК

Стал ты на краю ладони²,
Землю ранами кровава.
Пал ты ниц, подъяв ладони,
Молотьбу и солнце слава.

Над тобой склонились люди,
Будто мать крыло простерла, —
О, отчаявшийся в чуде! —
Освежили влагой горло.

¹ Давид Гурамишвили, знаменитый грузинский поэт XVIII века, был в юности похищен лезгинами. Бежав из лезгинского плена, он попал в дом русского крестьянина. Об этом повествуют три первые главы из поэмы С. Чиковани, печатающиеся в нашем журнале. Прибыв в Россию, Гурамишвили вступил в русскую армию и участвовал в

Семилетней войне, был ранен, попал в плен к немцам и был заточен в Магдебургскую крепость, где пробыл два года. Задумав тюремного сторожа, он бежал, соединился с русской армией и вступил вместе с нею в Берлин.

² Ладонь — ток.

Как в тумане кто-то где-то
Крикнул: «Лазарь! Дай-ка хлеба!»
Задрожал ты, но за это
Осужден никем ты не был.

Сам, как Лазарь, ты из мрака
Смерти встал в другой отчизне.
Русский приютил беднягу
И насытил хлебом жизни.

Пожалел тебя, как кровный,
Отдых плоти дал усталой,
Обогрел тебя любовно,
И зимы в душе не стало.

Сердца своего богатство
Расточил тебе, развеял
Память рабства, семья братства
Навсегда в тебе посеял.

Был неутомим в заботе,
Окрылил твой дух надеждой.

Снял с тебя твои лохмотья,
Дал тебе свои одежды.

Стол накрыл, хоть небогатый,
Для тебя в своем жилище.
Содрогнулся вновь тогда ты
От благоуханья пищи.

Ел ты русский хлеб, до дрожи
Братской радостью взволнован,
Новым чувством тем, что позже
Проросло могучим словом.

Величав был тихий вечер,
Свет очажный так беззлобен,
И пвели сердца, как свечи,
Истине был хлеб подобен.

И звучали притчи старой
Заново слова простые,
И дивился Иванвара,
Ишав, заброшенный в Россню.

ПЕРВЫЙ ДРУГ

Так один крестьянин русский
В эти дни за мной ходил.
Мой отец, когда был жив он,
Так едва ль меня любил.
Русский спас меня от смерти,
Слезы надо мною лил.

Давид Гурамишвили

К очагу тебя привел он,
Светоч дал в пучине мрака.
Расточил, участия полон,
Сердце, словно ворох злака.

Ты, — прошедший муки рабства,
Оросил очаг слезами,
Где впервые клятва братства
Прозвучала между вами.

Как родной, единокровный
Брат от матери единой,
Горцу оказался ровней
Русский — сын степной равнины.

Был ты им, как самым близким,
Обогрел, одет, утешен.
Стал ты ветром карталинским,
Над Россней пролетевшим.

Оба вы ярмо носили,
Оба, тернием извими,

Меж собой вы положили
Клятву дружбы нерушимой.

Освященный потом честным,
Хлеб, что ел ты в доме брата.
Дал начало вещим песням.
Стал, как солнце без заката.

И поздней, под чуждым небом,
Память братского порога
Нес ты, как корзину с хлебом,
Другом данную в дорогу.

Эта память, все чудесней,
Век от века, год от года
Разгораясь, стала песней
В сердце нашего народа.

В чувствах разлилась, как море,
И, шумя живой листвою,
Расцвела над кровлей Гори
Персиковою весною.

* * *

И две зимы промчалось время сонно,
Два лета худосочных пронесло.
Зима ковала ледяные троны,
А лето серп отточенный несло!

И видел пленник из окна: ненастье,
И, жалости не зная, в жажде власти,
Вдруг налетела на лето зима,
Засыпав снегом ветви и дома.

И бедняков заботой сокрушила,
Очаг, крылом косматым потушила
И птиц лететь заставили на юг.
На каждый сук повесив снега вьюк.

Тепло земное в глубь земли угнала
И ледяную розу изваяла,
И, как разносчик леденцов, зима
Обвешала сосульками дома!

Когда же таянья свершилось чудо,
Примчался май и все зимы сосуды
Стеклянные безжалостно разбил,
И теплым ветром всходы защитил,

И радостное небо загремело,
И под рукою мастера умелой
Раскрыли почки влажные глаза,
И пролетела первая гроза.

И лето обновило лик природы,
И нивой стали молодые всходы,
И жимолость, и липы расцвели,
И новой жизни славу вознесли.

И плакал соловей, и, как бывало,
Вновь украинка юная вставала
Вдали и пела: «Весела весна». —
И из цветов плела венки она.

* * *

И рана пленника зарубцевалась,
Но ведь и плен, как жернов, давит грудь,
Тюремным стенам недоступна жалость,
И сторож ночью не дает уснуть.

Ты узник за решеткою железной.
О, как прожить года в проклятой тьме?

Как душат стены одиночки тесной...
Нет, не привыкнешь ты к своей тюрьме!

А сердце, словно льдами, оковалось,
Но ключ поет горячий подо льдом...
На Украине рукопись осталась,
Написанная кровью и огнем.

О, не сожгли б слезами окропленный,
Заветный свиток, житницу мою,
Мой труд, живым глаголом наделенный!
Судьбу я сохранить его молю.

Подобно житнице певца творенью,
В нем шелестят незримые поля,
И веют, и шумят, не зная глениа,
Любую боль дыханием пеля.

Я слышу, как шуршит родное поле,
Я слышу песню жницы молодой,
Но как мне петь? Я соловей в неволе...
Чу, ржет вдали, зовет меня гнедой!

Но как мне петь? Был — чет, а стал я —
нечет,
Война еще бушует, мир — в огне.
О, вырваться бы вновь на поле сечи,
Я не последним был бы на войне!

* * *

И ночь, и день влачат унынья бремя.
Двуцветна жизнь печальных близнецов.
И узник взором прорезает время:
Преходят дни, — вся жизнь, в конце
концов.

Минувших дней он вызывает тени:
Бой под Хотинем, шведскую войну.
Он, жизнь начавший у лезгин в плену,
Кончает дни у шруссаков в плену.

Как скорлупы яичные, пустые,
Стоят в шеренге пять десятков лет,
Седеют кудри, падают густые,
И, как свеча, скудеет белый свет

В тюрьме подкралась незаметно старость
Не проломать гранит стены глухой.
И хоть бывалая боевая ярость
Кипит в крови, нет сабли под рукою.

Но вот однажды утром, на молитве,
Он о победах русских узнает
И словно слышит скрежет сабель в битве,
И словно видит всадников полет.

И снова Одер густо отуманен
От дыма пушек, бьющих за холмом,
И рассекает брат-однополчанин
Германский щит, украшенный крестом.

И трон колеблется державы прусской,
И Фридрих сам на взмыленном коне
Бежит бесславно перел силой русской,
Скрываясь в полночной тишине.

И сердце громко говорит Давиду:
«Ты полон сил! Ты седине не верь,
Бери свой меч и отомсти обиду!»
Но не сорвать окованную дверь.

И нет меча. И мечется в бессилье
По камере. «Нет, лучше смерть в бою!
Рубитесь, братья! Разверните крылья!
Исчерпайте со славой жизнь свою!»

А русским уж Берлина ключ вручают
И ключ от королевского дворца.
И сердце вновь, как быть ему не чаёт,
И радость в нем и мукам нет конца.

* * *

И снова годы рассекает око:
Хотинский бой, турецкая война,
И девушка из Зубовки далекой...
Увяла, зная, устала ждать она.

Как хлеб и воду, радости и беды
Ты с украинцем, с русским разделял.
Ты им о муках Грузии поведал,
В бою пред смертью ты не отступал.

Как русский ты сражался в русском войске,
Конем ли землю прусскую топча,

В Финляндию ль врубаясь геройски,
Не посрамил грузинского меча.

И вспомнил русский ток ты над излучком
Степной реки, и золотистый лым,
И хлеб, что дан тебе был первым другом,
И ты поешь о первой встрече с ним.

«Отчизну отстоял я, поборая
Врагов. Я душу Картли сохранил,
Живой свечой пылая и сгорая,
Я путь далеким внукам озарил.

И если в будущем хорога брани,
Сын Картли, приведет тебя сюда,—
Знай, правнук мой, что здесь прошел
я ране,

И помяни добром меня тогда!»

Так думал он. И, раскрывая душу
Навстречу воле, в камеру к нему
Вошедшего он сторожа удущит
И вырвется на волю, в ночь, во тьму...

И, вестью растревоженный, в смятении
Гулит весь город раннею зарей:
Мол, убежал из загоченья пленник,
Грузин, сидевший в башне угловой.

А он уж Эльбу переплыл и мчится
Навстречу русским, на коне чужом,
И с беглецом никто не смел сразиться,
Как с вырвавшимся на свободу львом.

Так от зимы Давид освободился,—
И снова в сердце лето расцвело,—
И с русской армией соединился,
Живой волной влился в ее русло.

И к новым песням дух его проснулся...
Воспрянул сердцем, раны затворил,
Рукой ключей Берлина он коснулся
И радостные слезы уронил.

Перевел с грузинского
ВЛАДИМИР ДЕРЖАВИН.

Емельян Пугачев¹

Историческое повествование

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Державин у Бибикова. «На чернь обиженную уповаю я». Преступное место выжжено и проклято. Страшный сон.

1

Из Самары вернулся в Казань Державин. Бибиков, одетый в теплый, на гусином пуху, шлафрок, принимал его в своем просторном кабинете. В углу, за ширмой, походная кровать генерал-аншефа. Хозяин шел горячий пунш, ему нездоровилось.

— Садитесь, поручик. Не стесняйтесь, курите. Михайлыч, подай-ка господину офицеру трубку, — обратился он к старому, толстому и ленивому слуге из крепостных. — Пуншу хотите, поручик?

— Не откажусь, ваше высокопревосходительство. Зело промерз с дороги, — домой не заезжал, торопился к вам, о самарских делах доклад чинить.

— Ну, как дела?

— Прекрасны...

— Прекрасны?! — зябко передернув плечами и засунув руки в рукава, недоверчиво переспросил Бибиков, внимательно всматриваясь в обшарканное степными ветрами мужественное лицо Державина.

— Прекрасны, да не совсем...

— То-то же! Ну, излагай, голубчик

Державин жадно отхлебнул горячий пунш и начал:

— Как известно вашему высокопревосходительству, Самара была занята атаманом изувера Пугачева Арановым в самый праздник рождества христова. Вы изволили приказать майору Муфелью двинуться из Сызрани на освобождение Самары, а подполковнику Гриневу выступить из Симбирска и идти на соединение с Муфелем. В конце декабря Муфель подошел к Самаре. Мятельники открыли по его отряду

огонь из восьми пушек. Муфель атаковал врага в лоб и выгнал его из города штыками, захватив в плен двести человек и все орудия. Великий снег валил, страшная метель была. Многие трупы убитых были занесены сугробами, многие же разнесены по своим домам обывателями, а посему и число убитых мятежников определить точно не можно.

— Обывателями, говоришь? Значит, жители Самары сочувственно встретили злодейскую толпу Аранова?

— Увы, господин генерал-аншеф... Даже и до днесь самарцы оказывали нам, своим избавителям, более суровости, нежели ласки...

— Что им надо, что им, малоумным, надо?

— Даже священники, этот столп и утверждение православной веры, и те нарушили присягу всемилостивой государыне, исключив поминовение ее имени в ектениях, а поминая имя злодея самозванца. Таковых девять человек, сиречь все самарское духовенство. Поскольку мне было препоручено вами, генерал, блюсти порядок, я оказался в положении зело щекотливом: что делать с теми прегрешившими иереями?

— Арестовать! — насупясь и затягиваясь трубкой, воскликнул Бибиков.

— Винюсь, генерал, — смущенно молвил Державин и звякнул под столом шпорами. — Я не признал возможным сего делать онасенно ради, что, лишая церковь священнослужителей, не подложить бы в волнующийся народ, обольщенный разными коварствами, сильнейшего огня к зловерному разглашению, что мы-де наказуя попов, стесняем веру.

Бибиков согласно кивнул Державину, вынул из канцелярии капитан-поручика Савву Маврина и сказал ему:

— Вот что, голубчик, сей же день съездите, пожалуйста, к владыке Вениамину, просите его мовим именем не медля отправить в Самару девять добротимых священников взамен... э-э-э... арестованных там по случаю бунта. И распорядитесь, чтоб оные долгогривые бунтари были доставлены из Самары к мне, в Казань.

¹ Продолжение. См. журн. «Октябрь» за 1943 г. и № 1—2 за 1944 г.

С этого номера журнала историческое повествование «Емельян Пугачев» дается мною в сокращении. — В. Ш.

Лишь вышел Маврин, явился Зряхов, правитель канцелярии Бибикова. Всмотревшись в угмленное лицо главнокомандующего и положив пред ним список просителей, сказал:

— Мне сдается, ваше высокопревосходительство, что вы недомагаете. А посему, не прикажете ли закрыть список чающих аудиенции с вами? Записалось семьдесят девять человек...

— Боже мой! — и Бибиков схватился за голову. — Лезет всякий, кому надо и кому не надо. Да когда же я всех их смогу принять? Ведь этак и ночи нехватит. А мне еще надлежит на высочайшее имя пространное доношение сочинять, да князю Волконскому, да графу Чернышеву! Верите ли, вторую неделю не могу домой жене письма составить. Объяви, голубчик, что я смогу принять только сорок человек. Сошлись на мое нездоровье, извинись. Да отбери неотложно нуждающихся, достальных вежливейше выпроводи.

Когда Зряхов уходил, в кабинет чрез открытую дверь ворвался из приемной шумливый гул многих голосов.

— Вчерась бородастый купчина с медалью явился сказать, что он жертвует на нужды действующей против турок армии десять кип сукна и тысячу рублей. А сам, пьяный, повалился мне в ноги, а уж встать не мог. Ну, так я поблагодарил его и приказал отвести в часть до вытрезвления. Народ странный, но патриотизм есть! Однако зараза весьма сильна. И сие нахожу зело опасным, — говорил главнокомандующий Державину уставшим голосом. — Не Пугачев важен, важно всеобщее... э-э-э... негодование... Вот что, голубчик, страшно! А что ж Пугачев... Пугачев — чучело, которым воры — ящичие казаки — играют. Да, довели-таки мы чернь до пагубного состояния... Да не только чернь, а среди духовенства, среди горожан и того же купечества наблюдается шатание умов...

— И дозволено мне будет добавить: среди солдат.

— Верно, поручик! Сие доже не мало меня угнетает... Я сам, сам в дороге слышал! Я говорю о военных частях, двинутых сюда, на утешение мятежа. И вот тебе, — мне князь Золконский сказывал, якобы среди солдат, пришедших в Москву из Петербурга, всякая пущь стала распространяться. Солдаты Владимирского полка болтали, что под Оренбургом, мол, не Пугачев, а истинный государь, да, мол, сама государыня уж трусит — то туда, то сюда ездит из Питера, а, мол, братьев Орловых дух уж не помянется. За полком был учрежден строгий надзор, и в Нижнем несколько солдат довелось арестовать. Я это говорю тебе, голубчик, доверительно, как лейб-гвардии поручику Преображенского полка.

Державин в ответ поклонился и снова щелкнул под стулом шпорами.

Бибиков питал некоторую привязанность к этому толковому, исполнительному офицеру, а как человек образованный он ценил в нем и дарование стихотворца. С своей стороны, Державин, видя к себе отеческое отношение главнокомандующего, всеми силами старался не за страх, а за совесть служить ему.

— Разрешите рапортовать дальше? (Бибиков кивнул.) Четвертого генваря подполковник Гринев тоже поспел в Самару, а втупе с ним — и я. Расследовав положение дела, я распорядился наиболее опасных из самарских обывателей и в мятеже сугубо замешанных заковать в железа и отправить сюда, в Казань. А достальных... — Державин вдруг замаялся и опустил глаза.

— Ну, что достальных? — как бы подталкивая смутившегося офицера, мягко спросил Бибиков. — Как ты выполнил приказание мое?

— А достальных, ваше высокопревосходительство, довелось для страха всенародного наказать плетьюми.

— Вижу, молодой человек, тяжело тебе было этим заниматься по первости-то?

— Смею признаться, меня охватило в до время сугубое волнение...

— А мне, думаешь, легко все этб, легко? Думаешь, я сугубо не волнуясь? — вскинув породистую голову, выкрикнул Бибиков. — Ну, продолжай.

— Всех самарских жителей снова привела к присяге. И внушено им было: как самого Пугачева, так и воровскую шайку его почитать разбойниками и злодеями.

— Внушено? — с насмешливостью улыбнулся генерал-аншеф и вздохнул. — Ах, молод, молод вы еще зело, поручик... Ну-с... А где теперь Гринев со своим отрядом?

— Подполковник Гринев, невзирая на темноту ночи и большую метель, дошел до пригорода Алексеевска, что в тридцати верстах восточнее Самары, и там остановился, дабы дать людям и коням роздых. И только отряд расположился, как был атакован двухтысячной конной толпой злодейских атаманов Арапова и Чулошникова. Подполковник Гринев построил свой малочисленный отряд в каре; пугачевцы много раз налетали на каре, но всякий раз достождный отпор получали. Разбойники ушли вверх по реке Кинелю. И я беру на себя смелость доложить вашему высокопревосходительству, что наши солдатики во всех делах, и в Самаре и под Алексеевском, проявляли должную отвагу и стойкость, так же и казаки, не мало свергая злодеев с коней пиками.

— Ну, спасибо, голубчик Державин, — со вздохом облегчения сказал Бибиков, и морщины на его высоком лбу распрямылись. — Это

успокаивает меня, это придает мне веры. Да и со многих мест я получаю донесения, что войска, благодарение создателю, обходятся с сообщниками Пугачева, как с мятежниками, и посланные команды всюду имеют превосходство над злодейскими толпами. Стало быть, нынче смело можно перейти нам в наступление. Живо и проворно. И тогда, с помощью божией... Да вст, смотри сюда...

Он подвел Державина к карте, раскинутой на огромном, придвинутом к эбну столу, заваленном делами, бумагами, книгами. Тут же грудились немудрые дары, приносимые тайно от Бибикова, чрез его слугу, пухлого Михайлыча: банки с медом и вареньем, бомбоньерки с конфетами, диванные подушечки с вышитыми цветами и монсами, картузы с лучшим табаком, шелковый вязаный колпак с кисточкой, носки, чулки, фланелевые портянки, графины, побольше и поменьше, с домашними наливками и пр., и пр. Все это добро было вытасчено поклонниками Бибикова: помещиками с их супругами, купцами, заводскими служащими и просто обывателями. К каждому презенту — записочка: «От всей нашей любви к вам и наиглубочайшего уважения» (такие-то); или: «Прими ничтожный дар сей, великий полководец генерал-аншеф А. И. Бибиков» (такие-то), и пр., и пр.

На возглас барина из-за ширмы выплыл толстяк в опрятной ливрее и, запыхтев, остановился вблизи. Лицо старого слуги круглое, приятное, с большими ласковыми глазами.

— Зачем, Михайлыч, ты все это берешь? — проговорил, кивая на презенты, Бибиков.

— А как же не брать, батюшка Александр Ильич, раз дают? Это они от усердия, ведь они ничего не просят. Этак не долго и обидеть людей-то... Воже ли будет?.. Сказано: всяко даяние благо, и всяк дар совершен, батюшка Александр Ильич...

— Ну, нешто с тобой сговоришь! Вот это варенье, бомбоньерку и достальное все отвези ребятам в гимназию, вон тут и копченая рыбешка, и сыр, и голова сахару. Да, кажется, здесь есть детский приют, туда отвези... Ступай!.. Ну дак вот, Гаврило Романыч, гляди сюда! Тебе надлежит в курсе всех наших дел быть. Гляди скорей: вот Челябинск, вот Кунгур — оба эти города блокируются пугачевцами: Грязновым да Кузнецовым с Каззафаром. Вот Самарская линия, вот Казань, Сызрань, Оренбург, — и Бибиков, делая карандашом отметины на карте, стал излагать план наступательных действий. — Всюду, куда нужно, уже двинуто несколько отрядов с приказом не только ловить, унычтожать и пресекать, а главное, самое главное — внедрять и выправлять поколебленный порядок. Да не крутыми мерами, а попечением отческим, ибо висели-

цей неразумную чернь не устрашишь, ее лип отпугнешь, озлобишь, — укажешь верный путь в стан Пугачева. А для сего, помимо храбрости помимо искусства воевать, нужна житейская мудрость и сердце не заскорузлое. Слова нужны настоящие люди! А где их взять? А где их взять? — с горячностью и досадливой чашью дважды спросил Бибиков и внимательным взглядом уставился в лицо распрявившего плечи Державина, затем, бросив карандаш, воскликнул: — Ба! Ведь я ж забыл... Совет из памяти вылетело. Да Михельсона сюда на; Ивана Иваныча! Ты, Державин, когда-ли встречался с ним?

— Никак нет, не доводилось. Но слыха слыхал.

— Подполковник Михельсон! Храбрец умница... Завтра же пошлю бумагу. — Бибиков слегка прищурил карие глаза, посмотрев вбок, в пространство, мысленно представ себе весь внутренний облик Михельсона, одобрив свое решение, снова обратился к Державину. — А пока, слушай... пока я опираюсь на двух действующих со мной военачальников: на генерал-майора Мансурова и князя Голицына. Мансурову предписано мною принять общее начальство над четырьмя легкими пелевыми отрядами, продолжать наступление живо и проворно вверх по реке Самаре и войти в соприкосновение с отрядом генерал-майора Фреймана, расположенного в Бугульме где, помнишь, бросил его незадачливый Кану, так-с... Далее, очистив пространство между Самарой и Бугульмой, оба генерала должны двигаться к Оренбургу, составляя авангард главных сил князя Голицына, попечению кого я верил очистить земли в стороне Оренбурга. Я надеюсь Оренбург спасти, а сим уповаю главную всему злу преграду сломать. Одна рассеявшуюся сволочь сперва переловить землю очистить надобно, а то сей саранчи так много, что около постов генерала Фреймана проходу нет, на нас лезут! Теперь Башкирия. Там весьма и весьма тревожно, там пожар в уральских заводах, пожар!.. Надо огонь тушить, надо Казанскую губернию оберегать от воспламенения. Со стороны Башкирии я сформировал два отряда: капитана Кардашевского и полковника Юрия Бибикова, моего однофамильца. Они должны очистить от шатающихся мятежников северную часть Казанской губернии, освободить Мензелинск, Занск и захваченные злодеями заводы... Ну-с, мне пора приемную, меня так заждались, а ты прочт последние донесения этих офицеров, они для тебя будут интересны. Эй, Михайлыч! — Бибиков ушел за ширму надевать мундир ленту со звездой.

Державин остался один. Он уселся за письменный стол, развернул папку с донесениями

начал рассматривать бумаги. Михайлыч принес изрядный кусок жареного гуся с моченой брусникой, коробку конфет.

— Кушайте-ка, молодой человек. Вы, я вижу, голодные совсем, с дороги-то. А наш генерал-аншеф пробудет в приемной часа с два, как не боле.

— Ну и достается же Александру Ильичу,— сказал Державин, с проворством улысьвая гуся.

— У-у-у,— закрутил слуга круглой лысой головой.— Страсть, прямо страсть! И во сне то все разными делами бредит. Исхудал. Мундир-то хоть перешивай, с плеч валится. Не по годам лысеть стал да сиветь. Ну, дак ведь генерал-аншеф!.. Сама государыня препоручила ему этакое дело несусветное—богатых бар боронить 'от мужиков... А только...—старый слуга-толстяк приостановился, опустил круглую голову и стал в раздумьи рассматривать свои ногти, затем с некоторой опаской покосился на молодого офицера и продолжал тихим, таящимся голосом:—А только, говорю, нам с Александром Ильичем защищать нечего, мы с ним, можно сказать, из бедных бедные, кругом в долгу, и деревенька наша заложена-перезаложена. А ведь семья, детишки, опять же вышний дворянский фасон надо держать. А как же!.. Вот в чем суть... Да и государыня-то напоследок нам не шибко мирволила, в отдаленности нас от своей особы держала: Александр-то Ильич как-то правду в глаза ей молвил, вот она и... Другим прочим награждения, а нам с Александром Ильичем — фигу с маслом. Только и всего, что чипы шли... Да, да, исхудал кормилец наш... А барыня наказывала беречь барина-то. А как ты его, этакого прыткого, убережешь? Эвот бал у губернатора был, он и поплясать горазд. Только как увидал на балу этих самых, как их... Фидератов польских, надул губы, ушел. Не уважает Александр Ильич фидератов-то... Опять же в гимназии, там дворянские сыпки обучение пмеют, ну так и там вечер был с музыкой и вроде как ахтерское представление показывали: сами же выученики играли, и две губернаторских дочери в игре были, собой прехорошенькие...

— О-о-о, нздо как-нибудь и мне повеселиться,— улыбнулся Державин.

— А чего ж зевать-то, батюшка! Ваше дело молодое, жениховское-с. А невестов тут, в Казани, как цветов в саду: прямо георгины, альбо розы. Особливо купеческого званья барышни пригожестью славятся тут-ка: рослые этакие да румяные, и губки бантиком, фу-ты, ну-ты! Богачки-с!.. У-у-у, страсть какие богачки!

— Надо приударить мне...

— Надо, надо, ваше благородие!.. Вот Пу-

гача словом,— честным пирком да и за свадебку-то.

Утомленный в дороге, Державин с неохотой и леностью принялся за дела.

Из донесений было видно, что полковник Юрий Бибииков на пути к Заинску побил шестисотенную толпу атамана Аренкуда Асеева.

В Заинске, где засели тысяча четыреста мятежников, бой шел целый день. Мятежники бежали. Юрий Бибииков доносил: «Со всех сторон приходят крестьяне и татары с повинной. Вчерашний день тысячи четыре их было. Я выдаю им билеты и отпускаю по домам, ибо держать мне их негде».

От Заинска команда Бибиикова двинулась на выручку Мензелинска. Оказалось, что из Мензелинска мятежные толпы ушли в степь и, в числе двух тысяч человек, укрепились в селеении Пьяном Бору, но и там, после самого упорного сопротивления, были побиты и рассеяны.

Оставался Нагайбак, «куда жмутся мятежные толпы». На защиту Нагайбака пугачевец Зарубин-Чика отправил из своей Чесноковки большой отряд в четыре тысячи человек при тринадцати пушках. Отряд этот остановился в крепости Бакалах. Бибииков атаковал крепость и взял ее. Мятежники отряда Зарубина-Чики рассыпались. Полковник Бибииков получил приказ идти на соединение с Голицыным. Князь Голицын, сосредоточив свой отряд у реки Камы, разделил его на три части и пустил их по нужным направлениям. По его сведениям, под Ставрополем бродили толпы калмыков и русских под началом атамана Арапова и калмыцкого старшины Дербетова, в общей сложности более пяти тысяч человек. Глубокие снега задерживали движение Голицына. Он приказал, чтоб в каждой роте было по двадцати пяти лыжников. Его отряды быстро справились с калмыками, очистили окрестности Ставрополя, рассеяли толпу Арапова, вступил в связь с отрядом Юрия Бибиикова. А сам Голицын соединился в Бугульме с генералом Фрейманом. Здесь Голицыну доложили любопытные сведения. Оказалось, что в Бугуруслане пугачевской военной коллегией устроены склады продовольствия как для отдельных отрядов восставших, так и для главной армии, стоявшей под Оренбургом.

«Чорт... А ведь Пугачев-то не глуп. Ей-ей, не глуп!» — подумал Державин, просматривая донесение Голицына.

Голицын приказал отряду полковника Хорвата занять Бугуруслан, забрать пугачевские склады и затем войти в связь с генерал-майором Мансуровым, наступавшим по Самарской линии.

— Ну вот... Теперь положение военных дел мне ясно. А то как впотьмах бродил.— сам себе сказал Державин, отправляя в рот послед-

нию из коробочки конфетку (он большой слажен был), записал для памяти в свою походную тетрадь: «Из донесения лиц командующих явствует, что в начале февраля 1774 года очищено от мятежников все пространство от границ Башкирии до реки Волги и далее на юг, по рекам Ику и Бинели, до Самарской крепостной линии».

Под конец офицер Державин обратил внимание на черновик письма Бибикова к «комедиографу» Фонвизину от 29 января 1774 года. Бибиков между прочим писал: «Бить мы везде начали злодеев, да только сей саранчи умножилось до невероятного числа. Нобить их не отчаиваюсь, но успокоить почти всеобщего черни волнения предостоят трудности. Ведь не Пугачев важен, а важно всеобщее негодование. А Пугачев чучело, которым воры, яицкие казаки, играют».

Державин споткнулся взором на фразе: «важно всеобщее негодование» и глубоко над нею призадумался. «Против чего же всеобщее негодование черни имел в виду генерал-аншеф? — задал он вопрос и сам себе ответил: — Я чаю, против существующих порядков». Домой Державин возвращался в очень омраченном состоянии.

2

Связь между главнокомандующим и его войсковыми отрядами теперь была более или менее налажена. И ни сам Пугачев, ни его военная коллегия не могли, разумеется, располагать такими обширными и точными сведениями о движении правительственных войск, какими располагал Бибиков. Да к тому же пугачевцы и не в состоянии были разом охватить и осмыслить создавшуюся довольно сложную обстановку. Емельян Иванович кой-что знал о действии отрядов Мансурова и Голицына, но далеко был от подлинной тревоги.

— Теперь снега глубокие, кругом бескорынья, — говорил он, поддакивая своим атаманам, — не больно-то прытко они поскачут. Им еще далеко до нас. Генералишке Бару надавали тумачков, ну так и Голицыну-князю накостиляем в шапочку.

Однако вот уже четыре месяца осаждает он Оренбург и напрасно тратит силы на овладение Яицким городком. Четыре месяца — не малый срок.

Когда-то он гордо бросил: «Кто едет, тот и правит». Но тот, кто топчется на месте, никуда не едет. Это видит и этому радуется правящий Петербург, видит и понимает Бибиков. Чем дольше Пугачев проканителится под Оренбургом, тем легче будет Екатерине собрать против него силу. И Екатерина уже начинает обольщаться мыслью, что «самозванный супруг» ее близок к поражению. Впрочем, цариче

могло так казаться только издали, и вряд ли она ясно представляла себе трагическую глубину народного движения. А правящий Петербург, со всеми Чернышевскими—Орловыми, по части пугачевского восстания, пожалуй, по нимал еще меньше, чем Екатерина. И лишь генерал-аншеф Бибиков своим русским охватистым умом трезво оценивает всю серьезность грозного народного движения. Он близок к центру мятежа, ему с горы видней.

А что ж сам Пугачев? Как он смотрит на события, спешившие ему навстречу? И видит ли он что-либо в непроглядной кутерьме поднявшейся бури? Одно было несомненно: пока что весь свет заслонен для Пугачева двумя преградами: Оренбург и Яицкий городок. И где-то там «граф Чернышев» Уфу берет; атаман Грязнов — Челябинск; Кузнецов—Кунгур. Пускай берут, пускай множат его славу! Башкирцы, татары, киргизы поднялись, под его знамена крестьянство собирается, крепости ложатся в прах, уральские заводы преклоняются. Но прежде всего две горы надо повалить: Оренбург и Яицкий городок, того и атаманы ждут. А там судьба укажет...

Однако тревожные думы нет-нет да и пропихнут душу Пугачева: не прозевать бы больших дел, не остаться бы в круглых дурнях на голом месте возле Оренбурга.

...Звенит колокольчик под дугой, брекочат шаркунцы, тройка бежит внатуг то ровной степью, то с увала на увал. Невиданно глубокие, белейшие снега кругом. Пугачев закутан в лисью шубу, на Падурове меховой чекмень. Круглолицый, в полшубке, парень песнепает за царскими санями, тащит в поводу тройку заводных на смену лошадей. Впереди и сзади «батушки» движутся две полсотни яицких молдцов-казаков.

Тройка мчалась под гору. Ермилка, присвистывая, посматривал на сверкавшие подковы двух пристяжек: у левой пристяжки задняя подкова хлябала, надо подковать.

— Слышь, полковник, — обращается Пугачев к своему соседу. — А ну-ка ответь, пошто это люди женятся? И стоит ли человеку жениться? Только чего-нито смеховитое загни, а то скука! Ась?

— Со всем нашим усердием, — ответил Падуров. Ему тоже хотелось развеселить Пугачева, он пред отъездом виделся со Шванвичем и Горбатовым. — Ну, там разные разговоры были, клонули по маленькой, веселенькие побасёнки загибали. Насчет женитьбы там, ваше величество. Один юноша спросил старика: стоит ли ему, юноше, жениться? Старик, нимало не смутясь, отвечивал: «Делай, как знаешь. Впрочем, в том и другом разе пожалеешь».

— Мудрено, шибко мудроно,— помолчав, проговорил Пугачев, двигая бровями.— Стало, выходит: женишься—пожалеешь, не женишься—пожалеешь, что не женился. Ха-ха-ха!.. Вот так заганул загадку!

— Сие называется восточная мудрость, ваше величество.

— Западная премудрость куда сподручней: чик-чик, да и к сторонке... Ну, а как Фатьма-то твоя? Дружно ли живете-то? Обиды не творишь ли ей?

— Избави бог, государь,— проговорил Падуров.— Живем душа в душу. Она и по хозяйству хороша...

— Да и в бою не промах! — прервал его Пугачев.— Золотая баба! Скажи на милость— баба, а сколь сердито с неприятелем бьется! Вот гляжу-гляжу, да в сотники произведу ее... А что? Да, брат Падуров, вот я все пристреливаюсь глазом к людям-то разным, к татарам да башкирцам, да и думаю: эх, думаю, руки развязать бы им да пригреть людишек-то, что я за народ был бы!.. Якши народ, Падуров!

— Народ — не надо лучше, государь. Якши.

— Ну, а братишка-то ейный, как его...

— Ее брат, Али, при нас. На татарском наречии он многие деловые бумаги пишет, паренек не без пользы для нас. Намеднись огорчил он нас известием. Долетел до него оный слух чрез «длинное ухо», как говорят степняки-киргизы,— сиречь чрез народную молву...

— Да в чем слух-то? Говори, друг!

— Будто бы родной отец Фатьмы и Али, обозлясь на Фатьму, что мусульманский закон нарушила, ищет ее погибели. Он закоснелый изувер...

— А пускай-ка появится, мы ему башку-то с чалмой снимем... Ну, а поп Иван, тот как? Жаль, с собой не прихватили его.

— А он, государь, трезвый зарок дал, больше не пьет. А в пути соблазну опасается.

— Добро, добро, ежели пить-то бросил. Ведь он, ведаешь, тоже усердствует нам. Уж не сделать ли мне его митрополитом, ха-ха... Ась?

Снова едут молча и час, и два. День сиял, зень звенел солнцем и морозом. Подобно расплавленному серебру, сверкали белевшие снега. И если б не были густы длинные ресницы Пугачева и Падурова, резкий свет, казалось, ослепил бы их глаза. Небо было голубое и высокое, как раскинутый над землею купол круглого шатра, и купол тот усыпан лепестками незабудок. А вверху купола солнце; оно горит, но не согревает, от солнца — свет и холод.

Лошади притомились. Ермилка стал перепрягать тройку. Свежие заводные боны побе-

жали шибкой рысью. Пугачев хмуро посматривал по сторонам. В его темных глазах отражались не радость морозного сияющего дня, а приятное чувство быстрого, под звон бубенцов, движения, а какое-то душевное смятение, беспокорство.

— Иным часом дума у меня: не дурака ли ваялю, что под Оренбургом эстолько времени возюкаюсь?—обращается Пугачев к Падурову; густые пушистые его ресницы смерзлись, он с усилием продрал глаза.— Ведь, поди, помнишь, полковник, как дело зачинали, ты при-советовал мне перво всего на Москву идти?

— Да, надежа-государь... На Москву было бы складнее. Хотя Шигаев тогда и стыдил меня, что...

— То-то, что стыдил! Он п меня-то в та поры с толку сшиб. Все шумел: Оренбург — столица да столица, перво Оренбург взять надо. Да и не единожды разговор был. И Горшков Макся его руку тянет... Ах, анчутка их забери! Они на Оренбург меня толкают, а вот башкирцы с татарами ругать меня, государя своего, измыслили: пошто под Оренбургом сижу, а не пду Казань брать. Да ведь всех не переслушаешь!— Пугачев позвнул, принимая стойчий вротник, чтоб удобней было говорить, и продолжал: — Да и то сказать, ну как я мог по первости против атаманов в натыр итти? Да они бы меня в степу бросили, зараз отреклись бы от помазанника божия... Что бы тогда? В та поры, при начале-то, душа моя скорбела ой как! Да ничего не поделаешь. А теперь уж, когда увязли мы тута по самую поясницу, не бросать же дело... Ась?

— Меня, ваше величество, сомнение берет, что, пока сидим здесь, правительство силу против нас уготовляет.

— Ах ты, неразумнай!— круто повернувшись к Падурову, воскликнул Пугачев, и большие глаза его по-злему засмеялись.— А что есть правительство твое? Это Орловы-то, да Разумовские, да разные князья Голицыны, да Бибиковы генерал-аншефы? Они на Катьку да на дворянство уповают, а я на простой народ, на чернь обиженную... уповаю!

Падуров внимательно посмотрел на Пугачева.

— Я нахожу опасность в том, государь, что правительство распоряжается войсками. Правительство свои войска супротив нас подвигнуть может. Да и двигает...

— Экой ты... чудак-рыбак!— перебил его Пугачев, сбрасывая с усов замерзшие сосульки.— А еще книжной... Хоть ты и книжной, хоть и депутат с золотой медалью, а царского понятия в тебе нетути. А ну-ка, ответь, кто такие войска? А войска, я тебе допряма молвлю: это сущий народ и есть, мужики... Токмо с бабьими босичками. А ежели я им в манифе-

сте всю волю дам, да землю, да избавлю навеки от солдатства,— как думаешь, Падуров, не приклонятся ли они к государю своему, не пожалеют ли меня, обиженного боярством, для ради того, что я нароч свой замордованный возлюбил? Ась? Чаю, крепко чаю,— так и будет. Да, брат! Да, Падуров! Ни на кого иначе, как на милость божию, да на народ свой уповаю!

Он говорил горячо и с такою поспешностью, точно убеждал самого себя. Падуров молчал.

Пугачев, как когда-то, остановился в доме Михайлы Толкачева. Падуров велел вывесить на крыше большой серый, с белым крестом, флаг, у крыльца выставил почетный караул из десяти казаков. Вообще он принял на себя заботы об особе государя,— «батюшка» не был теперь беспризорным, как в первый свой приезд. Жители это поняли и подтянулись.

Явился с докладом извоизбранный атаман, Никита Каргин. Дежурный Давилин не сразу допустил его до «батюшки», выдержал в коридоре,— знай, мол, к кому пришел. Высокий, постного вида, богомольный и злой Каргин, войдя к Пугачеву, долго крестился на иконы, затем, по наущению Почिताлина, облобызал протянутую «батюшкой» руку, сказал:

— Все, твое величество, в благополучии у нас. Посты, бекеты кругом кремля денно-нощно караулят. Новые батареи мы с Перфильевым распорядились сделать, кое-где улицы поперек завалили бревнами да камнищами. Симонова полковника взаперти содержим,— сидит в кремле смирно, не рыпается...

— А подкоп?

— Подкоп роют справно. Работники кажинные сутки стараются, наскрозь в две перемены... Без выпуску, как изволил приказать ты, чтоб разглашенья не было...

— Казаки, что ли?

— Нетути, царь-государь, мужики работают, пришлые, хрестьянства, сто душ с гаком. Ведь их много со всей Расен приходит сюда: кто работы ищет, кто за рыбкой, а которые от помещиков бегут да в скиты на Иргиз-реку, к святым старцам, пробираются. По началу-то не соглашались под землю лезть, шумок подняли, бучу; довелось повесить семерых.

— Повесить?

— Этак, этак, батюшка,— и старик вскинул на Пугачева суровые глаза.— Перфильев разговор-то сделал, а я, атаман, утвердил.

— Ну, ладно, слушай, Каргин: я к вечеру прибуду на подкоп своей персоной.

Приходил Денис Пьянов со своими стариками, бортового меду, да соленых грибов, да осетровой икры принесли в дар царю. Были по делам атаманы Чумаков, Овчинников, Творогов, заглянул Перфильев.

На место работ Пугачев с Почिताлиным и Падуровым покатали в ковровых расписных санях. Тройкой правил Ермилка. Он парен хитрый, смысленный, он еще не забыл, как «батюшка» однажды повстречал на пути двух девушек, пересадил в свои сани Устю Кузнецову, повез в Берду и вел с ней веселый разговор. Ермилка по-озорному подмигнул себе, прищелкнул тройку вожжами и, сделав околицу, покатыл «батюшку» вдоль широкого посада, где стояла чисто выбеленная хата с голубыми ставнями и крашеным крыльцом. Но, к огорчению покоявшегося на «батюшку» Ермилки, тот в разговоре с Почिताлиным и глазом не повел на дом Красотки Усти. «Эх, была не была, а царю утрафить надо! Либо взбучку даст, либо скажет «благодарствуйте»,— подумал Ермилка, повернул тройку за угол, обошел квартал и снова поехал тем же местом по улочке Устиньи.

— Ты что взад-вперед меня крутишь?— незлобиво крикнул Пугачев.

— С намереньем, ваше величество!— распустив толстошеекое лицо в улыбку, чрез плеч ответил Ермилка и указал кнутом на голубые ставни.

Пугачев в момент узнал знакомый дом, он в первый свой приезд, совсем недавно, повстречал здесь Устю с ведрами воды.

— А ты, казак, я вижу — хват!— и Пугачев в шутку ткнул лихого ямщика кулаком в спину.— Хотел чуприну накрутить тебе, да уж...

— Благодарствую! — радостно всхрапнув воскликнул Ермилка и снова припустил тройку кругом квартала.— Эй вы, кама-а-рики!

Пугачев лихо взбил шапку, подбоченился и, выставив из саней в сторону домика чернобородое лицо, козырем промчался мимо окон Усти. И, то ли почудилось ему, то ли вправду, девушка приветливо помаячила ему из оконной. Нет, погрезилось, стёкла, как ледышки...

...И все зашевелилось: казаки соскочили с лошадей, ударил барабан, землекопы опустились на колени. К Пугачеву чинно подошел атаман Никита Каргин, подвел яренного мужичка, сказав:

— Вот этот хрестьянин—набольший указчик по работам, он гонит продольную жилу — спречь подкоп под колокольню ведет. Матвей Ситнов звать, беглый с заводов графа Шувалова. Старается зело борзо.

Высокий, но широкоплечий и приземистый, с ярко-рыжей бородой, указчик был похож в своем длинном нагольном полушубке и в лисьей шапке на боровой гриб-красноголовик. Аккуратно сняв двумя руками шапку, он низко поклонился Пугачеву и приятным тенорком сказал:

— Ведем, надежда-государь, подкоп из погреба. До колокольни сто печатных саженей, высотой в мой рост буля: и не прямо ведем, а как ты повелеть изволил, коленами то в ту, то в оную сторону. А пошто так? Да чтобы Симонов не перенял встречным лазом, вот, вот... Это самое...

— Ну, знаю. Отвечай, часто ли продушины вертите?

— А вертим часто большим коленчатым буровом, а то свечи гаснут.

Пугачев со свитой спустился вниз, прошел до конца галлерей, просчитал двести шестьдесят два шага, сказал: «Добро, не шибко далеко уж осталось». Снова выбрался наверх. Вынул из кармана медный компас, положил его на ладонь, пустил стрелку. Все уткнули носы и бороды в ладонь «батюшки», следили за бегающей стрелкой, прищелкивали языками. Пугачев имел самое отдаленное понятие, как пользоваться компасом, но многозначительно сказал:

— Наука!— тоже прищелкнул языком и положил ликовинку в карман.

— Ну, Ситный, благодарствую,— обратился он к указчику.—Струмент с наукой гласят, что галдарея твоя добропорядочная. Каргин! Вели дать всем трудникам по стакану винашка.

Они стояли, прикрытые от взоров с крепостного вала. Ермилка, сидя на облучке, рвал зубами, как волчонок, хвост вяленой рыбы; ресницы и выпущенный из-под шапки чуб его задушили инеем. Тройка на морозе курилась паром. Пугачев посмотрел из-за соломенной подстриженной крыши на купол колокольни с сияющим под солнцем большим крестом. Вдохнул, сел в сани и поехал.

Вечером собрались к нему почетные старики и, чтоб потешить государя, привели с собой зрелого слепца-сказителя со старинными гуслями.

Принесли вина. Стали выпивать. Слепцу поднесли большую чару. Воодушевившись, тот спел былинку о том, как была Казань взята:

Уж ты, батюшка грозный царь,
Грозный царь Иван Васильевич,
До больших бояр немилостив,
До простых людей отец родной.

Старики сразу обратили свои головы от слепца к Емельяну Пугачеву: «Вот он, живой грозный царь!» Но Пугачев слушал певца рассеянно, думал о чем-то своем. Слепец-гуслир нутром учуял это и повернул свой певучий и широкий, как степные просторы, голос, позернул звонкие трепещущие струны на веселый лад и ударил плясовую-разбойничью, разудалую и страшную:

По головушкам топорики полязгивают,
Белы косточки в могилушки попадают!
По боярам панихиду ворон каркает...
Ты гори, гори, восковая свеча!
Ты руби, руби, топорик, со плеча!

Старики задвигали ногами, заулыбались, подбоченились. Пугачев тоже улыбнулся и сказал:

— Вот добрая песня,— но сразу же и погас.

Гуслир-сказитель исполнил далее «старину» о Стеньке Разине. Когда он кончил, Денис Пьянов обратился к Пугачеву:

— А вестно ли тебе, батюшка, что Степан-то Тимофеевич единожды в нашем Яицком городке зимовал?

— Да неужто?— удивился Пугачев.

— Этак, этак, надежда-государь,— откликнулся слепец-гуслир.— Меня в та поры еще на свете не было, а родитель-то мой гулял с ним, с Разиным-то, по Каспию гулял и в персидской земли хаживал. Ну так он, батька-то, много кой-чего балакал о Степане.

— Занятно!— воскликнул Пугачев и налил всем хмельнику.— А ну, тряхни памятью-то, стар человек, Расскажи, слышь.

Густоволосый слепец с белой бородой, которая росла почти от самых глаз, уставился незрячими очами в сторону царя, нахмурил взрытый глубокими морщинами лоб с залпавшими висками и неторопливо начал:

— Когда-то некогда поплыл Разин со своими удалцами морем из града Астрахани к устью преславной реки Яика. А там уже наши казаки дозорили-пождали его в гости, беднота. И потянулись они вкупе всем гамузой вверх по Яику. Тут напыхом настигла Степанушку царская погоня, стрельцы да солдатишки. И содеялся велик бой. На бою том голов да старшин стрелецких со стрельцами многих горазд побили, того боле перемалп, а солдат порубили в капусту... А городок-то наш Яицкий взял Степан Тимофеевич хитростью¹. Человек с сорок вольницы его, да и сам он на придачу, оделся кой нищелюдами с костылями да торбами, кон богомольцами и приступили к запертым воротам крепостным. И зачали стучать в те ворота, и зачали просить слезно: «Ой, пустите нас бога для, в церковь христову помолиться; мы люди мирные, мы люди православные». Ну, их и впустили чрез лазеечку... Они же, не будь дураки, всем караульным скрутили руки назад, а ворота-то распахнули да и впустили в крепость всю свою вольницу. Вот ладно... Как вошла вольница в крепость, Разин собрал жителей да стрельцов с солдатами в кучу и зыкнул им: «Вам всем воля! Я вас не силюю: хотите — за мной в казаки идите,

¹ Из материалов о «Возмущении Стеньки Разина».— В. Ш.

хотите — оставайтесь». А опосля сего, замест богомолества, казни начались. Головы, да сотники стрелецкие, да казаки из богатеньких, кои супротивичали Разину, все смерть прияли, до тысячи душ... Вот какие дела-то, да... Он, отец наш, Разин-то Степан, пожаловал к нам седой осенью, перезимовал у нас, а по весне, как Яик всценился, ушел на стругах на Лопнзовье, к морю. И родитель мой с ним уплыл.

Что же Разин зимой тут делал? — спросил Пугачев.

— Царствовал, — ответил гусляр-сказитель. — Он сам царствовал, Степан-от, а вольница его рыбу ловила, зверя промышляла, али-бо с татарвой да с калмыками торг вела.

— Вот диво! — сказал Пугачев. — Много любопытного слыхивал и о Степане Тимофеече, ну, а о том, что в вашем городке зимовал он, впервой слышу.

— Да, надежа-государь, — подхватил старик Пьянов, ласково поглядывая на Пугачева. — Разин-то, — превечный покой его рубленой головушке! — за голытьбу стоял, за чернь, бар с воеводами изничтожал, за правду жизнь положил свою. А вот сто лет минуло, как год единый, — ты, не простой человек, а сам царь, явился об это место, на нашем Яике. И мыслечки твои, я гляжу, точь-в-точь как у Степана!.. И уповательно нам, казакам, батюшка-свет, что коль скоро укрепится царство твое, чтобы городок Яицкий пресветлой столицей нашей был бы.

— Так и будет, — с важностью ответил Пугачев. — Ваш городок сделаем Москвою и царствовать будем в нем, а Оренбург Петербургом нареку.

Слепец всхлипнул и начал ошаривать руками воздух, стараясь нащупать руку сидевшего против него царя.

— Дай рученьку, дай рученьку твою, — прерывистым голосом твердил он. — Очи моя давно погасли, а руки зрят. Перстами своими оглядеть тебя хочу. Царь-государь, дозволи!..

И оба они, слепец и царь, поднялись. Пугачев подошел к нему вплотную, сказал:

— Ну вот, дедушка, зри меня: я весь перед тобой.

— Ой, родименький, ой, дитятко мое! — дрожа и хныча от волнения, бормотал слепец, обняв Пугачева и прижав седой головой к могучему плечу его. Растроганный Пугачев бережно посадил его на место. Похныкивая, подобно малому ребенку, дед отвел в сторону серебряную бороду свою, вытаскивая из-за рубахи висевший на груди вместе с натальным крестом маленький кожаный кисетик, порылся в нем пальцами и вынул на свет золотой перстень с изумрудом.

— Вот колечко, — сказал он трясущимся

голосом. — Знаешь ли, царь-государь, кто оно колечко носил на своей рученьке? А носил его сам Степан Тимофееч Разин. А сделано колечко мастерами уральскими, и камень в нем драгоценный, уральский же.

Все с изумлением уставились взорами на заветное колцо. Глаза Пугачева засверкали, щеки подобрались, губы выткнулись в трубку.

— И жаловал он кольцом этим родителя моего, а своего есаула, — продолжал приподнятым голосом старец. — Родитель мой в тайности держал кольцо, никто о нем не ведал, ни единая душа. А как собрался на тот свет, передал сокровище мне, единородному сыну своему. Я все на похоронки берег кольцо-то, а ведь мне невздалоге сто годов минет. Люди добрые, чаю, и так похоронят меня и поминать станут... И, помоляся господу, — зазвенел старец высоким голосом, — положил я в сердце своем поклониться разинским кольцом твоей царской милости. Прими, отец наш, без всякия корысти дарю тебе! Ни денег, ни чего другого прочего от тебя мне не треба. А как услышишь, что пришло скончание живота моего, поминай в мыслях своих раба божия старца Емельяна... Емельяном меня звать... яицкий казак я родом, Дярябин... На, носи во здравие!

— Ой, дедушка... Сударик мой! — громко воскликнул до-нельзя взволнованный Емельян Иваныч и, широко улыбаясь, надел на свой палец перстень с зеленоватым самоцветом. — Я сугубое береженье буду к тебе иметь, дедушка, чтоб в сытости да тепле жил ты... А я с этим кольцом заветным ни в жизнь не расстанусь, до гробовой доски буду носить его... — Произнося эти слова, он так и откак повертывал пред пламенем свечи левую руку с перстнем. Самоцветы играли на свету зеленоватыми лучами.

На радостях выпили еще по чарке, помолчали. У стариков покраснели носы, а глаза стали слезиться. Денис Пьянов отер слюнявый рот и брякнул:

— Эх, батюшка, царь-государь! Вот у тебя и перстенок завелся знатный. И не худо бы тебе для уряду обручальное колечко на рученьку надеть да благословясь и ожениться... Ей-богу, правда! Для ради уряду это нужно, батюшка, для благочиния. Ведь всякому государю супруга полагается. На сем русская земля стоит... Вдругорядь тебя просим, прими венец честной!

Пугачев сразу вспыхнул, даже уши покраснели, а по желобку на спине, между крутых ребер, холодок прополз.

Тут встал другой старик и, поклонившись государю, молвил:

— А жениться тебе, батюшка, предлежит на казачке нашей, незамужней девушке. У нас приглядистые девчата есть, и с понятием.

— Вся статья на казачке жениться тебе, ва-

не величество,— встал и поклонился третий старик с лицом костистым.

А Денис Пьянов подтвердил:

— Ежели ожениться на казачке, все наше войско тебе прилежно будет. Да и нам, казакам, шибко лестно: сам государь нашим родом не брезгует.

Среди наступившего безмолвия раздался задушевный, но укорчивый голос слепца-сказителя:

— Ах, старики... Да ведь батюшка-т женавый. Ведь супруга-то его Катерина Алексеевна...

— Какая она мне супруга!— крикнул Пугачев и прыткнул в пол.— Она с престола меня свергла, а сама в бруд пошла... Она враг мне лютой!.. Немецкая образина...

— Этак, этак, батюшка!— в голос закричали старики.— А ты, слеподыр, не сбивай батюшку с толков!.. А на Катерину, на немку, нечего глядеть, раз она батюшку эвон как побидела, смерти предать хотела. Да и войско-то яичкое не мало претерпевает чрез нее. Она не в счет! Ой, надежа-государь, женись, отец наш, на казачке, как и допрежь русские цари, и тедушка твой Петр Великий, и прадедушка на твоих же русских боярышнях женились...

— А что! Возьму да и женюсь!— подбоченившись и подморгнув старикам, молвил Пугачев.— Назло Катъке, а вам, казачеству, на радость. Да ведь которая глянется-то, пожалуй, и не пойдет за меня, фордыбачить умыслит, скажет — стар,— потряс себя за бороду и заулыбался Пугачев.

Подвыпившие старики в ответ засмеялись, замахали на Емельяна Иваныча руками:

— Брось шутки-то шутить, твое величество! Господи! Только глазом поведи. Да госпоп!.. Да чего тут... Ваше величество, дозвошь сватов засылать!

— К кому же сватов-то, отцы? — шутливым голосом спросил Пугачев.

— Господи... Да уж мы знаем... Утрафим!.. Доволен будешь!— еще более оживились старики, самовольно выпивая по стакашку.

Пугачев подергал ус, нахмурился, сказал:

— Царская женитьба, старики,— дело зело важное... И мне, государю, предлежит совет об этом держать со своими атаманами. Уж такой закон издревле положен. Из предвека так. Ну, прощевайте, деды! Когда черед придет, покличу, зык подам.

— Прощевай, отец наш, царь государь! Так засылать сватов-то?

Пугачев махнул рукой и, чтоб отвязаться от дедов, бросил:

— Ну ин ладно... Засылайте!

...Ночь Пугачев спал плохо. Раздумывая над словами стариков, он мимовольно кружил мыслями около одной из многих девушек, которых

он перевидал на своем веку: была то Устинья Кузнецова. Строгая и почти суровая, она реяла легкой тенью возле Пугачева. То, помахивая платочком, пускалась в пляс в паре с государем и обнимала его, и жарко целовала в губы, то подходила вплотную к изголовью Емельяна Ивановича, нежной рукой гладила густые его волосы, воркующим голосом ворожила над ним: «Спи, мой желанный, спи...»

И, размлевший Пугачев, улыбаясь своим грезам, уснул.

Проснулся он рано утром. Слышно было, как на кухне, за перегородкой, хозяйка Аксинья Толкачева гремит ухватами — должно быть, слобные пироги, либо блипы к завтраку печет: уж очень духовитый, такой приятный запах! Умывшись и налюбовавшись вчерашним подарком — изумрудным перстнем, Пугачев достал из своей укладки круглое фасонистое зеркальце, посмотрелся, с неудовольствием моргнул самому себе: «Ишь ты, шибко сиветь зачал», и с горькой шутливостью подумал: «А я сажай подмажу, черным не уважу». Он когда-то слышал от стариков-казаков заповедь: «Постризало да не взыдет на браду твою», — однако соблазн помолодеть взял свое, и Емельян Иванович послал Еремилку за цырюльником.

Брадобрей Мотъка с облезлой головой и большим кадыком на длинной шее упал пред государем на колени и боялся глаза на него подыять.

— Встань, раб мой,— сказал Пугачев важно.— Вот тут у меня, чуешь, с бочков возле ушей сединка завелась... Обработай-ка, меня по-императорски. Бороды не трожь, а с боков сними. Потрафь, брат!

Руки брадобрея дрожали. Прикусив кончик языка, он слегка побрил, слегка постриг высокую особу, припудрил оголенные щеки — Пугачев значительно помолодел. Он взглянул в зеркальце и удивился: да он ли это? Ха! Да ведь он теперь точь-в-точь, каким был семь лет тому назад на Каме, с дружкой своим Ванькой Семибратовым. «Вот бы взглянул он на меня, на императора! Как-то он там, чувырло неумытое?»

3

В это время там, в Зимовейской станице, казак Иван Семибратов вместе с большой толпой станичников стоял возле хаты своего бывшего друга Пугачева, Ядреный, большебородый, с лицом простым, широким и несколько припудряватым, он глазел на то, как сжигали пугачевское жилище.

Впереди толпы стояли: майор Рукин, войсковой старшина Туроверов, станичный атаман Прохорев, местное духовенство в облачении, почетная сотня донцов с ружьями. А возле са-

мого тома орудовал с горящим факелом в руке палач.

Что же это за странное «позорище», чьим велением пущено пламя, превратившее в дым и пепел жилище Емельяна Ивановича Пугачева?

В январе императрица повелела Бибикову и атаману войска Донского:

«Что же касается дома Пугачева, то Донское войско имеет, при командированном из крепости св. Дмитрия¹ штаб-офицере, собрав священный той станицы чин, старейшин и прочих жителей, при всех них сечь и на том месте чрез палача или профоса пепел рассеять; потом то место огородить надолбами, оставя на вечные времена без поселения, яко оскверненное жительствою на нем все казни и лютые истязания делами своими превосшедшего злодея, которого гнусное имя останется мерзостью на веки, а особливо для донского общества, яко оскорбленного ношением тем злодеем казацкого на себе имени».

И вот он, по приказу царицы, совершает обряд огневого поругания жилища того, чье имя должно было остаться «мерзостью на веки».

Станичный атаман, длинноусый и толстый, громоздясь на высоком, в четыре ступени, рундуке, кончал читать грамоту императрицы:

— «...яко оскорбленного ношением тем злодеем казацкого на себе имени. Хотя огнюль одним таким богомерзким чудовищем ни слава войска Донского, ни усердие к нам и отечеству помрачиться не могут».

Изба Пугачева стояла в унылой покорности, как ожидающий казни человек, и задумчиво слушала слова царицы. Два окошка ее распахнуты, будто живые немигающие глаза, готовые заплакать. Серая с прозеленью из трухлявой соломы крыша притулилась вправо, словно отчаянно сдвинутая на ухо шапка. Эх, пропадать так пропадать!

А ведь старая изба многое могла бы рассказать родным станичникам Вель ее выстроил и умер в ней первый ее хозяин — Иван Пугач. В ней родился Омелька, и вот Омельки нет, и нет его Софьюшки с ребятами. И продали ее, избу, отставному казаку Евсееву за 24 рубля 50 копеек, и новый хозяин перевез ее к себе в Есауловскую станицу. А после приехал офицер, отобрал избу от Евсеева, велел сломать я снова перевезти «прямо на то место, где его, злодея, Зимовейской станицы обитание имелось».

Протрубил медный рожок, забили барабаны. Казаки дали дружный залп из ружей. Палач, в красном фартуке сверх полшубка, враскачку подошел к пугачевской избе, набитой соломой, и чрез открытое оконце ткнул в соломому горящий факел. Изба-преступница разом

вспыхнула и, стремительно выбросив из окошек мстительные пламенные руки, как бы пыталась схватить палача, превратить его в головешку. Но палач уже бежал к другой пугачевской «хижине с огороженою». И там запылала огни. Затем загулял топор по садовым деревьям: трупы вишен и яблонь свалены были в кучу и тажке преданы огню.

Иван Семибратов с грустью смотрел на пожараще, глубоко вздыхал, вспоминая своего боевого друга, и на его глазах наворачивались слезы. В мыслях его, одна за другой, возникали картины их совместного странствия из Зимовейской станицы, от этих сгоревших стен на многоводную Каму. Да, да, попито, погуляно! Золотое было время. А ныне вот Семибратов остепенился, милозорую жену себе завел, двух ребят имеет. Ну и жаль, ну до чего жаль, что нет с ним Емельяна Пугачева. «Эх, дурак, дурак, сколько всем хлопот наделал, в царя полез... Хоть бы разок взглянуть на твою рожуто, Омелька, каков ты есть». — в простоте душевной раздумывал степенный Семибратов.

Всё сгорело, всё навеки исчезло с лица земли, пепел развеян, преступное место посыпано солью и проклято. Огонь, дым и пепел. Так возникла, пришла и закончилась одна из диких сказок русской истории.

Впоследствии, якобы по просьбе жителей, станица Зимовейская перенесена была в другое место и названа Потемкинской.

Екатерина, соблюдая интересы государства, издавна нянчилась с донским казачеством: одаривала чинами, землями и деньгами начальствующих, давала широкие льготы и рядовым казакам. Такая политика Екатерины принесла во время пугачевского движения свои плоды: еще в октябре 1773 года, когда раздалась первая раскаты бури, войско Донское постановило выбрать тысячу человек из лучших (зажиточных) казаков, с тем чтобы они были готовы к походу против мятежников. А в конце ноября полковник Илья Денисов просил разрешения военной коллегии идти с отрядом в пятьсот казаков прямо под Оренбург для поражения самозванца. В рапорте он писал, что «Емельян Пугачев его старый приятель», он в Семилетнюю войну был у Денисова ординарцем, и Денисов за некий дисциплинарный проступок наказал его «нещадно плетью».

Екатерина приказала Денисову следовать с казаками в Самару и поступить там под начальство генерал-майора Мансурова. Она понимала, что среди казачества есть и вольница бунтарская, готовая в подходящую минуту переметнуться к дерзновенному собрату своему Емельяну Пугачеву. Поэтому повелено было станичным атаманам зорко следить за всеми проезжающими и проходящими через донские

¹ Впоследствии — Ростов-на-Дону.

станции, «особливо из бродят и носящих в себе образ нищего», дабы не допустить в войско пугачевских разгласителей.

На подавление мятежа Екатерина потревожила и малороссийское казачество. Направляя тысячу казаков к Бибикову в Казань, царица писала ему: «В сих исстари ненависть примечена к ящцкм, а употребить их будете, как знаете».

Волжское казачество тоже получило соответствующие распоряжения. Таким образом, против Емельяна Пугачева с частично переданными ему ящцкими, илецкими и оренбургскими казаками были подняты отряды почти всего казачества империи.

Между прочим и голова Пугачева значительно возросла в цене. Граф Захар Чернышев сообщал Бибикову: «Я пишу г. Рейнслорпу и находящемуся в Ящцком городке полковнику Симонову, дабы они učinили публикацию, что за приведение означенного самозванца живого дано будет в награждение десять тысяч рублей».

— Вот прислушайтесь, атаманы-молодцы,— обратился Пугачев к собравшимся своим ближним.— Старики кладут мне совет на казачке жениться, дабы вашей и всероссийской царицей она была.

Озадаченные столь неожиданными словами «батюшки», атаманы нахмурились: то друг с другом перебросятся взглядом, то на Пугачева взор переведут. Емельян Иванович прикашлянул в горсть, губы его оттопырились.

— Ась, ась? — нетерпеливо повторил он, прищуривая на старшин и атаманов правый глаз.

Иван Творогов, ревновавший «батюшку» к своей красавице-жене, подумал: «Разлюбозное дело было бы женить царя». Понуждаемый упорным взглядом Пугачева, атаман Каргин, человек суровый и благочестивый, первый поднялся, первый с поклоном слово молвил:

— Батюшка, твое величество, дело со свадьбой персоны вашей zelo многотрудно, надо бы об этом всем войском усовестоваться, а не тни да лян. Мое слово стариковское — подождать бы тебе, не торопиться...

Пугачев еще больше нахмурился. Поднялись Перфильев с Овчинниковым, сказали:

— Ты, батюшка, еще не основал порядочное царство. Как бы худа какого не стряслось... Кто его ведает...

— Я ведаю! — сухо промолвил Пугачев и поднял голову, глаза его горели и чуть красное пошли.— В том есть моя государственная польза. И годить мне с этим делом недосуг!

— Когда ты, батюшка, в том видишь пользу, так женись,— с готовностью сказал Иван Творогов, муж красоты Стеши.— Верно ли, атаманы?

— Да уж... чего тут... Аминь тому делу... — проворчали старшины с атаманами.

— У нас на примете девица пригожая и постоянная,— стараясь смягчить свой суровый голос, сказал атаман Каргин.— Да к тому же, отец наш, она и ведома тебе...

Пугачев незаметно ухмыльнулся, поскреб ногтем чисто выбритое на щеке место.

Встревоженная бывшим в ночи сном, Устинья сидела под окошком в унынии. А сон вот какой: будто бы идет она вдоль речки с венком на голове, а из омутины вдруг рука выставилась, на пальцах драгоценные перстеньки сияют, поманила ее рука и снова опустила в омут.

— Сон дрянной, — со вздохом сказала Устинья сноха ее, Анна Григорьева. Сам-друг сидели они дома.— Как бы тебя сатана какой в омутину не упер.

— От сатаны отрешусь,— сверкнула Устя глазами и вдруг услышала бубенцы. Прильнула маленькими губами к окнцу, быстро продышала глазок в замороженном стекле, взглянула.— Глянь, Анна, кто подбехал-то... Глянь скорей!

И не успела от оконца отойти, как вошли в избу Толкачев со своей женой Аксииньей и Ваня Почиталин.

— Стой, Устинья Петровна! — крикнул Михайло Толкачев.— Куда ты убегаешь?

— Садитесь, гостеньки, — сказала Анна Григорьева, сноха.

Все, не раздеваясь, сели. Устинья, опустив голову, стояла возле крестолика, исполняя смотрела на пришедших. Толстозадая Толкачиха, оправляя шаль, приторно и лукаво улыбалась. Толкачев, оставив ногу в бараньем вверх шерстью сапоге, с важностью проговорил:

— Мы, Устинья Петровна, голубка наша, на посмотренье к тебе пришли. А ты, глупенькая, было в бег ударила.

— Я не лошадь, а вы не цыганы. Чего меня смотреть?— дерзко ответила казачка.

— Мы со счастьем к тебе пришли, Устинья Петровна,— начал застенчивый Почиталин и замаялся.

— Уж такое ли счастье привалило к тебе, свет ты нам Устиньюшка, такое ли счастье, что и не вымолвишь... Честь-то какая, господи помилуй,— сладким голосом взговорила Толкачиха.

У девушки обмерло сердце, и темная омутина возникла перед ее глазами. Царица небесная, спаси...

— Мы, Устинья Петровна, пришли высватать тебя за гвардионца... — сказал, подбочениваясь, Михайло Толкачев.— Оный гвардионца кланяться тебе наказывал.

— Никакого вашего гвардионца мне не на-

добно, — опять сверкнув глазами, проговорила Устинья. — Да к тому же и мой батенька хоронить своего племянника уехал.

Сноха Анна подала гостям кринку молока и хлеба. Гости отказались, им недосуг, их с нетерпением поджидает гвардионец, прощайте-ка покамест, извините за беспокойство, до скорого свиданьица.

И как низко поклонясь одной Устинье, ушли они, Анна разраженно залопотала:

— Лёгко ли дело, тоже выискались... сваты, ха, подумаешь! Их много, этих гвардионцев-то, батюшка с собой навез... Эвот усач какой-то при нем, Перешиби-Нос, и прозвище-то какое, тьфу! Да нешто мало их прибудилось к государю-то?

Вскоре приехали братья Устиньи — младший живший при доме — Андреян, и старший Егор — казак пугачевской армии. А за ними следом, уж во второй раз, все те же сваты в сопровождении целой сотни казаков, прискакавших под началом полковника Падурова. Есаулы, сотники, хорунжие, вместе с Падуровым, тоже вошли в дом. Устинья заперлась в соседней горнице. Падуров толкнул в ней дверь.

— Устинья Петровна, пожалуйте к нам! Здесь собрались ваши доброжелатели.

Андреян с Егором и Анна удивленно пучили глаза. Устинья чрез дверь ответила:

— Как я выйду на люди, когда я не срядно одета?..

— Ничего, ничего! — раздувая усы и улыбаясь, прокричал Падуров. — Выходите запросто, в чем есть, без всякого наряда.

— Повремените малость, выйду, — ответила Устинья, в ней стало разгораться и любопытство и охвативший ее дух упрямства: а чего они, псовы дети, дьяволы безрогие, к ней вяжутся? Ох, и намахает же она этого непрошеного гвардионца...

Наскоро переделалась, но не в лучший наряд, а в скромное платьице, в то самое, в котором ездил с симоновской Дашей к «батюшке», расчесала медным гребнем пробор на голове, взбила природные возле ушей кудерышки, белыми зубами немножко пожевала губы, чтоб оказывали ярче, и принялась со всем усердием креститься на деревянную икону.

Вдруг слышит: в горенке зашумел народ и что-то прокричал, скамьи с табуретками задвигались, шаги загромыхали, и чей-то знакомый голос звонко взговорил:

— А ну-ка, подивлюсь, какая такая отецкая дочь есть? Покажите-ка мне ее, сироту...

У девушки сжалось сердце, она стиснула зубы, рванула дверь и, все осыпанная своей юной красотой, вышла на люди.

Глянула вперед, и голова ее закружилась: закинув ногу на ногу сидел перед ней чернородый, помолодевший царь в цветном полу-

кафтани и с саблей при бедре. А позади него стоял, накручивая длинные усы и улыбаясь, бравый усач с чубом (Тимофей Падуров). Должно быть, он гвардионец-то и есть... Должно быть сам «батюшка» главным сватом хочет быть. Но ведь она молодешенька, ей еще в девках охота погулять...

Устинья, тяжело передохнув, поклонилась Пугачеву, обвела помутившимся взором собравшийся народ и встала возле печки, дивясь самой себе, почему на нее вдруг накатила такая робость.

— Посмотреть хочу, какова ты есть, отецкая дочка! — повторил Пугачев, прищуривая то правый, то левый глаз и подбоченившись. — Выросла, подобрела... А ведь не столь давно была у меня, за Пустобаева просила. Ну, так сродственник твой, старик Пустобаев, здесь, с моим императорским конвоем в Яицкий городок прибыл. Довольна ли? Ась? Чего молчишь? Ну, подойди, подойди ко мне...

К Устинье подскочила сноха Анна, взяла ее за руку и подвела к Пугачеву. Устинья в упор, не мигая, смотрела на него. Глаза ее горели, горели щеки.

— Хороша... Хороша-а-а, — сказал Пугачев, накручивая ус, и встал. — Ну, так быть тебе всероссийской императрицей!

Устинья тихо ахнула, всплеснула ладонями. Ее сильные руки упали, как у мертвой.

Пугачев подал ей шелковый мешочек с тридцатью серебряными рублями и проговорил:

— Помнишь, швырял я в тебя деньгами, да попасть не мог, ну а теперь вот попаду: бери! — Тут он обнял ее, поцеловал и молвил: — Поздравляю тебя царицей.

Заскрипела дверь, в пазу вошел вернувшийся Петр Кузнецов. Ошеломленный, он ничего не мог понять. Плачущая дочь бросилась ему на шею:

— Батюшка... родимый!

Два казака живо подхватили Кузнецова и опустили на колени перед Пугачевым.

— Встань, — приказал Пугачев. — Ты ли хозяин сего дома и твоя ли это дочь?

Шестидесятилетний видный Петр Кузнецов, подымаясь, сказал:

— Так, надежда, точно! Я хозяин здесь, а эта девушка — родная дочеря моя, Устинья.

— Ну, спасибо, что поил да кормил ее. Я государь, намерен возвести ее в супруги свои.

У Кузнецова брызнули слезы, он снова повалился Пугачеву в ноги и подавленным голосом, пополам с отчаяньем и скорбью, закричал:

— Батюшка! Тупа, глупа она да молодехонька, ей только семнадцать минуло...

— Брось, старик, пол слезами омывай...

— Не понуждай ее, голубку, неволей замуж выходить хоша бы и за тебя, наш свет. Да я меня-то пожалей: уйдет, некому будет меня,

старика, обшить, обмыть. Старухи-то нет у меня, померши.

Пугачев напнулся и вместе с Падуровым поднял его, плачущего.

— Слушай, старый! Вдругорядь говорю тебе: я, государь, намерен на дочери твоей жениться. И чтоб к вечеру готово было к сговору, а завтра быть свадьбе! Время военное, чтоб скоропалатно было!

Затем он подошел к рыдающей Устинье, приглубил ее, сказал:

— Брось слезы лить, Устиньюшка. Готовься к венцу,—и в сопровождении свиты вышел.

Падурову с Почиталиным да и многим из ближних по горло было дела с этой свадьбой.

Для дворца был выбран самый лучший в городке двухэтажный деревянный дом Бородина.

За убранством дворца досматривал Падуров. Он же выдумывал и всю церемонию предстоящего торжества.

Овчинников сказал ему:

— Слышь, Тимофей Иванович! В недавнем походе бывши, я голстобрюхого повара-француза с собой привез... Барина-то Овсянкина, по приговору мужиков, приказал повесить, а евоного повара взял, подумал, что авось сгодится нам.

— Вот и расчудесное дело. Андрей Афанасьич!.. Пушай-ка он французским обедом удивит нас.

Повар Людвиг орудовал в кухне Михайлы Толкачева, готовясь к завтрашнему балу. Он такое аля-трю-трю загнет, что гости пальчики оближут. Уж ежели в разбойничье гнездо попал да от виселицы спасся—быен мерси,—он в смятку расшибется, а ихнему поганому царю потрафить должен непременно.

Казак Иван Харчев, снабжавший пугачевскую армию мясом, ездил с яицким старшиной Перфильевым и Ермилкой по всем лавкам, закупал у торговых все, что надо: икру, рыбу, мед, вина, сладости.

В избе старика Пустобаева дежурил казак: приказано было одному казаку следить, чтоб Пустобаев за эти дни к вину не касался, ибо он будет на свадьбе читать в церкви «Апостола»; он всегда, бывало, занимался этим делом на знатных свадьбах: могучней его голоса нет по всему Яику, нет ни в Оренбурге, ни в Казани. Вот-то уже рявкнет! Безграмотный, он знал «Апостола», как многие церковные стихиры, наизусть. Скучая без вина, старик становился лицом к иконам и начинал пробовать голос. Старуха бросала прясть куделю, затыкала уши, кричала:

— Окстись!.. Чего ты гайкаешь, как в ступу... Верблюд нескладной!

Весь городок, узнав о свадьбе, пришел в смятение. Экое счастье привалило этим Кузнецо-

вым, казачкой голытьбе, уж-ка носы как задерут! А Устька-то, девчонка-то, царницей будет, ха-ха-ха! Ну, да и то сказать: казакам лестно. Только надолго ли все это, ох,—надолго ли?

Около сумерек к Кузнецовым подъехала в сопровождении судьи военной коллегии Даниила Скобочкина подвода с сундуком. Скобочкин открыл внесенный в светлицу сундук и стал швырять из него на девичью постель всякое добро, приговаривая:

— Государь наш Петр Федорыч кланяется тебе, Устинья Петровна, спми дарами. Вот новая шуба лисья длинная — раз! Вот душегрей меховой, малодержанный — два! Вот два сарафана, вот наряд боярышни парчевый с кокошником и поднизью. Да пять рубашек самолуцких голевых, да сороки, да кичи бабьи, да всякого добра. Ты, свет Устинья Петровна, принарядись и суженого поджидай. Таков наказ.

Посланец уехал. Главная сваха Толкачиха с подругами невесты начали Устю обряжать. Когда принялись надевать рубаху на дрожащую всем телом девушку с распущенными волосами, немало дивились нежной красоте ее. Разбитная, курносая баба Толкачиха, устевшая хлебнуть вина, было начала отпущать всякие словесные нескромности по поводу женской наготы, однако девушки ее тотчас осадили.

Вот они звонкими голосами запели заунывно:

Ой, зори, вы, зори;

Да весенние...

Устинья горько заплакала, глядя на нее, принялись плакать и подруги, заплетавшие ее густую, льяного цвета, косу.

Возле печки, за переборкой, гремя ухватами и плошками, возилась со стряпней сноха Анна и родная сестра невесты, двенадцатилетняя Марья Петровна, по мужу Шелудякова. Пекли, жарили всякую всячину, варили из сушеных урюка, ягод и ржаной муки любимую казаками кулагу.

То и дело в кухню отворялась дверь, приходили казаки-соседи, вынимали из кошелей разную снедь, с покмоном совали ее на скамьи:

— Натя-ка-те, возьмите-ка-те,—прислушивались к жалобным песням за перегородкой, мотали бородами, уходили. А в подворье, где старик Кузнецов чистил с сыном Андреем лошадь, брали старика за плечи, целовали, поздравляли с царской милостью, заискивающе говорили:

— Кой да чего принесли твоим бабам-то... Икорки, да баранинки... да рыбки! Ты вель наш, Петр Михайлыч; ты ведь рядом с нами в непослушной стороне супротив генерала вое-

вал. А ныне вот милосердный господь через Устинью Петровну вознес тебя. Ну так, при случае, и ты не забудь нас, бедных, батюшка.

А как пал на землю вчечер, в домишке Кузнецова собрались на «подвеселок» званые гости. Приехал с ближними и сам Емельян Иваныч. Он сел в красном углу под образами.

Сноха с Толкачихой вывели под локотки невесту. Высокая, статная, в голубом сарафане с позументами, с большими серебряными пуговицами на груди, в девичьем богатом кокошнике, Устинья сразу приковала к себе все взоры.

— Эх, и одета-то как! — восхищенно выкрикнул старик Денис Пьянов.

— Первый сорт, с брызгу! — подхватил Ваня Почиталин и зарделся.

Заплаканные темные глаза Устиньи глядели как-то отрешенно, в пустоту. Может быть, вместо знакомых и родных, вместо своего суженого она снова увидела бездонный омут с торчавшей из него призывающей рукой. «Сюда, ко мне», — откуда-то снизу, со дна живой реки раздается мертвый голос. И голая рука тянется, тянется из черного омота к ее девичьему сердцу, и все пальцы той руки в драгоценных кольцах. Ветер, шум, тьма, гнутся к земле ветлы.

Вдруг властно:

— Устинья! — и ласково-ласково, как тихие гусли: — Или, кундюбочка моя, сюды.

Видение сразу лопнуло, как дождевой пузырь: сгнули омут, нету ветра, и вместо тьмы — мигучие огоньки горят.

И побледневшая Устинья, сомкнув обескровленные губы, села рядом с государем.

— Я буду береженне к тебе держать, Устинья, — еще ласковой шепнул он ей на ухо. Она повела бровями и слегка кивнула головой.

И подвеселок, или сговор, начался. Гуляли, ели, пили до самой утренней зари.

А на другой день состоялась свадьба. Торжественное венчание, при большом стечении народа, совершил в Петропавловской церкви протоиерей отец Кузьма.

Обильный свадебный стол «французской кухни» всем пришелся по душе: никто о таком вкусном пиршестве и не мечтал. Много было выпито всякого хмельного. Гости остались весьма довольны угощением. Спасибо, от всего казацкого сердца спасибо царю-батюшке на такой милостивой ласке! Казачество в жизнь не забудет этого: сам царь породнился с их казацким родом-племенем...

Вот Емельян Иваныч и поженился... Но боевая жизнь вскоре положила его семейному счастью свой предел.

Душевное смятение «государыни». Пугачевская военная коллегия. Ропот. Генеральный бой у стен Татищевой.

1

Подкоп подходил к концу. Русский мужик Ситнов, руководивший работами, известил Пугачева, что траншея уперлась в фундамент колокольни. Пугачев велел приостановить работу, выкопать в конце траншеи глубокую яму и заложить в нее бочонки с порохом. Затем все рабочие были распущены «по домам», с приказом не выходить на улицу, пока не последует взрыва.

В самую полночь, 19 февраля, возле крепостной стены вскуковала кукушка. Все тот же казачок Ваня Неулыбин, и на этот раз ввущенный в крепость, сообщил полковнику Симонову, что казаки собираются взорвать колокольню и атаковать кремль. Какие-то темные, неуловимые силы, вопреки всем предосторожностям, принятым Пугачевым, продолжали действовать.

Симонов приказал тотчас же убрать хранившийся у него под колокольней порох и приступить к устройству контрминной траншеи.

А пугачевцы меж тем приготовились к штурму. Небо было затянуто низкими тучами. Яицкий городок лежал во тьме. Не прошло и двух часов, как раздался глухой звук, словно отдаленный раскат грома, земля встряхнулась, белая колокольня вздрогнула и тихо-тихо начала валиться в ретраншемент. И удивительное дело: два спавших на верхнем ярусе колокольни старых стража, не пробуждаясь, вместе с соломенными постельниками были как бы «положены» на землю¹. Очнувшись, они вскочили и, ничего не соображая, дико закричали свое привычное:

— Посма-а-тривай!

— Погля-а-а-дывай!

Камни рухнувшей колокольни не были расшвыряны, они свалились в груды, придавив собою около полсотни защитников крепости. И не успела еще осесть пыль от взрыва, как с крепостных батарей загрохотали пушечные выстрелы и затрещали залпы ружей.

— Измена! — пронеслось по рядам казаков-пугачевцев. — Откуда мог Симонов пронохать?

Они надеялись, как только рухнет колокольня, неожиданно ворваться в спящую крепость, — и все кончено. А теперь, когда всюю гремят пушки, казаки на штурм не решались.

— На штурм! На слом, атаманы-молодцы! — слышались в темноте разрозненные вы-

¹ «Отечественные записки», 1824 г. № 52, стр. 171.— В. Ш.

крики, но в них мало было воинственной отваги.

Засев за своими завалами и укрываясь по задворкам от сильного крепостного огня, казаки громко и визгливо кричали: «На штурм, на слом! Ги-ги! Ги!..»—но сами ни с места.

От кучки к кучке перебегали озлившиеся и растерянные атаманы: хромой Овчинников, Витошнов, с подбитым глазом Каргин. Все вместе поощрительно зывали:

— Не трусь, казаки-молодцы! Вперед, вперед! Дай духу, дай духу!..

Один лишь Пугачев мог бы увлечь за собою казаков и бросить их в бой. Но он видел, что дело проиграно, он не хотел зря жертвовать самым верным своим оплотом. Он понимал, что не в Симонове, не в Яицкой крепости наипервейшая задача, ведь он и походом-то двинулся сюда, уступая настоянию атаманов.

Штурм был отменен. Все труды с двумя подкопами пропали даром. Симонов, видя бездействие со стороны мятежников, сбавил силу огня, а перед утром крепость замолчала. Однако крики, гиканье, устрашающий визг звучали со стороны штурмующих до самого рассвета.

Начались сборы Пугачева в Берду. Тихий городок зашевелился: приводились в порядок сани, лафеты и колеса пушек грузились возы рыбой, овсом, мукой, казаки чистили скребницами копытных своих лошадей.

Пугачев говорил войсковому атаману Каргину:

— Послужи же, старик, мне верою и правдою. Я, государь, отправляюсь под Оренбург к своей великой армии, а государыню здесь оставляю. Ежели бог приведет, я вскорости возвратюсь сюда. А вы все, от мала до велика, почитайте государыню все равно так, как и меня чтите, своего государя. И во всяк час будьте ей послушны.

— Сполню, батюшка, ваше величество,—сказал Каргин и, достав из кармана, подал Пугачеву две вырезанных печати с гербом и прописью «Петр Третий».— Вот батюшка, государственные печати вам сготовлены...

— А-а-а, ништо, ништо... Знатно сработаны,—залюбовался Пугачев печатями.— Кто делал?

— А делали их три серебряных дел мастера, дворцовые крестьяне, а четвертый — проживающий в нашем городке армянин.

Прошел в сборах день, наступила последняя ночь. Разлучаясь с мужем, Устинья плакала. Она лежала на кровати, прикрывшись до подбородка шелковым одеялом и разбросав по одеялу красивые обнаженные руки в браслетах и кольцах. Он взад-вперед ходил, босые ноги его неслышно ступали по пышному коври. На-

рядный кафтан был небрежно кинут на стул, лента со звездой валялась на столе, покрытом суконной вышитой скатертью. Стол был уставлен блюдами со сладостями, орехами, подсолнечными семечками и кувшинами с вишневою наливкой, квасом, медовой брагой. Скорлупки, шелуха, гребень с очесами волос, ятарные бусы. Две свечи горят. От изразцовой печки пышет зноем. Пугачев в беспоясой рубахе, ворот расстегнут, широкие и длинные шаровары, как юбка.

Устинья глядит в пространство, слезы капывают на подушку, но лицо какое-то охменелое, застывшее. Она говорит негромко, взволнованным голосом, то вызывающе и властно, то робко и приниженно, и тогда Пугачеву становится жаль ее.

— Вот пир был, свадьба... Царицей я стала,—говорит она.— А на сердце-то спокойно ли у меня, на душе-то, ну-ка, спроси? Две недели скоро, а я все еще, как полоумная... Лихо мне.

Молчание. Пугачев на ходу почесывает поясницу, поддегивает шаровары, ерошит волосы, кричит. Он не в состоянии выкинуть во внутренний мир Устиньи. Он груб, прямолинеен, и в женской душе ему трудно разобраться. «Блажит баба»,—думает он.

— Скажи, уж подлинно ли ты государь есть? — раздается ее голос. Пугачев хмурит брови, молчит, сердито гремит кружкой, большими глотками пьет квас.— Сумнительство меня берет, почто ты женился на мне, на простой казачке? Обманул меня, молодость мою заел. Ведь ты человек старый, держанный, а мне восемнадцатый пошел.

— Ну, ладно, ладно!.. Чего больно-то в старики меня произвела? Вот бороду да усы сниму, все рыло выскоблю — много моложе буду. Я в Питенбурхе-то, понимаешь, завсегда бритый ходил.

— Бороду снимешь, казакам не будешь люб,—возразила Устинья.

— Да уж это так... Пуше всего этого опасаясь. А для ради тебя — готов, прилюбилась ты мне шибко,—сказал Пугачев и подошел к Устинье, поцеловал ее в губы и протянул ей медовый пряник.— Не плачь, кундюбочка моя, утри слезки.

— Где это слыхано, где это видано, чтоб у паря две жены было? — помедля, сказала Устинья и устремила пристальный взор в смущенное, с круто вздернутыми бровями лицо своего мужа.— Ведь ты имеешь государыню. Как бросить ее? И смех, и грех, вот те Христос!

— Какая она мне жена! — вскричал Пугачев.— Она потаскуха! Она с Гришкой Орловым... В полюбовницы записалась к нему. Меня с царства сверзила. Она злодейка мне!

— Не кричи столь громко-то,— тихо сказала Устинья.— А то внизу подумают, что бьешь меня... Так неужли тебе супругу-то свою прежнюю не жаль, Екатерину Алексеевну-то?

— А она меня жалела? Мне только Павлушу жаль, детище мое возлюбленное. Он, наследник-цесаревич, законный сын мой... А ей, коварнице, как только милостивый господь допустит в Питер, тем же часом голову срублю!

— Тебе допрежь голову-то срубят,— сказала Устинья, и на ее щеках, покрытых еще не просохшими ручейками слез, заиграли улыбочные ямочки.— Разве этакого допустят в Питер?

— Вот Оренбург возьму, до Питера дойду беспрепятственно...

— До Питера, поди, еще много городов!

— Мне бы только Оренбург взять, а остальные города сами ко мне преклонятся... Народ мой замаялся под изменницей жить. Меня, государя своюю законного, ждут не дождутся все...

Снова наступило безмолвие. В живом воображении Пугачева, распаленном острым разговором, вставало то победоносное шествие его по всей России, то плаха с топором... Сбивчивые, противоречивые мысли бросали его в шемящий сердце сумрак. Мне ли, темному, быть царем? Да Россией-то, пожалуй, и самому Рейнсдорпу не управить. Дворяне, генералы, царедворцы, они — один хитрей другого... Да нешто всех переказишь? А ведь от них вся канитель... И, пожалуй, верно говорит Устинья: «Тебя, мол, первого и казнят». Пугачев гонит хмурые мысли прочь, но они, как осенние тучи в небе, все чаще и чаще застилают от него свет солнца. Он утомился. «Поспать бы да напоследок Устинью приглубить»,— думает он и надбавляет шаг. Но горенка не особенно просторна, он движется, как в клетке воле. Вдруг наступил ногой на острую скорлупку и резко крикнул: «Ой!»

— Ой! — встряхнувшись, выкрикнула и задремавшая было Устинья.— Чтой-то ты, миленький, взгайкал как, аж испужал!..

— Скорлупка, стреляй ей в пятку, до боли прояла,— Пугачев нагнулся и швырнул скорлупку от грецкого ореха в печь.

— Тебе вот больно, а мне того больней,— со вздохом протянула Устинья.— Вот ты наутро в поход собрался... Поиграл со мной, как кот с мышью, да и бросил... И осталась я, молодешенька, ни в тех, ни в сех... Ну, кто я, кто?

— Государыня.

Устинья сдвинула брови и, приподнявшись на кровати, крикнула:

— А ты-то кто?! Богом святым заклинаю тебя—царь ты али... злодей тутайки?

Пугачев запыхтел, жилы на висках надулись. «Эта похуже, пожалуй, Лидии Харловой! Допросчица какая...» Он дунул на одну, на другую свечу — в горенке темно стало; а когда глаз присмотрелся,— выплыли из тьмы два голубых окошка: чрез разукрашенные морозом стекла глядела полуночная луна.

Пугачев разделся, подошел к Устинье и проговорил:

— А ну, чуток подвинься... Государь всей России спать идет.

Утром в соседней горенке был приготовлен стол с яствами и питьем. При государыне оставлены две фрейлины из молодых казачек Прасковья Чапурина и Марья Череватая. А главной смотрительницей дома — ловкая баба Толгачиха. Из мужчин в придворный штат входили: отец Устиньи — Петр Кузнецов, Михайло Толгачев и Денис Пьянов. Пугачев распорядился отвести в нижнем этаже «дворца» горенку для старца-сказителя Емельяна Деябина и взять его на казенный кошт.

Уезжая, он приказал иметь у дворца постоянный казачий караул, а войсковому атаману Никите Каргину сказал:

— Ты, старик, держи Симонова в блокаде. А учрежденные мною посты сохранять без всякой отмены. Нарушишь приказ — строгий взыск буду чинить.

По отъезде Пугачева сила блокады не ослабевала: крепость была обложена со всех сторон.

Перфильев попытался вступить с комендантом крепости в переговоры. Полковник Симонов выслал для переговоров капитана Крылова.

Беседа происходила в просторной, опрятной избе Перфильева. Он жил с женой хорошо. угощал гостя по-богатому. Откупорил бутылку рому, привезенного им из Питера. Икра, жареная рыба, яичница со свиным салом, вареные в масле пышки, соленый арбуз. Сначала выпили по стакану водки, а затем уже перешли на ром. Крепкий, склонный к полноте Крылов за время блокады отощал. Вчера пошел во щи последний кусок солонины. А с сего дня ему пришлось перейти на хлеб, капусту брюкву.

— Так-то-ся, ваше благородие, Андрей Прохорыч,— завел реч Перфильев.— Вот я и толкую... Не нора ли вам образумиться да принести Петру Федорычу покорность?

— Брось-ка ты, Перфильев, злодействовать-то... Ведь разбойнику вы служите. Бога ты забыл, да и присягу на верность ее императорскому величеству. Ведь ты от всемилостивой монархини сюда, на Яик, с высочайшим повелением из Санкт-Петербурга послан.

— Я знаю, с чем я послан от государыни,— с горячностью возразил Перфильев,— и меня увещевать и учить тебе, Андрей Прохо-

рыч, не приходится. Мне в Питере граф Орлов сказал, что батюшка — не царь, а простой казак Пугачев. Так это вражки!.. Уж поверь мне! Как приехал к нему да увидал — ну, подлинный государь!.. Так как же мог я неслыханное злодейство предпринять супротив законного царя, коему в оное время присягу творили и ты, и я, и Симонов полковник?

— Плетешь ты, Перфильев, петли крутишь, как заяц в степи. Рому, что ли, переложил?..

— Не я, господин капитан, а вы петляете по-лиси! — Изрытое оспинами лицо Перфильева раскраснелось, угрюмые глаза сердито сверкали исподлобья. — Лучше придите в память да сдуйте батюшку, вы всех вас простит да и пожалует. Ты вот здесь капитан, а у него, может стать, генералом будешь. Уж ты не сумлевайся, пожалуй, — он, право, подлинный.

Крылов захохотал, похлопал Перфильева по плечу,

— Брось-ка ты, брось, Афанасий Петрович, пожалей свою голову! Ведь тебе сколько? Сорок пять годков есть? Вот то-то же... Ведь ты и в Питере сколь времени жида, да и вообще казачество считает тебя человеком умным... А ты вот с линии сшибся... И тебе ли меня в обман вводить? Меня, строевого офицера?

— Вот ты не веришь, господин капитан, — вспыхнул Перфильев, и рыжеватые щетинистые усы его встопорчились. — А при государе в Берде один коллежский ассессор из Симбирска служит, так ему уж видней, чем нам с тобой, кому он служит — царю али самозванцу.

— Да плюнь ты этому ассессору в мазовку! — вспыхнул Крылов. — Ум-то у тебя в башке есть, или собаки съели? Умер государь Петр Федорыч! Откуда же ему в живых быть? А самозванцы часто бывали на Руси. И темные люди шли за ними, а потом и ахали... Нет, Перфильев, нам с вами не по дорожке...

— Ну, как знаешь, Андрей Прохорыч. Не согласны ворота отворить, мы вас голодом выморим.

— Вам выморить нас не удастся, а что вы все в петле качаться будете — это да...

— Ну, что ж, либо рыбку съесть, либо раком сесть!

2

В военной коллегии дел было выше головы. Ежедневно занимались с утра до вечера, иногда и в вечернюю пору, при огне. Максим Григорьевич Шигаев, заменявший в Берде Пугачева, начальник строгий, требовательный.

Возле избы, где военная коллегия, кучка ходоков-крестьян. Так было почти всякий день. По белым степным просторам шагали ходоки в Берду. Они сбивались в кучки, чтоб можно было обороняться от волков или от лихого человека. Мужики шли в поисках правды, несли

царю свои обиды, ожидая от него защиты и скорой милости.

Губернская администрация, давным-давно выведенная из привычного строя, бездействовала, и единственная в крае власть была — власть Емельяна Пугачева.

Крестьяне окружили подошедшего Шигаева, имевшего на рукавах нашивки из золоченого позумента, иные поклонились ему в пояс, иные опустились на колени и загалдели сразу в десятку голосов.

— Стойте, мирянушки, — сказал Шигаев, — давай по порядку. Дед, говори, с чем пришел?

— Ох, батюшка ты мой, да вот атаман-то ваш, Илья Карпов. — И старик с печальными, уставшими от жизни глазами, кашляя и помахивая длинной бородой, обскажал Шигаеву свои жалобы на атамана. — Меня от семи деревень, отец, послали до царя управу искать: Машкино, да Кочкин, да Красные Петушки, да...

Шигаев опросил всех крестьян, писчик записал: кто, откуда, по какому делу.

— Ступайте ночевать вон в тот домик, — сказал ходокам Шигаев, — да скажите, чтоб попитали вас. Мол, полковник Шигаев приказал.

— Да у нас свое, отец... Свой харч-то прихвачен, свой кус.

— Добро! А утрься об это место приходите; будет резолюция.

Он вошел в избу, посмотрел бумаги, зашумел на писчиков:

— Плохо стараетесь, ребята... Дело наше не куется, не плющится.

— Да ведь с государем которые уехали, господин полковник. А нам не ослепнуть стать, — оправдывались писчики из молодых казаков.

Их пятеро. Они с усердием скрипели перьями. Был еще не поздний час, но маленькие окошки давали скудный свет. Горели два фонаря и две свечи. Груда написанных бумаг: к Нур-Али-хану в Башкирию, во многие горные заводы, к «графу Чернышеву» под Уфу, на форпосты и подначальные пугачевцам крепости. В особой стопке лежали полковые листы, с поименными списками коренных казаков и новых людей, поверстанных в казаки. Тут же — ведомости на вылачу жаловастья всем служилым людям. Вот описи принятого и покоренных крепостях имущества и прочее, и прочее...

Вообще, военная коллегия, в местностях, занятых Пугачевым, вершила массу сложнейших дел. Так, во многих городах и селениях вновь посаженным атаманам вменялось в строгую обязанность блюсти государственные доходы от торговли солью и «о сих доходах рапортовать в коллегия с присылом собранных де-

нег». Нужно было следить и за правильной работой «постоянно действующей почты». «Кто какого жителя услышит неприятельские находы, то чтобы неотложно во всякой скорости рапортовали в военную коллегию через почту». Надо было заботиться и о том, чтобы крестьяне, поверстанные в казаки пугачевской армии, а также и жители, нуждающиеся в «личных документах», были снабжены от военной коллегии паспортами. Военная коллегия указывала: «Из здешней армии без письменных билетов много в дома свои разошлись, того ради тебе, села Крылова, старосте Дмитрию Захарову, если кто из здешней армии без билетов, оных людей не пропускать». Были также «указы» к защите православной церкви. Так, указ военной коллегии на имя есаула Чугвинцова, находившегося в Красноуфимске, повелевает:

«...Да и того вам накрепко незаконной причины наобли: всякого звания люди — башкирцы, киргизы или мешеряки до российских церквей божиих обиды или грабежи как сам их начальник, так и его команды люди, то ест и неверческие, разорения никакого бы не оказывали. Да и от веры христианского закона, кто будучи в нем, от того не отпадать. А кто противу сего учинит нарушение христианской веры, таковы примут от его величества за нарушения закону тягчайшие истязания».

При решении сложнейших и важных вопросов, в особенности когда дело касалось смертной казни, присутствовал сам Пугачев. И нередко, если вопрос не задевал интересов движения в целом, Емельян Иванович, вопреки постановлению коллегии, оказывал виновным милость. Но к нарушителям воинской дисциплины, явным изменникам или злым «супротивникам» он неизменно был суров.

Шигаев послушал падьцы, снял нагар с двух свечей, присел к столу и принялся за дело. Горшков читал ему и подписывал указы, именныя повеления, ярлыки на беспрепятственный проезд, а коллежский ассессор Струков, запойный лысый старичок с трясущимися руками, приплывал к бумагам печать с государственным гербом. Говорят, он занимал в Сызрани доходное место, но пропил казенные деньги и, будучи человеком одиноком, недавно бежал от суда в Берду вместе с несколькими крестьянами и дворовыми людьми, приклонившимися «батюшке». Впрочем, точных сведений о том, кто этот человек, военная коллегия не имела и проверку его личности, к сожалению, не чинила. Коллежскому ассессору почему-то поверили на слово. Шигаев дорожил им, как чиновником и знатцем казенных порядков.

Начали готовить указы и повеления по ходатайству крестьян-просителей. Между прочим, атаману Илье Карпову, на которого только

что жаловался холок-старик, писалось в Бузулук под диктовку полковника Шигаева:

«Повелевается тебе имеющийся в окрестных селениях барский всякого рода хлеб приказывать, кому способно, немолоченный молотить, а намолоченный молоть и, смоловщи, присылать в нашу армию. А за провоз тем подвочникам выданы деньги из казны будут. Позволяется тебе выбирать по себе поверенных и посылать в те жительства с данными от тебя наставлениями для высылки сюда, в армию, всякого молотого хлеба, также и овса. Да и то наобли, чтобы посланные от тебя поверенные не отваживались чинить крестьянам никаких обид, в противном случае подвергнут себя его величества гневу».

Вдруг послышался звяк бубенцов, отворилась дверь, и, в сопровождении Падурова, вошел в канцелярию Пугачев, в лисьей шубе. Поздоровался, задвигал строгими бровями и сказал:

— Поздравляю вас с новой государыней, Устиной Петровной. (Все удивленно вытаращили глаза и почему-то испугались. У Шигаева замерло сердце.) Оповестить о сем по армии! Также же наказать понам, чтобы в церквах Устинью Петровну упоминали. Ты кто? — обратился он к старику-ассессору, насквозь прошушывая его взором.

— Чиновник, ваше величество... Струков... Коллежский ассессор, — забормотал тот, пуская пьяную слезу и кланяясь. — Будучи затравлен гонителями... верой и правдой... по неисповедимым путям...

— Служи... Только, вижу — пройца ты... На деле не пей, ваше благородие, иначе гнев увидишь мой! А где поп Иван. еще не обожрался впном-то?

— Не пьет, укрепился, — сказал, улыбаясь, Шигаев. — Ванька Бурнов пользовал его от заоя.

— Кого да кого без меня сказнили?

— Четверых, батюшка Петр Федорыч. четверых довелось...

Пугачев покрутил ус и молча направился домой. Вместе с ним сел в сани и Шигаев.

— Что же вы государыню-то с собой не прихватили, хе-хе-хе-хе, — засмеялся, закашлялся Шигаев. — А напрасно! Ах, напрасно!..

— А чего ей тут делать? У нас жизнь военная тут-ка.

— Я не про это, батюшка Петр Федорыч. А напрасно, мол, ожениться-то изволили, не ко времени.

— Вот те здравствуй... Мне старики-казаки присоветовали.

— Казаки-то казаки, им лестно, а ведь у нас, в армии-то, мужиков многие тысячи... Эвон пойдет... пересуды. Маху дал ты, батюш-

ка Петр Федорыч, как бы худа какого не приключилось.

Пугачев хмуро молчал. Бубенцы звякали, тройка неслась, Ермилка присвистывал, он нарочно мчал по всей слободе; пусть знают людишки, что «сам возворотился».

— Окудеслили тебя, ваше величество, овольховали!—как шмель, зудил Шигаев над ухом Пугачева.— Ну да уж теперича не воротишь... Ау!

— Брось нить! Сколько у тебя вина?

— Сто семьдесят бочек, батюшка.

— Выкати народу бочек сорок.— И, помедля, добавил: — А за этим стряпчим, за пьянчужкой-то, глаз да глаз надобен... Чегой-то не доже он поглянузса мне.

На другой день были призваны к Пугачеву атаманы со старшинами. Он объявил им о своей женитьбе на дочери япцкого казака Устинье Кузнецовой и закончил:

— Признайте и вы, господа атаманы, Устинью Петровну за всероссийскую государыню, почитайте ее со всем усердием и пребудьте верны, как мне, великому государю, так и ей, великой государыне.

Полковник Шигаев поклонился Пугачеву и уже громогласно, при всех, поздравил его с супругой. А все прочие, как бы опечалясь «сею ведомостью», наклонили головы и стояли молча. Такое настроение ближних кольнуло Пугачева. Он понял, что дело с женитьбой вышло для него «бобом». Он почувствовал себя на какой-то момент одиноким и слабым, но тут же оправился.

— А ну, атаманы, подержимся за стакашки да выпьем в честь государыни!

Все приободрились, выпили по чарке, и затем не спеша разошлись.

Ненила к женитьбе Пугачева отнеслась тоже не очень благосклонно. Она пожурила «батюшку», но, играя на его мужском самолюбии, обольстила государя приятными словами:

— Да ведь ты, батюшка, императорское величество, эвон какой пригожий стал, как подбрил щечки-то! Не любя полюбишь, не хвали похвалишь! Вот девка-то и кинулась тебе на шею.— А уходя к себе, она, по простоте душевной, добавила точь-в-точь словами Максима Шигаева: — Ой да и окудеслили тебя там, овольховали.

В тот же день вся армия узнала о свадьбе государя. По пушечному выстрелу началась гулянка. Виночерпиями был поп Иван, палач Бурнов, «чиновная ярыжка» — как прозвал народ коллежского асессора, и другие. Но асессор скоро сваялся и был отнесен в баню.

— Надрался, чадо неразумное, — подмигнул трезвый поп Иван своему другу Ваньке Бурнову.

Вот загремели песни, запылали костры, гу-

ляки разбились на кучки. Одни ударились в плясы, другие, взявшись за руки и растянувшись поперек улицы «цепочкой», расхаживали по слободе, встречных почетных людей качали с криками «ура». Навстречу попался им сотник Лункин; народ презирал этого соглядая п доносчика.

— Качать! — зорали гуляки. Схватив и высоко подбросив Лункина, все прытко разбежалось. Лункин ударился о накатанную дорогу и повредил себе руку. Зато офицера Горбачева качали любовно, со всем усердием.

— Спасибо, братцы!

— Тебе спасибо, ваше благородие! Мы тобой много довольны. Ты до нас приклоняешься, до наших нуждишек. Ты усерден к нам!

Гуляки ходили по избам друг к другу в гости, накачивались вином да пивом, сверх меры объедались. Кой-где драки поднялись, приятели рвали друг другу бороды, подставляли под глазами фонари. Хотя караулы, дозоры и пикеты были трезвы, мало касался к вину и начальник артиллерии Федор Чумаков со своими подручными Темновым и Деминным, тем не менее губернатор Рейнсдорн большого трезвона мог бы задать в те часы пугачевцам. Но, по своему обыкновению, Рейнсдорн возможность эту упустил.

А когда стемнело, когда загорелись яркие предвесенние звезды, в отдельных кучках у костров в землянках, ямах, избах завязались разговоры. Может быть, в сотне мест говорили все про одно и то же. Говорили шопотом, с оглядкой, с опасением, чтоб не подслушал какой-нибудь высмотрень, а то ведь не долго и на релях закачаться.

— Оно, конечно, дело не наше, дело государево, — крихтел пожилой крестьянин, переобуваясь у костра.— А все-таки... этово-тово... нескладница, мол, получилась, несусветница... От живой жены... Двеежонство это, не по-божески... Мужик, к примеру, и то не допустит атогого срама, а ведь он, мотри, реченный царь.

— Да царь ли? — без опаски выкрикнул курносый парень Андрейка, сын этого крестьянина.

— Нишкни! — прошипел батька.

В другой кучке, в версте от слободы, илецкие казаки, караулившие дорогу, толковали:

— Мысленное ли дело, чтобы на простой казачьей девке царь обженился...

— Ведь царь-то, — сказал хорунжий Ололовня, — берут за себя из других государств, на королевах, на царских дочках женятся.

— То ца-а-ри, — почесывал затылок и ухмыляясь в бороду, тянет степенный казак с толстыми обмороженными щеками. — А мы сидим вот под Оренбургом который месяц... Ни

Оренбурга, ни Яицкий городок не можем взять...

В бане, где приютились трое старых солдат и двое работных людей Шимского завода, горит в глиняном черепке жировушка. Люди доедают коровью требуху, допивают остатки винца, но не пьяны. Да и многие, захмелевшие с полден головы, будучи взбудоражены небывалым известием, скоро протрезвели.

— Ладно, барабаны-палки, — продолжая разговор, шамкал крепкий, но потерявший зубы, старый солдат. — Допустим, что царь волен и не по поступкам поступать, — какую захочет, такую и возьмет, барабаны-палки!.. А все-таки, братцы, куда ни поверни, у него, у батюшки, супруга есть — государыня Екатерина Алексеевна. Ведь она, чуете, жива-здорова. Вот какая штука, барабаны-палки! — Он насунил брови, зажег от жировушки лучинку, принялся раскуривать трубку. — А вторым делом, кабудь пе время свадьбу-то играть... Войной надобно к Москве идти да к Питеру, барабаны-палки, а не жениться... За зря только время уходит, вот ты что говори...

— Во-во-во! Это верно, — ввязался другой солдат. — Нам гораздо наскучило на одном месте-то толочься. Надобно либо крепость забирать, либо плюнуть на Оренбург-то, да в Раею подавать, вот чего... А ежели батюшка свадьбу справил, так и само хорошо!.. Не в свадьбе дело...

— А все ж таки, сдается, не прямой он царь, а подставной, — хрипит низким голосом третий солдат и достает из кармана еще полштофа водки. — Тот куст, да не та ягода.

— Ну, это ты, служба, обожди молоть! — тенористо восклицает черный, как жук, заводской работный человек. — Прямой ли, подставной ли — не нашего ума дело. Уж мы на готовенькое с тобой пришли. А раз народ почитает его за царя, — значит, царь!

Почти каждая яма, почти каждый куст в степи повторяли одно и то же. Камень-невидимка, прилетевший из Яицкого городка в оренбургское людское озеро, разогнал широкую волну, и кой-кто в этой волне захлебнулся.

Военная коллегия была хорошо осведомлена о начавшемся — отнюдь не во всей, а лишь в неустойчивой части армии — глухом брожении. Наиболее толковые из приближенных Пугачева прекрасно понимали, что тут дело не в одной свадьбе, что известие о женитьбе государя могло быть лишь причиной разговоров и что корни брожения лежат, видимо, в военных неудачах последнего времени. Да и на самом деле: дважды брали Яицкий городок, два полкопа вели и не одолели; почти полгода армия сидит под Оренбургом, крепости взять не может... А бывшие пугачевские победы, как то:

поражение генерала Кара, пленение полковника Чернышева, неудачные вылазки Рейнсдорпа — все эти славные дела народом забыты. А время-то идет... Эдак до той поры на одном месте досидеться можно, что царицыны генералы окружают вольную армию, тогда, батюшка пресветлый царь, прости-прощай барская земелька да вольность мужицкая... Так народ и думал. Народ в своей пестрой массе ждал больших и скорых дел, ждал похода в глубь России, где много мужиков, а тут вот... свадьба!

Так или иначе, начавшееся брожение довелось военной коллегии, кроме словесных наставлений, пресекать мерами жестокими: двадцать человек из зачинщиков было выдрано, трое повешено. Но среди очень немногих пугачевцев все же остались недовольные «батюшкой» и главным образом начальствующей верхушкой. Были такие недовольные и среди приближенных Пугачева. Например, краснощекий Тимоха Мясников, не мало потрудившийся при самом зарождении пугачевского восстания. Как-то зазвал он к себе на квартиру приятеля своего Максима Горшкова. Угощались вином и пивом, охмелели. Мясников гораздо сделался пьян, начал бранить Овчинникова.

— Смотри, пожалуй, — говорил Тимоха, — допрежь сего Овчинникова и чорт не знал, а ныне в какую большую милость вошел к государю! И сделался над нами командиром, так что и слова уже не дает нам, хромой чорт, вымолвить и ни во что нас не почитает. Да вель мы государя-то нашли! — заливаясь слезами и бия себя в грудь, кричал гоним голосом Тимоха. — Мы его, батюшку, возвели! А в те поры этаких Овчинниковых-то и в глазах не было. А ныне государь-то изволит жаловать больше его и других, подобных ему, не знаю за что. А нас отставляет.

Пугачев тайком приказал Падурову написать письмо государыне Устине: «Постарайся, брат, уважь». И как только было письмо готово, Падуров пришел во дворец. Оба они с Пугачевым затворились в горенке-бокочушке, Падуров огласил письмо.

— Складно. Только шибко кудреватисто, — сказал Пугачев. — Надо бы по-простецки. Давай-ка вместе варачкать, ты да я.

И вот государево письмо готово:

«Всеавгустейшей, державнейшей великой государыне императрице Устине Петровне, любезнейшей супруге моей радоваться желаю на несчетные лета! О здешнем состоянии, ни о чем другом сведению вашему донести не нахожу: по сие течение со всею армией все благополучно, напротив того я от вас всегда известного получения ежедневно слышать и видеть писанием желаю. При сем послано от двора

моего с подателем сего, казаком Кузьмою Фофановым, семь сундуков за замками и за собственными своими печатями, которые, по получении вам, что в них есть, не отмыкать, до моего императорского величества прибытия... Сверх того, что послано съестных припасов, тому при сем прилагается полный реестр. Впрочем, донеся вам, любезная моя императрица, остаюся я, великий Государь»¹.

— Извольте подписать,— предложил Падуров.

— Нет, полковник,— просматривая письмо, ответил Пугачев.—Пока не воссяду на прародительский престол, руку свою оказывать опасаясь: ведь где рука, там и голова. Отправь дескрип без подпису...

Они спустились в нижний этаж, в подыблицу, где жил Кузьма Фофанов. Пугачев открыл сундуки, велел Фофанову перебрать вещи, а Падурову составить в двух экземплярах опись отправляемого богатства. В первом сундуке были материи кусками и 25 серебряных чарок; во втором — мужские бешметы и казачьи уборы с позументами; в третьем—восемь шуб мужских и женских; в четвертом — меха лисьи и белчиья; в остальных трех сундуках—серебряные стаканы, чарки, подносы, подсвечники, кумачи, китайки; белье, домашняя рухлядь. В кладовой на шесте висели шубы, одежда мужская и женская.

— Это все не мое, а государственное,— сказал важно Пугачев.—Я человек военный, сегодня здесь, завтра там, мне оный шурум-буррум не надобен. Настанет черед, народу буду раздавать. Возьми-ка ты себе, Тимофей Иваныч, шубу самую добротную,— обратился он к Падурову,— а вот этот бабий салопец, крытый бархатом, своей жене перешли в Оренбург, она, поди, там в бедности живет, сердешная. А этот белчиий бешмет ты, Фофанов, себе забирай. Опречь того, отбери-ка воп те две шубы попроче да отдай их моим именем есаулу Ваньке Бурнову с попом Иваном. Оному же попу расстриге вот эти обувки выдай,—крять вищие бросил, сказывают.—Пугачев снял с шеста пару новых сапог и швырнул их к ногам Фофанова.

Затем он потрогал висевшую на гвозде сматанную восьмеркой казацкую веревку и, приторно нахмурившись, сказал:

— Сей арканчик надлежало бы переслать от нашего державства губернатору Рейнсдорпу в дар, а то ему, сердяге, поди, и удавиться-то не на чем. Да джоже жаль...

— Кого, ваше величество, Рейнсдорпа? — с вольной игривостью спросил Падуров.

— Ха-ха-ха... Нет, веревку!

Тем временем большие отряды князя Голицына и генерал-майора Мансурова, преодолевая глубокие снега, все ближе продвигались к Оренбургу.

Мансуров шел по Самарской линии, в сторону Бузулука. Пугачевским немногочисленным отрядам трудно было бороться с правительственными войсками, они постепенно отступали. В Бузулуке, как и в Бугульме, находились продовольственные склады пугачевцев. Военная коллегия предусмотрительно выслала туда большую толпу крестьян с лопатами,—дорога между Бузулуком и Яицким городком была очищена от снежных сугробов, и двести пятьдесят подвод с хлебом и мясом было из-под носа Мансурова вывезено в Яицкий городок.

Атаман Арапов сосредоточил в Бузулуке две тысячи человек при пятнадцати орудиях. Мансуров обложил крепость со всех сторон. Сражение длилось четыре часа. Арапов был разбит и, бросив все пушки, отступил.

Мансуров стал поджидать в занятом им Бузулуке прибытия Голицына. Морозы и метели замедляли продвижение голицынских частей. Им доводилось много раз останавливаться в степи и укрываться от буранов под обозными кибитками. В конце февраля Голицын приказал Мансурову занять крепость Топскую, а сам двинулся к крепости Сорочинской, расположенной в ста пятидесяти верстах западнее Оренбурга.

В Сорочинской было большое сборище мятежников. На защиту ее спешил и сам Пугачев с Овчинниковым.

Высланный Голицыным довольно сильный отряд майора Елагина без всякого сопротивления занял деревню Пронкину и, не имея сведений о неприятеле, там заночевал.

Ночь настала бурная, темная. Разбушевавшийся буран выл, крутил, валял с ног все живое. Даже в деревне было страшно высунуть нос на улицу. А в степи и по сыртам творилось что-то несусветное. В степи верная гибель прозябла путнику: закрутит, бросит наземь, занесет линким вертучим снегом, и следов не сыщешь!

Однако Емельян Иваныч со своей смелой ратью страха не боится. Как сказочные богатыри, они презирают опасность и самую смерть. Впереди — железный всадник с отважным сердцем, за ним — конная дружина, за нею — пешая немалая толпа. То здесь, то там пробуют кричать команду, или подбодрить отстающих, или, наконец, поядренее обругать эту свалившуюся с неба адскую кутерьму. Но какая тут команда, когда всякий звук, всякое слово ветер тотчас вбивает обратно в рот! Среди сумасшедшей ночи, с трудом преодолевал

¹ Это письмо, без числа и месяца, хранится в Государственном архиве.— В. Ш.

удары снежной бури, движутся черные призраки. Они прошли без передыху тридцать семь томительных верст!

Буря носилась по степи, как слепая, страшная, безудержная сила. Задыхавшимся путникам чудилось, что в этой свистопляске без лешего, без окантных демонов не обошлось. Это они согнали на сырты всех ведьм, разлохматили им седые космы, заставили выть и плакать замогильными голосами. Это они взломали ржавые льды на болотах, вымели оттуда всю нечисть, всех чертей больших и малых и велели им дудеть в лешевы дудки, высвистывать в кулак, бить в ладони, хохотать и гайкать на всю степь. Это они опрокинули кресты на погостах, подняли из могил мертвецов, чтобы те затевали пляс, чтоб громче стучали костями, чтоб в вихрях снега яростней взмахивали белыми саванами.

В буре слышался путникам вой, свист, плач, стон, залихватый хохот и скрежет зубов. Все трудней становилось дышать, некуда было податься: будто все сущее сгибло, будто исчез простор, исчез воздух, и небо упало на землю, и степь всколыхнулась; буря встряхивала всю твердь, как белую козью шубу.

Под ногами всадников вдруг разверзались ухабы, вырванные резким ударом урагана, и конь нырял в них, как с крутой волны чёлн. То, вихрясь белым облаком, вмиг вырастал курган, и конь, отчаянно всхрапывая, набирался последних сил, чтоб превозмочь его... Да, труден, мучителен путь... А куда он ведет ватагу отчаянной вольницы, в жизнь или смерть, — неведомо...

Конь Пугачева притомился. Он подставлял бурану то правый, то левый бок, но ветер бьет коня в хвост, в лоб, в гриву. Пугачев стиснул зубы. Он знает, что в его двухтысячной толпе много обмороженных, есть и упавшие, погибшие, засыпанные снегом.

Люди изнемогали. Ветер смаху врывается под одежду, знобил тело, охлаживал кровь. И вот измученные, растрепанные бурей люди подходят к спящей деревне Пронкиной.

Передовые вражеские пикеты сбиты, орудия внезапно захвачены, часть толпы с гиком ворвалась в селение. По первой же тревоге майор Елагин бросился с резервом вперед и тотчас был окружен пугачевцами. Гренадеры и егерские команды дрались отчаянно. Защищавший пушки поручик Москотиньев получил двенадцать ран. Вблизи него отбивался майор Елагин. Его подняли на копыя.

Буран улегся, ночь окончилась, наступило погожее утро.

Меж тем оставшийся в живых секунд-майор Пушкин успел привести в порядок потрепанный отряд grenадер и напал на пугачевцев, а два другие офицера со своими частями атако-

вали неприятеля в тыл и фланг. Истомленные ночным переходом, пугачевцы, потеряв добытые в бою орудия, отступили в крепость Сорочинскую.

Отдохнув и отправляясь со всей толпой обратно в Берду, Пугачев дал приказ атаману Овчинникову:

— Вот что, Афанасьич... Ты сиди в Сорочинской, скоплай себе силу. А коль скоро князь Голицын займет Пронкину, ты втикай тем же часом в Илецкую крепость. Ведь мы не знаем, куда Голицын-то пойдет: чи на Яицкий городок, чи к Оренбургу. Ну, как думаешь, Афанасьич, супротив правительственных-то выдюжишь?

— Да надо бы, батюшка! Ведь в твоих руках, в Берде-то, сила эвона какая!..

— Да ведь и у них тоже не мала, Андрей Афанасьич.

Вскоре обстоятельства сложились так, что пугачевцам довелось во что бы то ни стало оборонять крепость Татишеву. Эта крепость была важным пунктом для обеих сторон: она прикрывала пути в Оренбург, Илецк и Яицкий городок.

Пугачев собрал в Берде добрую половину армии и, оставив там, по обыкновению, своим заместителем Шигаева, спешно двинулся в Татишеву. С присоединением отряда атамана Овчинникова, приведшего из Илецка около двух тысяч человек, у Пугачева скопилось в Татишевой более восьми тысяч войска.

Предстояли жестокие бои. Пугачев с отчетливостью представлял себе все значение надвигающихся событий. Он знал, что правительственные войска наступают на него широким фронтом и что его многочисленные отряды почти всюду терпели от них поражение.

И вот приспело время столкнуться в единоборстве двум крупным силам — правительственным многотысячным воинским частям под начальством опытных генералов и армии Пугачева под его личным водительством.

Неудачный для Пугачева исход сражения мог бы оказаться смертельной раной всему казацко-крестьянскому движению.

Емельян Иваныч дни и ночи был в труде, никто не знал, когда он спит. Он приказал к полуразрушенным крепостным стенам досыпать снеговые валы и обильно поливать их водой. Все работали не покладая рук, вплоть до женщин и детей. Валы превратились в лед, окрепли, казались неприступными. Он сам расставил на батареях и раскатах пушки, назначил к ним прислугу из опытных людей горнозаводских, а также из захваченных в плен канониров и солдат, среди коих пожелал быть и престарелый бомбардир Павел Носов.

— Ну вот, дедушка, опять мы вместе с то-

бой, как в прусскую войну,— сказал ему Пугачев.

— Вместях, батюшка ваше величество, как есть вместях,— ответил старик, оглаживая лоснящееся дуло медной пушки.— Я еще, мори, зорок, мое ядро зазря не полетит.

Пугачев с офицером Андреем Горбатовым повертывал пушки жерлами в ту сторону, с которой ожидался враг. Было сделано несколько пробных пушечных выстрелов. Емельян Иванович лично измерял расстояния до различных стметок впереди крепости, обозначая вешками и разноцветными флажками определенные поражаемые пункты. Все было обдуманно, налажено, разнесены по местам ядра и ящики со снарядами, роздан порох и свинец, всякий человек снабжен с достатком сухарями и вяленой таранью, выточены сабли и ножи, выострены пики, отлиты свинцовые пули, или, как их называли казаки, «жеребьи». И — ни капли никому вина. Пугачев объявил: «Пьяному — петля!»

Пред трудными днями Емельяну Ивановичу захотелось остаться одному, душа его была неспокойна. С поникшей в раздумье головой он снова обошел вал крепости, залез на вышку, осмотрелся. Вот погоревший, знакомый Пугачеву Татищев-городок, вот мрачная крепость с домом капитана Елагина. В этом самом доме родилась и проводила юность Лидия Харлова. Теперь нет на свете ни Елагина, ни его жены, ни Харловой с ее братом. Повешен и толстомясый бригадир Билос.

Сколь скоротечно летит время! Уже полгода минуло, как здесь гремел жестокий бой — и крепость пала. Полгода — не малый срок, а словно было это вчерашний день. Вот ряд оголенных, озыбших берез. Сейчас зима идет, а тогда была золотая осень. Тогда березы еще не всю потеряли листву, и ярко дрела поспевшая рябина, и дрозды порхали перелетными стайками, и во-всю звучал набат, стреляли пушки, и бушевало среди построек разливное огненное пламя.

Через два дня, поутру, Пугачев велел делать «закличку» в круг. Под звуки трубы и бой тудумбаса народ сошелся на крепостную площадь, все разделилось по своим полкам: три тысячи яицких, илецких и оренбургских казаков, две тысячи двести заводских и ссылочных крестьян, остальные — около двух с половиной тысяч — башкирцы, татары, калмыки, киргизы и набеглые крестьяне. Над всеми начальствовал Овчинников.

Пугачев — при ленте, при звезде, за поясом два пистолета, у бедра дорога сабля, в карма-не — «глядельная» труба (он с нею редко расставался). Он звонко, с коня, кричал в народ:

— Ну, детушки, вот и генералы настигли нас! Токмо вы не опасайтесь, а служите мне,

государю, и делу нашему казацкому с храбростью! Генерал Кар трохи-трохи каркнул на нас, да едва ноги уволок... Ну, так мы и Голицыну-князю пятки к затылку подведем,— смешается, в кою сторону бежать. И я вам, детушки, верные мои народы, делаю предостерегу: коль скоро Голицын-Рукавицын к Татищевой приступить учнет, чтобы у нас тишина была и чтобы люди всячески скрылись, дабы не видно было ни единой души. И до та пор к пушкам и каждому к своей должности не приступать, покуда князя корпус не подойдет к нам на пушечный выстрел. Крепче держитесь, детушки, и чтобы рука ваша не дрогнула! Над нами бог, впереди нас враг, а я, государь ваш, с вами!

4

В 4 часа утра, 21 марта, князь Голицын лично произвел рекогносцировку возле крепости Татищевой. Его разъезды, побывавшие возле крепостных стен, никого не встретили. Голицын решил, что крепость либо пуста, либо будет без боя оставлена мятежниками. Но посылаемые в течение дня новые разъезды убедили его, что крепость многолюдна и намерена защищаться.

На следующее утро Голицын атаковал пугачевцев. В его распоряжении было около семи тысяч человек. Он выслал под начальством полковника Юрия Бибикова авангард в составе двух батальонов гренадер-егерей, трех эскадронов кавалерии и двухсот лыжников. Через час двинулись и основные голицынские силы. Бибиков успел подойти к валу на четыре версты. Крепость молчала, и —нигде ни коня, ни человека. Подступившие почти вплотную к крепости разъезды никого не обнаружили. Три чугуевских казака поехали удостовериться, есть ли кто-либо там, за валом.

Пугачев с Овчинниковым и Араповым, притаившись за вышкой возле крепостных ворот, зорко наблюдали за движением вражеских разъездов. Пугачев подозвал мимо проходившую молодую женщину, дал ей заранее приготовленное блюдо с хлебом-солью, сказал:

— Вот что, милая... Выходи ты вражеским разведчикам встречу, кланяйся ото всех мирян тутошних хлеб-солью и толкуй: были, мол, воры-злодеи, да все ушли, нивесть куды. А все миряне-татищевцы просят, мол, князя Голицына вступить в крепость безбоязненно... Поняла ли, милая? Ась? Ну, ступай, голубка!

Тетка, боясь ослушаться, покрестилась на церковь и вышла за ворота. Чугуевцы, не слезая с лошадей, выслушали женщину, но не поверили ей, закурили головами. Рыжебородый казак-чугуевец подбежал к чуть приоткрытым воротам и заглянул внутрь: там густо толпились вооруженные люди, стояли подернутые ином заседланные лошади.

Чугуевец сердито засмеялся, крикнул своим:
— Обман, братцы!

И едва успел рот закрыть, как его шею обвила удавка, ноги его выскочили из стремян, а тело грузно поползло по ледяному валу вверх. Рыжебородый хрипел, болтал в воздухе руками.

Два других чугуевца, оробев, стоптали тетку и двинулись на-рысях прочь, то и дело оглядываясь. Пугачев с Овчинниковым и Ермилкой бросились за ними в погоню:

— Коли! Руби! Хватай!

Овчинников ловко накинул на заднего петлю, тот грохнулся на землю, а его лошадь, сделав круг, возвратилась к поверженному хозяину. Третий чугуевец, нашпаривая своего скакуна плетью, быстро уходил. И ему удалось бы скрыться, если б не вывернувшийся из густого черемушника Пустобаев. Наскакав сбоку на врага, старик ударил его пикой с такой силой, что проколол ему грудь насквозь, а пика в мощной руке старика хрустнула, как сухая лучина.

— Откудов ты взялся? — спросил подхвативший Пугачев, одобрительно поглядывая на Пустобаева, который снимал оружие с убитого чугуевца.

— Да вот сена коню пошукать выехал, — ответил старик.

Рыжебородого казака Пугачев допрашивал в крепости лично. Тот показал, что у Голицына пять тысяч только одной пехоты, не считая многочисленной кавалерии, и семьдесят больших пушек.

— Слыхал, Овчинников? Семьдесят!.. — нахмурившись воскликнул Пугачев.

— Да, ваше величество, — вздохнув, ответил тот. — Ежели изменник не врет, у них вдвое более супротив нашего-то...

— То-то и оно-то...

Тем временем, по приказу Голицына, полковник Юрий Бибиков занял ближайшие высоты егерями и лыжниками, на выдающихся же местах выставил орудия. Прибывший к авангарду князь Голицын «учредил своему корпусу марш в две колонны». Правую колонною командовал генерал Мансуров, левую — генерал Фрейман, а передовой detachment Бибикова составлял с правой стороны особую, третью колонну, «дабы отнять способы бунтовщикам зайти во фланг».

Обе колонны, Мансурова и Фреймана, слутились в глубокий овраг, который, по предположению Голицына, никак нельзя было обстреливать из крепости. Воспользовавшись этим, Голицын построил в глубине оврага войска в боевой порядок: в первую линию он поставил пехоту, во вторую — кавалерию, состоявшую из четырнадцати эскадронов. Когда же обе линии были построены, вдруг, с полной неожиданностью, «спасительный» овраг под-

вергся обстрелу: чугунные ядра, одно за другим, били по людям. Это три вывезенных с Воскресенского завода секретных пушки (высоко приподнятыми, особого устройства, лафетами, стреляли по оврагу крутым навесным огнем. Батарея была сооружена в крепости лично Пугачевым, и пушки заранее по оврагу пристреляны: Емельян Иванович предвидел, что неприятель оврагом воспользуется. Пушки наводил сам Пугачев с Чумаковым, канониром был подручный Чумакова, казак Алексей Темнов. Кроме секретных орудий, открыли огонь из единорога и двух мортир. Они били разрывными, начиненными в Берде, бомбами.

— Давай, давай! — покрикивал Пугачев, потирая руки и перебегая от пушки к пушке. — Кажись, вленили ладно!..

Вот он заскочил на вышку, воззрился чрез «глядельную» трубу в сторону оврага, закричал:

— Дай духу!.. Шпаль еще! Зашевелились, скаженные!

Голицын с тремя офицерами стоял на невысокой сопке. Наблюдая происходившее в овраге, он выкатил удивленно глаза и гулко закричал команду:

— Прими влево!.. Пехота, влево!.. Ах, дьяволы!.. Представьте, господа, навесным жарят, — сказал он, обращаясь к офицерам. — Кавалерия, вправо! Повзводно, в пра-а-во!.. — И снова к офицерам: — Мечутся, как угорелые... Орлов и вы, Веселого, скачите, перестройте ряды... (Офицеры двинулись чрез глубокие снега.) Ах, дьяволы! Валятя, валятя мой... Батюшки! Бомбы... Да еще с каким эффектом рвутся!.. Фу ты!..

Обе колонны, то есть пехоту и четырнадцать эскадронов, пришлось вывести из «спасительного» оврага и построить значительно дальше от крепости.

Две главные высоты, командующие над местностью, пугачевцы прозвали занять. Их захватил Голицын и поставил там пушки. Оставалась еще в левой стороне третья высота. Опасаясь, что ее займут мятежники и выставят на ней свои пушки, Голицын направил туда батальон князя Одоевского с четырьмя орудиями.

С трудом прокладывая себе через снега дорогу, батальон уже успел подняться на половину высоты. И вдруг из лесу, что зади сопки, вымахнули конные башкирцы и татары, конная сотня заводских работников и большая толпица набелых крестьян с топорами, с дубинами. И вся эта масса с гикальем, свистом, ревом устремилась на врага. Батальон Одоевского, изумленный столь неожиданным нападением, спешил. Завыли стрелы, затрещали ружья.

Весь крепостной вал был усеян любопытными. Пугачев кричал па вышке:

— Дай бою! Дай бою!.. Грудью, грудью, детушки! — Он знал, что его слова не долетят до сопки, но уж так, само собой, кричалось. Он весь кипел, глаза пылали. Он велел бросить к лесу на подмогу сотню илецких. Битва длилась недолго. На сопке снег взлетал облаками, кони взвивались па дыбы, люди падали десятками. Под напором пугачевских всадников озерцы начали скатываться со склонов сопки. Брсьив четыре свои пушки и обоз с припасами, они стали спешно отступать.

— Ур-ра!.. Ур-ра-а-а! — радостно раскатывалось по всей крепости: пугачевцы приветствовали с вала победителей.

К сопке выехал Чумаков, чтоб установить на ее вершине отбитые у врага орудия.

Утро выдалось солнечное. Снега кругом ослепительно сверкали. Стоявшие на валу люди жмурились. У Пугачева за последнее время болели глаза, воспалившиеся от весеннего солнечного света в снежных степных просторах. Поэтому на его лицо была приспущена сетка из черного конского волоса.

Он был на той же самой сторожевой вышке, на которой полгода тому назад стоял во время боя отец Харловой — старик Елагин. Окинув бодрым взором выстроившиеся внутри крепости войска свои, Пугачев остался доволен их молодецким видом. Это не безликая толпища собранных с бору да с сосенки людей, это хотя и недостаточно вооруженная, но все же благоустроенная армия. Над созданием ее долгие месяцы старались Овчинников, Шигаев, Падуров, Чумаков, Творогов, позднее — офицер Горбатов, а наипаче — сам Емельян Иванович. Его железной волей и неусыпными заботами многотысячная масса превратилась во внушительную боевую силу. Казачьи конные полки стояли со значками, пешие полки с боевыми знаменами, в стороне — три сотни лыжников.

— Добро зело! Гарно, — проговорил кто-то подле Пугачева.

— Гарно-то гарно, да не вовсе, — подал в ответ голос Емельян Иванович. Он прикидывал в уме да сравнивал силы свои и вражьи.

Выходило так. У него, Пугачева, народа под десяток тысяч, у Голицына тысяч до семи. Зато у Пугачева всего-навсего тысяча двести семьдесят ружей, а у Голицына — не менее восьми тысяч штук огнестрельного оружия; у Пугачева тридцать восемь пушек, у Голицына все восемьдесят.

— Да, плохо, брат Афанасьич, плохо, — бросил Пугачев подошедшему Овчинникову.

— Это чего, батюшка, плохо-то?

— Оруженья маловато! Огня у нас малова-

то! — И Пугачев изложил атаману свои соображения.

— Зато народу у нас гораздо больше супротив Голицына, ваше величество, — помявшись, сказал Овчинников.

— Так у нас — народ, а у Голицына — войско, Афанасьич... Чуешь, где ночуешь? Войска, говорю! Ась?

Крупных военных действий ни с той, ни с другой стороны еще не начиналось. Вскоре Голицыны приказал открыть огонь по крепости. Пугачев подал команду, и крепость тотчас ответила из тридцати орудий. Все кругом застояло. Галки и грачи сорвались с крепостных деревьев, темным облаком принялись кружиться над крепостью, оглашая воздух граем, затем скрылись за лесами. Жители городка попрятались в погреба, подвалы, многие из местной молодежи, похватав оружие, присоединились к пугачевцам.

Время от времени приподымая сетку, Емельян Иванович, прищурившись, всматривался вдаль. Там, далеко-далеко, возле сопок, копошились среди снегов маленькие человечки — пешие, либо конные, на крохотных, как кошки, лошадечках. Они карабкаются по склонам возвышенностей, стягивают на их взлобки смертоносные орудия. «Проворонили», — с досадой думает Пугачев и, косясь чрез плечо на стоявшего рядом с ним офицера Горбатова, говорит ему:

— Проворонили, ваше благородие, сопочки-то? Ась?

— Мнитса мне, государь, что ихние ядра едва ли до нас достигнут. Дистанция, на мой взгляд, с двух дальних сопок более полутора верст.

— Наверяд, Горбатов... Ось попробуем!

Пугачев живо сбежал по ступенькам сторожевой вышки и приблизился к Павлу Носову:

— А ну-ка, стар человек, плюнь горяченьким! Эвот, эвот в ту сопочку, в толпишку.

Пушкари, внауг работая, повернули забитую ядром пушку, Носов направил дуло, куда надо, Пугачев проверил, сказал: «Так» и звонко кривнул:

— Горбатов! Присмотрись в трубу.

Пушка грохнула, откатилась на лафете, клуб порохового дыма задумчиво остановился на момент в воздухе и стал вздыматься вверх. С вышки Горбатов ответил:

— Недолет, ваше величество! Сажень с согно не донесло...

— Чуть покруче надобно, — виновато сказал Павел Носов.

— Держи так, — возразил Пугачев, наведя пушку. — Трехи-трехи пороху поболее всынь.

Второе ядро уголило прямо в цель. Простым глазом видно было, как люди на увале прыгнули во все стороны, а Горбатов с вышки закричал:

— Пушка вверх колесами!.. Двое по снегу ползут... Третий — мертвый!

— Спасибо, Носов,— весело бросил Пугачев.

Растроганный Носов тихо, чтоб никто не слышал, пробубнил в ответ:

— Видать, ваше величество, Емельян Иванович, уроки-то мои в прусском походе впрок тебе сгодились: знатный бы бомбардир из тебя вышел, кабы не эта царская затея..

Пугачев подмигнул ему и побежал к Горбатову на вышку.

Канонада с обеих сторон длилась больше трех часов. Изредка попадавшие в крепость ядра особого вреда не причиняли. Но вот с воем прилетела пущенная с высокой сопки бомба, из нее торчал короткий хвост дымящегося запала, она врезалась в дальний угол крепости и тотчас там разорвалась, ранив казака и покалечив лошадь. Вторая бомба ударила в людное место, зарылась в снег и зашипела. Ближние прыгнули в стороны. Увешанный кривыми ножами Идыркой выхватил шипевшую бомбу из снега и, пробежав шагов пять, спустил ее в чан с питьевой водой. Оцепеневшие на миг люди заорали: «Ура!» И Пугачев с вышки крикнул: «Молодчага!.. Благодарствую!»

Идыркой всей грудью выдохнул — ууух! — сдернул лохматую шапку, отер рукавом азия толстое вспотевшее лицо с подстриженной бородкой и, пошатываясь, заковылял в толпу.

5

Голицын приказал Фрейману начать наступление на правый фланг врага. Фрейман двинулся вперед.

Пугачев велел распахнуть ворота, затем скомандовал атаману Арапову взять батальон пехоты с тремя сотнями оренбургских казаков и сделать вылазку за пределы крепости.

Слыша эту команду, многие из боевых частей закричали, устремляя глаза на вышку к государю, потрясая пиками, дубинками, взмахивая шапками:

— Нас, нас!.. Батюшка, нас пошли!..

— Надежа-государь! Нас спосылай!.. Застоялись мы... Погреться охота!

— Давай, бачка! — выкрикивали из башкирской толпы. — Адя, адя, бачка!.. Тудой судой...

Пугачев довольным голосом гремел с вышки:

— Каждому свой черед, дѣтушки! Дождитесь зову моего императорского.

В крепости горели яркие костры. Бегали две собачонки, — они рады были многолюдству: им перепалили вкусные куски, они нажрались до отвала. Крестьяне у костров переобувались, сушили прелевые онучи, лопыхивали трубками, на их загорелых лицах то робость, то отвага, то отчаяние; многие из них порою нюхают впер-

вые. Башкирцы с татарами рвут белым вяленое мясо, тарань, лепешки, — война, самое время обедать. Крестьяне и парни из местных жителей без перерыва подтаскивают к батареям заряды. Над крепостью плавают сизоватый с прожельтью, пахнущий тухлятиной дымок от пушечной палбы.

В темнотеленом чекмене, в рысьих, вверх шерстью, сапогах стоял пред Пугачевым Илья Арапов — храбрец и забулдыга, недавний покоритель Самары. Лицо у него огрубевшее, чернородое, длинный нос навис на густые усы, глаза горят задором. Напутствуя своего верного воюку, Пугачев приказал:

— Вот что, атаман! Прихвати-ка с собой с полдожинки пушек! — И, обращаясь к Горбатову: — Так ли, ваше благородие?

— Правильно, ваше величество... Дозвольте мне с сeldьмой...

— Вали!

Все семь пушек потащились к пригорку, выбранному Горбатовым. Орудия везли лошади, в трудных местах их подхватывали люди: кругом убранные снега, путь был неспособен. Заскрипели, распахнулись кованые железом крепостные ворота. На волю из ворот выходил в строю батальон пехоты с белыми повязками на рукавах, выезжали оренбургские казаки в лихо заломленных шапках. Низкорослые, но сытые лошадечки, частокон высоких пик, бороды, бороны, выпущенные из-под лохматых шапок чубы.

В крепости, как в огромном улье, многоголосый говор сливается в общий глухой гул, будто в обширной осиновой роше при порывах ветра. И, как большой шмель среди пчел, рокочет всюду слышимый голос Пустобаева. Народ пока что держит себя вольно: кто лежит у костра, кто дуется в карты, в «носки», кто бродит возле своей части.

— Ну, барабаны-палки!.. Только держитесь таперь! Ни кто да нибудь, а генералы противу нас прут, барабаны-палки! — говорит седоусый беззубый солдат старому гренадеру Фаддею Киселеву, который грел в котелке волю (чтоб хлебнуть с сухарями горяченького). — Ну да как не то выдюжим, барабаны-палки! Ведь у нас, мотри, крепость, да вал водой улит, на него и кошке не залезть.

— С нами бог, выдюжим, дядя Сидор! — отзывается Киселев, подбрасывая в кипящий котелок толченой черемухи. — А ежели и не выдюжим, так нам, брат-старина, все един жить-то уж не долго... Не зря, чай, головы кладем... А вот своего барина-то молодого, офицера Шванвича, не довелось сманить с собой. Большой сказался...

— А Горбатов-то офицер, видал, барабаны-палки? Прямо сокол!..

— Ого!.. Горбатов совсем другого смысла

господин. Мы с ним вместиж живем, с ним да со Шванвичем... Ну, Горбатов-то, чуешь, сам передался батюшке...

— Знаю, барабаны-палки...

— Стой-ка, ужю!.. Чегой-то государь шумит...

— Детуш-шки! — покрывал весь гуд толпы резкий голос Пугачева. — Приготовься-ка сотенка заводских! Да полсотни илецких!..

В крепости зашевелились.

Меж тем умело выставленные Горбатовым на двух взлобках семь пушек открыли по наступающим огонь картечью. А конные и пешие пугачевцы, выбравшись из крепости и пройдя версты две, устремились рассыпным строем в контратаку. Два наступавших батальона генерала Фреймана едва слерживали бурный натиск одного батальона пугачевцев.

— Братцы! Солдаты! — в разных местах зывали пугачевцы, врезаясь в серые ряды солдат. — Что вы делаете? Своих братьев-крестьяч убивать идете? Опомнитесь! Ведь мы его величество защищаем, государя Петра Федорыча. Он здесь, в крепости, сам находится, отеп наш всеобщий!..

Слыша эти призывы, солдаты было дрогнули, приостановились. Даже послышались бесстрашные голоса:

— Будет нам братскую кровь проливать! Ведь они за мужика, супротив бар. Славайся, братцы! — Но к смелым крикунам тотчас полетали офицеры, взмахивались на них прикладами, тесаками, устрашающе кричали:

— Расстрела захотели?

И все же фреймановский батальон стал шаг за шагом пятиться, ряды расстроились. А пугачевцы все крепче и крепче наступали.

— Берем, берем, берем!.. Не трусь, ребята! — разжигал свою пехоту удалой атаман Арапов. А три сотни его оренбуржцев уже заводили на флангах неприятеля легкие пока схватки с вражеской кавалерией.

Генерал Фрейман, видя растерянность своих солдат, тотчас двинул им на помощь свежий батальон князя Долгорукова. И, подбодрив солдат, снова перешел соединенной силой в наступление.

Пугачев, стиснув зубы, следил за ходом битвы. Он время от времени подбрасывал в бой новые, хотя и небольшие, части.

Сражение постепенно разгоралось. Глубокие сугробы, местами копы по грудь, сильно мешали военным действиям. Но обе стороны дрались отчаянно.

И Голицын и Пугачев понимали, что участь Татищевой решается именно здесь, именно сейчас — под крепостными стенами.

Вот уже несколько часов шел вблизи крепости упорный бой с переменным успехом. То бежали вспять группы солдат, и тогда с кре-

постных стен кричали: — «Наша берет!.. Солдатня в бег ударилась!.. Ура!..» То, под натиском кавалерии, пятались пугачевцы, и тогда ликовали Голицын со штабом: «Побежали сволочи! А все же здорово, полдецы, бьются!.. Даже мужичинки!.. Ну, и наши молодцы!.. Смотрите, смотрите-ка — солдаты на валу!»

Действительно, порялочная толпа смельчаков из голицынского стана, пробравшись к дальнему краю крепости, пыталась вскарабкаться по ледяному валу: обрывались, впереверт скользили вниз, снова с азартом лезли, прорубали тесаками во льду ступеньки. Вот с криком «ура» солдаты достигли вершины, но притаившиеся за валом казаки быстро смели их пиками, а офицеру успели накинуть на шею аркан и, поддернув, снести ему голову.

А там, на главном фронте, сражение не ослабевало, и кто кого — неизвестно; боевое счастье переходит то к голицынцам, то к пугачевцам. Князь Голицын теперь сам принял команду над всеми своими войсками. Он перелез на левый фланг всю пехоту генерала Мансурова, а ему самому поручил начальствовать над всей кавалерией. В резерве Голицына оставался всего лишь один батальон Томского полка под командой поручика Толстого. Голицын решил и этот последний запас свой ввести в дело: он шел на неизбежный риск.

В резерве у Пугачева были яички и оренбургские казаки, под командой Андрея Витошнова с Григорием Бородиным, да еще небольшой отряд отборной пехоты из заводских людей и беглых солдат под начальством Варсонофия Перешиви-Нос.

Пугачев вскочил в седло и, вместе с атаманом Овчинниковым и Витошновым стал готовить казаков к бою.

Пушки с занятых Голицыным высот, из опасения нанести ущерб своим, пальбу по людям прекратили, лишь изредка стреляли в сторону опустевшей крепости. Место битвы подернуто пороховым дымом, всюду стоял гул от ружейной стрельбы, людского крика, звяка оружия. Башкирцы пускали из сайдаков стрелы, однако, под напором вражеской кавалерии, многие из них с гиком и визгом стремились наутек, и только некоторые хорошо рубились. Бросив ненужную теперь пушку, бежал на врага офицер Горбатов, увлекая за собой группу конных и пеших крестьян с забеглыми солдатами.

— Вперед, вперед! — кричал он. — Добывай землю! Добывай волю!

И Пугачев подавал с коня громкую, всюду слышную команду:

— Детушки! Верные казаки! Не трусь!.. Равняй бугры, рви кочки!.. — Его взмокшие на морозе волосы вылезли из-под шапки, в ля-

не ни кровинки, лишь черные глаза горели.— Грудью, грудью, детушки! Дай духу!

— Ура! ура!.. — голосили безавшие на врага казаки.— Або добыть, або дома не быть!.. Дай духу, дай духу!

Старик Витошнов двинулся с сотней яицких казаков вправо, Григорий Бородин—влево, навстречу наседавшим вражеским конникам.

Витошнов действовал храбро и в открытую, Григорий Бородин все больше поровил скакать по-за кустами.

Засверкали, закровянились сабли, пики. Кони взмывали на дыбы, сшибаясь грудью. Белыми вьюнами снег валел из-под копыт. Многие кавалеристы под казацкими ударами падали с коней, но и яростно рубившиеся казаки тоже несли изрядные потери.

— Гайда, гайда, детушки! — неистово голосил Пугачев.

По всему снежному, побуревшему полю лежали многочисленные трупы людей и лошадей, взломаченные шапки, пики, ружья. То здесь, то там со стоном ползали раненые. Пугачев видел, что его людей побито много больше, чем голицыньских.

— В оружии нехватка, Афанасьич! — жалуюсь, бросал он Овчинникову.— У голицыньских-то восемь тысяч ружей, а у нас и полтора тысяч не набрать...

— Правда твоя, батюшка... Маловато у нас, маловато...

Вот бежит на врага насыщенная яростью, оглушительно орущая толпа. Впереди, с крепко ужатым в руках штыком, Варсонофий Перешиб-Нос. Рыжеватые уши его разлохматились, рот перекосялся. «Ур-ра! Ура!» — не переставая вопил он сильным голосом. За ним — рыжебородый дядя в расстегнутой овчинной безрукавке. Он охмелел от битвы, тычет острой рогатиной, «на злу голову» кричит:

— Ой, раз родила мати, раз и умирати! Ур-ра!.. — и смачу падает, сраженный пулей.

Чубастый Ермилка на коне держит возле Пугачева высоко приподнятое государево знамя. Пугачевцы в разгаре боя нет-нет да и взорятся в эту сторону и, завидя священную хоругвь, подумают: «Батюшка с нами».

Вот, не дождавшись команды, вырвались из перелеска затаившиеся там башкирцы с калмыками. Они было помчались в атаку на чугуевцев, но попали под губительный обстрел голицыньской батареи. К ним от Овчинникова уже скакал гонец.

— Назад, черти, назад! — голосил он.— Нешто была вам команда?

— Бульна долга терпеть, бачка! — тонкими голосами в разноробой кричали в ответ башкирцы.— Не можна терпеть! Адя! адя! — и, обнажив кривые сабли, насторожив копыта, предолжали наезжать на врага.

Картечь сражала их десятками. Упал с коня посланный к ним гонец, раненный.

— Эх, дурни! — взмотнула головой Пугачев. Он тотчас послал вестового к бившемуся с врагом у дубовой рощи Илье Арапову, чтобы тот кинул на подмогу оплошавшим башкирцам полсотни оренбургских.

И вот завязалась в сугробах, возле башкирцев, схватка. Подоспели казаки, набежали с топорами, с вилами мужики, а на помощь чугуевцам спешили солдаты Томского полка. И когда пальба картечью прекратилась, разгорелся не на живот, а на смерть рукопашный бой, всадников стаскивали за ноги с коней, валили наземь ударами вил. В драке, незаметно для самих себя, люди разбились на кучки. Бросались впятером на одного, били чем попало, топтали, вминали сапожницами в снег столь глубоко, что и человека не было видно. На победителей в свою очередь нападали со всех сторон, сшибали с ног, втаптывали в сугробы, бежали дальше... Уже было умерщвлено или покалечено множество народа: чугуевцев, мужиков, башкирцев, солдат Томского полка.

Бой постепенно откатывался к лесу. Туда стремились укрыться голицыньцы, считая себя побежденными. Туда же отступали и мужики с башкирцами да с оренбургскими казаками, они также полагали себя побитыми.

Среди некоторых отступавших мужиков с набеглыми солдатами был злобный ропот:

— Пропадаем зазя!.. Паяки да вилы-то наши не стреляют...

— Нет, чтобы пушек да ружей из Яицкого-то городка доставить, а он, царь-от, замест того обабился там, другую государыню завел!..

— Ну и пуцай сам воюет, а мы ему не ваньки!

— Геть, замолчь! — крутя нагайкой, зашумел на крикунов казак.— Другую государыню, другую государыню... А первая-то нешто по головке гладит вас? Это она и есть с генералами своими, в зад-то вам, дурням, шпарт!

— Да мы ведь ничего, мы ведь промеж собой, сынок...

Вдруг обезлюдевшие сугробы, где только что происходила схватка, начинают оживать: те здесь, то там из глубоких снеговых могил выпрастываются люди, тяжело поднимаются на ноги, встряхиваются, иные снова падают, иные, набрав силы, идут, пошатываясь, прочь, всяк в свою сторону — одни к крепостным воротам, другие к голицыньским частям.

— Ура! Ура! — где-то гремит вдали. И снова грохот умольших было пушек.

С ближних сопкок сползают голицыньские солдаты. С крепостных батарей летят в них ядра. Поле битвы стало широким, обе стороны ввели в бой все силы.

Подскакали к Пугачеву три казака; один из них пожилой, бородатый, двое голоушиков. Змыленные копы курились паром: примчались дальицы издалека.

— Батюшка-належа, — задышлнво начал жожилой, у него часть уха и шапка разрублены, висок и щека в крови. — Мы далече заехали, да с гусарами шибку имели, семерых призончили, ну и наших троечка полегла... Ух ты!.. Дай передохнуть...

— Хлопцы, толкуйте вы, — приказал Пугачев молодежи.

— Ваше величество! — выкрикнул круглолицый, у него наискосок разрублен на спине полушубок, ключьями торчит овчина. — Как мы были во вражеском тылу, так усмотрели...

— Усмотрели, батюшка, — снова заскрипел тарак, — у Голицына-то князя ни осталось в резерве ни хрена, все тут. И сам князь последних солдат повел, поскребыши.

Емельян Иваныч, советуясь с Овчинниковым, то и дело рассылает гонцов то в одну, то в другую сторону.

— Эй, шурин! — наказывает он своему родственнику, Егору Кузнецову. — Айда к уренбуржцам, пускай живчиком примут вразо: голицынские чего-то там зашевелились. Да Гришухе Бородину вели настрою ехать, чтобы живо подавался на переднюю!.. Я вижу, как и, бугай такой, по рошам-то хоронится... Дьяволов племянник!..

Иван Почиталин был направлен Пугачевым: наказом к третьему батальону уральско-заоздского полка, Василий Коновалов — к илецким сотням и к башкирцам с каргалинскими татарами.

Князь Голицын видел, что враг далеко еще не сломлен, силен и опасен. Боясь упустить время, Голицын решил действовать со всей энергией. Он приказал Юрию Бибикову ударить с егерями во фланг пугачевцам, генералу Мансурову перейти с конницей в наступление, генералу Фрейману атаковать мятежников сразу тремя батальонами.

Офицеры и солдаты сражались самоотверженно, Фрейман схватил знамя Второго гренатерского полка и бросился вперед, увлекая за собой остальные войска, в их числе и резервный, последний батальон капитан-поручика Толстого. Впереди этого батальона, почти по грудь в снегу, послешал с обнаженной шпагой сам князь Голицын.

На левом фланге отчаянно бьются с мансуровской конницей казаки атамана Витошнова. Но под напором превосходящих сил казаки пришли в замешательство, ряды их редеют.

— Братья казаки!.. Держись! — кричит с боня изнемогший Витошнов. — Держись!.. Арапов бежит на выручку...

— Ги-ги-ги! — орали скачущие араповцы,

врезаясь в ряды вражеской конницы. Впереди озверевший Илья Арапов, зеленый праздничный чекмень на нем весь изорван, под ним уже третий конь — два коня убиты, — и левая рука его пониже плеча поражена. — Рубай, так их так!.. Ги-ги-ги!..

Витошновцы оправились и вместе с подоспевшими товарищам стали дружно насаждать на неприятельских конников. Вскоре показался со своей потрепанной сотней и Григорий Бородин. Казаки крепче солдат сидели в седле, отважней рубились, ловчее сажали на пика. «Ги-ги-ги!.. Ур-ра!..» Вот кувырнулся щеголь-офицер, вот упало в снег два вахмистра в белых форсистых полушубках с черной выпушкой, казацкие сабли то смертельно ранили солдат, то сносили им головы. Передние ряды кавалеристов впали в робость, растерялись. Но у Мансурова четырнадцать эскадронов — сила!.. Свежие ряды кавалеристов, подбавляемые военачальниками, продолжали с упорством насаждать на казаков, подавляя их численностью.

На правом фланге, верстах в полтора от крепости, шла схватка с егерями Юрия Бибикова. Там старался Андрей Горбатов со своими наполовину конными, наполовину пешими заводскими работниками и беглыми солдатами. Десятка два здоровенных парней из местных жителей, пренебрегая опасностью, наловили оставшихся без седоков вражеских коней и уже в конном строю прикнули к горбатовцам. У них есть ружья, они хорошие стрелки. Егери Бибикова заняли большую березовую рощу и повели наступление цепями. Пешие горбатовцы засели за поваленные давнишней бурей деревья и оттуда стреляли в наступающих.

— Лети, мой пуля, барабаны-палки! — папуствовал свой мягкие выстрелы седоусый солдат-гренадер. Рядом с ним, выгорбив уставшую спину, целился из-за пня гренадер Фаддей Киселев. Он лежал в снегу, вытертая овчинная кацавейка грела плохо. У старика ломпло поясницу, он надрывно кашлял, чихал.

Разделив конников на две части, Горбатов собирался повести их в бой. Приказом Овчинникова сюда подвозили два орудия с запасами картечи и пороха.

Все три генерала действовали теперь уверенно. Им стало ясно, что их силы значительно превосмогают силы плохо вооруженных пугачевцев, что поражение мятежников неизбежно.

Генерал Фрейман с полковым знаменем в руках двигался вперед. Его три батальона, увязая в сугробах, шли убивать безоружных мужиков. Солдаты злы: их подняли чем свет, целый день то вправо, то влево передвигали по нетоптаным снегам; они вконец измотались и к тому же, как собаки, голодны... Но вот им

поднесли по чарке вина и сказали: «Добивайте изменников государыни, получите награждение и — по домам!» Одурманенные на голодный желудок сивухой, пехотные батальоны свирепо перли на крестьян.

— Вперед, братцы! Помни присягу! За мной! — покригивал Фрейман, приостанавливаясь и потрясая знаменем.

Из крестьянской сизо-желтой хмары тоже летели к солдатам черными молниями отчаянные выкрики:

— Солдатушки! Родненькие!.. Одумайтесь... На кого руку поднимаете? На своих же... Хватайте генералов!

А когда солдаты стали приближаться к ним, тысячи мужиков и несколько сот башкирцев с кадыками подняли столь громкий воинственный вопль и гвалт, что пачавшая пальба из пушек казалась жалкой и ничтожной. В солдат облаками полетели гудящие стрелы, они пронзали подбитые куделью казакины и впивались в тело. Солдаты отстреливались из ружей. Наконец враги сблизилась вплотную. Пугачев, видя это, скомандовал яицким: «На конь!»

У крестьян пошли в ход топоры, вилы-тройчатки, железные дубинки. Башкирцы работали с коней саблями и копыями. Солдаты разили их штыками.

Небольшую кучку пожилых крестьян пехотинцы оттеснили от общей схватки, загнали в сугроб. Крестьяне были безоружны: они в драке потеряли даже шапки с рукавицами. Стоя выше пояса в снегу, они ненавидяно смотрели в глаза солдат. Лысый благообразный старик кидал в сторону остановившихся в смущении голицынцев:

— Бога вы забыли, подлецы!.. Глянь, сколь пароду-то положили, каиповы дети!.. Ну, убивайте, убивайте и нас!.. — по щекам, по бороде старика градом капались слезы, он перхал, горбялся, отсмаркивался в снег.

— От обиды плачем! — обливаясь слезами, выкрикнул сухощекый дядя с борожкой клинышком.

— Замолчь! — орал солдат, замахиваясь штыками.

— Мы царю-батюшке помогать набежали. Он, крестьянский заступник, супротив бар идет... — не унимались мужики. — А вы что, बारे, что ли, сукины вы дети?!

Старый солдат с косичкой гаркнул на крестьян:

— А ну вас в дыру!.. Из-за вас вся мутня! Айда в полон!..

— Подь ты к кобыле с полоном-то! — заголосили крестьяне в обиде и злобе. — Краше нам сдохнуть. Бей!

Из крепости пушечная пальба почти смолкла, ядра там были на исходе, но по всему полю гремел гром битвы — крики «ура», разроз-

ные ружейные и пистолетные выстрелы, иступленное гиканье, визг, стоны, ожесточенная ругань, ржанье коней.

6

Три последние сотни яицких казаков двинулись в бой. Впереди, выхватив саблю, — сам Пугачев; возле него серое знамя с восьмиконечным белым крестом. Знамя, как легкое облако, гонимое вихрем битвы, проплывало над полем; под знаменем, подобно вспугнутому орду, носился на сером скакуне Пугачев. Рядом с ним, не отставая от него, — атаман Овчинников, позади — двадцать всадников-богатырей, личная охрана государя, или, как их назвал Пугачев, «черные гусары». Среди них огромный бородатый старик — Пустобаев.

С пылавшим, каким-то отрешенным взором Емельян Иваныч бросался во все места жестокого побоища, всюду выкрикивал слова воодушевления. Он видел, что армия его, невзирая на всю свою отвагу, отходит к стенам крепости. Он знал, что многие из его воинства имели против вражеских ружей — топоры, протыки пистолетов и сабель — кулаки да палки. А когда враг докатится до крепости на пушечный выстрел, у него, Пугачева, пожалуй, не будет ни пороху, ни ядер.

Емельян Иваныч скорбит. Меж его высокими вскинутыми бровями врубилась складка, и мучительно сжимается, не переставая ноет сердце. Но... ему ли падать духом?! И вот его взор снова зажигается надеждой.

Все притомились — люди и лошади, пугачевцы и голицынцы; притомилось-устало и солнце: закрывшись тучей, оно склонялось к горизонту.

Ведущий наступление генерал Мансуров предпринял коварный шаг: два эскадрона он послал на плечую дорогу, двум сотням чугуевских казаков и двум эскадронам бахмутских гусар приказал занять большой оренбургский тракт, дабы отрезать пугачевцам отступление. В напутствие своему отряду генерал Мансуров сказал:

— Ежели вам этот маневр удастся, Пугачеву вживе не уйти от нас.

Гусары и чугуевцы начали неспеша отгибать город и крепость, но глубокие сугробы сильно препятствовали их действиям.

Овчинников, заметив это движение врага тревожно сказал Пугачеву:

— Видишь, батюшка?

— Вижу, — ответил Пугачев и тяжело, рывком, вздохнул. — Что делать, Афанасьич?

— Нам воевать, а тебе скрываться, батюшка! А то, не дай боже, как бы в лапы тебе и ним не угодить. Я навстречь им кину сотенки полторы яицких да толпынку башкирскую

гуской задержат ворога на часок. А покамест дорога свободна, батюшка...

— Как можно, Афанасьич,— насупясь, прервал его Пугачев.— На то нет моего согласия, чтобы сповинуть армию...

— Не перечь, твое величество! — взбросив горбоносое лицо, уже сердито проговорил Овчинников. (Дальнейшее объяснение между главным атаманом и Емельяном Пугачевым шло на обоюдном, все возрастающем крике.) Не перечь! Послушайся меня! Худого советовать не стану.

Пугачев ударил себя в грудь:

— Да я лучше лютую смерть приму, лишь бы вместе с народом!

— Брось, батюшка! Не проводи время! Беги, пока не поздно!

— Сам беги!..

— Брось!.. Нас-то таких много, а ты — царь! Пожалей себя и нас!

— Себя мне не жалко!

— Дело пожалей.

От сильного душевного смятения в лице Емельяна Иваныча подергивались мускулы и непроизвольно взморгнул правый глаз.

Умысел генерала Мансурова подметили и многие из пугачевцев. По два, по три, а то и в одиночку, они скакали на конях и бежали пешими с разных мест к государеву знамени.

— Батюшка, втикай! — задышливо кричали люди, указывая на пробирающихся к дорогам мансуровских всадников. — Глянь, дорога-то! Уходи, отец наш, уходи!

И вот толпа набежавших людей окружила Пугачева. И все в один голос:

— Скрывайся, батюшка! Сохраняй себя, государь великий!

И к Овчинникову:

— Уйми, атаман, тех дьяволов-то, не лезти бы на дороги!

— А нешто не видите? — И атаман Овчинников махнул с коня рукой в сторону спешившего напересеке мансуровцам отряда яицких казаков и башкирцев. Впереди скакал на рыжей лошади атаман Арапов.

— Детушки! — во всю грудь взголосоил Пугачев. — У меня умысел был положен: либо побить всех изменников, либо с народом смерть принять.

— Ой, што ты, што ты! Тебе ли погибать?! Не сироти нас! — закричали в народе.

Пугачев опустил голову, и все вокруг, оживая, замерло.

— Будь по вашему, детушки, — наконец, проговорил он глухо. — Я вашей воли не ослушник... Поспешайте же и вы всяк в свое место, — продолжал он, и широкая грудь его надсадно задышала.

Когда народ отхлынул, Пугачев обратился к Овчинникову:

— Прощай, Афанасьич! И ты не зевай. Коль скоро катькины войска будут наступать с горячностью, доразу и ты втикай... всем гамузом. Да в крепость запирайтесь, там и стойте до послела!..

Он обнялись и, под несомлаемые шумы сражения, по-братски расцеловались.

Битва шла теперь все более убыстряющимся потоком. Овчинников предвидел скорую развязку. Он приказал распахнуть крепостные ворота, и ближайšie к валу пугачевцы уже начали втягиваться в крепость, другие же отхлынули к городским постройкам.

...По дороге к Оренбургу скакали во весь опор всадники. С Пугачевым ехали: Почиталин, Коновалов, шурин Пугачева — Кузнецов, ослабевший в бою старик Витошнов, Пустобаев, Ермилка и незаметно примазавшийся Григорий Бородин. Вслед им мчалась полусотня чугуевцев, гикая и стреляя. Одна пуля на излете угодила в плечо Пугачеву, но, под его чекменем падет железный башкирский панцырь. Бородач Пустобаев, видя, что Пугачев схватился за плечо, зычно пробасил ему:

— Батюшка, скачи! А мы чуток отстанем да острастку вору дадим.

Пугачев ударил коня плетью, а сопровождавшие его приостановились и, укрывшись за деревьями, приготовились к защите. Но притомившаяся, на измученных лошадях, погоня, проскакав версты четыре, преследование прекратила. Чугуевцы повернули назад, а пятеро из них, подняв ружья кверху и звонко голоса, устремились к выехавшим на дорогу пугачевцам.

— Не стреляйте! — голосили они. — Мы с поклоном к государю.

И всей гурьбой, радостные, поскакали вслед за Пугачевым.

А когда начало темнеть и утомленные, проголодавшиеся путники принуждены были позаботиться о пристанище, Коновалов сказал:

— Эвот в той рошце, недалечко от трахту, умет¹ есть. А содержит его оброчный крестьянин, старик Фома.

Иван Почиталин тотчас поскакал в умет для наведения там порядка. Остальные, чтоб дать коням роздых, поехали шагом.

Емельян Иваныч оо всеми ласково беседовал. Только на Григория Бородина — ни малейшего внимания. Впрочем, ему соблазнительно было спросить казака: «Пошто, мол, ты, этакий детина, не остался в крепости?» — Но он воздержался от вопроса, опасаясь, что Гришуха, подобно Митьке Лысову, чего доброго, внятыр пойдет да скажет: «А ты, мол, сам пошто из крепости-то сбежал?» И еще у Пугачева был соблазн: послать своего шурина

¹ Умет — постоянный двор.

Егора Кузнецова в Яицкий городок за голубкой осиротевшей, за великой государыней Устиней. «Нет, не под стать мне оные неподобные думки, да еще в этокое время», — упрекнул сам себя Емельян Иваныч.

Между тем правительственные войска, окружив крепость, лежали на обледенелый вал со всех сторон. Вдоль вала шла резня. Солнце давно село, наступили сумерки, а крепость еще держалась. Гренадеры и владимирцы ворвались в крепость первыми. Кавалерия, преследуя отступавших, проникла в Татищеву тремя въездами. Большая часть пугачевцев, после сильной перепалки, успела из крепости вырваться. Отступая, они вели упорный бой на илецкой дороге, противу команды Юрия Бибикова. Те, что остались в Татищевой крепости, защищались от ворвавшихся голицынцев с отчаянным ожесточением.

Войска Голицына преследовали отступавших. Атаман Овчинников с частью своих сил ушел в Илецкий городок, остальная толпа побежала бездорожной степью в сторону Перволоцкой крепости. Потери пугачевцев были очень велики. В плен попало около трехсот илецких и илецких казаков и более двух тысяч плохо обученных военному делу крестьян, башкир, татар, калмыков.

Потери правительственных войск тоже были значительны: три офицера и сто тридцать восемь солдат убито, девятнадцать офицеров и четыреста семнадцать солдат тяжело ранено.

...Вконец истоптанное поле битвы было пусто. Лишь играли на нем две прибежавших из Татищевой сытые собаки. Одна, черная, с торчащими ушами, схватила валяющуюся шапку и помчалась прочь, все время косясь через плечо — гонится ли за ней лохматый, рыжий, хвост кренделем, приятель. Тот догнал, на бегу вцепился в ту же шапку, и вот оба бегут рядом, как в дышлах кони. Враз бросили поноску — человеческая голова лежит! Наскоро полизали застывшую кровь на разрубленной шее, лизнули в нос, в бороду, в полужакрытые глаза. И снова — обе к шапке. Схватили, и каждая тянет шапку в свою сторону, упруго приседа на задние лапы, улыбочиво поглядывая друг дружке в зеленоватые глаза и незлобно урча.

Когда же спустилась сутемень, из рощи, из перелесков прокрались на место побоища хозяйственные мужички, весь день махавшие топорами и вилами на этом поле. Этаким изъят учинился им!. Андрон топор потерял да самодельный нож, Ванюха — железный штырь с набалдашником да кожаные голицы, Вавила — топор да шапку, Митрий — новый кушак с кистями.

В небе каленые звезды крепли, всходила лу-

на. Вправо темнела крепость. Из-за вала маячили отблески костров. Доносились к мужикам отдельные выкрики, звяк котлов. Вот ударил, рассыпался мелкой дробью барабан, затем не надолго — тишина, и, нарушая ее, полилось во все стороны Голицынегрудое пение вечерней молитвы: войска Голицына наполнились, наелись, готовились ко сну.

Крестьяне, их десятка два, ползали по снегу, выскивали нужное: топоры, шапки, ружья, пистолеты, ружья.

— В домашности все сгодится... Аркан? Давай аркан... Седла-то, седла с уздечками снимай с палых лошадей. Седла да ружья с пистолетами парю-батюшке пойдут. Ему, ему поклонимся!.. Поди, сыщем его, падежу-государя, страдальца...

В иных местах крестьяне, крихтя и карачась на снегу, проворно переобувались: подобранные добротные валенки надевали на свои помороженные, в лаптишках, ноги.

— Ну, мужики, возше добра-то!.. А как дотащим?.. Мотри, пымают, — головы осекут!..

— Ни хрена не пымают!.. Дрыхнут! И солдатня и начальники. Притомились все...

— Глянь! На коне кто-то бежит. Втикай, робя! Пропали мы... — И крестьяне стадом бросились к оврагу.

— Стой, стой!.. — кричал, постигая их, всадник. — Не страшитесь, православные, это я, Максим!.. Ужли не признали?.. Я — Максим Обаккин!..

— Макся, ты?

— А кто же? — прохрипел всадник. — Ну, робя, молись богу, господь-батюшка нам милости послал! Полдюжины коней из крепости в рошу прибежали, там сено в стогах. Лошадь-то, должно, еще днем сено-то заприметили, как бой был... У лошадей-то, чуешь, память дужее, чем у кошек... Во!

Шестеро крестьян, прытко взягивая, бежали к роше.

...На следующий день Голицын распорядился отслужить панихиду на могилах коменданта Елагина, его жены и бригадира Билова. В их память прогремел пушечный салют.

В числе четырех приговоренных к казни пугачевцев был повешен и старый дядька Шванвича — солдат-гренадер Фаддей Киселев. Он сам вызвался следовать из Берды за «батюшкой» в Татищевскую крепость и там нашел себе могилу.

К генерал-аншефу Бибикову и в Петербург поскакали курьеры с донесением князя Голицына о полной победе над Пугачевым.

7

На постоялом дворе, куда подъехали путники, оказалось немало нагруженных скарбом подвод да с десяток верховых коней. Седла

сложены в вучу, покрыты дерюгой. С полсотни было людей — пожилых и молодежи. Все они из дальних деревень устремлялись к Берду, к «батюшке».

Когда узналось, что сам батюшка приближается, народ всколыхнулся:

— Государь!

А вот и он сам. Крестьяне опустились на колени, вышел с непокрытой головой и старик Фома, хозяин умета, с ним трое бородачей — это сыны.

— Встаньте, детушки! — сказал Пугачев томленным голосом. — Кто такие? И куда правите путь?

— К тебе, отец наш, к тебе, належа-государь!.. — загалдели, подымаясь, крестьяне.

— Спасибо, детушки! Я в люях немалую зуждищу имею. Вот генералы царицны надеждоу на меня. Крушат мою силу-то. Чаю, п хосейчас под Татишевой бой идет. А я за подкреплением в Берду спешу.

— Не тужи, батюшка, не печалуйся, осуздарь великой, — заговорили в толне крестьян. — Нашей мужицкой силужки будет при тебе, свет наш, сколь хощь. Так уж ты не крутишься, свет!

— Благодарствую... Не ради себя, ради вас, кир людской, радею, — растроганно сказал Пугачев. — Ну, здорово, дедушка Фома! — обратился он к кивавшему лысой головой хозяину умета. — Вот приехали погостевать к тебе. Дай, тар человек, приют нам.

— Батюшка, отец наш! — закричал, от прилива чувств скосоротился старик. — Все для вашей милости и для слуг твоих стоготовено... Не обессуди!..

Уж из трубы дым валил, в печке потрескивали поленья, две хозяйки стряпали в обширной избе ужин.

— Ты, как поснедаешь, твое величество, — обращаясь к Пугачеву, сказал пожилой вожак артели, — ложись с богом на спокую. А уж мою милость постережем. Животы положим за тебя. Уж ты поверь, с тем шлю. Мы, ведаешь, из лесов сами-то, звероловы, ружьишки с собой прихватили, вот и две собачонки-медвежатницы. Эй, Андриуха! — закричал он, огляывая сквозь густые сумерки толпу крестьян. — Отбери-ка поскоренча с десяток наших, зои подожее, да айда за мной к сколице. Ребята! Оружайся! Векегы выставим, всю ночь караул держать будем. Да парочку верхних коней, еще Волчка с Шариком. В случае чего — примчим, шум подыдем!.. Сами не дозрим — псы учухают.

— Где, старинушка, ногу-то потерял? — спросил Пугачев ядреного, брюхатенького, на хервянной ноге деда.

— В прусскую компанию, ваше величество! Бывший лизаветинский солдат.

— Под Кенигсбергом был?

— Бог сподобил, ваше величество! А при корпусе графа Румянцева, как брали крепость Кольберг, поженька моя обманула меня, похарчилась, ядром сразило...

— Так неужели и ты ко мне, против супостатов собрался?

— Этак, этак, ваше величество!.. Да ведь на коне-то я управный. Из ружья могу, а нет таб и шикой чекалдыхну! — И низкорослый дед оправил под тугим животом кушак.

— Ведь он, батюшка, паронщик, пароны снимает, — заголосили обступившие царя крестьяне.

— Какой такой паронщик? Не слыхивал, — сказал Пугачев.

— Да я, ваше величество, кровь останавливаю да от ран лечу, стреляных да рубленых. Сего ради зовусь — паронщик. И заговаривать могу. От пули, от картечи, от ядра...

— А пошто же себя не заговорил? — улыбнулся Пугачев.

— Да, чуешь, заговор-то спознал я опосля ноги поврежденья, ваше величество...

— Ну, послужи, послужи мне, старина!

Когда Емельян Иваныч слезал с коня, его бережно подхватили под руки.

— Ой, надежа, поди поженьки-то затекли у царского величества?..

— Ништо, други мой, ништо! Я привычен. Послужите мне, детушки, — при земле будете да во счастья.

— Люб ты нам, надежа! — закричали мужики срывающимися голосами. — Простой ты, ваше величество, свой! — шумели они, гурьбой провожая батюшку до дверей в избу.

Во дворе зажгли костры. Приготовились караул держать всю ночь.

Емельян Иваныч долго не мог после ужина заснуть. На него, как пуганые птицы на приманку, спускались сны и тотчас отлетали, опять опускались и вспархивали вновь. В его взбудораженном мозгу одна за другой возникали только что пережитые сцены боя. В полубредовом состоянии он вдруг встряхивался, кричал: «Детушки, грудью, грудью!» — и приходил в сознание. Его сердце переполнялось кровью, в ушах гремели раскаты пушечной пальбы, перед закрытыми глазами скакали всадники, бежали, валились люди... Так неужто же всему конец? Непереносимая тоска опрокинулась на него, он застонал, поднялся с кровати и, выставив вперед руки, пошгал чрез тьму к слабо освещенному извне окну.

Оборона Уфы. «Чиновная ярыжка»
Берда встревожена. Хлопуша идет за
кандалами.

1

Связь наполовину промерзшее стекло заглянуло во двор. Два костра, возле них крестьяне: сидят, балакают, попыхивают трубками. «Караулят меня, государя», — подумал Емельян Иванов и вдруг почувствовал, что тяжесть сваливается с его сердца.

«Нет, врешь! Погодите-ка, Голицыны-Рукавицыны!.. Мы еще побарахтаемся!» — произнес он вслух и широко заулыбался.

Вот этого главного, этого основного у Емельяна Пугачева — «побарахтаемся!» — недооценили ни правящий Петербург, ни даже сам генерал-аншеф Бибииков. «Точно жорнов с сердца свалился», — писал он жене в день получения известия о победе под Татищевой. А князю Волконскому, в Москву, Бибииков писал: «Теперь я почти могу ваше сиятельство с обончанием всех беспокойств поздравить, ибо только одно главное затруднение и было, но оно теперь преодолено, и мы будем час от часу ближе к тишине и покою».

В свою очередь, князь Волконский спешил поздравить Екатерину: «Я обрадован, что злодей Пугачев с его воровскою толпой князем П. М. Голицыным совершенно разбит и что оно, внутреннее беспокойство, которое столь много ваме милосердие матерно сердце трогало, ко концу почти пришло, прищому всенижайшее и всеусерднейшее поздравление».

Радостное известие это Екатерина прочла рано утром, еще в папилютках, чепце и пеньюаре.

— Браво, брависсимо! — воскликнула она. — Стало быть, инсurreкции конец! Конец пугачевскому безумству! C'est fini!..

На имя Екатерины тотчас посыпались поздравления, и она сама спешила поделиться этой радостной вестью со своими близкими. В одном из своих писем она говорила, что после дела под Татищевой «гордящиеся сим разбоем ненавистники наши поубавят свое ликование». В адрес таких «ненавистников» в коллегии иностранных дел уже сочинялась графом Никитой Паниным для гамбургских газет особая статья о победе под Оренбургом. Послы и посланники европейских держав спешили известить свои правительства. Так, сэр Роберт Гупнинг писал 8 апреля графу Суффольку: «Вчера от генерала Бибиикова приехал курьер и привез весьма приятное известие об окончательном подавлении мятежа, вследствие совершенной победы, рассеявшей все мятежное войско».

Однако ближайшие события показали, что взбаламученное народное море еще долго будет шуметь и волноваться.

Говорят, сердце сердцу весть подает. А во сердце Устиньи не почувало, что с ее венчанным супругом приключилась сущая беда. Она все еще томилась новизной своего необычного положения, наслаждалась сытой жизнью и тем непривычным вниманием, которым была окружена. Но она все же продолжала скорбеть и тосковать, как тоскует вольная птица, посаженная в золотую клетку. Где ты, красная девичья воля, где душевный покой, где ты юная казачка Устя, песенница и первая плясунья?

Просыпается она поздно, и белоснежная наволочка на ее подушке почасту мокра от слез. Одеваться помогают ей «фрейлины», обращаются к ней: «ваше величество». Такое титулование ей было сначала смешно, — она снисходительно улыбалась; затем вызывало раздражение: Устинья хмурила тонкие брови; теперь она стала привыкать, как привыкает человек к обидной кличке.

Сегодня одно платье, а завтра другое; сегодня — утренний чай с малиновым вареньем и жареными в масле пышками, завтра — с янтарным медом и пирожками с осетриной, рысом, яйцами. Щеки Устиньи начали кругленькие движения отяжелели, молодое тело расслабилось в непривычной, вынужденной лени.

Ее отец Петр Кузнецов, Михайло Толкачев и Денис Пьянов — «стражи ближние ее здоровья» — жили в том же доме, внизу. Там же помещался и гуслиар-слепец Дерябин. Поднимались они наверх только по зову, и к обеду Устинья их не приглашала. С нею обедали лишь фрейлины и главная распорядительница. Аक्सинья Толкачиха. Обеды были обильные, с вином и сладостями. Внизу тоже кормились неплохо: баба Толкачиха, заботясь о своем муженьке Михайле, тащила туда жареным и пареным. Денис Пьянов со слепым Дерябиным всегда были под хмельком.

Степенный Петр Кузнецов тосковал по дочери, он иногда заходил к ней без приглашения и не знал, как вести себя с «великой государыней». Ежели был у нее народ, он отзывала отца в спальню, кидалась ему на шею, жарко выдыхала: «Батюшка, родимый батюшка», — и тихо плакала. Он всячески старался подбодрить ее, успокоить; неискренние не от сердца, а от фальши, роняя ненужные ей слова: «Это господь вознес тебя на такую высь... Шутка ли — царица!» Она выслуши-

мать отца молча, сквозь слезы смотрела на него скорбными глазами, говоря: «Да ведь тому счастью, батюшка, конец виден... Чует сердце-то...» — «Ничто, дитяток, ничто, — гешал ее отец, и глаза его тоже увлажнялись. — Молись богу, пуще молись, вот и во чатье будешь. Да ведь о твоём здравии царём и по церквям полы богомолествуют. По-ид, скучаешь о государе-то своем?» — «Ску-зая», — помолчав и повертывая голову к ок-ну, раздумчиво отвечала Устинья. Отец, при-тально посмотрев на нее, вздыхал и говорил: «Вишь в какой холе содержится государыню-вою... Эвот платьище-то какое!» — «Это на-зывается — фишмы; китовый ус подоткнут с-запода-то, — вишь, как топорщится». — «Бо-гатства у тебя много, семь сундуков у нас вну-зу», — «Так ведь они запечатаны, государь не приказывал их трогать». — «Часто ли пишешь государю-то?» — «Часто. Ведь я у дьячка Па-тамоныча училась грамоте-то, сам ты знаешь. Хошь и коряво, а выходит. И оставлены мне записушкой формы, как подписываться: «Пари-на и государыня Устинья». Старик опять кра-лучше вздыхал, смотрел на дочь с великим сожалением, затем осенял себя крестом и, улыбаясь, говорил: «Взыскал нас своей ми-лостью господь праведный... Экое счастье при-валило!»

Каждое утро приходит к Устинье атаман Каргин, чтоб рапортовать государыне о со-стоянии постов и вообще о разных «казен-ных» делах-делишках. Иногда он или его по-мощники спрашивают ее приказаний. Она машет на них рукой, говорит:

— Уж это как хотите, так и делайте. Мне то ваших делов никакой нужды нет. Коли сам не умеете, шлите гонца к государю, он вас направит.

Она сидит, они стоят навтытяжку.

По воскресеньям и в другие праздничные дни приходит к ней на поклон с поздравлением все начальство. Благочестивый атаман Каргин, кланяясь, кладет возле нее на стол про-свирку:

— За драгоценное ваше оздравие подавал я, ваше величество, — говорит он, снова отвши-вая поклонны.

Кивком головы она благодарит его и допу-скает поздравителей к целованию руки. Она сидит в точеном кресле и не приглашает го-стей садиться. Она приказывает Толкачихе поднести им по стакану вина. Они выпивают, кланяются и уходят.

Когда она появляется с Толкачихой и фрей-ливами на улицу, дежурный вслух выкрики-вает честь — приветствие, а почетная, возле полосатой будки, стража делает ружьями уста-новленный артикул. Государыня милостиво рас-кланивается с бравыми молодцами и садится в

сани, чтоб из улицы в улицу проехаться по городку.

Грачи прилетели. Солнышко. Веспа идет. Радоваться бы! Но у государыни Устинья го-лова огузла от дум. Едет она из улицы в ули-цу, отвечает встречным на поклоны. «Эх, Да-ши нет, прокатилась бы с нею, умным словеч-ком перемолвилась бы, — думает она. — Не-счастливая Даша... Государь сказывал мне, что Николаева твоего убили. Нет, ты счастливая, ты найдешь себе по душе другого. А вот я — как птица в клетке. Придет кот, взломает клет-ку и... прощай жизнь! Может, Симонов, мо-жет, Рейндорп или другой какой... Да заког-тят они и государя моего...»

— Поворачивай лошадок, Васенька, до-вольно, накаталась!

Иногда по ее зову собираются к ней девуш-ки поиграть, повеселиться. Они одеты в луч-шие наряды, Устинья надевает аметистовые бусы, жемчужные серьги, дорогие кольца. Са-моцветы искрятся переливными огоньками, как под морозною луною снег. Девушки ведут се-бя стеснительно, жеманно. Говорят вполголоса, или шепчутся, а сами не спускают умильно улыбочивых, но завидующих глаз с этой Устиньи Кузнечихи, что вознеслась над ними, что уве-шила себя разноцветными камнями да рас-фуфырилась, как пава!

Но вот подают вина, подают сладости. Де-вушки пьют, языки их развязываются, ноги просекаются в пляс. Призывают слепца-гуслира, зачинается веселье. И чем больше выпито ви-на, тем угарней становится пирушка. А когда в теплых сенцах кукарекают третьи петухи, все пьяным-пьяно. Пьяна и государыня. Воз-ле нее сгрудились подгулявшие казачки. Они стараются обнять ее за шею, ластятся к ней, как котята к кошке, другие ползают в ногах, целуют колени, третьи норовят ехидно ущип-нуть ее, якобы шупая добротность платья. И все наперебой уже не «ваше величество», а:

— Устя! Слышь, Устинья!.. Подруженька наша... Высоко залетела ты. Эх, загордилася девка! А ты нос-то не больно задирай...

Устинья вдруг вся наливается гневом, опп-раясь о ручки кресла, вскакивает, прикусыв-вает побелевшие губы, с силой топает золотом туфелькою в пол и, сверкая обозленными гла-зами, кричит:

— Подите прочь! Вон! Все вон!

Становится тихо и безлюдно, лишь свечи горят да, капелька по капельке, булькает из рукомойника вода в лохань. Одинокая Устинья срывает с себя дорогие бусы, валится возле стола на колени, взбрасывает локти на сто-лешницу, стискивает ладонями голову и раз-ражается жалобным громким плачем.

Толкачиха выглядывает из-за двери и стра-шится войти, чтоб ее утешить.

Одновременно с боями под Татищевой, под Кунгуром и Челябинском завязались большие дела и под Уфой, у Зарубина-Чики,— наступление правительственных войск шло по широкому фронту.

Мы уже видели, что нападение на Уфу, предпринятое «графом Чернышевым» 23 декабря 1773 года, ни к чему не привело: город уметь обороняться.

На освобождение Уфы был направлен из Казани шеф дворянского корпуса генерал-майор Ларпонов (родственный главнокомандующего Бибикова). Этот старый щеголь, хотя и «воспаленный ревностью и примером патриотических чувств дворянства», был человек ленистый и трусливый. Он возил за собой сундук с костюмами и раза по три в день менял всяких фасонов куртки.

Испуганный известием, что Нагайбак снова захвачен пугачевцами, Ларпонов с прямой дороги на Уфу свернул в Бугульму, здесь усилил свой корпус людьми и пушками, а 28 февраля 1774 года прибыл в селение Акташ, откуда донес Бибикову, что мятежники, услышав о его движении, в страхе разбежались.

Отдохнув в Акташе, генерал Ларпонов не спеша двинулся к Нагайбаку и занял его. Мятежники тем временем отступили к Стерлитамаку и Бакалам. Ларпонов выступил было на выручку Бакалов, но, испугавшись глубоких снегов и пугачевских партизан, вернулся обратно. В ту же ночь он все-таки пошел освобождать Стерлитамак, где засели пять башкирских старшин с большой толпой. Башкирцы от Стерлитамака были отогнаны. Ларпонов получил известие, что на подкрепление мятежников Зарубин-Чика выслал из Уфы новый отряд башкирцев. Генерал Ларпонов утраиваясь этого известия, спешно ушел в Нагайбак, а затем перекочевал в Бакалы, как в более безопасное место.

Прошло полтора месяца, как Ларпонов выступил из Казани на освобождение Уфы, но Уфа еще долго не могла получить от него никакой помощи. А. И. Бибиков, весьма недовольный медлительностью Ларпонова, писал: «За грехи мои навязался мне братец мой генерал Ларпонов, сам вызвался командовать особым detachmentом, а теперь с места сдвинуть не могу». Бибиков крайне был обрадован, вскоре получив от Ларпонова письменную просьбу об отставке.

К этому времени прибыл в Казань Санкт-Петербургский карабинерный полк, в котором находился долгожданый Бибиковым подполковник Иван Иванович Михельсон. Этого деятельного храброго вояку Бибиков и определил вместо Ларпонова, с приказанием освободить Уфу. Бибиков 10 марта писал состоявшему в секретной комиссии капитану Лунину: «Дво-

рянского шефа Ларпонова принужден переменить со всеми его куртками, а послать Михельсона. Упегал меня сей храбрый герой Ларпонов: не мог с места целый месяц двинуться».

Город Уфа, обложенный со всех сторон пугачевцами, расположен в гористой, обрывистой местности. Лед на реке Белой, обтекающей Уфу, был вырублен, свободное течение реки значительно способствовало защите города. Вокруг Уфы были построены четыре земляных батареи: на реке Белой — для обстрела Оренбургского тракта; на Усольской сопке, на кладбище, — для обороны доступов со стороны сибирской дороги; и на горе, над рекой Белой, — для обстреливания трех улиц. А пятая батарея, из четырех орудий, была подвижная — для усиления, в случае надобности, мест угрожаемых. Город разбит на участки, охраняемые вооруженными гражданами.

Душою обороны были: комендант города полковник Мясоедов, воевода Борисов и прибывший в Уфу из Ростова Великого купец Иван Игнатьевич Дюков.

Купцу всего двадцать три года. По своему уму, деловитости, трезвому уменью разбираться в событиях, он был прямой противоположностью придурковатого чудодея Полуехтова, подвизавшегося в Оренбурге. Дюков — невысокого роста, мускулистый; простое щекастое, с густым румянцем, лицо его чисто выбрито, большие серые глаза то строгие, то улыбки, голос крепкий: купец крикнет на шумную толпу — и сразу тишина. Видя в молодце характер стойкий, люди ему с охотой подчиняются.

— Глянь, по годам он парнишка, а ума у него — не баран ячхал!

Мещанство и купечество выбрало Дюкова своим предводителем. А съехавшееся из поместий многочисленное дворянство, составив из себя ополчение, избрало своим начальником отставного майора Пекарского. Прочими силами — гарнизонною ротой, казаками и крестьянами окрестных сел, сбежавшимися под защиту города, — командовал капитан Пастухов. Общее число защитников было до шестнадцати тысяч человек при сорока орудиях.

В начале осады башкирцы не решались брать город силой и потому вели непрерывные переговоры с уфимским начальством.

— Передай воеводе, — говорили башкирские старшины купцу Дюкову, — чтоб он не противился законному государю. Ежели добровольно не сдадите город, все жители до одного человека будут перебиты.

Дюков, раскурив трубку, стал дружелюбно

передавать ее для затяжки старшинам. Затем повел с ними хитрый разговор.

— Мы с начальством совещаемся каждый день,— начал он.— Мы сами видим: городу не устоять,— людей у нас мало, оружия с порохом мало да и хлеба недостаточно. А вот ничего с народом поделать не можем, народ хочет защищаться. Ежели угрожать жителям, чтобы сдавались,— бунт подымется, людьми же начальство перевернут. А надо выждать: может статься, воевода с комендантом как-либо и договорятся с ними сдать город.

Сбитые с толку депутаты помолчали. Один из них, уральский работный человек Сизов, недоверчиво прищурившись на румяного, как анисовое яблоко, купца, сказал:

— По указу его величества Петра Федорыча, дается вам срок три дня. Страхитесь государева гнева!—выкрикнул он, затаившись трубкой, передал ее Дюкову и в упор спросил его:—А ты, умная голова, тоже не из командиров ли?

— Нет,— утаив правду, ответил молодой купец и снял пыжиковую с наушниками шапку.— Я ныне только временный следат всемилостивой государыни нашей Екатерины Алексеевны, исполняю волю начальства, как совесть и присяга повелевают.

— В таком разе ступай, умная голова, да перескажи начальству, что слышал от нас, да и жителям толкуй, особливо казакам, что де тяжкий грех подымать руку на законного государя, что-де бог и царь их накажут.

По возвращении Дюкова был собран на базарной площади народ. Воевода Борисов приказал Дюкову сообщить толпе о своих переговорах. Затем воевода спросил горожан:

— Что же, православные, защищаться или сдавать город злодеям-клятвонарушителям?

— Защищаться! Ур-ра! Веди нас, воевода, супротив злодеев!.. Мы рады стоять за веру, государыню, отечество!..—вразногласицу кричала толпа.

Однако среди населения было много сторонников царя-батюшки. Пугачевские манифесты и указы, поступавшие от мятежников, тайно расклеивались жителями на воротах, домах, даже церквях. Для прекращения подобных публикаций было объявлено, что за принятие, хранение или расклейку «воровских листов» — виновным смертная казнь. Вскоре были схвачены с «воровскими листами» двое и публично повешены.

2

«Граф Чернышев» (Чика) появился в Чесноковке, как уже известно, в начале зимы. После нескольких неудачных наступлений на Уфу он всюду стал рассылать приказы, чтоб

все способные носить оружие собирались в его ставку. В течение нескольких дней стеклось в Чесноковку до двадцати тысяч мятежного населения. Это были главным образом плохо вооруженные башкирцы, отчасти татары, а также помещичьи безоружные крестьяне.

С этими силами Чика-Зарубин 23 декабря двинулся чем свет на Уфу и открыл канонаду из 23 пушек. Городские батареи метко отстреливались.

Чика заметил, что на окраине города, у выхода Усольской улицы мало защитников. Тогда, его распоряжением, через реку Белую мятежники переправили два орудия, втащили их на гору и открыли огонь по городу. От обстрела страдали городские строения, были человеческие жертвы, но захватить эту опасную батарею не удавалось у защитников сил. Отставной вахмистр из дворян, Дмитрий Анничков, с двадцатью вооруженными людьми умело обошел батарею и стал стрелять в тыл пугачевцам. Прислуга при батарее была частью перебита, частью бежала. Анничков, захватив обе вражеские пушки, повернул их и начал осыпая бегущих картечью. В погоню за отступавшими была брошена из города партия конников, успевшая захватить пленных. Победители, с двумя орудиями противника, вернулись в Уфу. К трем часам дня вся остальная толпа Зарубина-Чики была отогнана от города.

25 декабря, в день рождества, было после обедни торжественное молебствие. Купечество, дворяне и люди зажиточные устроили защитникам праздничное угощение. От казны было отпущено пять бочек вина. Многие взяли к себе в дом вооруженных людей «к сделанию с приятелями веселого времени».

Ровно месяц спустя Зарубин-Чика с двенадцатитысячной армией предпринял новый штурм города. С колоколен раздались звуки пабата. Призванные к оружию защитники заняли свои места. Купец Дюков и начальство сели на коней. Обе стороны открыли артиллерийский огонь. Полковник Губанов из армии Чики прорвался было со своим полком на Сибирскую улицу, но был оттуда прогнан. А сам «граф Чернышев» направился опять на ту же улицу Усольскую и, расположившись на горе, командовал боем.

В эту необычайно снежную зиму сугробы лежали в Уфе выше заборов. Татары с башкирцами под командой своих старшин двинулись вдоль улицы. Они были вооружены преимущественно луками, копьями, закомелстыми дубинками и топорами. Меткие пули защитников разили их насмерть. Сугробы задерживали путь; нападающие, увязая в снегу, подвигались вперед медленно. Купец Дюков с отставным капитаном Лодыгиным, прихватив с собою

человек тридцать хорошо обученных мещан, зашли атакующим в тыл и открыли ружейный огонь. Татары с башкирцами дрогнули. Им на выручку бросился Чига с удалцами. Он — в белом полушубке, под полушубком железная кольчуга.

— Не поддавайся, братцы! — кричал он с коня; потемневшее лицо его грозно, зубы оскалены. — Ура, ура! Бей их!

— Алла-а-а... Алла-а-а! — вопили татары с башкирцами, пуская меткие стрелы и стреляя из ружей.

В пылу схватки капрал Лодыгин налетел с обнаженным тесаком на Зарубина-Чика, тот выстрелил в нападавшего из пистолета, но пистолет дал осечку. Тогда Чика выхватил саблю и, отбив смертельный удар тесака, срубил Лодыгину голову. Команда убитого стала разбегаться. В это время купец Дюков примчался с подвижной батареей, и все четыре орудия, одно за другим, ударили картечью в густую толпу атакующих.

— Не робей, братцы-товарищи! Вперед, вперед! — громко выкрикивал Чика, сверкая отточенной саблей. Но смертельно раненный конь его рухнул вместе со всадником.

На упавшего Чика было бросился разгорячившийся Дюков с зазорным криком: «Хватай его, ребята!» Однако его лошадь тотчас провалилась в сугроб по брюхо.

Зарубин-Чика успел вскочить на другого коня и, смяв окруживших его мещан, умчался. За ним двинулась вся его большая толпа.

Отступление было тяжелое. Люди вязли в сугробах, их расстреливали, кололи, рубили.

Эта неудача обомшала Чике-Зарубину не особенно дорого, он потерял всего лишь двести пятьдесят человек убитыми и около сотни пленными.

На следующий день состоялись в Уфе торжественные похороны при Смоленском соборе капрала Лодыгина и десяти погибших защитников.

Для офицеров и начальства комендант полковник Мясоедов устроил обед. Провозглашались тосты, произносились патристические речи. Очередь дошла до купца Дюкова. Он долго отказывался, отбивался руками и выкрикивал: «Что вы, господа почтенные, куды мне!». Затем встал, окинул гостей вдумчивым взглядом, опустил голову и в замешательстве принялся чертить на скатерти указательным пальцем. Наконец, овладев собой, сказал:

— Мы люди простые, торговые, известное дело, к такой господской компании не приобьикли. Мы — как собаки: все понимаем, а говорить не можем...

— Вы можете! — поощрил молодого купца Мясоедов, оправляя георгиевский офицерский крест на груди. — Вы умная голова... Вас и на-

род так зовут: умная голова... Продолжайте, голубчик Иван Игнатъич...

Дюков еще более раскраснелся, исподлобья взглянул в седоусое лицо Мясоедова, стал в волнении катать из хлеба шарик. Гости, прервав еду, с любопытством смотрели на конфузливое молодца, лишь священник Троицкой церкви отец Илья продолжал усердно трудиться над сдобным пирогом с вязигой.

— Вот вы, ваше высокоблагородие, — сдвинулся с мертвой точки Дюков, — вы говорите, что простой народ прозвал меня умной головой. Хорошо-с... Так и запишем. И вот-с, этот простой народ требует: веди, дескать, нас под Чесноковку, мы выгоним оттуда ихнего царька пугачевского, град Уфу освободим... А то, дескать, нам жрать скоро будет нечего. И я, ростовский первой гильдии купец Дюков, советую: давайте-ка, господа командиры, общими силами ударим по разбойничьему гнезду и разом положим крамольному делу окончание. Храбрыми бог владеет! Вот и весь сказ. — Дюков сдвинул брови, порывисто сел, впопыхах не заметив своего бокала, залпом осушил бокал соседа-священника, схватился за нож и вилку, стал с проворством есть утку с мочеными яблоками.

— ...неосновательно, — продолжал говорить между тем Мясоедов. — Хотя одушевление защитников и вера в свои силы zelo велики у них, но тем не менее нам, господа, об действиях наступательных нечего и помышлять, а дай боже отсидеться под прикрытием пушек. Малейшая же неудача в наступлении может предать город в руки инсургентов. А мы уж лучше, уповая на зашитенные божие, будем терпеливо ожидать прибытия помощи.

Гости согласно загибали головами, а священник сказал:

— Правильно, правильно. Нет, благодарю покорно в плену у извергов быть! Я сидел, я знаю!.. Хватит!

— Отец Илья, сделайте милость, расскажите, как это вы... — попросил недавно прибывший в Уфу пухлый помещик с отвисшими, как у старой собаки, нижними веками.

— Извольте, извольте, досточтимый Геннадий Львович, — священник огладил темную бороду, башкирского склада лицо его осерьезилось. — Не далее как двенадцатого декабря минувшего года большая часть жителей, даже женщины, вышли за город на соседние луга к нетронутым стогам, дабы запастись сеном ибо ощущалось в городе оскудение фуража. Нас прикрывала воинская команда при одной пушке. И только мы приступили к делу, как налетел на нас злодейский отряд, команду нашу опрокинул. Народ побежал, а полсотенки уфимцев в полон попало, и аз, многогрешный иерей, вкупе с ними. В Чесноковке обыскали

нас, завязали глаза, увели в тюрьму с объявлением, что мы будем повешены. Всю ночь, пребывая в узилище, мы зывали ко господу, стенали и плакали горько. Утром повели нас к наиглавнейшему начальнику. Сня персона квартиру содержала в доме тамошнего священника, отца Андрея. Видим мы: сидит в переднем углу под образами полуодетый, босой, цыганского обличья подгулявший человек. Нам объявили, что сидящий в углу суть «граф Чернышев». Мы стоим, трясемся, ждем гнева и казни. Вдруг рекомый граф поглядел на нас, улыбнулся, сказал: «Ну, мирянушки. вы толикой казни вам не учиню. всех вас милую, дарую жизнь! Идите с богом по домам, перескажите людям, что слышали и видели, да уговаривайте население исполнить волю государя Петра Федорыча — сдать город без боя. Пускай хватают начальство, а я пием государя великую вам милость окажу». Сказав так, граф отпустил нас с честью. Оное происшествие я занес на память потомству в дневник свой, а прибыв домой, слег со страху в постель на целую неделю. Так будем же, возлюбленные чада мои, паки я паки ожидать помощи от господа бога и христоролюбивого воинства...

Однако время шло быстро, о помощи же ни слуху, ни духу.

«Граф Чернышев» не очень горевал, что Уфа не дается ему в руки.

— Не беда, не беда,— успокаивал он своих атаманов.— Сам батюшка эвопа сколь времени с Оренбургом возюгается, да не может взять... Как он, свет наш, умыслил Оренбург выморить голодом, ну так и мы той же дорожкой поидем.

Атаманы хмурились, да и сам Чпка утратил всегдашнюю веселость. Больше уж не раздавался по Чесноковке его хохот, и перестал он выпивать.

— Отрезано!— кричал он, борясь сам с собой.— Отрезано!..

Запертая со всех сторон Уфа испытывала все невзгоды: население терпело голод, стали развиваться болезни, а вместе с тем появился ропот, начались побегн. Бежали главным образом помещичьи крестьяне, собранные на защиту города.

Уфа не знала, что Михельсон спешит на помощь ей, но Зарубин-Чпка имел о движении правительственных войск точные сведения. Поэтому все ижевшеесе у него, добытое в помещичьих усадьбах, ценное имущество и богатую казну он распорядился переправить в Табынск.

Михельсон, выстунпв из Бакалов и пройдя несколько селений, не мог добыть «языка», тац

как при стычке ему не удавалось захватить в плен ни одного человека. «Из сих злодеев, ни один живой не сдается»,— доносил он Бибикову. Наконец Михельсон узнал, что по дороге из Уфы, в деревне Жуковой, стоит две тысячи человек при четырех орудиях, а в Чесноковке — сам «граф Чернышев» с армией в десять тысяч человек и значительным числом орудий.

Михельсон решил устремиться на главные силы противника, на Чесноковку. С успешными боями он быстро шел вперед. Когда он оказался в пяти верстах от Чесноковки, Зарубин-Чпка успел выслать ему навстречу семь тысяч человек при десяти орудиях. Он приказал растянуть по дороге в одну линию, на целую версту, до четырех тысяч пехоты и конницы, а по бокам выставить лыжников.

— Мы, братцы-товарищи, окружим Михельсона с флангов и с тыла,— уже в третий раз пояснил Чпка своим командирам.— А как облапим изменника, тогда напустим на него с фронта густую толпу в три тысячи коней. Геть с дороги!.. Ой, стоимем немца!..

Рано поутру, 24 марта, когда над черной землей распеваали жаворонки, враги сцепились. Шедший в авангарде майор Харин, встреченный огнем семи орудий, остановился, выдвинул вперед одну пушку и начал отстреливаться. Михельсон отправил ему подкрепление. Мятеежники, большинство татары и башкирцы, действовали отчаянно, в плен не сдавались. Бой длился уже несколько часов. Михельсон, наконец, перешел в наступление. В конном и пешем строю он атаковал неприятеля. Мятеежники, израсходовав все патроны и стрелы, после яростного сопротивления и не в силах выдержат согласованных действий правительственных войск, бросились бежать к Чесноковке, которую уже успел занять майор Харин.

Уфимцы, услышав пушечную пальбу, не знали, что и подумат.

«А не иначе, как межусобица в злодейском лагере вышла, друг в дружку палат»,— думали многие жители.

Однако вскоре получилось в Уфе известие, что «граф Чернышев», будучи разбит подполковником Михельсоном, с двумя десятками человек своих ближних бежал в Табынск.

Заняв Чесноковку, Михельсон повесил захваченных двух главных предводителей — башкирского старшину и русского, а трех жестоко высек плетьюми. Отец Андрей, приютивший Зарубина-Чпку и гулявший с ним, хотя от наказания был освобожден, но получил от Михельсона строжайший выговор. Все же остальные пленные — а их более полуторы тысяч человек, — после увещаний были распушены по домам. Михельсон в своем рапорте жаловался Бибикову на отчаянность башкирцев: «В них злость и жестокосердие с таковой яростью вкоре-

пились, что редкий живой в полон отдавался, а которые и были захвачены, то некоторые вынимали ножи из карманов и резали людей, их ловивших. Найденные в сених и под полами, видя себя открытыми, выскакивали с копьями и колами, чиня сопротивление».

В городок Табынск, расположенный по реке Белой, между Уфой и Стерлитамаком, Зарубин-Чика прибыл ночью. Его сопровождали Илья Ульянов, Губанов, несколько яицких казаков и работников с Воскресенского завода.

Все были в удрученном состоянии, в особенности сам Чика. Он впервые видел отличные действия михельсоновского отряда, хорошее вооружение солдат и впадал в полное отчаяние, предчувствуя невозможность выполнить взятое им на себя обязательство перед государем. «Одно остается — втикать до батюшки, повалиться ему в ноги да и молить: прости-помилуй, отец, Михельсону Уфа досталась, а не графу Чернышеву твоему!» Он приказал казакам все переправленное сюда из Чесноковки имущество с казной, нагрузив на подводы, немедленно везти, пока не поздно, в Берду, в государеву армию. «Прими, батюшка Емельян Иванович!.. Последний поклон тебе до сырой земли... Доведется ли на сем свете нам встрепенуться?» — печально раздумывал Чика, мысленно прощаясь с самым любимым в жизни человеком.

Чике с Губановым и Ульяновым отвели для ночлега хорошую избу, хозяев выгнали к соседям, печку жарко протопили. Расстроенный Чика сказал своим товарищам:

— Желательно мне, атаманы, одному побыть. Идите с ночевой в другое место.

Губанов с легким сердцем ушел, а Илья Ульянов, приглядываясь при свете масляного фонаря к болезненно-напряженному лицу Чики, сказал:

— Да что с тобой, граф Иван Никифорыч? Ты прямо весь сказался!

— Тоска, понимаешь! — И Чика вдруг заплакал. Он недвижно сидел на скамейке, запрокинув голову и опираясь затылком в стену.

Ульянов пристально, с жалостью глядел на него. По исхудавшему горбоносому лицу Чики из полуприкрытых глаз катились слезы, а обросший бородой и усами рот беспомощно кривился. Ульянов вздохнул и, не сказав ни слова, тоже сел на лавку. Он никак не чаял увидеть товарища в таком подавленном душевном состоянии. Неужели этот разудалый Чика, этот задирчивый, бесстрашный и решительный сорви-голова может плакать?

— Эка штука, что чуток помяли нас... Дакось, наплевать, — стараясь подбодрить товарища, но все-таки дрогнувшим голосом про-

говорил Ульянов. — Опять народишко собирается к нам... Эка штука!

— Иди, Ульянов, к себе, чегой-то меня сон долит, — тихо сказал Чика-Зарубин, продолжая сидеть неподвижно, все так же с полуприкрытыми глазами. Ульянов, пробыв некоторое время, вздохнул и ушел.

Чика остался один, запер дверь на крючок. Глухая ночь была, ставни закрыты, на улице спокойно, тихо. Кругом безмолвие, а в душе Чики жестокая бушевала буря. «Как я свою рожу покажу батюшке? — вслух думает он, безнадежно разводит руками, хмурит густые брови. — Что скажу ему? Прогулял! Пропьянствовал! Ведь двадцать тысяч народу!.. Двадцать, а какой прок в них? Где ружья, где пушки с порохом? А все ж таки батюшка не кому иному, а мне доверился, меня под Уфу послал, меня в графья произвел. Вот и награфствовал я, нагадил батюшке-то, замест помощи!.. Эх, Ванька, Ванька! Рассукин ты сын, подлая твоя душа!..»

Вдруг ярость влопилась в кровь Чики.

— Казнить меня, казнить! — закричал он, затряс кулаками, опрокинул ногою скамейку, отшвырнул табуретку к печке и с залпошным воем стал рвать на себе волосы, стал биться лбом о стену, а слезы ручьем, ручьем:

— Ой, Емельян Иванович!.. Прости ты меня, прости!..

Вдруг, оборвав крик и плач, он пришел в чувство, распахнул глаза, глубоко передохнул, огляделся, вынул из-за пояса пистолет и весь, от загривка до пят, содрогнулся. Страшно ли умирать? Нет, не страшно... Он твердой рукой взвел курок, цапнулся на полку пороху и нацупал то место в груди, где бьется сердце. Но сердце вдруг упало. В нижней части живота прошла неприятная судорога. Руки и ноги онемели, и все тело стало чужим, безвольным и бесчувственным. К горлу полкатился тошнотный ком, обильная слюна пошла, а вискам стало холодно... Он стиснул зубы и крепко сжал в руке пистолет. В последний момент жизни оружие показалось ему страшным: в нем пуля, пламя, смерть. «Не дури, Ванька, брось, — сказал он вслух. — Лучше вгони пулю в лоб Михельсону, сшибься с ним, подкарауль...» Защурив и вновь распахнув глаза, он осмотрелся. Все чуждо, все мертво, только живое сердце с силой стучится в грудь, хочет выпрыгнуть, бежать от смерти.

В этот миг на улице рождались, окрепли многие голоса, в калитке сбрыкало кольцо, и в запертую дверь Чики стали ломиться.

— Отпирай, шайтан! Эй, слышишь?.. Граф Чернышев!..

Еще момент и — дверь слетела с петель. Чика враз загасил огонь, наугад выстрелил в

ворвавшихся людей и в каком-то испуге стал направо-налево рубить во тьме саблей.

...Отправив своих раненых, отбитые пушки и собственные экипажи в Уфу, Михельсон направился к Табынску и по дороге получил рапорт табынского казачьего есаула о том, что он, есаул Медведев, собрав поздней ночью изрод, схватил и заковал в цепи прибывших в Табынск Зарубина-Чипку, Ульянова и Губанова со всеми их товарищами. «Как брали, пятеро наших порублено, постреляно злодеем не душевредно, не до смерти, а шестого пересек злодей Чипка надвое».

По прибытии в Табынск Михельсон препроводил арестованных под сильным конвоем в Уфу. А 4 апреля и сам вступил в этот город, где был встречен жителями восторженно. С этого времени спокойствие в Уфе не нарушалось.

С поражением и арестом Зарубина-Чипки башкирцы, мещераки и русские стали разбредаться по своим деревням и присылать к Михельсону депутатов с повинной. Особенно усердно раскаивались мещераки. Их старшины, Мендей Тюнеев и Султан-Мурад Янышев даже собрали пятьсот человек отборного, из мещераков, войска и передали его Михельсону. «Каждый из наших старшин заберет войско, какое будет следовать, куда ты укажешь, — говорили депутаты. — Мы благодарны тебе, что ты всех наших пленных, не сделавши им наказания, отпустил по домам». Башкирцы, под давлением своих начальников, во многих селениях стали доставлять Михельсону фураж, продукты, лошадей.

Но не везде выходило так гладко. Например, в окрестностях Бакалов «ношаливала» большая толпа русских с башкирцами. Вели толпу атаман Торнов и бывший депутат Большой комиссии Гаврило Давыдов, тот самый лысый, низкорослый, в больших сапогах, мужичок, который не столь давно посетил Емельяна Ивановича и, между прочим, жаловался ему, что, мол, вез он, Давыдов, сладкие пироги в подарок батюшке, да по дороге «лошади пироги те схрумкали».

А вот ныне башкирский старшина Кидряс «схрумкал» самого Давыдова, а за компанию с ним и атамана Торнова. Лишенная руководства толпа рассыпалась. Старшина Кидряс — человек зажиточный. Семь лет тому, во время путешествия Екатерины в Казань, он за свое усердие получил особое награждение, но, невзирая на это, когда появились пугачевцы, он вступил в толпу мятежников, однако вскоре опомнился и снова возвратился «на путь истины, ибо колебание его верности происходило единственно от слабости духа».

Подобное «колебание верности» с последую-

щим вступлением «на путь истины» повторялось и с прочими случайными руководителями восстания. Всяду по Башкирии водворялся «порядок». Да иначе и быть не могло, ибо мятежным жителям некуда было податься: с запада и юга они были окружены правительственными войсками, на востоке простиралась обедневшая, разоренная часть Пермской провинции, с севера угрожал отряд майора Гагринна, освободивший от осады Кунгур и разогнавший бродившие в его окрестностях скопища.

Впрочем, Башкирия только внешне могла казаться «замыренной». На самом же деле мятежные силы лишь по необходимости на время притаились, бунтарский огонь ушел под землю. При первом же бушующем ветре он снова выступит наружу и разгорится в пожарище восстания.

3

О пленении Зарубина-Чипки и освобождении Уфы никто в Берде не знал.

Емельян Иванович прискакал в Берду в полночь и тотчас приказал сменить с постов и караулов всех солдат и крестьян, а вместо них оставить яички казаков, как более опытных в сторожевой службе.

Пикетчики не мало дивились тому, что их сменяют казаками, и, толпами возвращаясь в Берду, переговаривались между собою:

— Что такое, братцы? Ночь глухая, а они тут... Чего-то не тае... Неспроста.

Их начальники, к которым они обращались за разъяснением, тоже ничего не могли ответить, они и сами удивлялись непонятному распоряжению.

А над Бердой и над всем Оренбургским краем нависало темное небо в крупных весенних звездах. Вся природа была скована сном. Спали Пугачев, Рейнсдорп, Хлопуша, Фатма, Падуров, Шванвич, даже спали горластые петухи, и только лишь совы с огненными глазами бодрствовали по лесным трущобам, да незамерзающий теплый ручеек журчал в овраге.

Впрочем, кроме стражи да пикетов при дорогах, не спали еще двое: Тригорий Бородин и коллежский асессор Струков. Этот почтенный старичок, или, как звали его в Берде, «чиновная ярыжка», какими-то темными путями первый пронюхал о несчастье под Татищевой крепостью. Как хищная лиса, он прокрался в землянку, где жили бежавшие с ним из Сызрани четверо дворовых людей помещика Хворова. Впрочем, теперь в землянке только трое, а четвертый — лакей, ловкий парень Васька, несколько дней тому назад, по приказу «чиновной ярыжки», уехал в Ставрополь, к агенту французской разведки де Вальсеу, бывшему управляющему казённой вотчиной графа Ягу-

жипского. Васька повез тайное известие о том, что мятежники дважды штурмовали Яицкую крепость, дважды вели подкопы под крепостной вал, взорвали церковь, но никакого успеха не имели; и что сам Пугачев женился на простой казачке Яицкого городка, девке Устинье Кузнецовой.

— Теперича твой черед, Вахромеев, — потирая руки и покашливая, сказал «чиновная ярыжка», обращаясь к бритому барскому егерю с хитрыми глазами. — Беря-ка ты в дорогу всякого кусу: баранины, рыбы, пшена, да скачи не медля к де Вальсу. Пока ночь, сведешь себе двух лошадей, башкиры дрыхнут. Ну, парень, не мешкай, одевайся, одевайся живчиком!

Нора была вырыта в полугоре, земляные стены укреплены бревнами, словыми ветвями; глинобитная небольшая печка еще не остыла, горела масляная «жировунка». Было мрачно, грязно, неудобно. Пока Вахромеев обувался, ассессор, заглядывая через очки в бумагу, говорил ему:

— Запомнай!. Толкуй де Вальсу: пугачевская толпа, численностью до десяти тысяч человек, вдрызг разбита под Татищевой крепостью. Численностью до десяти тысяч... Слышишь? Войсками руководствовал князь Голицын, ему помогал генерал Мансуров. Оба военачальника шествуют сюда, на выручку Оренбурга. Прибежавший в Берду Пугачев завтра же должен убираться отсель, куда глаза глядят. Но бежать ему затруднительно, ибо он окружен верными правительственными войсками. Есть некая надежда, что его схватят атаманы и предадут властям. Имею сведения, что Зарубин-Чига, рекомый «граф Чернышев», под Уфой побит подполковником Михельсоном... Слышишь? Подполковником Михельсоном... Тыдусь сей слух проверить, — дай бог, чтоб сие было не ложно. С гонцом Вахромеевым ожидаю от вас, господин де Вальс, договоренного жалования как мне, коллежскому ассессору Струкову, так и моим четверым ребятам, вперед за два месяца, да на разную смазь нужным людинкам, — то есть всего не менее, как триста рублей серебром. Прошу сие исполнить неукоснительно. Впредь мы будем полезны, ибо события обещают быть zelo любопытными.

Струков прочитал бумагу дважды, велел Вахромееву сказанное повторить напамять.

— Ну, ладно. Правильно. Соображенья у тебя достаточно. А в случае чего, эту бумажку подавишь да божи! Иначе так и так башку с тебя снимут, — и бунтовщики и военный разезд какой-нибудь.

Вахромеев взял бумажку, скатал ее в трубочку, зашил в шапку.

— На обратном пути заедешь в Сызрань, в

Ивану Иванычу, перетаешь вот эту пыдулю. И деняи также возмешь от него, сколь прошу.

— Ладно, — сказал Вахромеев, — натягивая на плечи полушубок. — А где мне тебя, Нил Нилыч, искать прикажешь?

— А ты догадлив, — ответил чиновник, — спросил правильно. Ежели меня здесь не дозришь, стукнишь к попу Сидору, он скажет, в кою сторону ушел Пугачев. Другой человек — в Каргале, татарин Махмет Бекон. Он также вестен будет. Да навряд ли мы далеко-то уйдем. Дней через восемь тебя в обрат ждать буду.

Вахромеев покряхтел, покрестился, сказал:

— Ну, прощевайте, Нил Нилыч. Прощевайте, братцы! — поклонился он чиновнику и двум сидевшим на парах полусонным товарищам, нахлобучил шапку, заткнул нагайку за кушак и вышел.

Чиновник повалился на его еще не остывшее место — спать.

На другой день уже возвратился из своей поездки к де Вальсу Васька. Пока он ехал обратно, шифрованное сообщение де Вальса, согласно донесению «чиновной ярыжки» о событиях в Яицком городке, уже было вручено в Питере французскому послу, и вскоре секретной почтой эти сведения очутятся в Париже.

Польская и немецкая разведки тоже имели своих агентов в лице немногих, живших при пугачевской армии, польских конфетеров. Все эти три тайных агентуры вели свое дело столь скрытно, что ни одна из них не подозревала о существовании других разведок в стане Пугачева.

Старик Стругов действовал весьма умело. Он пил мало или вовсе не пил, но прикидывался пьяницей; сумел проникнуть в военную коллегия, и вот уже больше месяца, войдя в доверие Шигаева, знал все, что в коллегия, а равным образом и в доме Пугачева происходит. Его в свое время подкупил де Вальс и направил в самую гущу народного движения.

Пока «чиновная ярыжка» вел переговоры с Вахромеевым, в избу Максима Шигаева поступали. Он не вдруг проснулся. Его разбудил хозяйка избы. Он встал, вздул свет в масляной лампе, накинул на плечи бухарский халат. Впустил Григория Бородинна.

— А, Гриша! — воскликнул удивленный Шигаев. — Да откуда это ты, живая душа? Ночь ведь...

— Ночь, Максим Григорыч, это верно, — каким-то загадочным, с придыханием, голосом сказал Бородин и запер дверь на крюк.

Шигаев жил, как монах, — один, в чистой половине, через сени от хозяев. Семейство оставил он в Яицком городке.

Волнуясь, Бородин поведал полковнику о поражении пугачевцев у крепости Татищевой.

— Ай, беда, беда!.. Ай, беда, беда! — всплескивая руками, причмокивая, крутил головой Шигаев; его вдруг охватило душевное смятение, робость. Он опустился на скамью, положил локти на стол, стиснул ладонями голову и, закрыв глаза, сидел в молчании с минуту, затем спросил: — А сам-то где? Цел ли?

— А чего ему поделается... С нами прискакал... — Григорий Бородин был толстошекий, белобрысый, бритый летина лет тридцати. — Давай-ка по душам, Максим Григорыч... Чевой-то не вовсе по праву мне... Как бы не тово, не этово... Ой, маху дадим, пропадем тогда!.. — Всю кашу из нашей утробы повывтрясут...

— Ну-у-у... Малодушной!..

— Супротив генералов нам не выдюжить, Григорыч... У нас еще головы не с того боку затесаны.

— Выдюжим!.. Бывали мы и генералов. Вон Мар едва ноги уволок. Дело, Гриша, в людях та в пушках, а не в генералах.

Шигаев говорил втумчиво, старался успокоить Бородина. Тот вел свою линию, подконец стал сердиться и собрался уходить. На прощанье Бородин тихо, чтоб никто не мог подслушать, сказал:

— И лажу уехать в Оренбург. Может, поворожусь, а может, и там останусь. А вам, атаманы, советовал бы связать его. По всем видимостям, он не природный, а подставной.

— Будет тебе брякать-то! Он, батюшка, доподлинный!

— Ну, там доподлинный ли, нет ли, а головы наши все едино повалятся с плеч, как стрелиные галки с тына.

Шигаев на эти слова Бородина как бы призадумался. Желая поглубже проверить мысли казака, он пристально посмотрел ему в лицо, сказал:

— Да я и сам подмечаю, что усердие к его службе стало кой у кого истребляться. Только знай, Гришуха, — твердо добавил он, — я клятву приносил, и нашему казацкому делу не изменник!.. Иди-ка, брат, домой.

Выпроводив незваного гостя, взволнованный Шигаев уже не ложился спать. Он умылся, расчесал надвое бороду, усердно помолился богу и вышел на улицу.

Ночь кончалась, звезды бледнели. В церковной сторожке горел огонек: должно быть, пономарь собирался звонить к заутрене. Вот замучили огоньки и в доме Пугачева. Полковник Шигаев с робостью в сердце направился туда.

В это время Григорий Бородин уже кончал ночные переговоры с хорунжим Трифоном Горловым, Осипом Бановым и калмыком Гибзаном. Он всячески запугивал их, рассказав о страшном поражении под Татищевой.

— Ныне добра нам ждать нечего, друзья-товарищи. Батюшке больше не оправиться. Мо-

жет, мужики-то и сбегутся к нему, а пушек-то черт ма, — они все Голицыну в руки попали. Советую вам, братейники, покамест не поздно, батюшку выдать да и явиться с повинной в Оренбург. Тогда и всей мутне придет скончанье, спокой увидим.

— Кто увидит, а кто и нет, — бросил хорунжий Горлов, покосился на Бородина и прочь пошел.

...Высокий Шигаев, еще больше ссутулясь, чем обычно, приблизился к Пугачеву на цыпочках и поклонился ему. Батюшка надевал валенки. Ненила с припухшими, заплаканными глазами суетливо накрывала на стол. Кош-ка, задрав хвост, ластилась к Пугачеву, мурлыкала свою бесконечную уветливую песенку. Горели две свечи. Лицо Емельяна Ивановича бледное, помятое, голова не причесана, давно не бригтые щеки заросли седоватой щетинкой.

— Садись к столу, полковник, — отрывисто сказал Пугачев. — Дело наше дохлое под Татищевой. Овчинников там остался, а я вот за подкрепльем сюда... Да уж какое тут подкрепльенье!.. Так думаю, поскорей втискать нам отседов доведется, Максим Григорыч.

— Надо оглядеться, Петр Федорыч батюшка, да подумать покрепче, — унылым голосом молвил Шигаев, мазнув концами пальцев по надвое расчесанной бороде.

— А бились мы, друг мой, не надо лучше! — вскричал Пугачев, расчесывая гребнем волосы и бороду. — Знатно бились! Кабы силенки да ловкости поболее нам, а первым делом — оруженья, — стоптал бы я этого Ругавицына-Голицына вместиах с Мансуровым да еще с третьим каким-то генералишком... Надо бы мне отседов хоть бы пароду-то поболее в та поры взять... Обмахнулись мы!.. Так вот что, Максим Григорыч, бери-ка вот эту трубку да езжай на Высокую гору, попукай с вершины-то, не идет ли из Черноречья наш Овчинников с воинством моим, да не гонятся ли за ним генералы?.. Предостерега не вредит. А я покамест атаманов скличу, а как вернешься, станем совет держать, в кою сторону подаваться нам теперь... Да, Максим Григорыч, проторчали мы, как кулики в болоте, коло Оренбурга-то, раздуй его горой... — Пугачев засопел, нахмурился и недружелюбно сказал Шигаеву: — А ведь мотри, верно я при изначале дела толковал: под Казань-де итти треба, а не под Оренбург... А вот ты поупорствовал тогда и меня-то с Надуровым сшиб с толков... Эхма!..

Шигаев взял подозрную трубку и, глядя в землю, холодно ответил:

— Да ведь... Кабы знато, да ведано, — и не спеша, нога за ногу, вышел. Горько было на его душе.

...Серый конь под ним бежит ходко. С неба рассвет плывет.

— Стой, Шигаев! — слышит он сзади и останавливает коня.

Подъехали начальник артиллерии Федор Чумаков — бурый борода лопатой, с ним Василий Беспрованный, бывший запорожец. А как взобрались все трое на гору да стали во все стороны в трубу глядеть, подкатали на рысях Григорий Бородин — в дорогом чекмене, при дорогом оружии, с ним япцкый казак Морунов. У Бородина в поводу запасной конь, нагруженный туго набитыми кожаными торбами.

— Чего рано дозорите? Еще не рассвело, — каким-то фальшивым голосом выкрикнул толстощекий Бородин, поглядывая выпученными глазами в сторону окутанного предутренней мглой Оренбурга. А Шигаеву, вплотную приближаясь к нему, чуть слышно сказал: — Я, Григорьич, чуешь, многим балакал, да и калмыков повестил.. Чаю, ты, как вернешься, застанешь его уже связанным. А я с Моруновым, понимаешь, спроворил ехать в Оренбург и оповестить там. Помчим вместе с нами, Максим Григорьич.. Пожалей голову свою..

Шигаев подумал, помигал часто, сказал чрез вздох:

— Нет уж, Гришуха... Управь бог твой путь! Поезжай, коли совесть потерял. У тебя там дед — бывший атаман, да дядя Мартемьян Бородин — главный старшина Япцкый, они за тебя заступят. А я никого там не имею, да и пред батюшкой изменником не хочу быть. А ты, видать, — в дядю, вам с ним окаянствовать-то не впервой!..

— Считал я тебя, Шигаев, за умного, а ты дурной!.. — оскалив в притворной улыбке зубы, сердито бросил Бородин. — Ведь я шутки ради тебе брякаю, а ты думал — вправду. Заспокойся, друг!.. Я тоже в изменниках царю-батюшке не хаживал..

Все стали спускаться с горы. Бородин с опаской поглядывал на незнакомого ему запорожца, говорил всем вслух:

— Это вы, братцы-казаки, знаете? Ведь сотник Михайло Логинов изменил батюшке-то, в Оренбург ушел... Вот змей какой! Да и опричь него которые изменники бегут. Вы иривтесь в Берду, а я с Моруновым поеду по речке Сакмаре да пошукаю, не попадутся ли беглецы какие. Насмерть рубить их стану!.. И не крикну! — Глаза Бородина виляли, лукавили.

Вдвоем с Моруновым Бородин тронулся на Сакмару. А Шигаев с Чумаковым и запорожцем, переговариваясь о делах, шагом двигались обратно к Берде.

И уже, в разговорах, спустились с горы, друг видят: во весь мах скачут от Берды десять казаков — у кого винтовка, у кого пика.

— Тфу, чертяка тебя забори! — крикнул с

коня ведущий казаков хорунжий Трофим Горлов. — Государь думал, что и ты, Шигаев, с Бородиным ушел. Не видал ли ты его? Ведь он и меня, дьявол-изменник, подбивал..

— Я только что встрепулся с ним, — сказал взволнованный Шигаев, мазив пальцами по бороде. — Он брякал нам, что поедет с Моруновым ловить по Сакмаре беглых.

— Ха!.. Ловить! — зло захохотал Горлов. — Он-то словит. Ведь он сам бежал. Ведь государь, сведав о том, едва старика Витошнова не повесил, что за Гришкой не досматривал. Казаки насилу упростили батюшку помиловать старого человека. Ах, змей! Ах, змей этот Гришка!.. В дя-ядюшку!

— Ну, коли Бородин бежал, его уж не догонишь. Он, может, теперь близко Оренбурга, — сказал Чумаков.

— Ну, чорт с ним, коли ушел! — И хорунжий Горлов обругался матерно. — За всеми ведь не угоняешься..

...И Шигаев снова у батюшки. Пугачев был хмур, сердит. Как сдвинул брови, так, кажется, целую неделю их и не распрямлял. Руки назад, быстро вышагивал взад-вперед по золотому залу. Уж не последние ли часы доводится быть ему в своем обжитом «дворце» с гербами, зеркалами от потолка до полу, с портретом своего «любимого детища»?

— Ничего с горы не дозрили, батюшка Петр Федорыч, — сказал, кланяясь, Шигаев. — С Чумаковым Федей смотрели мы..

— А ты Бородина Гришку не видал? — крикливо спросил Пугачев.

— Видал, батюшка. Он нам сказал, что едет ловить беглых.

— Да ведь он, собака, сбежал от нас!.. Измену сотворил мне!.. Я ведь за ним погоню выслал..

— Погоня, ваше величество, назад вернулась... Уж теперь не словить его...

— Ну, милостив его бог! А я тотчас повесил бы его. Ведь ты не ведаешь, что он надевал: ведь он, наглец, зачал было подговаривать многих, чтобы меня связали да отвезли в Оренбург! Только спасибо Горлову-казаку, он мне донес об этом. Вот, брат!.. А уж я ли этому бесу Гришке не мдрволил? В товарищи, нечестивец, втерся ко мне. Ведь он крест целовал, клялся во всем добра мне хотеть. Ах, изменник, ах клятвопреступник! Ну, да господь праведный покарает его, отольются ему мои слезы-воздыхания. — Пугачев круто повернулся к смиренно стоявшему Шигаеву, взмахнул рукой и приказал: — Ну, иди, полковник, снаряжай армию в поход. Чтоб сегодня же выступить!

Но на улицах, распоряжением полковника Творогова, некоторые казачьи части уже начали грузить воза. Среди подвод расхаживал

п Творогов. К нему подошел Хлопуша и спросил:

— Куда это, Иван Александрыч?

— А тебе что за нужда, — нахмурился Творогов. — Это казаки, что приезжали из своих мест за хлебом, а теперь вобрат собрались, вот и я жену свою отправляю с ними. А ты, Хлопуша, знал бы свое дело да лежал бы на своем месте. Чего поднялся этакую рань?..

Рассвет быстро шел с востока. Румяная заря вставала. Пономарь ударил в колокол к заутрене. По слободе закрипели калитки, бабы с ведрами пошли за водой. К Пугачеву, один по одному, собирались военачальники: Чумиков, Горшков, Падуров, Витошнов, Творогов. Последним пришел покашливающий Шигаев.

...В это время Григорий Бородин уже бражничал в Оренбурге у своего дяди Мартемьяна. Безбородое лицо Григория заплакано, дядя шпыняет его изрядно, без пошальи.

— Осрамил ты род наш бородинский не надо хуже, — брюзжит он. — Как я поручусь, что его высокопревосходительство, генерал Рейнсдорп, пойдет на милость и клятвопреступничество твое простит?..

— Да пусть он меня накажет по-отечески, уж я за этим не гонюсь, — кривит рот Григорий, — только бы окончание живота мне не положил... Вот чего... Эх, дядя!.. Добро было бы по Берде ударить сейчас, без промедления. Башкой поручусь — всех бы злодеев на аркане приволокли сюда. Ты, дядя, не уметь, доложить о сем господину губернатору...

— Пойду доложусь, — согласился Мартемьян и, подбирая большое брюхо, начал одеваться в парадную форму. — Только напередки ведаю, что высокопревосходительство на это ни в жисть не отважится, чтоб приступ сделать. Добрых коней у нас нет, Гришука, сеченым прутком, замест овса да сена, лошадей-то кормим, они, бедные, едва ноги волокут...

— Ну вот, атаманы, — проговорил Пугачев. — Я без утайки поведал вам, как было. Теперь рассудите да присоветуйте, куды двинуться нам, чтобы последней порухи делу нашему не доспелось?..

— Твоя воля, батюшка, а мы не ведаем, — помедля, уклончиво ответили пугачевские соратники.

Дверь на кухонную лестницу вниз была чуть приоткрыта. Прячась за дверью и прильнув к щели ухом, Ненила прислушивалась к разговорам, из ее глаз показывали слезы.

— Нам, атаманы, способней всего было бы пробираться степью через Переволоцкую крепость да прямо в Яицкий городок. Поусердствовав, Яицкую крепость мы с божьей помощью одолели бы да укрепились бы в ней. Ась?

— Куды вы, туды и мы, — отвечали при-

сутствовавшие. — Власть ваша!.. Приказывайте, батюшка...

«Власть, власть... Что я прикажу? — злобился Пугачев, чувствуя, что его власти кладется некий предел, его же не преидеши. — Повластвовал, поцарствовал! Эх, жизнь — копейка!» — Его душе было мутно. Он искал среди своих поддержки и, казалось ему, не находил ее. «Гришка, злодей, связать меня хотят, народ подбивал... Да и свяжут, да и свяжут!» — Он, впрочем сказать, принял меры к охране своей жизни. В передней и на крыльце топчутся две дюжины богатырей, среди них верный Изорка, увешанный кривыми ножами и кинжалами. А возле «батюшки» — три изготовленных пистолета и две сабли.

Он испытующе, не распрямляя сдвинутых бровей, водит сумным взором от лица к лицу. Творогов, поглядывая через окно на улицу, где грузят добром его воз, говорит:

— А не поехать ли нам, ваше величество, под Уфу, ко графу Чернышеву? А если не удастся, там под боком Башкирия, прокорм там сыщется и укрыться есть где.

Пугачев не ответил ему и, глядя в глаза Шигаеву, сказал:

— Не лучше ли нам убраться на Яик на реку, ведь там близко Гурьев-городок, он весьма крепок, и хлеба там много оставлено...

— А что ж, — ответил Шигаев. — Речи ваши ладные, батюшка Петр Федорыч. Через Сорочинскую крепость можно на Яик-то пройти. Только вот путик-то неведом нам.

Послали за Хлопушей. Пугачев спросил его:

— Ты шатался много по степям, так не ведома ли тебе дорога Общим Сыртом, чтобы на Яик пробраться нам?

— Нет, не доводилось, — с неприязнью в голосе ответил Хлопуша, задетый за живое тем, что его раньше не позвали на совещание: ведь он, как-никак, полковник!

— Ваше величество, — поднялся Падуров. — У меня имеется хутор на Общем Сырту. Вчера с оттуда прибыл казак Ренин, он сказывал, что дорога там есть. Вот его и заставим вогатым быть.

Решено было: всем полковникам готовить свои полки к походу. Брать в поход только добронных, а остальные и все пешие пускай идут, кто куда хочет.

— Ты, Максим Григорыч, — приказал Пугачев полковнику Шигаеву, — вино и все деньги раздай людям по усмотренью. В казне свыше четырех тысяч, да, кажись, больше медякам все, — куда их нам, их на десять возов не уложишь... А ты, Тимофей Иваныч, — обратился он к Падурову, — расставь скорей в сторону Оренбурга на особицу караулы из самых верных людей, чтоб не пропускать туда ни

единого беглеца, а кто вознамерится бежать, того колоть.

После несчастной битвы под Татищевой в душе Падурова произошло мучительное раздвоение. Разум подсказывал ему верный путь облегчения своей участи—это (подобно Григорию Бородину) бегство в Оренбург и покаяние в грехах. Однако Падуров всем существом чувствовал, что судьба его навсегда связана гугими канатами с судьбой обожаемого им Емельяна Пугачева. Уже он и не рад был этому странному, овладевшему им чувству.

Но, как-никак, у него в Оренбурге жена и сын... А главное, он предвидел все усиливающийся напор правительственных войск на слабую во многих отношениях мятежную армию, и ему подчас казалось, что Емельяну Пугачеву гулять не долго, что конец его славы уже наступил. Так не лучше ли Падурову загодя бросить Пугачева, отрясти прах от ног своих, посыпать голову пеплом и предстать пред очи губернатора Рейнсдорпа? Ну—суд, ну—разжалуют в чинах, ну—куда-нибудь сошлют... а жизнь-то все-таки останется: повинную голову и меч не сечет... Что ж ему делать, на что решиться?

«Нет, не могу, ну разразь меня гром небесный, не могу!..» Офицер Андрей Горбатов сам пришел к «батюшке», я тоже передался без принуждения... Так можно ли бросить человека в такое время, можно ли изменять своей клятве? Зазорно, ей-ей зазорно! Не по-казацки, не по-честному!» И Падуров твердо решил остаться при Пугачеве до конца.

Впоследствии, в секретной комиссии, он дал любопытные показания. Вот его доподлинные слова:

«... помышляя было от него отстать. Но се-го исполнить—не знаю, по какой причине—не в состоянии был, ибо не знаю, как будто что удерживало меня и наводило страх отстать от него. Словом сказать, привязан я был к нему так, как бы невидимою силою или, просто сказать, волшебством. Но отчего сие со мною последовало, я не знаю».

В своих показаниях Падуров, без сомнения, несколько покривил душой. Он великомерно знал, что «волшебство», привязавшее его к Емельяну Пугачеву, есть высокое чувство его преклонения пред личностью вождя, принявшего на свои плечи непомерный груз быть защитником угнетенных. Да здравствует во всем Емельян Иванович!

Встало весеннее солнце. 23 марта было. Под его нежными лучами вились над гнездами, каркали грачи, а мужицкие птички, воробы, летали хлопотливыми стайками. Вот они уселись на палсаднике около «дворца», нахохлились и, поглядывая на суетившихся людишек, щебетали: «Чирк-перечирк!.. Му-

жички-мужички! Лошади-лошади, чирк-перечирк... Пугачев-Пугачев!» Счастливые пичуги!.. Им не дано ни знать, ни чувствовать, какой непомерной скорбью изнывает сердце мужицкого царя...

В слободе столпотворение. Сроду не бывало здесь такой суеты, такого шума. Встал-вперед рыскают казаки, тянут за собой в поводу лошадей, седлают их. По дворам, огородам, переулкам, улицам запрятают подводы, велят, кто на сани, кто на телеги, всяк свое добро. Перебранка: не туда положил, да это мое, сволочь! Возле военной коллегии густая — не пробиться — толпа крестьян: что случилось, куда им деваться, где надежда-государь? Еще никто не знает толком о поражении под Татищевой. В военной коллегии Максим Горшков со штатом писарей, среди которых «чиновная ярыжка», строчат последние бумаги. Поп Иван печальной тенью проходит вдоль шумной улицы.

Красавица Стеша, в тугой шубейке с белым воротничком и в шелковой, нежно-голубого цвета, с фасоном повязанной шали, сидит на своем возу, глаз не спускает с заветных окошек государева «дворца». «Где ты, свет мой, покажись...» — шепчут ее губы, стонет сердце, и вся она — томная, сияющая красотой своей, свежая, статная, в неизбывной тоске и горести. «Прощай, батюшка, прощай!»

А там, возле склада, выкачены с вином бочки, уливается народ. Там драка, свалка, шум. Около своей квартиры, где в сарае хранилась под караулом армейская казна, Шигаев раздает людям медяки. Без счету, без весу, пригоршнями он сыплет деньги в шанки подходящему волной народу: крестьянам, башкирцам и казакам.

— Чего ты спозаранку расселась, быто барыня? — сказал своей жене подъехавший Творогов. — Иди пока в избу, а то, жотри, замерзнешь в козловых-то сапогах, форсунья!..

— А ты куда, Иван Александрыч? — хмурясь от солнца, спросила Стеша.

— Надо посты проверить, а то живо Голыцину в хайло угодим.

— Ой, скорей вертайся да поедем... Ну тебя!..

Творогов усмехнулся в бороду, стегнул коня и усекал.

Стеша видит: Ненила с Ермилягой да с Фофановым вытаскивают из подызошцы государева жилища всякое имущество, накладывают на телеги. Стеша соскочила с возу и стремглав по крыльцу во «дворец». Пугачев, нагнувшись над столом, свертывал в трубку знамя. Стеша молча и стремительно заперла дверь в кухне, закрыла входную дверь, сбросила шубейку с шалью и кинулась на грудь распрямившему спину Пугачеву. Прерывистые вздохи, всхлипы, последняя — навеки — разлука.

— Роденький ты мой! И пошто ты на ступне оженился-то?

Попелуи дились и переставали, переставали и, возникнув, как блеск огня; снова дились, обжигая душу.

И вот — разлука!

Стеша обвила его шею и, заглядывая ему в длинные глаза, шептала сквозь всхлипы:

— Свет мой!.. Теперича до гробовой доски... Ты в одну сторонку, а я, горькая-разгорькая, в другую. Живи, царствуй, да не джежатаманам-то верь своим...

— Связать меня хотел дьявол Гришка Бююдин, паскудник!.. Заговор супротив помазанчика вел...

— Берегись, батюшка, свет мой!.. А в случае — к нам беги... У сердца своего тебя укрою. Мужа кину, с тобой, зернышко мое, в Узени уйдем, либо на Ирпиз, в леса... — говори так, она заливалась неуправимыми слезами и уже не видела из-за слез лица светлого паря, голыко ощущала его своими руками, своей грудью.

Пугачев снял с руки алмазное кольцо, надел его на палец Стеши, сказал:

— Береги. Такого колечка у самой государыни Устиньи нетути...

По лестнице из кухни заскрипели шаги. И последние слова Стеши были:

— Вот бы, вот бы цареве детище мне от тебя родить, государева сынка!

— Родишь, кундюбочка моя! Как свят бог, родишь! — прощаясь с ней, грустно шепчет Пугачев, и сердце его стискивает, как клещами, острая боль.

4

Толпа у бочек с вином все еще буйствовала. Многие перепились, свалились. Ненужная, ненужная в эту пору песня расматывала крылья над опечаленной Бердской слободой. Шум, гвалт, дикие крики.

— Чего это они, безумцы? Рейнсдорпу сигналы, что ли, подают? — сказал Пугачев и велел выбить из бочек днуща, а людям готовиться скорей к походу.

И вот полилось вино по улицам Берды, воздух замутился пьяным духом. К Емельяну Иванычу пришел Хлопуша:

— Батюшка, дозволяете проводить жену да сына в Сакмару? — попросил он, кланяясь в пояс.

— Ну, дак иди, только не задерживайся больно-то...

— Живчиком, царь-государь, живчиком!

— Деньги-то есть ли у тебя?

— Есть, батюшка.

— На еще, сгодятся. — И Пугачев подал ему два червонца. Он привязался к Хлопуше-Соколову — любил его.

Пугачеву опасно было дожидаться, пока соберется вся его армия, он решил взять с собой лишь десять пушек и две тысячи отборного войска вместе с яцкими казаками.

Перед маршем он еще раз обратился к атаманам:

— А как же с крестьянством быть? Вель их в пять-тысяч не уложишь...

— Да вель мы усуетовались, батюшка, чтобы излишек крестьянства не жилам распустить, — сказал Шигаев, — чтобы всяк в свою сторону правился.

— Не гоже так-то, Максим Григорьяч. Ой, не гоже что-то! — возразил Пугачев. — Для крестьянства так-то гораздо обидно покажется.

Он велел собрать крестьян и появился на коне среди огромной их толпы.

— Детушки, верное мое крестьянство! — приветливо и громко возгласил он. — Вам, поди, ведомо, что царичьны генералишки одолели нас под крепостью Татищевей. А бились мы, особливо крестьянство, да и казачество, допряма скажу, бились храбро. А ныне мы рассудили, что пришло время нам отсюдов уходить. А то припрутся сюды генералишки да Рейнсдорп из укрытия выйдет... Ну, так мы опасаемся, как бы нам не очутиться вместе с народом промеж двух костров. Вот чего страшусь!

— Так, батюшка, государь великий, правильны твои речи! — закричали из толпы. — Конечно, уходить отсель нужно... А вот мы-то как?

— Нудить вас, детушки, за собой итти мне, государю, не гоже... А пошто так? Да пото, что в дороге сражения с генеральскими войсками доведется иметь. И вас, безоружных, солдаты порубят да постреляют насмерть. И вот вам мой императорский совет: кто похочет, езжай в обрат в свои дома, а ежели встренутся где в лесах солдатские отряды, бей их, а ихние обозы — грабь! А кои у вас доброконные, и ежели у них есть хотенье от моей армии не отлучаться, езжай за нами следом. Ну только, в таком разе, за жизни ваши ответа на свою душу не беру. И вдругорядь говорю вам: в пути армия моей многая опасность предлежит.

— Належа-государь! — раздались голоса. — А коли мы проведем, что ты, свет наш, где да нибудь обосновался, живой рукой оглобли повернем к тебе!

— Спасибо, детушки! Благодарствую! Да и по жительствам подымайте народ, чтобы ко мне скопчался. А то куда я без народа? Сила моя в вас!

Пугачев помедлил, затем снял шапку, поклонился народу, гулко сказал:

— Ну, а покамест прощай, верное мое крестьянство! Прости мне все прегрешенья пред тобой!..

— Что ты, батюшка, что ты! — взорвалась криками толпа. — Нас прости бога для, государь великой!..

Пугачев заметил, что многие крестьяне утирали кулаками слезы. Да и у него самого дрожало в груди.

Не мешкая, окруженный ближними, он впереди своей армии выехал из Берды в Переводскую крепость.

В сторону Оренбурга посмотрел он с яростью.

Взбаламученные крестьяне по отъезде Пугачева не расходились: вопрос о своей судьбе им предстояло решать не медля. Положение их было действительно отчаянное: дороги рухнули, из Берды нет хода ни на санях, ни на телегах. Начались горячие споры, советы, пререкания. На душе у людей сплошное горе, переходящее в гневный, но бессильный ропот на судьбу, на бога, на то, что вот они со многих отдаленных местностей собрались защищать «батюшку», ожидали скорой победы над врагом, а замест того под Татищевой беда страшась! И удар этот упал на их головы совершенно неожиданно, как небесный гром зимой. Крестьяне соболезнующе говорили:

— Уж ежели нам, мужикам, тяжелехонько, так батюшке-то каково? Страдалец!

— Прямо с лица изошел! Видали, братцы? Обыденком щеки-то ввалились.

— Нам горе, а ему вдвое!..

И снова споры, рассужденья. Конники склонились к тому, чтобы, побросав сани и телеги, спешить верхом за «батюшкой», либо податься в свою сторону. Безлошадникам же выбраться было тяжеленько: поди-ка пошагай сотни верст по рухнувшим дорогам. Эхма-а-а!..

И вот среди шумной, озлобленной толпы появился в накиннутой на плечи замыганной овчинной шубе, в чиновничьей шляпке в шляпке тертый калач «чиновная ярыжка». Прислушался, принялся и стал крестьян застраивать, стал давать всякие советы, как «стриюцкий» в кабаке.

— Глупые вы, разглупые мужики! — обидно подхехекивая и прихлопывая утиным носом, гнул он. — Ежели за рекомым батюшкой — хе-хе! — ударитесь, тогда войска ее императорского величества государыни Екатерины из вас хинши выпустят. А ежели домой тронетесь, тогда вопские отряды его высокопревосходительства губернатора Рейнсдорпа вас настигнут, в Оренбург отведут, там учнут вас, сиволаных, пытать да вешать... Так и так пропадать вам...

— Так чего же делать-то? — вопрошали сбитые с толку, вконец запуганные и еще более озлобившиеся крестьяне. — Присоветуй! Ты, видать, человек книжный!..

— А вот вам мой совет, мужики неразумные, — проламал беззубый стрюцкий, облизнулся и поджал бритые изморщиненные губы. Затем, подбоченясь, каким-то начальническим тоном произнес: — Не медля ступайте-ка вы всем миром в Оренбург, ко дворцу господина губернатора, выберите из своих людей почтенных делегацию, а как будет она делегация допущена до светлых очей его высокопревосходительства, пусть падет она на колени от лица многих тысяч вас, мужиков, со слезами и стенаниями покается в великих ваших прегрешениях супротиву незыблемо сущих в империи законных порядков. Авось господь праведный оглянется на вас, на дураков, вложит в сердце господина губернатора велие милосердие, и оный правитель, учинив вам малое телесное наказание, отпустит вас в ваши дома! — выкрикнул стрюцкий и, улыбаясь, добавил: — А ежели хотите, братцы, и я с вами пойду, яко заступник ваш, токмо соберите мне на бедность по две копейки с бороды. Ну, собирай, собирай денежки! Айда скорей в поход! — и коллежский ассессор потряс пустошорной торбой.

— Мила-а-й! — закричали крестьяне, в их глазах вдруг вспыхнуло гневное сверканье. — А ты сам-то, сам-то? Вель мы тебя в канцелярии при батюшке видали сколько разов. А ты эвона какие слова захибаешь!.. Да ты кто, этак твою так? За батюшку ты али за губернатора?

— А уж это не ваше собачье дело, — окрысился, забрызгался слюной, «чиновная ярыжка». — Я от чистого сердца вам... Мне вас жаль, неразумные вы мужики. Вас злые люди в обман ввели и меня также... Я думал — царь он, — хе-хе-хе! — батюшка-то ваш, а он обманщик, он беглый из казанского острога казак Пугачев Емелька, вот он кто!..

Тут разом налетели на него крестьяне: — Бей ярыжку, бей стрюцкого! — сшибли с ног, стали колошматить его, топтать ногами. Крестьяне — как взбесились: за время сборов и душевного смятения в них столько накопилось ярости, что они уже не помнили себя, они били старика беспощадно, как насмерть бьют зачумевшую собаку.

И все же речи растерзанного «ярыжки» возымели на съопище крестьян свое действие. В тот же день собралось в Оренбург с повинной до восьми сот семей с детьми и женщинами. А на следующее утро еще около тысячи — кто верхом, кто на возу с сеном или хлебом, кто на дровнях, — потянулись вереницей к городу. Часть конников направилась вслед за «батюшкой». Остальная масса в первый же день, еще до прихода воинского Оренбургского отряда, успела из Берды выбраться.

Тысячи полторы крестьян, уступивших время, все-таки были арестованы.

Трусливый Рейнсдорп не предпринимал никаких действий к занятию опустевшей Берды. И лишь под вечер, когда армия Пугачева со всем обзომ скрылась из поля зрения оренбургских жителей, усеявших вал крепости, губернатор решил послать в Берду воинский отряд под начальством офицера Зубова. Отряд, окруженный огромной толпой голодных жителей, двинулся степью. Зубов занял слободу без всякого сопротивления, захватил около пятидесяти, правда неважных, пушек с боевыми припасами и семнадцать бочек медной монеты (1700 р.). А приходские с ним жители расхищали остатки имущества пугачевцев и все, что попадало под руку, главным же образом напхивались на продукты. И тут, конечно, не обошлось без ссор, без драк: изголодавшиеся люди раздражительны, жестоки.

К офицеру Зубову повели схваченного, одетого в казацкий чекмень Шванвича. Подмышкой у молодого человека французская книга, в руке свежесрезанный хлыстик.

— Я офицер Шванвич — пленник Пугачева, — просто и без особого волнения сказал он.

— А вы знали, что то был Пугачев? И ежели знали, то почему же не предприняли никаких шагов к побегу?

— Считаю это бесполезным и опасным для своей жизни.

— Вы арестованы! Вы изменник! — запальчиво выкрикнул Зубов.

— Вопрос о том, кто я — изменник или не изменник, надеюсь, будет выясняться не здесь и не вамп, — отпаривевал грубый наскок пугачевский есаул Шванвич.

Оставленных пугачевцами припасов было в Берде огромное количество. В Оренбург несколько дней тянулись обозы со съестным. Цены в городе сразу понизились. Пуд ржаной муки, стоивший за последнее время тринадцать рублей, 24 марта продавался за пятьдесят копеек.

Таким образом, всякая угроза Оренбургу миновала.

24 марта к Рейнсдорпу прискакал от князя Голицына гонец с известием о победе под Татищевой.

А вслед за явившимся гонцом привезли в город скованного по рукам и по ногам Хлопушу. Жизненный круг судьбы его был завершен.

Когда с женой и сыном он прибыл в Каргалу, то спросил пугачевского ставленника, каргалинского атамана Мусу Улеева:

— Собираешься ли ты, батюшка, за государем-то? А я вот в Сакмару бабу-то с ребенчком везу.

— Дело наше бульно кудой, брат Хлопу-

ша, — ответил Улеев. — Ты собирайся, куда знаешь, а я своего полка не пустил ни одна татарина. Все по домам сидят. Дело наше — яман!.. Сапсем дрянй!..

Хлопуша запечалился, мигал белесыми глазами, отяжелевший, словно чужой, рукой опирался гряшцу на носу.

— А наш татарка Фатма у вас работает? — спросил Улеев, скосив на Хлопушу глаза.

— У нас, — ответил Хлопуша. — Саблей рубится славно, казаку не уступит!

— Яман ее дело!.. Сапсем тьфу! Сапсем кудой!.. Закон рупит!.. Ая-яй, какой дрянй баба!.. Ая-яй!

В это время послышался за окнами женский визг и крики. Это голосили на улице жена Хлопуши с сыном. Их визгал с артелью татар тоже ставленник Пугачева, каргалинский сотник Абрешит. Хлопуша выбежал на шум и также был схвачен, отведен в кузню и закован.

Новые кандалы показали ему много тяжелее старых.

Страшная судьба этого человека завершилась внезапно... Судьба оглушила Хлопушу, как рыбаки глушат рыбу подо льдом. Сквозь густую тучу его жизни вдруг прорвалось яркое солнце, обманно засверкала недолгая свобода, и снова туча сомкнула свою хмурию, — выфрел стела, мрак, беспощадный путь, в насильственную смерть. Хлопуша — закаленный человек, но и он сразу сник: внутри его все качалось. И одно желание в нем было — желание вечного покоя.

Оренбург украсился флагами. В соборе служили благодарственный молебен. Рейнсдорп писал Голицыну на немецком языке:

«Победа, которую ваше сиятельство одержали над мятежниками, возвратила жизнь обитателям Оренбурга. Блокированный в течение шести месяцев, город этот обречен был на ужасный голод, а теперь оглашается радостью, и жители шлют пожелания благоденствия своему знаменитому избавителю».

В конце послания Рейнсдорп не постеснялся приписать и себе немалые заслуги: «Пугачев, чрез высланную от меня команду, будучи приведен в крайнее замешательство, бежал чрез Общий Сырт, повидимому, на Переволоцкую крепость». Впрочем, наглое вранье губернатора послужило ему на пользу. Впоследствии он был хотя и не особенно щедро, но все же награжден Екатериной. Ему пожалованы знаки ордена Александра Невского и пятнадцать тысяч рублей.

Жители Оренбурга были на два года освобождены от подушного сбора.

Так закончилась знаменитая осада пугачевца Оренбурга.

(Продолжение следует)

Севастополь

Много песен у моря,
Сегодня все до одной,
Весеннему ветру вторя,
Разносятся над страной.

Света у моря немало,
Но было ль еще когда,
Чтоб, как сегодня, сияла,
Чтоб так светилась вода!

Много больших, любимых
Есть городов у нас,
Трудно проехать мимо,
Не заглянув на час.

Но этот мы знаем с детства,
Этот неповторим.
Как славы морской наследство,
Мы Севастополь чтим.

От прадедов, от дедов
Завещанный редут.
Так здравствуй, здравствуй, победа!
Греми над Москвой салют!
9 мая 1944 г.

Развалины, клубы дыма,
Что ни проулок — шрам...
Но и руины любимы,
И камни дороги нам.

Снаряды и бомбы не брали
Только прибрежных скал,
Но встанет он из развалин.
Как в прошлом столетье встал.

Раскинется, разодетый
В сады,
опять молодой,
И моря зеленым светом
И солнцем залпной.

Песен много у моря.
Сегодня оно поет,
Синему ветру вторя,
Одну боевую:
«Вперед!»

Поле боя

Над пшеницей стаи птиц,
Конопля с вороньим граем,
Свет без края, без границ —
Это полем называем.

Есть другое: зыбуны,
Крутояра желтый гребень.
Лес — подобие стены
Или просто голый щебень,

Да песок, да рвы в пыли,
Да огонь на суходоле,
Гром от неба до земли,
Стон и кровь.
А тоже — поле.

Все бегут, и ты несись,
Ничего не различая,
Все лежат, и ты ложись,
В землю голову вжимая.

Ни на чей удел заказ
В нашей жизни не положен,
Но на поле боя должен,
Должен ты побыть хоть раз.

Испытать солдатский труд

И когда потоки льют,
И когда метут метели,

Чтоб по-новому любить
Все, чем с детства мы богаты,
Чтобы жизнью дорожить,
Как умеют лишь солдаты.

Очень много солнечного света

Очень много солнечного света,
Над землей стоит голубизна,
Кажется — в сиянье раздвиза,
Изнутри земля освещена.

Море к солнцу дно приподымает
Горным скатом,
Бархатным лужком,
Каждой каплей искрится, играет,
Полыхает каждым гребешком.

Над высоким берегом пушинка,
Как звезда далекая, плывет,
Солнцем смотрит каждая былинка,
Каждый камень птицею поет.

Мимо сосен, тополей и тун
С низых скал срываются ключи,

1943 г. Ноябрь, Черноморский флот.

Не вода — светящиеся струи,
Солнечные брызги и лучи.

Золотыми, дивными столбами
С облаками лес соединен,
Над дорогой дальней,
Над песками,
В миражах высокий небосклон.

Очень много солнечного света,
Будто счастьем все озарены.
Думаю: таким зимой или летом
Будет окончание войны.

Заблестят слезинки на ресницах,
Флаги, флаги вскинутся влали.
И в твоей улыбке отразится
Все сиянье неба и земли.

М. РОЗЕНТАЛЬ

О героизме и поэзии труда

Каждый новый роман, каждая новая повесть, рассказ, очерк, написанные нашими писателями о советских людях и их борьбе на фронте и в тылу, привлекают наше внимание, встречаются читателем с неутоленной жадностью. Мы хотим в образах, создаваемых нашими художниками, узнать, увидеть черты советского человека, изумившего мир героизмом, благородством, невиданным мужеством, человеческой красотой своего характера. Мы хотим наглядно себе представить те свойства советских людей, которые составляют движущее начало его поведения, проникнуть в те истоки, откуда он берет свою великую силу.

С разочарованием оставляет читатель повесть или роман о наших днях, если они не дают живого ощущения событий и людей, помогающего понять все то грандиозное, что происходит на наших глазах, если, дочитав последнюю страницу книжки, читатель не думает с волнением: «Так вот он каков, наш герой, советский человек, обладатель драгоценных качеств, выдвинувших его на первый план зебывалых в истории событий; вот он, рядом со мной, такой обыкновенный, ничем не выделяющийся из многих таких же, как он, и вместе с тем необыкновенный, с неисчерпаемым зарядом жизни, с силой, могущей творить подлинные чудеса».

С благодарностью к писателю дочитывает читатель его повесть или роман, если он находит в них великую правду о советском человеке, если перед ним стоят, как живые, знакомые образы людей, не поднявших на ходули, обыденных в своем внешнем облике и, одновременно героических и новых по всему своему строю, по всему характеру, воспитанному советским обществом.

С такими мыслями и чувствами начинаешь читать новую повесть Федора Гладкова «Клятва». Есть ли в ней эта правда о советском человеке, поднявшем на свои плечи такую тяжесть в общей борьбе народов мира против фашистского человеконенавистничества? Содержит ли она то, что может обогатить наши представления о советском народе, превратившемся в бойца, солдата на фронте и в тылу?

Повесть Гладкова имеет с этой точки зре-

ния тем больший интерес, что она рисует образ советского рабочего в отечественной войне. В нашей литературе мало произведений такого типа. Это не случайно. Может быть, здесь, в художественном изображении новых законов связей и взаимоотношений между людьми в процессе труда, в изображении советского типа рабочего — меньше всего проторенных дорог в литературе, больше всего трудностей. Гладков принадлежит к небольшому числу писателей, с упорством работающих над этой темой. В наши дни эта тема одна из самых животрепещущих. Война против врага, борьба за победу складываются из многих данных, среди которых особенное значение имеет производство современной военной техники. Производят эту технику рабочие. Война поставила перед советским рабочим классом задачу гигантской трудности. Не говоря уже о трудностях первого этапа войны, когда в тяжелых условиях наших временных неудач промышленность переводилась на Восток, советские рабочие, кроме того, должны были в минимально короткий срок превзойти врага по производству количества боевой техники и дать технику качественно самую высокую и современную.

Легко себе представить, как много драматических коллизий породила жизнь в процессе выполнения этой работы, сколько изменений внесла она в личные судьбы людей, какого напряжения всех физических, моральных, умственных сил потребовала от человека, как глубоко и всесторонне должны были развернуться душевные силы людей и обнаружиться их сокровенные качества. Настоящего писателя-художника не может не захватить эта величественная картина борьбы, полная подлинного пафоса героизма, открывающая смысл и цель жизни в наше время.

«Клятва»¹ Федора Гладкова имеет подзаголовок «Записки фрезеровщика Николая Шаронова». Это дневник квалифицированного культурного рабочего-ленинградца, эвакуировавшегося из своего любимого города на далекий Урал вместе со своим заводом. Сам герой называет свои записки «отчетом о своих дейст-

¹ См. «Октябрь» № 1-2 и 3-4 за 1944 г.

вних и своих связях с людьми», — отчетом «перед совестью о том, как оправдал я себя в эти великие дни борьбы». Форма дневника выбрана автором, очевидно, не случайно. Он предоставляет слово своему герою, дает ему возможность излить свою душу, рассказать о чувствах и страстях, охватывающих все его существо в период величайшего потрясения, вызванного войной.

К счастью, форма, избранная писателем, не заставила его ограничиться лишь тем, что относится к центральному герою. Последний живет не в безвоздушном пространстве. Он не одинок. Ему по самой природе чуждо интеллигентское самокопание, самоанализ, который бы его собственную персону поставил в центр всех мировых событий. Он великолепно сознает, что он — частица могучего коллектива, несущего славное имя советского народа, что сам по себе, без органической связи с коллективом, бессилён. Поэтому в его записях дана широкая картина, отражающая неповторимую уральскую действительность 1941—1942 годов, когда Урал стал средоточием мощной военной промышленности, арсеналом великой отечественной войны. Хорошо передана всеобщая атмосфера трудового напряжения, борьба за увеличение производства вооружения. Люди недосыпают ночи, по несколько суток не выходят из цехов, азарт соревнования охватил и старых уральских рабочих, и ленинградцев, мстящих врагу, стоящему у стезй их города, и юных ремесленников, делающих еще только первые шаги, но понимающих всю свою ответственность перед страной. Автору удалось без нажима, без ложного пафоса, без риторики изобразить эту уральскую военную жизнь, и люди, выступающие в повести, — не надуманные, а настоящие, живые лица, подлинные герои наших дней.

Вот образ коренного уральца — старого рабочего, сталевара, одного из тех энтузиастов, о ком говорит весь Урал, — Тихона Васильевича, на квартире у которого остановился Николай Шаронов. Он сначала сдержанно встретил ленинградцев. «Уральский патриотизм», знание цены своему мастерству вызывали у него первоначально чувство превосходства над приезжими. Но очень скоро он, как и другие «столбовые» уральцы, убедился, что в соревновании с Кировцами, сильными своей технологией, придется напрячь все силы. И он дни и ночи проводит у своей печи.

«Сегодня мой сталевар, — рассказывает жена Тихона Васильевича, Аграфена Захаровна — Груня, — пришел как черт из ада. И одно бормочет; не свалит меня Кировцам! Они одну задачу решают, а я — две. Ну, сижу около него, а он бормочет...»

Она встала, стерла улыбку с губ, подмигнула и наклонилась над своим ухом:

— Ежели будет мой недосыпа бузтовать, и голоса не подавайте. Ложитесь себе и — ни гугу... Почует, что дома никого нет, — и опять грохнется на постель. Такой уж...»

«В это утро, — записывает в своем дневнике Николай Шаронов, — произошла с ним смешная история... В дверь ко мне кто-то настойчиво стучал кулаком. Я вскочил с кровати.

— Кто там?

Я открыл дверь, но в прихожей никого не было.

— Груня! — басил беззлостью Тихон Васильевич: — Ну, не дури, Груня, отойди!

Хотя у меня ломило голову и сон сковывал глаза, но я не мог удержаться, чтобы не захохотать.

— Не бунтуй, Тихон Васильевич, — успокоил я его. — Покорно ложись спать и дрыхни до прихода Аграфены Захаровны. Ушла, брат, и надежно заперла тебя на замок.

Он разъяренно вздохнул.

— Ну, и лихорадка!.. Тут на завод нужно, понимаешь; а она... Будь верный друг, Николай Прокофьевич, возьми коцергу и сломай эту дурацкую штуковину.

— Не могу, Тихон Васильевич. Из любви к тебе и из уважения к Аграфене Захаровне не могу: она строго-настрою запретила мне даже подходить к двери. Хотя я и сочувствую тебе, но в жизни никогда замков не ломал.

— Фу ты, язви тебя!.. Ведь товарища освобождаешь... Чувешь? Ломай, говорят тебе!..

— Потерпеть придется, Тихон Васильевич. Аграфена Захаровна сама выпустит тебя. А пока полезно тебе подрыхать. И не проси — на шаг не подойду.

Он был сконфужен, бухал пятками по полу и вздыхал.

— Вот стервец! Сговорились, как тюремщики! Уважал я тебя, Коля, а теперь хорошо згаю, какая тебе цена! Трус ты и боле ничего. Баба проказы надо мной строит, а ты, знаменитый фрезеровщик, — на задних лапках перед ней! Ну, ответь честно: кто тебе дороже — она или я?

— Мне дороже всего, милый мой, верность. Не могу нарушать распорядков в доме моих друзей. Кроме того, вполне разделяю убеждения Аграфены Захаровны, что тебе надо основательно выспаться. Да и мне не мешай; я тоже нуждаюсь в отдыхе.

И я решительно захлопнул дверь.

— Ну, черт с вами, язви вас в душу! Полежу с час, а ежели Грунька не явится — погром устрою...»

Такие люди, как Тихон Васильевич, закладывали в тылу фундамента победы над врагом. Характерной чертой этих людей является их преданность делу — признак страстных деятельных, талантливых натур. Эти люди не нуждаются в поощении, во внешнем принуждении. В них самих горит огонь беспокойства, ответственности за судьбы своей родины, своей власти. Они знают, что они хозяева своей страны и своей судьбы и что только их собственное напряжение, их беззаветный труд может воздвигнуть непреодолимую стену на пути врага. Отсюда та ярость в работе, тот массовый напор в труде, то великолепное творчество новых форм социалистического соревнования, которые так характерны для периода отечественной войны. Люди слились со своим заводом, своими станками, и их угнетает, несмотря на усталость, самое непродолжительное бездействие. Им кажется недопустимым мечтать сейчас о каком-то покое, о нормальной, как в мирное время, работе, и они зарядили себя на длительный беспокойный труд, который должен преодолеть всякие установленные пределы.

Особенный интерес, разумеется, представляет центральная фигура повести — сам Николай Шаронов, фрезеровщик, от имени которого ведется рассказ. В этом образе писателю удалось воплотить некоторые очень существенные для современных событий черты и художественно представить новый, рожденный советским стро-

ем, социалистическим обществом тип рабочего,—тип, сущность которого ярко проявилась в дни войны.

Николай Шаронов — человек советского времени. Ему тридцать шесть лет. Следовательно, ему было всего десять лет, когда его отец, тоже рабочий, вместе с другими рабочими совершили величайшую из всех революций. Он воспитанник советского строя, дышавший воздухом советского общества в течение всей своей сознательной жизни и, таким образом, представляет прекрасный объект для беспристрастного изучения некоторых сторон нового типа человека. А в этом человеке и заключена в конечном счете тайна героического подвига нашего народа в великой отечественной войне.

Сам о себе он рассказывает в немногих словах: «у станка я работаю уже восемнадцать лет, то есть половину своей жизни. Не отрываясь от завода, я окончил рабфак и посещал лекции в институте литературы и языка. Пробовал писать стихи и рассказы, но ничего у меня не вышло».

Страстью его оказалась техника, работа на производстве. «Заводской труд меня очень привлекал, и я нетерпеливо ждал выпускных экзаменов. Самым большим удовольствием для меня было блуждать по заводским цехам. Многие часы проводил я около станков и, как замороженный, следил за красивой работой фрезерных машин. Они казались мне волшебными. Ко мне привыкли, у меня появились друзья, и я часто сам становился к станку. Кому-нибудь из парней было интересно возиться со мною, как с понятливым и любознательным учеником. И когда я пришел в цех как рабочий ученик, я был там своим человеком, а станок уже слушался меня».

Шаронов один из тех многих людей, которые были вовлечены в бурный водоворот технической революции, совершившейся в нашей стране в памятные годы индустриализации. Его любовь к технике, к производству получила питательные источники и развилась в деятельную страсть.

Технические революции совершались в разное время, во многих странах, но они не породили и не могли породить тот тип людей, представителем которых является советский рабочий Шаронов. Страсть последнего к технике особая, и элементы, формирующие Шароновых,—элементы нового, не встречавшегося до сих пор в истории материала. Первое, что бросается в глаза в Шаронове,—это то, что для него производственная техническая работа исполнена поэзии. Он поэтизирует свой труд, он испытывает от него величайшее наслаждение, труд неотделим от его жизни и является естественным выражением его самых глубоких жизненных стремлений.

Эта особенность Шаронова как советского человека чрезвычайно важна для понимания остального: выделяя эту черту в своем герое, писатель обобщает действительно новое явление, малочисляющее лишь в нашей стране, возникшее в характере людей, выросших на новой, советской почве.

Шаронов работает на производстве как поэт. Сам он много говорит об этом. Вся деятельность героя, его мысли и поиски, его отношение к механизмам, его восприятие завода, чувство ритма заводской работы проникнуто поэтическим пафосом.

«Я вхожу в цех. Он залит электричеством. Всюду — и внизу между станками, и вверх

среди перекрытий,—частые созвездия пронзительно лучистых огней. В бесконечных пространствах корпуса — голубой дым. Ослепительно вспыхивают в разных местах молнии. Всюду — гул. От сердцебиения станков и двигателей земля под ногами дрожит и дышит.

Как всегда, я сразу ощущаю связь со своим станком. Я вижу его издали, и он приветствует меня, как живой, своим сиянием, глянецом, и какой-то особой теплотой. Мне чудится, что в нем с давних пор живет мой дух — мой характер и душевное беспокойство. Какое-то суеверное чувство тревожит меня, когда я вижу его после разлуки: если бы я вдруг забыл о нем, если бы на час погасло во мне его дыхание, он отместил бы: или перестал бы работать, или искалечил бы меня. Более тонко не могу сейчас выразить свое ощущение».

Шаронов, подобно поэту, вынашивает в себе образы новых конструкций, усовершенствований, и эти образы волнуют его так же, как поэта его любимые образы: «...меня захватила,—записывает он,—новизна конструкции: каждую минуту я был во власти этого образа. Он преследовал меня и в цеху и дома, он то приближался, то удалялся от меня».

Шаронов горячо спорит с теми, кто не видит и не чувствует поэзии и красоты производственного труда.

Конечно, во всяком труде есть нечто такое, что вызывает у трудящегося человека чувство удовлетворения. Труд — потребность нормального человека, и самый процесс труда, в котором физические и духовные силы человека находят свое применение, упражняются, совершенствуются, доставляет человеку радость. Ему приятно видеть плоды своей деятельности, чувствовать, что в произведении его труда, — пусть самом незамысловатом, — живет частичка его собственного бытия, отражение его личности. В этом смысле труд вообще один из самых поэтических тем искусства. Недаром Горький так много говорил советским писателям об их обязанности возвеличивать труд освобожденного человека и сам был несравненным мастером изображения трудовых процессов, умевшим даже в подневольном труде людей видеть и показывать величие физических и душевных сил человека, способных превратить весь мир в цветущий сад.

Но поэзия труда — в истинном смысле этого понятия — явление, свойственное не всякому обществу. Подневольный труд убивает красоту человеческого труда, отнимает у человека радость, порождаемую самим процессом труда, превращает последний в тяжелую и горькую необходимость. Тот поэтический пафос, который пронизывает производственный труд Шаронова, — это мироощущение нового человека, принципиально отличающее его от человека прежнего времени.

В самом деле. Поэтическая сторона труда коренится прежде всего в том, что в нем проявляется свободная и творческая жизнедеятельность человека, в том, что человек не отделяет себя от произведения своего труда, от тех общественных отношений, которые возникают в результате его деятельности. Он видит результаты своего напряжения, своих усилий, он знает, что эти усилия не пропали даром, что он выковал какое-то звено, которое входит органической частью в общий процесс жизни людей, улучшая ее, поднимая ее на новую ступень; звено, которое необходимо и лично ему самому, ибо все, что он делает, — делает

он и для себя, его творение не отделится от него самого, не станет некоей чуждой и враждебной для него силой, которой он должен будет покориться. Но именно этот разрыв между творцом и его творением, между трудом и результатами труда, между физическими и духовными силами человека — неотъемлемая особенность подневольного труда. Нет необходимости напоминать еще о том, что подневольный труд и материальная нужда — брат и сестра, сопутствующие вечно друг другу: а труд, рождающий всегда нужду, неуверенность в завтрашнем дне, меньше всего дает основания человеку поэтизировать его. Нет места для творческого, вдохновенного труда, нет стимулов для напряжения своей энергии, связей способностей, духовные силы угасают. Заводской труд с его самой великолепной, свидетельствующей о человеческом гении техникой превращается в каторгу, и если способен порождать поэзию, то прежде всего, поэзию ненависти, борьбы с эксплуататорами.

...Николай Шаронов говорит:

«Я люблю свой станок, люблю делать вещи прекрасно, — так, чтобы они играли, радовались, жили в моих руках, как произведения искусства... Иногда я испытывал подлинное волнение, когда брал в руки сделанную мною деталь, я любовался ее формой и блеском ее лучей. Для меня нет высшего наслаждения, как сознание, что эта созданная мною вещь — не просто металл, механически обработанный фрезерами, а часть моей души, — мое вдохновение, моя любовь, мои искания».

Это слова человека из другого мира, человека, который может сказать, что созданная им вещь, деталь, машина — часть его души, его вдохновения и любви. Нужна была гигантская перемена, чтобы в душе людей возникли такие чувства. Хорошо известно, в чем состояла эта перемена. Человек стал хозяином своих общественных отношений. Исчезли те социальные условия, которые произведения труда превращали во внешнюю силу, господствующую над человеком. Все, что ни делает человек, может им рассматриваться с точки зрения его скрепных общественных и личных интересов. Труд приобрел осознанную и благородную цель, меняющую существенным образом все поведение человека, его взгляд на мир, все его мироощущение. Уже одно то, что человек работает на предприятии, принадлежащем всему народу, на станке, который его не поработает, а освобождает, означает великое начало уничтожения того уродующего человека зла, которое таится в разрыве между физическим и умственным трудом, между физическими и духовными возможностями людей. Октябрьская революция вызвала к жизни огромный взлет организаторской деятельности миллионов людей, впервые получивших возможность активно руководить производственным процессом, организовывать его, развивать, приложить все силы народного ума и таланта для того, чтобы создать жизнь новую, интересную, глубоко содержательную, счастливую.

Из этих истоков родилось в нашем народе то всемирно известное движение, которое получило наименование стахановского, и суть которого можно охарактеризовать как творческое отношение к технике. Не случайно товарищ Сталин усмотрел в этом движении первые шаги по пути, ведущему к полному исчезновению веками укоренившегося разделения между физическим и умственным трудом. Товарищ

Сталин метко назвал представителей этого движения своего рода общественными деятелями. Они — общественные деятели, ибо они творят новые формы труда, новую технику, новую технологию во имя интересов всего общества.

То, что наиболее ярко характеризует этих людей как новое, чрезвычайное богатое своими возможностями явление нашей жизни, это — творческое начало в их труде и отношении к технике, это их неутолимая жажда творить, их художественное, артистическое чутье, своеобразно преломленное в технике, помогающее им, простым рабочим, двигать вперед технику, это — творческое беспокойство, не оставляющее их ни на миг.

Шаронов хорошо передает это чувство, владеющее им. Он не удовлетворяется достигнутым, не застывает на какой-то точке. Он весь в движении. Сделанное им изобретение быстро уходит в прошлое, новые идеи стучатся в его сознание, и он снова во власти творчества.

«Бывают дни, — пишет он, — когда вдруг ошущаешь, что перед тобою — нечто вроде пустоты, потому что работаешь уже без задержки, автоматически. Душу охватывает беспокойство, и твоё создание, которым ты раньше жил и отдавал ему все помыслы, стареет, становится обыденным. Оно уже не твоё, — отпочковалось от тебя, и ты опять остался на голом месте. И опять начинаются муки поисков, тоска по новой, еще более напряженной борьбе».

Не трудно представить себе, какие результаты для развития общества, его материальных и духовных богатств получаются от этого сращения физического труда с «муками поисков», с тоской по новой, еще более напряженной борьбе. Об этих результатах можно судить по стахановскому движению в мирное время, когда творческие поиски передовых рабочих развивали старые представления о возможностях техники и превращали то, что вчера еще казалось несбыточным и фантастическим, в реальную действительность. Об этих результатах можно судить по тому для постороннего взгляда кающемуся чудом превращению, которое произошло со старой Россией, ставшей в сказочно короткие сроки сильнейшей страной мира, страной, которой сегодня большинство государств земного шара и все честные люди мира несут дань уважения и восхищения.

Советский строй взрыхлил и возделал почву, на которой выросли Шароновы. Он дал им культуру, техническое образование, ясную и вдохновляющую перспективу, и человек заблестал всеми красками полноценной жизни.

...И вот Шаронов на войне. Не на фронте непосредственно, а там, где делается оружие для фронта. Ценность повести Гладкова в том, что она рассказывает о нашем советском рабочем, созданном пятилетками и всей атмосферой советской жизни, дает его образ в условиях войны, вызывает у читателя реальное представление о той роли, которую сыграл рабочий класс в трудные дни борьбы за свободу и независимость родины.

Мы знаем, что за рубежом не перестают до сих пор выражать восхищение и вместе с тем удивление по поводу той поистине беспримерной работы, которую проделала советская промышленность, вооружая Красную Армию. Но разве и нас, советских людей, знающих о перевороте, происшедшем в стране за годы пятилеток, понимающих, какие гигантские силы вызвал к жизни советский строй и какие

возможности таятся в самой его природе, разве нас самих не поражают масштабы и размах производства вооружения, достигнутые в предельно сжатые сроки?

Страна накопила великое богатство материальных ценностей, создала великолепную индустрию. В стране выросли новые люди, которые умеют использовать эти ценности по-новому. Стахановцы переключили в военное время весь свой опыт, все свое умение на многократное увеличение производства оружия, весь их творческий пафос, усиленный ненавистью к врагу, был обращен на такое усовершенствование станков, технологических процессов, которое бы позволило производить оружия столько, сколько нужно Красной Армии.

Что чувствовал Шаронов, когда эшелон с эвакуированным заводом и людьми уносил его далеко из родного города, где остались его жена и сын?

«Ехали мы с болью в душе, с злым нетерпением работать. Если бы можно было пустить станки на платформах, мы не задумываясь, с бурной радостью приняли бы каждый за свое дело.

Сутками стояли мы на забытых эшелонах станциях и не знали, куда деться от тоски».

Одной мыслью, одной идеей жил он, когда приступил к работе на новом месте, — как добиться увеличения выработки. Теперь, — думал он, — когда боевая техника в руках искусного воина решает все, «я обязан, кроме прекрасной обработки, дать деталей в десять, в двадцать раз больше. Одним увеличением числа оборотов станка не достигнешь цели. Нужно было вводить различные новые приспособления — заставить вырабатывать одновременно по нескольку деталей и производить одновременно несколько операций. Вот почему я занят каждый день, каждый час одной мыслью — усовершенствовать станок, заставить фрезеры работать так, чтобы весь механизм подчинялся малейшему моему движению, даже неощутимому прикосновению моей руки».

Но не только эта мысль не давала покоя Шаронову. Совершенствуя станки, он преследовал цель достигнуть такого положения, когда самый неопытный рабочий и только что пришедший на производство ремесленник сумели бы работать на этих станках, превышая существующие нормы: Такие люди, как Шаронов, стали подлинными вожаками рабочих, вели их вперед, помогали им увеличивать производительность труда, становиться почетными людьми.

Шаронова посылают в соседний цех, отстающий и тормозящий работу всего завода. Он останавливается у станка, за которым работает молодой рабочий.

«Этих хороших юношей я привык узнавать сразу: в их облике, в глазах, в движениях дышит любовь к своей работе и неугасимый интерес к тому, что они делают. Станок у него был опрятный, стол чистый, пол подметен...

— Ну, как работаете? — спросил я, улыбаясь ему дружелюбно. — Давайте, познакомимся...

— Баранов — моя фамилия. Незабывчивая. Работают два года, а кажется, что только со вчера у станка: норму не выполняю.

— Почему? Станок у вас — в порядке, да и вы, как будто, работаете хорошо...

Он остановил станок, вынул блестящий червяк, покрутил его в руках и подал мне. Работа была превосходная, но очень сложная. Такую работу на токарном станке можно было про-

изводить очень осторожно и очень медленно. Нужно было, не отрываясь ни на минуту, следить за резцом и управлять станком чутко и четко. Эта красивая вещица похожа на игрушку, а без нее машина не двинется с места. Выяснилось, что Баранов обрабатывает за смену две-три штуки, а по норме нужно было изготовлять не меньше пяти. Что толку в моих тысячах процентах, когда эта игрушка торчит передо мною непреоборимым барьером. Мои детали лежат кучами перед этим ничтожным червяком: он убивает их и превращает в мертвую груду металла. Я стоял перед Барановым и молчал. А Баранов все улыбался, смотрел на меня с надеждой, и я видел, что он верил в мою силу.

— У нас никто еще порядком не освоил эту штуковину. Без ножа режет, проклятая!.. Не поверите, глаз не смыкаю... душа изболелась...»

Шаронов начинает жить этим «ничтожным червяком». Такова природа Шароновых: раз они задалась какой-либо задачей, они не останавливаются, пока не решат ее. К тому же и сама задача стоит того, чтобы творческие силы человека померялись с ней.

Как Шаронов разрешил ее, об этом лучше всего рассказать словами повести.

«Когда я ломал голову над тем, как бы переключить деталь Баранова на фрезерование, меня вдруг поразила внезапная мысль. Неподалеку от Баранова стоял небольшой фрезерный станок, который был, вероятно, забыт всеми. Я подошел к нему и в волнении стал обследовать его со всех сторон. Понял я одно: этот станочек можно сделать своеобразным сложным приспособлением... Деталь Баранова подчиняла себе и станок и человека: для того, чтобы выточить ряд винтовых нарезков, нужно было все силы направить на одну какую-то микроскопическую точку в данную секунду, нужно было стальной цилиндрок неотрывно направлять по намеченной линии. Говоря техническим языком, нужно было линию с большим углом наклона резать с такой же осторожностью, с таким же напряжением внимания, каких требует ручная работа. Неудивительно, что токарь мог приготовить за смену не больше двух-трех таких червяков. Для меня было ясно одно: надо добиться, чтобы вращался или стол с деталью, или мотор с резцами. И вот, обследуя этот станочек, я пришел к мысли, что один из его моторчиков можно так приспособить, что будет двигаться не деталь, а он — по детали».

Весь цех следил за реконструкцией станка, производимой Шароновым. Рассказ достигает подлинно драматической остроты.

«Все лихорадочно ждали того дня, когда мы пустим его в ход. Меня и Брякина (инженера, помогавшего Шаронову) любили на каждом шагу и спрашивали, что мы делаем с моторами, как будут работать фрезеры и когда, наконец, наша диковина покажет себя. И вот в одну из дневных смен Баранов с засученными рукавами стал на свое место.

...Все эти плотно сбитые в кучу люди стояли как завороченные, их глаза блеснули и не отрывались от станка. Щеки у девушек пылали румянцем. Так все безмолвно стояли с четверть часа, и, когда Баранов остановил мотор, толпа туго подвинулась вперед и как будто охнула. Баранов вынул серебристый червяк, окунул его в воду и, как фокусник, показал его всем, поворачиваясь и вправо и влево.

— Вот эту штуковинку я точил. ребята, целую смену, а сейчас, как видите, продрал ее в четырнадцать минут...

И он схватил меня за плечи и поцеловал три раза крест-накрест, а потом бросился к Брякину. Нас оглушили аплодисменты, смех, крики. Толпа забурлила, сдвинула нас со всех сторон, и каждый старался продраться ко мне, к Брякину, к Баранову, чтобы восторженно пожать нам руки. Девчата и парня поперебой спрашивали нас о чем-то, тормозили, требовали чего-то, и в этом вихре криков и толкотни ничего нельзя было разобрать. Мне стало душно. А Баранов кричал срывным голосом:

— Ты пойми, голова: ведь сорок пять норм! Это же ведь чорт знает что!.. Месяц спрессовали в один день... а? Теперь я знаю, что такое летать на крыльях...»

Шаронови в дни войны действительно учили и учат других рабочих «летать на крыльях», открывают им глаза на новые их возможности, раздвигают границы применимости их сил, делают их «тысячниками», то есть людьми, дающими сотни и тысячи процентов установленной нормы. А это означает — новые дополнительные танки, самолеты, пушки, снаряды, все то грозное, первоклассное оружие, посредством которого Красная Армия мстит немцам за горе и бедствия, причиненные ими великому советскому народу.

За Шароновым стоят живые, реальные люди, обобщением и художественным выражением которых он является. Спросите на Урале любого человека: кто такие Босый, Янкин, Завертайло и многие другие, — и вам каждый ответит, что это знаменитые фрезеровщики, рудокопы, медеплавильщики, танкостроители, пушкари, оружейники, выполняющие, благодаря достигнутому им техническим усовершенствованиям, сотни и тысячи процентов нормы и помогающие отстающим рабочим выдвигаться вперед. Многие из них за свою творческую

работу на производстве удостоены Сталинской премии. Они — новые рабочие, соединяющие физический и интеллектуальный труд, настоящая рабочая интеллигенция, и о них можно по праву сказать словами Чернышевского: это «цвет лучших людей», «двигатели двигателей», «соль земли» в нашем рабочем классе.

«...Из широченных ворот двух противоположных цехов с грохотом и лягом выполняли в дереулок танки. Слева — средние, а справа — тяжелые. Все они голубые, глянцевые. Они, как сороконожки, играли своими колесами и стальной бахромой гусениц. Длинные стволы пушек грозно целились вперед, высываясь из латых башен. На броне стояли танкисты и рабочие. Они что-то кричали друг другу и махали руками. Танки становились в ряды и загромождали дереулок. Это рождалась очередная сменная партия, готовая к бою. В каждом из этих чудовищ тоже воплотились, как в кристаллах, мои искания и мои боевые победы. Здесь всюду дыхание войны: и грохот танков, судорожно рвущихся вперед, и трелет самолетов, поднявших своих остекленные, усатые головы, и трубный их вой в небесах, и необъятные гулы завода... И я чувствовал, что я — такой же боец, как и эти танкисты и летчики, опаленные битвами. Каждый мой шаг, каждая мысль — это война.

Родная моя страна, мать моя, вся моя жизнь, все мои помысли принадлежат только тебе!..»

На этом заканчиваются записи фрезеровщика Николая Шаронова, образ которого помогает проникнуть в один из многих животворящих источников великой победы и великой славы нашего народа.

История не отпускает славы по капризу, по произволу. Слава завоевывается тем народом, который делает историю, движет общество вперед, народом свободным, могущественным, стойким, передовым.

Такой народ — советский народ;

Писатель и его герой в дни войны¹

СТАТЬЯ ВТОРАЯ.

Образы великого прошлого

...Никогда изучение русской истории не имело такого серьезного характера, какой приняло оно в последнее время. Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло о нашем будущем.

Белинский. «Взгляд на русскую литературу 1846 г.»

*Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.*

Из государственного гимна Советского Союза.

I

Историческая тема приобретает сейчас новое значение.

Оглядываясь на нашу историю, мы видим: ничто хорошее в ней не пропадает, все унаследованное, переданное по традиции, сегодня как бы творится вновь. Возьмите сталинградские листовки о порядке действий штурмовых групп — и приемы великого Суворова воскреснут для вас в творческой инициативе и дерзости прославленных боев за волжскую твердыню:

«Автомат — на шею, 10 гранат под рукой, отвага — в сердце. Действуй! В таком случае и время, и внезапность — твои!

Врываись в дом вдвоем — ты да граната. Оба будьте одеты легко: ты без вещевого мешка, граната без рубашки. Врываись так: граната впереди, а ты за ней! Проходи весь дом опять же с гранатой: граната впереди, а ты за ней!»

Разве это не напоминает суворовский боевой стиль, его «атаку словом».

У русского народа в этой войне нашлись огромные «резервы» в прошлом: многие уже вызваны из глубокого тыла истории в действующую армию современности. Герой русской истории, человек-победитель, вряд ли когда-нибудь чувствовал себя настолько просто среди людей другой эпохи, как сегодня среди советских людей. В историческом романе «мы допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло о нашем будущем». Это допрос честный, прямой, без пристрастия, потому что весь смысл его в том, что история должна дать нам только правдивые показания. Это допрос со страстью, потому что им движет ре-

нивое желание ничего не утратить из того, что великими предками нам завещано и принадлежит нам по праву законных наследников. Суворов или Чернышевский, Авакум или Иван Грозный, Петр I или Лобачевский — все эти могучие индивидуальности свидетельствуют о многосторонности гения, о силе характера великого народа. Воскрешенные художником, они воспитывают наших людей в чувстве гордости своим прошлым, в чувстве связи с родной землей, передают нам по традиции сознание своей исторической роли и безбоязненный взгляд в будущее.

Однако современность ставит перед художником свои задачи. Я, современник, беру исторический роман, как сильный полевой бинокль, и вижу историю рядом с собой, отчетливо, выпукло, стереоскопично, призываю ее как свою многоопытную руководительницу, поверяю ей и проверяю ею свои тревоги и думы о днях грядущих. Если исторический роман — не «лавка древностей», не костюмерная, если художник хочет познать прошлое как подготовку настоящего, то как бы ни была отдаленна от нас эпоха, в которой действует исторический герой, он входит в нашу жизнь запросто, как свой человек, как желанный, жданный друг и советник. Долгая разлука только увеличивает радость встречи.

Я чувствую себя легко с героем романа А. Н. Толстого «Петр I» — гениальным преобразователем русской жизни начала XVIII века, и он так же понятен мне, как и герой «Хождения по мукам» — инженер Телегин, человек с большой верой в жизнь, в будущее своей родины, действующий в эпоху социалистической революции. Как же реально выглядят потребности современности, толкающие художника к историческому герою? Вспомните разговор Телегина с Катей в «Хождении по мукам», и вы почувствуете необ-

¹ См. статью первую «Октябрь» № 6—7 за 1943 г.

ходимость возникновения образа Петра в творчестве советского писателя А. Н. Толстого:

«Иван Ильич захлопнул книгу (— истории России. — В. П.).

— Ты видишь... и теперь не проладем... Великая Россия пропала! А вот звука этих самых драных мужиков, которые с кольями ходили выручать Москву, разбили Карла Двенадцатого и Наполеона... А звук этого мальчика, которого силой в Москву на санях притащили, Петербург построили... Великая Россия пропала!.. Уезд от нас остается, — и оттуда пойдет русская земля...

Он фыркнул носом и стал глядеть в окно, за которым рассветало серенькое утро. Даша прислонилась головой ему к плечу, он взглянул, поцеловал ее в волосы:

— Иди спать, трусиха...

Роман «Петр I» появился в свет в годы первой пятилетки. Ни в чем не отступая от исторической правды, автор изобразил в нем Петра и его дело преобразования Руси, ломки средневековой отсталости русской жизни. Этот образ прошлого был воскрешен как нельзя более своевременно.

«Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут», — говорил товарищ Сталин в 1931 году.

Наши мыщцы приготовились к небывалому прыжку. И сил только пришло от сознания, которое давал нам роман о Петре, что в ту далекую эпоху, и в условиях гораздо менее благоприятных, русский народ совершил огромный прыжок, определивший все наше дальнейшее историческое развитие. Ключом к пониманию романа стали замечательные сцены собрания людей вокруг Петра. Автор изображает возвышение семьи Бровкиных. В начале романа Иван Артемьевич — кабальный холоп, а к концу он ведает поставкой провианта на всю петровскую армию, он ставит полотняный завод, выходит в торговые люди. Один из его сыновей — Алешка — становится видным офицером при Петре. Санька выходит замуж за боярина Василия Волкова, того самого Волкова, у которого отец ее был кабальным холопом. Сцена сватовства Саньки, изумительная по своей живописи, чрезвычайно важна: она помогает понять, как Петр, преодолевая упорство бояра, опираясь на помощников, выдвинул их из народных низов. Это важно потому, что обычно представлялись как первый план факты иноземного влияния. Изображение их не упущено в романе, но заслуга А. Н. Толстого в том, что он обратил внимание на роль русских людей из народа в «перевоспитании» господствующих классов старой Руси.

У Петра есть новые кадры, на которые он может положиться, вроде Ивана Артемьевича Бровкина или Александры Меньшикова, который в детстве торговал пирогами с зайчатинной. Алешка Курбатов, здоровый человек князя Шереметьева, подкашивает царю мысль о новом источнике дохода — выпуске гербовой бумаги; кузнец Жемов обучает Петра кузнечному делу. Петр окружен дружескою средою людей из народа, без помощи которых он не смог бы осуществить свое историческое дело преобразования русского государства.

Советская современность дала возможность художнику по-новому понять своего исторического героя. Сравните роман А. Н. Толстого «Петр I» с его же рассказом «День Петра», написанным в 1917 году. В этом рассказе Петр представлен одиноким: он один, все и всё против него. Все обманывают его, все его предают, ему не на кого опереться, Петр представлен чисто психологически, а не конкретно исторически. Трагизм этой фигуры возникает в рассказе вовсе не из борьбы с реальными историческими трудностями, — это трагизм «сверхчеловека». При всем блеске, с каким написан «День Петра», эту трактовку нельзя признать ни правдивой, ни глубокой. Ведь психология исторического лица может быть понята только через историю, через реальные обстоятельства жизни. А в этом рассказе Петр изолирован и от людей, и от истории.

«За воротами, взявшись за скобку двуколки и на минуту замедлив садиться, он подумал, что день окончен — трудовой, трудный, хмельной. И бремя этого дня и всех дней прошедших и будущих свиной тягой легло на плечи ему, взявшему непосильную человеку тяжесть: одного за всех».

По-иному открылся автору смысл петровской ломки русской жизни в свете Октябрьской революции. Историческая ценность романа А. Н. Толстого о Петре в изображении тех сил прошлого, которые подготовили настоящее. Роман написан не только о гении Петра, но и о гении народа. Роман дает не только образ замечательного преобразователя русского государства, но и образ замечательного талантливого, крепкого и деятельного народа, без помощи которого Петру никогда не удалось бы осуществить свои дерзновенные планы.

Так связывается воедино прошлое и настоящее, история и современность, и в этой связи исторический герой остается самим собой, ни в чем не подделываясь под героя нашего времени.

Перед самой войной написал Сергей Бородин свой роман о Дмитрии Донском; книга широко дошла к читателю уже в войну. Вот произведение тонкой и вместе мужественной красоты, рожденное гордой любовью к великому прошлому нашей родины во имя еще более великого будущего. Всколыхнув воспоминания из колыхали русской истории, — автор вокресил для нас те черты силы народа, которые, вместе с возмужанием, укреплялись в нем, а расцвели в наши дни. И вот его Дмитрий Донской — не только личность, но и тип того героя русской истории, образ которого помогает нам в трудной борьбе: верный сын родины, человек страстной государственной идеи, искусный мастер своего дела, твердый, дальновидный, чистый душой. В этом романе есть еще один герой — Кирилл, простой русский человек, много ошибавшийся и тяжело заплативший за свои ошибки, но слившийся с родиной в роковой для нее час и щедро вознагражденный ее большой любовью и своим маленьким счастьем.

Только любовь к родине делает человека человеком — доказывает эта книга. Победоносные предания прошлого поддерживают нас в самые трудные моменты борьбы; исторический герой в качестве высокого примера и образца становится силой современности.

При этом мы захватываем из прошлого не только пример деятеля, но и личность человека; личность, которая, оказывается, из исторической дали виднее во всем своем богатстве и во всех противоречиях своей силы и слабости. В романе Л. Н. Толстого «Война и мир» я понимаю Кутузова глубже через Тушина, а Тушин мне становится ближе через Кутузова; встречным движением они входят в мою душу — Кутузов, открывающийся как человек в великом историческом деятеле, и Тушин, своими изумительными качествами человека являющийся достоверную историческую силу русского народа в войне 1812 года.

В действиях наших войск, разгромивших Наполеона в 1812 году, как и во всех героях его исторического романа, Л. Н. Толстого увлекает, вдохновляет на художественное творчество прежде всего их нравственная сила. К ней одной он сводит всю военную силу, не придавая никакого значения военному мастерству, отменяя роль военной техники. Доказательству этой мысли посвящены известные военно-философские главы «Войны и мира».

Эти ошибочные воззрения великого художника не помешали нам заново и правильно прочесть его роман. Приблизились вплотную и стали по-особенному дороги нам герои «Илиады русской жизни» прошлого века.

Военные главы толстовской эпопеи нацелились названиями населенных пунктов, грозно знакомых по сводкам Совинформбюро. Но не только совпадение внешних событий в боях на тех же рубежах родной земли сообщило остроу современному восприятию исторического романа Л. Н. Толстого. Нравственное величие «Войны и мира» привлекло нас и стало нам помогать. Русский патриотизм в этом романе преодолел, как сама жизнь. Автора «Войны и мира» можно назвать художником вечной жизни. В исторической форме событий 1812 года он сумел поставить вопросы и нарисовать картины, которые всегда волнуют и будут волновать людей: рождение и смерть, любовь к родине, наслаждение самым процессом жизни, личность и государство. Победа жизни, человечность, оптимизм вечно возрождающегося бытия бьют ключом в его историческом романе. Он рассказывает не только о людях той эпохи, он говорит нам о Человеке.

Современность обращает писателя к истории, но вовсе не суживает, не подгоняет к злобе дня образ героя прошлого. Напротив, зная о нем больше, чем современники героя, писатель может охватить его шире в исторических противоречиях его силы и слабости, натуры и деятельности, понять глубже в непреходящей его человечности.

Роман о прошлом не отступает ни в чем от главной задачи искусства: он говорит нам о человеке. Но исторический герой — всегда деятель. Через свое деяние он становится лицом историческим. А в то же время деяние не может быть оторвано от живой личности. Как совместить то и другое в цельном образе?

В известном романе С. Голубова Багратион представлен как главнокомандующий Второй армии, отступающей к сердцу России — Москве. Так он проведен последовательно: Багратион высказывается только по военным во-

просам, ведет только деловую переписку, не вспоминает детства, не видит снов, не замечает природы...

Это генерал Багратион. «Военно-стратегический роман» — так отзывались с похвалой иные о работе Голубова.

Да, в этом пристальном интересе к военной стороне дела сказались повелительные требования современности. В наши дни, когда так велико значение искусства полководца и военного мастера, роман о герое, чье имя стало символом чести и славы русского оружия, должен был быть написан.

Положение Багратиона, храбрейшего, искуснейшего ученика великого Суворова, по нужде обстоятельствами к отступлению, его тревога, мучения оскорбленного патриотизма — что может быть более близко и понятно нам, пережившим отход наших войск в 1941 году!

Что может быть более поучительным, чем рассказ о действиях полководца, уводящего свою армию на соединение с другой по заранее намеченному плану, обманывающего превосходящего противника военными хитростями, ошеломляющего и изматывающего врага арьергардными боями, — в наши дни торжества сталинской маневренной тактики? Книга Голубова — талантливый опыт, представляющий читателю связную историю целой кампании в художественной форме. В этом оригинальность произведения Голубова, позволяющего уснуть интереснейший вопрос о взаимоотношениях деятеля и человека в конкретной личности, в образе Багратиона.

В романе Голубова Багратион до Бородинского сражения делает все время не то, что он хочет и находит нужным. Разлад между характером и образом действий у Багратиона трагичен, в особенности если сопоставить его с Барклаем, который, однако, также переживает свою трагедию. И Багратиону, и Барклаю приходится действовать при одинаковых обстоятельствах. Как же отражается на их деятельности разница характеров? Автор не устает подчеркивать различия между своими героями как людьми, и сначала может показаться, что противоположность их стратегических взглядов коренится в разнице характеров: у Багратиона преобладает чувство и воображение, у Барклая — разум и осторожная оглядка. Багратион как будто воплощает наступательный порыв, а Барклай — идею отхода. Багратион — так можно подумать по первому впечатлению — требует сражения, потому что он по своей натуре горяч и напорист, Барклай же избегает сражения, потому что он холоден и нерешителен. В самом деле, «лед и пламень не столь различны меж собой», как эти герои голубовского романа. И, конечно, человеческая индивидуальность, характер чувствуются в том предпочтении, которое Багратион отдает наступательной, а Барклай — отступательной тактике.

Есть, однако, нечто более сильное, чем та или иная индивидуальность; властно примиряющее самые противоположные натуры, заставляющее их действовать согласованно и целесообразно: историческая задача и необходимость. Историю делают люди, но они ее не делают самопроизвольно. Багратион и Барклай противопоставлены в романе Голубова вовсе не как положительный тип отрица-

тельному,— разве кто-нибудь может воспринять Барклая, пленяющего своим благородством, как тип отрицательный? Они также не противостоят друг другу как тип отчаянного смельчака психологическому типу рассудительного аналитика,— пред нами два исторических деятеля, самостоятельно ищущих решения одной и той же исторической задачи. Это борьба двух положительных героев, для которых самым сильным побудительным мотивом всех их действий и поступков являются благо отечества, любовь к родине. Автор ставит читателя в сложное положение, когда читателю приходится не только чувствовать, но и размышлять: ему не может не нравиться Багратион и может не нравиться Барклай, но, симпатизируя Багратиону, читатель не может не соглашаться с Барклаем, нащупывающим правильное решение задачи. Кто же из них положительный герой и кому надо сочувствовать: тому, кто, предлагая неправильно действовать, остается лично обаятельным, или тому, кто, будучи лишен всякого обаяния, прав по существу? Вот как может встать проблема положительного героя в изображении исторического деятеля.

Багратион как психологический тип представляет полную противоположность Барклаю,— так говорит нам автор. Но эти столь различные люди, будущи полководцами, возглавляють две русские армии, которые совместно должны решить одну и ту же задачу: уничтожить армии Наполеона, вторгнувшиеся в пределы России. «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань...» Однако, в одну телегу оказались впряжены Барклай и Багратион.

И, странное дело, в принудительной упряжке историй каждый из них сделал блестяще все, что мог и должен был сделать. Оба, мучаясь и страдая, борясь друг с другом и с самим собой, подчинили себя борьбе с врагом. Если психологически Багратион противопоставлен Барклаю, то исторически один дополняет другого; противоречие между ними снимает Кутузов, назначенный главнокомандующим вместо Барклая.

В Кутузове Багратион надеется найти родственную душу, и, конечно, Багратион ближе Кутузову, чем Барклаю. Но между характером и образом действия нет прямого подобия. Кутузов как бы берет и от Барклая, и от Багратиона то, что нужно ему для решения исторической задачи. Кутузов, чувствующий и понимающий настроение армии и народа, поступает по-своему, продолжая отступление Барклая, и автор романа не приходит к оправдыванию Багратиона: историческое событие рождается в борьбе живых людей, в столкновении взглядов, в сочетании характеров. Ощущение того, что могло быть так, а могло быть и иначе, что Багратион всерьез надеется на защиту Смоленска, а Барклай всерьез колеблется, и хотя темнит свои замыслы, но готов дать себя убедить главнокомандующему Второй армии, это ощущение неопределившегося настоящего есть в романе С. Голубова. Это удача художника. В мемуарах Клаузевица, служившего в русской армии в 1812 году, можно встретить указание на то, что наступательные бои под Смоленском могли увенчаться успехом и создать преимущество для русской армии. Замечание Клаузевица интересно тем более, что он считал правильной стратегию отхода. Багратион ошибался,

требуя наступления, но Голубов убедительно трактует эту ошибку не как результат чувства и характера, а как результат взгляда и оценки обстановки. Ученик Суворова не мог жить только чувством, он прежде всего руководился определенными военными взглядами. Он знал, например, что солдаты страстно желали решительного боя с французами, а нравственный элемент в суворовской науке побеждать всегда был совершенно реальной силой. Наставшая на борьбу за Смоленск, Багратион не просто проявляет свой огненный темперамент, свою натуру. Отношение между характером и образом действия на арене истории более сложно, чем в частной жизни. Огненный Багратион учитывает и рассчитывает, поэтому он и требует сражения за Смоленск: он учитывает настроение войск, он знает, что под Смоленском неприятель понесет урон едва ли не вдвое больший, чем русские. В своем письме Аракчееву от 6 августа 1812 года, то есть в тот день, когда Барклай дал приказ об отходе, Багратион тревожно указывает на выигрыш времени как на важнейшую задачу русской стратегии:

«Я удержал с 15-ю тысячами более 35 часов и бил их, но он (Барклай.— В. П.) не хотел оставаться и 14-ти часов... Больно, грустно, и вся армия в отчаянии, что самое важное место понапрасну бросили...»

Бессмысленно гадать, как могла сложиться военная обстановка, если бы Барклай согласился с доводами Багратиона и дал бы под Смоленском то оборонительное сражение, о котором мечтал Багратион. Но разве идея «заманивания» неприятеля в глубь страны не будет извращена, если полководец не ищет всякого случая, чтобы измотать врага, если не прилагает всех сил, чтобы остановить его, если не готовит свои войска к переходу в наступление, поддерживая в них жажду боя и веру в победу? Таким полководцем и является в романе Голубова Петр Иванович Багратион.

Натура, характер объясняют многое в историческом деятеле; многое, но, конечно, не все. Известно, что подходящий человек для решения назревшей исторической задачи всегда находится. Дело находит человека, перекаивает и притирает друг к другу самых разных людей. Если бы в произведении Голубова Багратион и Барклай были бы даны только как психологические типы, то мы бы не узнали самого главного: каковы же они как полководцы. После Смоленска Багратион на опыте борьбы с Наполеоном приходит к мысли, что наступательная тактика не столь беспорочна, что действия Барклая не бессмысленны. Багратион колеблется, то есть переживает состояние, ему как будто не свойственное. Что это значит? Разве Багратион стал менее горяч, разве изменилась его натура? Ничуть не бывало. Вспомните, как Багратион обрушивается на Толя со всей свойственной ему страстностью при обсуждении новой позиции для генерального сражения. Узнав о предостойщей смелке Барклая Кутузовым, Толя позволяет себе дерзкое выражение по отношению к Барклаю:

«— Как смеешь ты так говорить, полковник? — в бешенстве крикнул Багратион. — И перед кем? Перед братом своего государя... Перед главнокомандующим... Ты... мальчишка...»

А вслед за этим Багратион заявляет Барклаю: надо отступать. Так Багратион делает шаг к сближению с Барклаем. Но разве при этом он не остается самим собой? Формируя деятеля, история камень тешет, а не глину мнет. Если бы перемена воззрений так легко влекла бы за собой ломку характера, то это означало бы, что новые воззрения утвердились в человеке так же непрочно, как не крепко сидели старые. Логика истории не обезличивает деятеля, а дает лишь новое направление всем силам его природы. Багратион страстно ошибается и страстно исправляет свою ошибку. Осознание исторической необходимости диктует ему новый образ действий, тот самый, который был ненавистен ему у Барклая. Роман Голубова учит ценить постоянство характера, особенно важное для деятеля, помогает понять то, как разные люди в жесткой упряжке истории успешно делают общее великое дело.

Пылкость Багратиона разбивается о твердость Барклая. Эта твердость не только от постоянства характера, но и от постоянства воззрений. Согласие между характером и образом действия не избавляет, однако, Барклая от трагедии. Багратион ошибается, но он окружен общим сочувствием и поддержкой. Барклай прав, но он окружен ненавистью. Он один против всех, хотя он верный защитник отечества, рыцарь не меньше, чем Багратион. Отчужденный от жизни армии, он не поддается влияниям и умеет отстоять решение, правильность которого он продумал. Таким рисует его автор в полную противоположность Кутузову, который, опираясь на совершенно иные свойства характера, тоже умеет один против всех отстоять свое решение. Барклай в романе Голубова—образ положительного героя; для него дело превыше всего. Хорошо то, что он сам не отдаст себе в этом полного отчета, но автор очень тонко убеждает нас в этом. Барклай не жалуется царю на своих врагов в армии. Что это—гордость, благородство? Да, отвечает автор и подчеркивает: «Сам Барклай почитал эту причину единственной и основной». Но автор знает о своем герое больше. С интересом мы узнаем и другую причину того, почему Барклай не боролся со своими врагами: он их боялся.

«Это было совершенно обыкновенное, не заключавшее в себе ничего возвышенного, чувство страха перед людьми, имевшими связи при дворе. Выгони он этих людей из армии—они кинулись бы в Петербург. Барклай был плохим царедворцем и не умел плести интриги. Чем мог он отразить грозу, которая тотчас собралась бы над его головой в зимнедворцовских и царскосельских императорских покоев? Полагаться на изменчивый и неверный нрав царя было трудно. Оставалось побеждать терпением злые выходы врагов и свой собственный страх. Лишь бы не погибло дело! Но дело и Барклай—одно. Итак: лишь бы уцелеть! Человек, живший в Барклае, был горд и смел; царедворец же, тихонько прятавшийся в закутках его души, оказывался уступчивым и робким. Вот почему и не боролся он до сих пор со своими врагами...»

Лишь бы не погибло дело—вот ключ ко всей личности Барклая. Он отлично понимает свое положение и страдает. Боятся врагов,

но не борется с ними, потому что, больше чем за себя, боится, чтобы не пострадало дело—тот глубоко продуманный план отступательной борьбы с наполеоновской армией, о котором он еще в 1807 году писал, что «заставил бы Наполеона за берегах Волги найти вторую Полтаву». Разве не возвышенна барклайева безграничная преданность делу, хотя к этому чувству примешана и боязнь за себя? Твердость Барклая есть следствие не только его силы, но и слабости, которую разгадал в нем художник-реалист. Здесь между характером и поступками, между натурой и стратегией есть прямая связь, но как не просто ее найти и установить!

Голубов постигает историческое деяние Барклая и через его натуру возвычивает творчество полководца как подвиг нравственный. Автор целиком следует за Пушкиным в его оценке Барклая:

«Барклай, не внушающий доверенности войску, ему подвластному, окруженный враждою, извмимый злоречем, зо убежденный в самом себя, молча идущий к сокровенной цели и уступающий власть, не успев оправдать себя перед глазами России, остается навсегда в истории высоко поэтическим лицом...»

Но, конечно, в Багратионе, а не в Барклае воплощена та русская военная сила, которая восторжествовала в Бородинском сражении. Ее живой частицей оказывается и рядовой Старынчук, искусно связывающий множество исторических лиц и помогающий почувствовать Багратиона как народного вождя. В судьбе этого нескладного, темного парня из полесской деревни нас трогает и захватывает рост нравственной силы армии. Проштрафившись в начале кампании, Старынчук оправдывает своим героическими делами на Бородинском поле веру Багратиона в солдатскую душу. Вера в русского солдата—это не только органическая черта природы Багратиона, но и та особенность его как полководца, которой так недостает холодному, болезненно отгородившемуся от людей Барклаю. Однако полководец—не только нравственный вождь армии, но и мастер военного дела. Средствами искусства показать деятеля, стратега—вот задача, поставленная себе С. Голубовым в образе Багратиона. Можно сказать, что книга Голубова написана в опровержение того взгляда, который развивает князь Андрей Болконский в «Войне и мире»:

«И отчего все говорят: гений военный. Разве гений тот человек, который во время умеет велеть поднести сухари и итти тому направо, тому налево?»

В свое время с этим взглядом полемизировал генерал Драгомиров в своей известной работе «Война и мир» Л. Н. Толстого с военной точки зрения».

Автор «Войны и мира», по остроумному объяснению Драгомирова, смешал плановые задачи высших начальников и непосредственные задачи командиров-исполнителей, поэтому он и пришел к отрицанию роли руководства в управлении войсками во время боя. У Голубова Багратион управляет войсками. По книге Голубова можно изучать знаменитый отход армии Багратиона от Гродно к Смоленску. После Отечественной войны 1812 года этот отход в течение многих лет был предметом ревнивой полемики официальных французских историков с русскими историками. Слшком неприятно было сознавать, что мачеху Багратиона опрокинул план кампании, предначертанный Напо-

леоном, поклявшимся, что русские армии не соединятся, что Багратион никогда не увидит Барклая. Но вот они соединяются под Смоленском, соединяются, как показывает Голубов, благодаря искусству Багратиона.

Голубов изображает действия войск в Бородинском сражении как результат управления ими военачальником. Мы видим, по преимуществу, левый фланг Бородинской позиции, но именно на левом фланге, где действует Багратион, и происходили решающие события. В боевой буре мы ясно различаем замысел и волю полководца. Кутузов для усиления Багратиона ставит за его войсками в лесу третий пехотный корпус Тучкова в засаду. Багратион проводит через всю оборону знаменитых флешей новаторскую тактическую идею: Багратион требует участия артиллерии в отражении атак вражеской конницы вплоть до потерь орудия, в то время как все артиллеристы русской армии привыкли считать потерю орудия величайшим позором. Эпизоды обороны флешей следуют в нарастающем темпе. Автор, как лучом прожектора, выхватывает по всей линии обороны удивительные сцены упорства и самопожертвования русских солдат и начальников, но в этой быстрой смене боевых картин живет единая логика сражения и над всем господствует воля полководца, появляющегося внезапно всегда там, где более всего чувствуется в нем необходимость. И вот Багратион ранен. Слишком близок был он каждому солдату, чтобы тяжелое ранение его, увлекшего за собой солдат в последний невероятный бросок вперед, не было мгновенно воспринято всей армией как катастрофа. «Атака откатывалась назад по всей линии». Иначе и быть не могло, потому что воля Багратиона была и в Старинчуке, наконец дорвавшемся до французов и вдохновенно уничтожавшем врага штыком, и в замечательной работе артиллерии, которая мастерски поддержала последнюю атаку Багратиона, позволившую солдатам вновь увидеть «русские пушки, оставленные на флешах при отступлении. Они расстреливали врага до крайней минуты,—так велел Багратион,—и потому остались здесь». Так велел Багратион... От одной тактической идеи к другой, от распоряжения к распоряжению, в работе над картой вместе с Раевским и Платовым кипит Багратион.

Однако эта сильная сторона в трактовке образа деятеля иногда вредит образу. Роман метами следовало бы читать как сводку — глядя на карту. К этому Багратион приглашает своих боевых соратников, а вместе с ними и в гораздо большей мере, читателя: «Глянь на карту... Глянь еще на карту...» Конечно, можно было бы снабдить роман оперативно-тактическими схемами; это было бы в такой книге вполне законно, но нельзя забывать, что включение подобного материала не проходит безнаказанно для цельности чувства и впечатления. В том, как Чапаев у Фурманова вымеривает циркулем на карте, потребовав, чтобы ему достали из сумки его собственный циркуль, или как он в кинокартине объясняет Петьке место командира в бою, сказывается и выражается характер героя, а не только то или иное решение тактической задачи.

Увлечшись «военно-стратегическим» жанром своего произведения, Голубов не всегда помнит об этом законе искусства. А с другой стороны, автор слишком расцветывает Багратиона и дает его эстетически приподнятым, как будто

стихийная мощь этой исключительной природы и богатство багратионовой биографии нуждаются в преувеличениях или подкраске.

«Случилось никогда не бывалое!» — восклицает автор по поводу ранения Багратиона на Бородинском поле.

«— Четверть века провел Багратион в огне грозных битв, и никогда не посмел прикоснуться к нему ни один кусок вражеского свинца или железа. Четверть века! Солдаты крепко верили в то, что их любимый вождь неуязвим. Да и не только солдаты! И вот он перед ними с раздробленной ногой...»

Как же «никогда не бывалое», если Багратион был четыре раза ранен, его чуть ли не замертво выносили с поля боя? Зачем нужно было автору, превосходящему знающему жизнь своего героя, исказить факты боевой биографии полководца? Повидимому, Голубов хотел приподнять и украсить своего героя, приписав ему мистическую неуязвимость, но на самом деле ослабил его действительную неустрашимость. Когда автор хочет нарисовать своего героя более красивым, он выходит условным. Это сказалося и в его портрете:

«У Багратиона был радостный и вдохновенный вид...»

«...он с восхищением смотрел на его (Багратиона) горделивую осанку и воинственное лицо...»

«Прибавь сюда мужественную смуглую физиономию, быстрый и горячий взгляд черных глаз, орлиный нос, круглые кудри цвета воронова крыла, беспорядочно венчающие гордую голову. Соединив все вместе, ты можешь считать, что видел князя Петра Ивановича Багратиона...»

Последняя цитата взята из письма Батталы, наемного слуги князя, своему брату. Письмо, будучи случайно обнаружено на убитом итальянце, попадает в руки Багратиона. Но разве не странно, что автор, как об этом говорят первые цитаты, описывает Багратиона в том же умиленном тоне, что и Батталы. В письме дается восторженная характеристика Багратиона и приводятся данные из его биографии. Багратион зачем-то дарит одному из офицеров это письмо, с него снимаются копии и распространяются среди офицеров русской армии. Вся эта суeta с эпистолярным произведением камердинера князя вряд ли оправдана.

«Тетушка Бобина уже не торгует на рынке весенними стрижами... В винограднике Сан-Витторио — четвертая доля пертика на всю нашу семью...» — ударяется Батталь в воспоминания. «Весенние стрижи», «четвертая доля пертика» — все это литературные украшения, как и мистическая неуязвимость Багратиона. Если нужно было познакомить читателя с фактами биографии Багратиона, то можно было это сделать без литературной упаковки, до которой читателю, нет никакого дела. Герой романа Голубова от этого стал беднее как человек. Он проявляет себя только по одной линии, и от этого менее понятен как полководец.

«В сутолоке бесконечных дел, среди суетк распоряжений и споров князю Петру Ивановичу некогда было поглубже заглянуть в себя...» — замечает автор.

Но как раз более глубокое раскрытие образа намечено в романе теми сценами, где Багратиону удается все-таки «поглубже заглянуть в себя» и где он предстает в единстве человека и деятеля:

«Олферьев проводил все время у постели своего князя. Иногда целые часы проходили в молчании. А иногда завязывались долгие тихие разговоры о самых неожиданных предметах. Война в этих беседах почти не участвовала. К величайшему удивлению Олферьева Багратион обнаруживал в них небывалую склонность к философствованию. Как ни хорошо знал Олферьев своего князя, но он никогда не подозревал в нем ни интересов, ни познаний, которые вдруг выступили теперь на первый план...»

Неужели только на покое, только уйдя от «сутолоки бесконечных дел», исторический герой оказывается человеком? И разве в самом его деянии не проявляется во всем блеске не только его гений, но и его нравственная, человеческая сущность, все силы ума и души?..

* * *

Советское искусство в течение многих лет ставило перед собой задачу изображения героя-деятеля. Но беда многих наших так называемых производственных романов была в том, что они оказывались ведомственными, что сооружение заслоняло собой людей.

Тем не менее мечта советского художника вырастала из потребности самой жизни: дать героя деятельного, энергичного, опозитизировать человека-творца. Требования современности, выдвинутые отечественной войной, Голубов перенес на своего исторического героя. В его «Багратионе» я вижу преемственность от производственных очерков, от «Людей двух пятилеток» — книги, которую, по замыслу А. М. Горького, должен был написать коллектив писателей. Позвольте, скажут, какая же тут преемственность? У Голубова — история, а Горький имел в виду произведения о людях советской современности; у Голубова — война, а то было производство, здесь — роман, а там были, главным образом, очерки и т. д. и т. п. Но дело, конечно, не в жанре и не в материале.

Для идеи или принципа нет барьеров. Если идея жизненна, она пробьется сквозь все неудачи, прорвется через все препятствия и преграды. Замысел Голубова — показать человека через деятельность, — кажется мне тем более значительным, что у него в советской литературе были предшественники.

Нельзя показать деятеля, не понимая, не разбираясь в том, что он делает. Художник должен уметь разговаривать со своим героем на его профессиональном языке. Но никто не захочет читать роман, если для понимания его нужно обращаться к справочнику, если в самом произведении нет всего необходимого для того, чтобы участвовать вместе с героем в его действиях и переживаниях. Я понимаю Кутузова так же непосредственно, как Наташу Ростову. По известной формуле Наполеона — на войне $\frac{1}{4}$ нужно отнести к нравственному элементу и $\frac{3}{4}$ — ко всему остальному. Поэтому если Л. Н. Толстой отбрасывает в своем изображении войны «все остальное», то он все-таки разрабатывает как раз те $\frac{1}{4}$, которые так часто «пускает» военная история. Но полководец — не только нравственная сила, а еще и мастер своего дела. Голубов поставил задачу совершенно правильно: изобразить мастерство Багратиона.

Предмет искусства — все содержание человеческой жизни. Задача художника состоит в

том, чтобы увидеть, как моральный дух человека проявляет и утверждает себя в историческом деянии, в стремлениях политика, в расчетах и решениях полководца, в творческих исканиях и муках ученого, инженера, в будничном труде и подвиге. Тогда личность деятеля в ее живом многообразии, в обаятельности и последовательности сложного характера скажет лучше всего о том деле, которому была отдана жизнь героя.

II

*...И паки в третий Рим беже джи
есть в новую великую Русию...*

(Из послания старца Филофея
Ивану Грозному.)

Вряд ли можно острее ощутить связь исторической темы с современностью на каком-нибудь другом примере, чем на творчестве Алексея Толстого в дни отечественной войны. Его поистине вдохновенные статьи о Родине в самый трудный период войны, когда враг угрожал столице Советского государства, полны были того действенного пафоса истории, по поводу которого еще Карамзин сказал, что «она (история)... утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали еще ужаснейшие и государство не разрушалось...» В статьях Алексея Толстого история была свидетельством бессмертия народа, она утешала сознанием силы народа, возбуждаям испытаниями. Публицистика Толстого питала его работу на драматической повести об Иване Грозном. В свою очередь историческая тема Ивана Грозного сказалась необычайно красочно в его статьях, мгновенно находивших свое место в духовном вооружении советского народа.

Русь Ивана Грозного, одного из величайших деятелей нашей истории, была в полном смысле слова вооруженным лагерем. Крымский хан Девлет Гирей, угрожавший Москве из дикой степи с юга, немецкие и литовские рыцари с запада, охочие до русских земель, подпавших под власть Ливонского ордена — в этой непрерывной войне на два фронта Иван Грозный ломал внутри страны самовластие бояр сплывшая раздробленную на уделы Русь в единое централизованное государство. А. Н. Толстой стремился как художник разгадать характер главного героя своей драматической повести, составившей загадку и предмет страстных споров для многих поколений русских историков и писателей. А пока шла эта сложная внутренняя работа, в боевых статьях напоминавших о славе предков, мы читали:

«Когда Иван Грозный замыслил образовати из самостоятельных или подчиненных Москвы княжеств единое русское государство, народ понял это и поддержал его в жестокой борьбе с князьями и боярами, в неслыханной дерзости военной реформе — опричнине и кровопролитных войнах за древние русские вотчины... Земля стала единой и отечество единым» («Русские войны». 3 августа 1941 г.)

И вот драматическая повесть «Иван Грозный» закончена. Она состоит из двух песен — «Орел и орлица» и «Трудные годы», охватывающих период царствования Ивана примерно

1560 по 1571 г. Казань и Астрахань уже завоеваны. Ливонский орден, хозяйничающий на исконных русских землях, загорает выход к Балтике. В представлении Ивана именно здесь — главный внешний враг русского государства.

Государственное сознание Ивана давно переросло пределы Московской Руси. Он чувствует себя государем «божим изволением». Религиозная идея освещает его политические планы: Ивана воодушевляет образ Москвы — третьего Рима. Бояре и советники, окружающие Ивана, лишены чувства политической реальности: они хотят спокойной жизни на своих уделах и вотчинах, не понимая, что дальше жить по-старому невозможно, что западные соседи Москвы, обособившиеся на древних русских землях, не дадут ей жить спокойно.

Величие Руси, восстановленной в ее законных пределах, или угроза нового рабства, — так ставит вопрос история. Война неизбежна, нужно все приготовить для войны. И прежде всего нужны новые люди, не связанные заскоружными предрассудками старого местничества, способные дать отпор центробежным силам родовитого боярства, враждебного идее единого русского государства.

Иван видит вокруг себя не только коварных изменников и робких приверженцев уделов, но и этих новых, преданных ему, решительных людей, которые должны стать основой преобразованного войска и государственной администрации. Так рождается знаменитая опричнина и возвышается служилое дворянство. Иван не останавливается ни перед чем в жестокой расправе со своими противниками. Но в расцвете его государственной деятельности, а именно этот период берет А. Н. Толстой в своей драматической повести, жестокость Ивана не бессмысленна. В тот жестокий век Иван Грозный воплощал в себе передовые силы русского государства. Недаром Петр I глубоко уважал Ивана и называл его своим образцом. Недаром историк петровского времени Татищев сравнивает указы Петра с уложениями и законами Ивана IV.

Иван был предшественником Петра, когда он уничтожал вельможество и окружал себя людьми незнатными, но преданными, готовыми служить ему и государству без всяких задних мыслей; когда в тяжких войнах он пробивал через Ливонию «кюки в Европу»; когда стремился зазвать в Москву, которая в XVI веке была больше Лондона, иноземных умельцев — мастеров оружия; когда завязывал через Белое море торговые отношения с Англией; когда хотел насадить на Руси науки и искусства — не случайно в его царствование выбылса первоначатник Иван Федоров, а мастера Барма и пскович Яковлев построили по приказу царя в память взятия Казани дивный памятник древнего русского зодчества — собор Василия Блаженного; когда, наконец, расправляясь с политическими противниками, прибегал к крайним «варварским методам» в борьбе с варварством.

Человек большой государственной идеи, суровый новатор, творец русского Возрождения — таким рисует советская историческая наука Ивана Грозного, предшественника Петра Великого. Таким представляет Ивана Грозного и А. Н. Толстой в своей драматической повести. Иван смело вает воспрянувшую, расширившуюся Русь в ряд передовых дер-

жав своего времени, как раз в ту эпоху, когда границы человечества расширились открытием Нового Света и морского пути в Индию, а новое направление всей европейской торговли вызвало подъем ряда новых государств, тяготевших к Балтике. Среди них на первом месте стала Россия Ивана Грозного.

Откуда пошла и чем объясняется та традиция осуждения всей деятельности Ивана Грозного, которую решительно опровергла советская историческая наука, — вопрос особый. Выяснение тех общественно-политических причин, под влиянием которых складывались в каждом конкретном случае различные взгляды на Грозного, — иногда у людей одного и того же политического лагеря, — завело бы нас слишком далеко от нашей темы.

Но если учесть, что мы особенно охотно и легко составили себе представление об исторических лицах по их поэтическим воспроизведениям, то понятно, насколько важна была художественная работа об Иване Грозном, которая в дни войны увлекла А. Н. Толстого. Оценить ее в полной мере можно только оглянувшись, хотя бы бегло, на историю этого образа в русской литературе.

Иван Грозный — тиран, лишенный всякой политической идеи, и Иван Грозный — предшественник Петра Великого; страстное, даже какое-то истгупленное развенчание, как например, в статье историка Н. И. Костомарова «Личность царя Ивана Васильевича Грозного», и не менее страстное, восторженное превозношение, смысл которого в дальнейшем станет ясным, — эти противоположные взгляды на Ивана Грозного борются в нашей общественной мысли и литературе на протяжении всего XIX века. «История злопамятнее народа», — сказал Карамзин в заключение той части своего труда, которая посвящена царствованию Ивана Грозного. В самом деле, народ сохранял в памяти образ Ивана — царя грозного, не справедливого, пронес в своих песнях сознание правоты его исторического дела:

Зачиналася каменна Москва,
Зачинался в ней и грозный царь,
Грозный царь Иван Васильевич.
Он Казань-город походом взял,
Мимоходом город Астрахань;
Полонил царство Сибирское;
Выводил измену из Новгорода,
Выводил измену из Пскова.

Если бы народ был злопамятен, то он мог бы вспомнить, что ему не легче стало жить при Иване, а тяжелее, что, оторванный от земли участием в непрерывных походах, он был задавлен налогами, усиленной работой на новых помещиков, явившихся вместе с опричниной; что на своих плечах он вынес неимоверные тяготы создания русского государства. Однако в большинстве наиболее популярных песен народ вспомнил не это, а другое; читая их, нельзя не подивиться чувству истории, свойственному народу, пониманию им интересов целого. Песня не только, как мы видели, одобряет то, что Иван «выводил измену», но и восхищается им как правителем, называя его «прозрителем», «содержателем всей Руси и сберегателем каменной Москвы», отмечает его справедливость, — он «за правду милует, за неправду вешает...»

Уж и стал-то грозный царь
Россеюшку любить,

Стал Россееюшку любить, чужд страны
с ней сводить...

Эта песня об Иване Грозном сложена, по-видимому, уже в эпоху Петра I. Характерно, что образы этих двух великих исторических деятелей сближены в народном творчестве иногда до полного тождества. Собираатель русских песен замечает по этому поводу, что казни Грозного как будто оживают и уясняются казнями стрельцов, покорение Азова передается теми же образами и словами, что покорение Казани; плач по умершем царе, начатый в былинах про Ивана, со всей силой воскресает при гробе Петра:

Ты встань, встань, православный царь,
Царь Иван Васильевич!

Уж ты встань, проснись, православный царь,
Православный царь, Петр Алексеевич!

Безыменный коллективный автор — народ, первым сказал в песне свое веское слово об Иване Грозном, об этой сложной фигуре в русском историческом развитии, перед которой, как увидим дальше, растерялся Карамзин. В конце XVIII века в поэме «Россияда», написанной по всем правилам ложноклассицизма, Херасков воспел Казанский поход и возвеличил Ивана Грозного и его соратников:

Но что восхитило внимание и взор?

Я вижу пламенных опричников собор! —
говорит он, рисуя картину взятия Казани, и объясняет, что «опричниками назывались лучшие воины, составляющие гвардию царскую».

В двадцатых годах XIX века вышла «История Государства Российского» Н. М. Карамзина. С нее, можно считать, и началась та традиция осуждения Грозного, которая дошла почти до наших дней. Пушкин, как известно, написал сзоего «Бориса Годунова» по Карамзину, но был несогласен с ним в его оценке Ивана Грозного. Об этом свидетельствует записка Пушкина Денису Давыдову. Жестокость Ивана не испугала Пушкина и была понята им в свете исторического дела и задач грозного царя. Карамзин же растерялся перед необходимостью соединить, с его точки зрения, несоединимое: дело и личность Ивана Грозного.

Дело, как бы против желания самого автора, приводило его иногда в восторг, а проявления личности вызывали содрогание. Так и написаны 8-й и 9-й томы красноречивой Истории Карамзина, посвященные Грозному, материал которых живет во всех романах и пьесах о Грозном, вплоть до наших дней. Фигура Ивана Грозного не укладывалась в сознании историка: характер царя он рассматривал обособленно от его исторических задач. Он пробует объяснить психологически то, что объяснимо только политически. «Ужасную перемену» в душе Ивана и в судьбе России он связывает со смертью Анастасии: «Здесь конец счастливых дней и Иоанна и России, ибо он лишился не только супруги, но и добродетели». Карамзин осуждает многочисленные браки Ивана, но тут же вполне добросовестно отмечает их политические цели. Он приводит объективные факты измен и предательства «детей боярских», факты вопиющие, но его негодование вызывают не изменники родины, а «ужасы тиранства» — так он называет справедливый гнев Ивана. Он не скупится в красках на описание жестокой расправы царя со своими противниками, а в то же время, пряча восхи-

щение, говорит о дальновидной и тонкой дипломатии Ивана. Как бы спохватываясь, Карамзин постоянно возвращается к описанию его жестокостей:

«...Ни судьба, ни тиран еще не насытились жертвами. Не заключим, а только прервем описание зол, чтобы с удивлением видеть Иоанна, как бы равнодушного, спокойного в его неутомимой политической деятельности».

То ужасаясь, то восхищаясь Иваном, Карамзин так и не свел концов с концами. Конечно, противоречие, с которым не справился Карамзин, имело социальные причины. Но ужасы были изложены более красноречиво и заслонили собой превосходный объективный материал, добросовестно собранный известным русским историком в его знаменитом труде. Так Иван Грозный, благодаря Карамзину, оказался бессмысленным тираном, лишены всякой политической идеи. Однако еще Белинский писал, как о чем-то вполне для него ясном: «Нечего уже говорить о том, что Карамзин неверно смотрел на Грозного» («Русская литература в 1841 г.»).

В развитии взгляда на Ивана Грозного советская историография не уделяет места Белинскому. Между тем современный взгляд на Ивана Грозного восходит, прежде чем к кому бы то ни было другому, — к нашему великому критику. Об этом хочется напомнить сегодня, когда Иван Грозный стал героем необычайного количества произведений литературы и кино, появляющихся почти одновременно. Под влиянием Белинского в среде близких к нему людей — писателей и ученых — складывается понимание Ивана Грозного, как предшественника Петра Великого. Белинский, преклонявшийся перед Петром Великим, пламенно разъяснявший в своих статьях значение его преобразований для развития России, увидел в Иване Грозном один из образов того сильного русского характера, который, по его мнению, воплотился во всех великих делах русской истории. Белинский с сокрушительной издевкой опровергал тех, которые указывали на «смирение, как на выражение русской национальности». В ходе русской истории он видел торжество начала прямо противоположного:

«Иоанн Калита был хитер, а не смирен; Симеон даже прозван был «гордым»: а эти князья были первоначальными силы Московского царства. Димитрий Донской мечем, а не смирением предсказал татарам конец их владычества над Русью. Иоанны III и IV, оба прозванные «грозными», не отличались смирением. Только слабый Федор составляет исключение из правила. И вообще как-то странно видеть в смирении причину, по которой ничтожное Московское княжество сделалось впоследствии сперва Московским царством, а потом Российской империей, приносясь крыльями двуглавого орла как свое достояние Сибирь, Малороссию, Белороссию, Новороссию, Крым, Бессарабию, Лифляндию, Эстляндию, Курляндию, Финляндию, Кавказ» («Взгляд на русскую литературу 1846 г.»).

Как видим, Белинский предлагает судить о характере русского государственного деятеля по делам его, как о творце государственной мощи и величия России. Вот под каким углом зрения в ряду «хитрых» и «гордых» русских князей занимает свое место Иван Грозный. Но место это — особое. Для Белинского и его друзей государственные преобразования Петра не внезапны: новаторство Петра

«смягчено» новаторством Ивана Грозного подобно тому как явление самого Ивана Грозного подготовлено вековой политикой московских князей и действительными потребностями государства.

«Вот могучий Иоанн III, первый царь русский, замысливший идею единовластия и самодержавия, установивший придворный этикет, сокрушивший представителей издыхавшего удельничества и поставивший власть царскую наравне с волей божей... Вот Иоанн IV, этот Петр I, не во-время явившийся и грозою dokonчивший идею своего великого дела...» (о романах Лажечникова, 1839 г.).

В 1846 году историк-публицист К. Д. Кавелин прислал Белинскому в «Современник» статью, где этот взгляд на Ивана Грозного был развит с полной ясностью:

«Переходную эпоху нашей истории — утреннюю зарю нового, вечернюю старого, эпоху неопределенную, как все срединные времена, — ограличивают от предыдущего два величайших деятеля в русской истории, Иоанн IV и Петр Великий: первый ее начинает, второй оканчивает и открывает другую...»

Белинский замечает по поводу этой статьи в письме к А. И. Герцеу:

«Я был в восторге от взгляда на Грозного. Я по какому-то инстинкту всегда думал о Грозном хорошо, но у меня не было знания для оправдания моего взгляда». (20 марта 1846 г.). Когда в 1837 году была напечатана поэма Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», Белинский писал о ней с восторженным удивлением, но трактовка Ивана Грозного у Лермонтова, продолжавшего традицию народных песен, не удивляла его: оплакивая гибель Калашникова, Лермонтов не осуждал Ивана. Деспотический, подозрительный враз царя, страшно непреклонный, не терпящий ни малейшего противоречия, проявляется уже в сцене пира. Заметив Кирибеевича, не принимающего участия в общем веселии,—

...об землю царь стукнул палкою,
И дубовый пол на полчетверти
Он железным пробил оконечником...

Иван в поэме Лермонтова не вершит государственных дел. Он лирует в кругу преданных ему людей и тешился зрелищем кулачного боя, жестокой и часто смертельной забавой старинного русского молодечества. Но даже в этих праздничных картинах фигура царя гнетет окружающих своей безмерной силой. Страстно отдаваясь веселью и потехе, Иван все время как бы проверяет людей. Он добивается от каждого последней правды. «Не сказал тебе правды истинной», — открывает царю молодой опричник Кирибеевич настоящую причину своей печали. «Отвечай мне по правде, по совести», — обращается Иван к купцу Калашникову с вопросом об умышленности убийства опричника. Белинского потрясла жестокая ирония, с которой царь, оценив правдивый бесстрашный ответ купца, обещает ему в виде милости обставить казнь с особой торжественностью:

Я топор велю наточить-наострить,
Палача велю одеть-нарядить,
Чтобы знали все люди московские,
Что и ты не оставлен моей милостью...

Калашников обречен: правдивое признание своей вины не может ничего изменить. И поэт

страстно ему сочувствует... Но нескрываемая насмешка Ивана над собой странным образом воспринимается как своеобразное благородство: такова эта сложная натура, не знающая ни в чем удержу — ни в высоком, ни в низком. Таков Грозный у Лермонтова.

Могучее влияние лермонтовской «Песни» отозвалось на всей дальнейшей истории образа Ивана Грозного. Даже в повести А. К. Толстого «Князь Серебряный», пересказывающей самые мрачные страницы карамзинской «Истории», нет-нет да и прорвется восхищение непонятной, величественной фигурой, которая, по замыслу автора, должна внушать только ужас.

Странную смесь дешевых эффектов авантюрного романа и подлинного лиризма представляет эта увлекательная повесть, по которой в старое время молодежь составляла себе наиболее живое представление об Иване Грозном. В «Князе Серебряном» материал истории Карамзина очищен от противоречий самым простым образом: убрано все, относящееся к государственной деятельности Ивана, и оставлена только его жестокая расправа с противниками. Чувство негодования против тирана усиливается еще и тем, что люди эти невинны, любят Ивана всей душой и готовы в любую минуту пожертвовать собой за него и за родину, а змея гнездится только в больном воображении царя.

«В отношении к ужасам того времени, — предупреждает А. К. Толстой читателя в предисловии, — автор оставался постоянно ниже истории». Но, конечно, А. К. Толстой оставался «ниже истории» вовсе не потому, что смягчал ужасы, а потому, что во всем царствовании Ивана IV он увидел только ужасы, а цели и смысла, и в первую очередь смысла в борьбе Ивана с боярами, не понял.

«Смерть Иоанна Грозного» можно назвать философской драмой. Неудачный конец царствования Ивана, по мысли А. К. Толстого, — возмездие властолюбцу, поправшему все человеческие права в пользу государственной власти. Военные события в борьбе с Ливонией складываются для Иоанна трагически, и он решается отказаться от престола:

Острупился мой ум;
Изныло сердце; руки неспособны
Держать бразды; уж за грехи мои
Господь послал поганым одоление,
Мне ж указал престол мой уступить
Другому...

Но стоит только Ивану получить известие, что русские войска отстояли Псков, что Стефан Баторий ушел от стен древнего русского города, как жажда властвовать бесконтрольно, безраздельно просыпается в нем с новой силой. Власть для власти, — вот трагическая вина Ивана. — «...Я так хочу! Довольно! Ни слова боле!»

Иван любит каяться, но даже в самоубийственном он хочет видеть доказательство безграничности своей власти. Когда близкие к нему люди стараются удержать его в рамках человеческого достоинства, он воспринимает это как покусение на свои права царя. — «Молчи, холоп! — обращается он к Шуйскому. — Я каяться и унижаться властен пред кем хочу!» Отвлеченная, самоцельная власть — вот мания, которая вытесняет в Иване А. К. Толстого какие бы то ни было черты государственного разума.

Содержание другой знаменитой пьесы из трилогии А. К. Толстого — «Царь Федор Иоаннович» также сводится, в значительной степени, к теме государственной власти. Федор Иоаннович — не царствующий царь, передоверивший управление государством Годунову. Проблема образа царя Федора, по самому существу, — психологическая. Решая ее, А. К. Толстой создал едва ли не лучшую историческую драму в русской драматургии. «Смерть Иоанна Грозного» написана с немалым художественным мастерством, и, однако, эта вещь уступает «Царю Федору Иоанновичу». Найти ключ к характеру Ивана Грозного можно было только в его историческом деле, но смысла этого великого дела А. К. Толстой не понял. При всей противоположности образов Иоанна Грозного и Федора Иоанновича в трилогии А. К. Толстого между ними есть сходство: властолюбец Иван так же мало влияет на ход государственных дел и событий, как и робкий, неприспособленный ни к какой общественной деятельности, слабовольный и боящийся власти Федор.

Среди попыток художественного воспроизведения Ивана Грозного есть целая серия пьес и повестей об Иване и его женах. Почти на каждую из семи жен царя приходится пьеса или повесть.

В «Псковитянке» Л. Мея царь не в пример Новгороду милует Псков; но главное в пьесе вовсе не особенные исторические обстоятельства, сложившиеся для псковитян, а псковитянка, которая оказывается дочерью царя от случайной связи.

Известна пьеса А. Н. Островского «Василиса Мелентьева» — одна из тех слабых пьес, какие бывают и у классиков (написана в содружестве с Геденовым). В завязке «Василисы Мелентьевой» успех поднята огромная для Ивана Грозного тема о божественном происхождении его самодержавия, но сводится эта тема к заурядному использованию Иваном своего положения: вовсе не требовалось быть царем всея Руси, чтобы принудить к сожигательству приглянувшуюся ему Василису Мелентьеву, ставшую шестой по счету женой царя.

Разгадку характера Ивана, конечно, нужно было искать не на этом пути.

Многочисленные сватовства и браки Ивана Грозного часто зависели и от дальновидных политических расчетов. Уже стоя одной ногой в гробу, Иван затевает восьмой брак. Через своего посла Писемского он ведет переговоры с английской королевой Елизаветой о женитьбе на ее племяннице Марии Гастингс. Карамзин замечает по этому поводу, что Елизавета — дочь Генриха VIII, мужа шести жен, не была удивлена сватовством русского царя при живой жене. К этому можно добавить, что некоторые историки доводят число жен Генриха VIII до восьми; две из них, и в том числе известная Анна Болейн, были обезглавлены по обвинению в неверности. Иван Васильевич, ссылая своих бывших жен в монастырь, как видим, в своем семейном быту не был исключением в Европе того времени.

Однако понять Ивана Грозного можно только в особенностях исторической обстановки, нравов и нравственных понятий русской жизни.

Государственный деятель определял в Иване его поступки, мысли и чувства, опирался на природные черты его могучего ума и таланта, как-бы использовал самые недостатки неисто-

вой его натуры. Иван осознавал себя помазанником божим с первого проблеска своей сознательной жизни. Недаром отзвуки оскорбительных воспоминаний детства горьким упреком слышались в его письмах к изменнику Курбскому. Семнадцатилетним юношей, первым из русских царей венчаясь на царство, Иван получил от Константинопольского патриарха благословение, подтверждавшее божественный источник его власти. Это убеждение пронизало весь личный житейский опыт царя: он и не разделял житейского и государственного, личного и общего. С таким убеждением можно было, каков бы ни был характер царя, не только жениться семь или восемь раз, но и, что гораздо существеннее, подниматься на трудную борьбу с косностью старого боярства, уничтожая своих политических противников с целеустремленной жестокостью. Что в этой жестокости было от характера и что от исторической обстановки той эпохи?

Генрих VIII английский, роль которого в истории Англии нельзя сравнивать с ролью Ивана Грозного в истории России, между прочими казнями, не задумываясь, казнил и Томаса Мора — своего канцлера, автора знаменитой «Утопии», за то, что тот не признал религиозного авторитета короля и противодействовал его женитьбе на уже упомянутой Анне Болейн.

Мягкосердечия не было в нравах Европы XVI века, века несдерживаемых страстей, когда правители совсем иначе относились к вопросам человеческой жизни, чем мы относимся к ним в настоящее время. Великая историческая задача поставлена была перед Иваном Грозным действительными потребностями русской жизни. Личность царя Ивана Васильевича со всеми особенностями его характера как нельзя более подходила для решения этой задачи. Это понимал не только наш гениальный Белинский, но и западные историки. Французский историк де Флео, разбирая в своей истории Швеции XVI века характер Грозного, называет его государем замечательным и необыкновенным: «Как верны были его взгляды, как удивительна его последовательность, его бесстрашная отвага! Все это черты, которые должны были сделать его величайшим законодателем, величайшим организатором государства, замечательным завоевателем, подобного которому Россия не знала до наших дней. Но обстоятельства не дали ему выполнить своей широкой задачи, он должен был явиться столетием позже. Грозный — настоящий основатель русской истории. Петр Великий только продолжал начатое Грозным великое дело». (Цит. по исследованию Г. В. Форстена «Балтийский вопрос в XVI и XVII столетиях». СПб. 1893, том 1, стр. 41).

Для А. Н. Толстого, автора романа о Петре, Иван Грозный — тема органическая. Его драматическая повесть об Иване Грозном — это произведение о великом государственном деятеле. Чувствуется огромное увлечение автора своим героем. Образ Ивана настолько захватывает своей пластичностью и значительностью вложенной в него идеи, рождает столько новых чувств, что охотно прощаешь автору некоторую идеализацию его реального исторического прототипа. Верный взгляд на Ивана Грозного выражен в образе глубоко поэтиче-

ском. Идея в художественном произведении становится живым организмом, обрывает плотью и наполняется кровью через характер. И это не только общая идея историка, а своя идея художника, оживающая в характере.

Если верный взгляд на историческое лицо становится общим достоянием благодаря успехам исторической науки, — так обстоят дело с Иваном Грозным, — то художник, прозвонивший его в своем произведении, не может считать это своей заслугой. Но творческое художественное постижение исторического лица и этики, при условии верности взгляда, есть самое важное в литературе, позволяющее познать до конца и общезвестные исторические факты. Ради этого постижения стоит писать исторические романы, повести и драмы, стоит читать и смотреть их наряду с историческими исследованиями и документами.

Слава исторического писателя становится, конечно, только выше от того, если он на собственный риск и страх как исследователь пробивается сквозь сумрак и пыль архивов к живому, правильному взгляду на исторического деятеля, поразившего его воображение. Вечно поучителен для нас пример Пушкина, составившего «Историю Пугачева», чтобы написать повесть о Пугачеве. Раздумье Майкова «У гроба Грозного» рождено новым образом царя, представившимся поэту: «последнего суда, ты чуешь, что над ним судьба не изрекала..» И поэт сам выступает в роли судьи, причем судия о Грозном очень близко к тому, как мы сегодня. Как же не уважать самостоятельную мысль поэта, если в стихотворении, написанном в 1887 году, Грозный так говорит о себе:

Да! Мой день еще придет!

Услышится, как взвыл испуганный народ,
Когда возвещена царя была кончина,—
И сей народный вой над громом

властелина,—

Я верую,— в веках вотще не пропадет,
И будет громче он, чем этот шип подземный
Боярской клеветы и злобы иноземной...

В повести А. Н. Толстого об Иване Грозном ее герой раскрывается как человек именно в своей государственной деятельности, и это не может быть иначе, потому что в ней его наивысшая страсть. «Я есмь земля русская», — говорит он о себе. Превыше всего для него вера в великое предназначение Руси.

Русскую историю за те шестьсот лет, которые пережили до его воцарения, он ощущает как свою личную биографию, ревниво вспоминая о том, где и когда народ-воин осваивал своей кровью дикую степь.

Любовь к власти сама по себе ничего не объясняет в Иване. Власть безраздельная, самодержавная нужна ему для того, чтобы собрать старые русские земли, возвеличить русское государство, Православие для него учение о неограниченной власти царя: несть власти, аще не от бога. Деятель и человек нераздельны в нем. Образ Ивана в повести А. Н. Толстого — это образ становления государства абсолютистского. Не сразу дело делается, не сразу складывается тот характер, который нужен был для осуществления исторических задач.

Мы застаем Ивана как раз в момент крутого перелома: он отсылает Сильвестра в монастырь, ищет опоры в новых людях. Что послужило причиной нравственного переворота в ду-

ше Ивана? Историк Карамзин указывал на причину личного и психологического порядка — смерть первой жены Анастасии. В пьесе А. Н. Толстого мы видим обстоятельства исторические, которые и вызывают перемену в психологии царя: Иван убеждается, что первый его советник Сильвестр — не друг, а враг его делу. В одной из первых сцен драматической повести действует юродивый Василий. Эта удивительная сцена напоминает суриковскую историческую живопись. Война с Ливонским орденом за исконные русские земли неизбежна; народное мнение — на стороне замыслов Ивана, против которых злобно ополчается советник царя Сильвестр.

Василий псадет царю денежку, когда тот выходит из церкви. «Скажи, зачем денежку дал? — спрашивает царь.

ВАСИЛИЙ. Мне люди велели... Поддай, сказали, царю денежку — мимо бояр.

ИВАН. Мимо бояр? Так сказали?

ВАСИЛИЙ. О-хо-хо...

ИВАН. А на что мне денежка?

ВАСИЛИЙ. Царь воевать собрался, ему денежки пригодятся.

ИВАН. Сильвестр, слушаешь?

СИЛЬВЕСТР. Слушаю, государь».

Вот объяснение того, почему характер Ивана круто переменялся. Война за выход к Варяжскому морю — такова неумолимая логика русской истории. Логика исторического дела рождает любовь и ненависть, дружбу и вражду государственного деятеля. Логика, а не психология. Так друзья становятся врагами. Мудрая оценка народом Ивана Грозного отразилась, как уже сказано, в песнях, ему посвященных. В этом правда образа Василия у А. Н. Толстого. Василий подает царю денежку, Василий закрывает царя своим телом на Лобном месте от стрелы иноземца, направляемого боярами-изменниками. «Не надо, не надо, не отнимайте дыхания его», — с этими словами умирает Василий. Это песня.

Друзья Ивана — друзья его дела, в отношениях с ними он становится понятым и как человек. «Государь доверчив, нежен, без меры горяч...» говорит об Иване Малюта. Малюта глубже других знает царя — это ведь друг до гроба. «Доверчив, нежен...» — как не вжуются эти слова с привычным представлением об Иване, которого народ недаром назвал грозным, хоть не столько в укоризну, сколько в похвалу. Но на то и художник, чтобы углублять привычные представления, доискиваясь их корней и часто ставя все по-иному, по-новому. В драматической повести А. Н. Толстого Иван предстает человеком великой мечты. В людях он хочет видеть доброе. Но его обманывают, предают...

Для того чтобы в душу царя вошла мысль об опричнине, о создании своего рода государства в государстве, должны были страшные нравственные потрясения, жестокие политические уроки. Нужно было любить Курбского — сверстника, друга детства, как любил его Иван, чтобы так пережить измену, как пережил Иван, Хорошо, что в сцене отъезда Курбского из Литвы много трогательного: мальчиков-сыновей благословляет отец, обнимает, крестит со слезами на глазах. Курбский — умный, кипящий злобой, деятельный враг. Не менее злобные, но ленивые или трусливые хо-

ронятся еще по своим вотчинам, под медными крышами московских теремов, в царских хоромах...

Иван становится подозрительным. Мучаясь, ужасаясь, он теряет веру в людей. Со страстью он допрашивает Малюту: «А ты мне верен? Как душу-то мне твою увидеть? Совесть-то ощущать?..» И все-таки прав Малюта, говоря: «государь доверчив». Жесток, грозен, потому что не может быть нежным. Горячая мечта сжигает Ивана, но и животворит, закаляет своим пламенем, мечта о славе отечества. «Характер Иоанна... есть для ума загадка...» — признавался в своем бессилии Карамзин. Современный художник предлагает разгадку: вы можете не соглашаться с ним, но вы не откажете ему во внутренней закономерности его решения. Для большого дела нужно воображение, деятельность без мечты невозможна. Иван — русский мечтатель, в котором воображение, достигавшее поэтической силы, не убивало воли. Оно стало попутным ветром энергии, наполнившим паруса его государственного корабля. Иван верил мечте навпо, а действовал практически и неутомимо. Во что он верил? — Малюта объясняет Басманову:

«Единодержавие — тяжелая шапка... Ломать надо много, по живому резать... Чего легче, — тил бы да ел бы, да прохлаждался, а бояре бы за него думали, а на уделах бы князья кляжили... Жили бы, не тужили, как при царе Горохе... А он ворота на хребет звалил да и понес...»

БАСМАНОВ. Какие ворота?

МАЛЮТА. Ворота от града нам с тобой невидимого, Федька, — от града Третьего Рима; сиречь — от русского царства...»

В драматической повести А. Н. Толстого образ Москвы — Третьего Рима владеет чувствами Ивана. Его художественной натуре, даже больше чем его сознанию политика и религиозного человека, говорит этот образ.

Безмерно возвысилась Москва после уничтожения уделов. Она стала общерусским политическим центром. Силы, которые стояли над московским князем, исчезали одна за другой. Пало больше чем двухсотлетнее иго Золотой Орды. Было подорвано церковное значение Константинополя, который долгие века после принятия Русью православия был для Москвы средоточием высшего религиозного авторитета. Московский князь поднимался на какую-то неведомую высоту. В Москве нарождалось что-то новое, небывалое, — политическая мысль заработала в одном направлении с религиозной. Римскому царству, в котором родился Христос, предназначено существовать вечно, чтобы быть охранителем истинной веры. Сначала оно было в древнем и настоящем Риме, потом переместилось во второй Рим — Константинополь. Но вот в 1453 году Константинополь был завоеван турками-мусульманами. На кого же должна была быть перенесена всемирно-историческая миссия Константинополя? Кто мог охранить истинную веру? Ответ и был провозглашен русским политическим мыслителем XVI века в знаменитой формуле:

«...яко вся христианская царства придоша в конец и снидошася во едино царство нашего государя по пророческим книгам, то есть российское царство: два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти».

Религиозная идея стала политической, иначе в то время и быть не могло. Идея Москвы — Третьего Рима — ответила расцвету национального чувства, сознанию того, что русский народ вышел на арену всемирной истории. Вот истоки мечты Ивана в драматической повести А. Н. Толстого.

Мечта не план. Мечту не сдерживают сроки, не ограничивает учет сил и средств, будущее для нее свершилось. Она святая и светлая. А дело, срочное, тяжелое, кровавое, может временами и опостылет, прыгнуть человека к земле, если оно не освещено целью, не озарено мечтой. Великие трудности дела сгубили Ивана, и мы видим его по-человечески слабым, сомневающимся. Он ищет утешения к любви к Марии Темрюковне. Но выпрямляет не любовь, а мечта, Третий Рим. Дело, требующее крови, творит мечтатель. Жизнь, политическая борьба закаляет этот характер. Если бы не нужно было столько и неотложно ломать, резать по живому, Иван, быть может, стал бы поэтом, философом, поведенником, защитил бы свою мечту оружием слова. Но Иван был рожден для престола, смотрел на себя как на помазанника божия. Образованнейший москвич XVI века, он любит поговорить, писать для него — потребность, в которой он как бы оправдывается перед людьми дела, перед тем же Малютой. Иван — оратор, писатель. Неистовым словом своим он разит, убивает. «Ум тзой стал, как щелок и уксус», — укоряет его Сильвестр.

Меняется характер царя. Он стал яснее, тише, собраннее. Не иступленный, мятущийся, ищущий, а твердо знающий свой путь, трезвый и страстный вождь, устроивший в опрочине новую военную силу государства — таким предстает Иван на Земском Соборе, обсуждающем войну с Ливонией.

С железной логикой и доброжелательством обращается он к спесивым, строптивым боярам, он приводит примеры, доказательства: трудно воевать, но необходимо, враг нагнет, честь и спасение русской земли в войне. «Как быть нам?» Бояре и Пимен, митрополит новгородский, выступают «печальниками» о страданиях народа. И, действительно, велики эти страдания; хорошо, трогательно говорит о них Пимен, но Пимен и бояре, «защищающие» народ, — изменники. Гнев бушует в Иване, но он ищет, как прежде, разрядки в эксцентрических выходках. Когда Пимен со злобной насмешкой покидает Собор, в наступившей тишине раздается легкий треск, — то с рукоятки царского посоха, который Иван сгинул в руке, падают драгоценные камни.

«ОБОЛЕНСКИЙ (Челяднину). Ишь — зверь в нем клокочет...»

ЧЕЛЯДНИН. Хорошо, хорошо, так надо. ИВАН (бросает посох). Владыка, вернись...»

ПИМЕН. Напрасно ты посмеялся надо мной... Буду яр... Нам с тобой добром не говорить, Иван Васильевич...»

ИВАН. Еще прошу — вернись... (Малюта тяжело идет к двери и заслоняет ее собой.)

ПИМЕН (отступил от двери, обернулся к царю). Тебе что — голова моя нужна? Бери!

МАЛЮТА. Смирись...

ШУЙСКИЙ (совсхлипком, в тишине). Ах, да страшно-то как...

ИВАН. Малюта, отойди от двери... Подобаеет смириться мне...»

Ломая противодействие бояр, Иван двинул свое войско в трудный и опасный Ливонский поход. С юга угрожают татары. В лагере в Ливонии царь составляет дипломатические письма хану — политические и литературные шедевры, исполненные мысли и остроумия. Иван озабочен, но весел; боевая буря, азарт удачно начатого дела увлекают его. Однако обстановка осложняется. Измена датского принца Магнуса открывает перед царем нити боярского заговора. Хотя Иван еще не представляет себе его размеров, но снова проклятием всей его жизни встает для него вопрос о верных людях. «Много ли у меня верных? Их бы всех собрать, как лалы и алмазы, — украсить ими державу нашу...» Его письмо к Василию Грязному, попавшему по собственному легкомыслию в плен к крымскому хану, — не отповедь грозного царя, а увещание ласкового, огорченного отца. Да, Иван склонен к добру и может быть нежным. Тем более жестоки для него уроки борьбы. Вот почему жестокость расправы Ивана со своими друзьями-врагами предстает в своем истинном значении, как тяжкий долг. Иван выслушивает в застенке рассказ Малюты о результатах допроса бояр. В страшных пытках предатели открывают имена своих сообщников — людей, близких к царю, взысканных его милостью. Но нравственную пытку терпит Иван, познавая человеческую низость. И страдания его в застенке, где Малюта пытается бояр, действительно глубокие страдания. С огромной любовью к Ивану говорит однажды Малюте простодушный Басманов: «Не видишь, что ли, — он, как свеча, горит... Разве человеку вытерпеть такой жизни...»

Но не даром царь искал всю жизнь верных, «перебирал людишек». Есть у Ивана верные люди, и после тяжелой сцены в застенке с облегчением видим мы их в следующей картине во дворце у крымского хана, куда прибыл с посольством от Ивана молодой Годунов, рьяный слуга государев. В блестящих по остроумию положениях знакомит нас автор с бытом и нравами ханского дворца.

Вот под Москву подступил хан Девлет Гирей с трехсоттысячным войском: предал Мстиславский, открыв путь татарам. Дрогнул и Годунов, он убеждает царя бежать в Ярославль. Москва горит, враг жжет и пустошит все перед собой. И тогда на защиту родной Москвы, в помощь государеву войску поднимаются деревенские мужики с дубинами и колями. «Мужика ты не знаешь, что ли... Сдюжишь...», — говорит один из них царю. Это тоже верные люди Ивана. Это те самые люди, которые в начале повести научили блаженного Василия подать царю денежку — мимо бояр.

Рядом с Иваном как его постоянный спутник и верный человек проходит в повести второе по значительности действующее лицо — Малюта Скуратов. Все остальные лица, за исключением двух женщин, о которых речь впереди, только эпизодические фигуры и не столько оттеняют характер Ивана, сколько группируются вокруг него, чтобы дать ему возможность проявиться и действовать. Другое дело Малюта. Малюта — человек практический. Он живет настоящим. Все силы его ума и души ушли в любовь к Ивану, в заботу о нем, в оберегание его. В любви

к Ивану, в готовности пожертвовать собой для него Малюта не видит никакой своей заслуги. Через эту готовность он становится человеком. Малюта гордится Иваном — его умом, талантом, искусством дипломата, способностями и знаниями богослова. Самоотречение Малюты полное. Он психолог и понимает людей лучше Ивана, реплики Малюты на Земском Соборе, в которых он дает характеристики бояр, не только злы, но и глубоки. Малюта беспощаден к врагам, в этом его доблесть. Если он в чем-то упрекает себя, то только за то, что, щадя царя, уступая ему, он щадил тех, кто оказался на деле врагом. Малюта, вообще, чужд какой бы то ни было раздвоенности и настолько умен, что обходится без всяких иллюзий насчет своего положения при Иване.

«— ...Перед смертью блаженной памяти митрополит Макарий взял с меня клятвенное целование: жену и детей своих забудь, о сладостях мира забудь, о душе своей забудь... Обрек на людскую злобу...»

БАСМАНОВ. Чтобы ты при государе, как цепной пес...

МАЛЮТА. Я и есть пес...»

Он не боится слова, но, говоря о себе «пес», он возвышается. Впервые, за вековую историю толстовский Малюта оказывается человеческим, и отношения между историческими прототипами — царем и опричником, познаются как человеческие отношения.

Каковы же они? Малюта говорит царю со всем присущим ему реализмом: «Не мне тебя учить, ты — в поднебесье, мы — в днях сущих рассуждаем попросту...» Мечтатель и практик дополняют друг друга.

Однажды поверив в Ивана и в его мечту о Третьем Риме, Малюта ни на один миг не задался вопросом о ее исполнимости и усвоил одно: противодействие Ивану будет всегда и на каждом шагу. Кто и как будет против? Враг не может смутить сумрачную цельность этой души самой страшной неожиданностью.

Но за Ивана Малюта боится, и не только за его жизнь, а за его впечатлительную, ранимую душу, за его страсть к впечатлениям. Иван переживает каждую измену, Малюта борется с изменниками. Для Малюты изменник — это зло, которое нужно найти и уничтожить. Малюте легче, чем Ивану.

Любовь к красоте увлекает Ивана на поступки, странные и необдуманные с точки зрения интересов дела. Он облачается в монашескую одежду и звонит в колокол при всем честном народе. Тут приходит черед пережить трудные минуты Малюте; он трепещет, что скажут люди, как обратят враги против царя нарушение им церковного чина и обычая. Никто лучше Малюты не знает Ивана, его потребности в любви, его жадны созерцания красоты. Малюта видит в этом брешь для врага. И он не ошибается. Иван увлечен Анной — женой Вяземского. Вяземский предлагает царю Анну: «Мне для тебя — разве чего-нибудь жалко? Самое дорогое отдаю... И чиста, и кротка, и бела... Зайди в шатер, поговори с ней...» Иван ужасается: «Продал, продал непродажное...» Но Иван не знает, что цена эта не слишком дорога для Вяземского по сравнению с той выгодой, ко-

торую он надеется получить от этой сделки. А Малюта понимает, что Вяземский — изменник.

Керамзики в своей «Истории» писал о Малюте:

«...Рассияне взяли приступом Виттенштейн (в Эстонии. — В. П.); но царь лишился друга: Малюта Скуратов умер честною смертью воина, положив голову на стене, как бы в доказательство, что его злодеяния превзошли меру земных казней!» — здесь мысль главного предложения уничтожается в придаточном.

А в драматической повести А. Н. Толстого Малюта показан исторически правдиво, как честный воин. Он один из ближайших к царю организаторов военного дела. Царь поручает ему перед началом Ливонского похода всю подготовку снабжения войск. На поле боя Малюта строго следит за тем, чтобы не нарушались приказы Ивана. Он исполняет самые трудные и опасные поручения царя. Он первый в разведке и в атаке на крепостные стены. «Отдыха не проси ни у меня, ни у бога... Отдыха нам нет...», — говорит ему Иван, посылая его в Ливонию в наиболее критический момент войны, когда хан подступил к Москве и в Ливонии положение стало угрожающим. Малюта тот человек, на которого можно положиться; как на каменную стену.

Правдивый и нелицеприятный суд потомства оценивает в наши дни исторического деятеля по тому делу, которому была отдана его жизнь. Положительными героями в глазах истории оказываются вовсе не люди «приятные» во всех отношениях. Это могут быть и люди «неприятные», трудные, нетерпимые. Только дело, которому он служит, дает возможность правильно понять и оценить человека. А дело Малюты было делом Ивана Грозного.

Драматическая повесть А. Н. Толстого, как сказано, состоит из двух пьес: каждую можно читать и смотреть самостоятельно. Но здесь речь идет не о будущих постановках, а о цельном литературном произведении, в котором есть сквозное развитие образа главного героя. В повести рядом с Иваном мы видим две женские фигуры: значение образа Марии Темрюковны, отравленной врагами, подчеркнуто названием первой пьесы — «Орел и орлица». Во второй пьесе появляется Анна. Если в первой пьесе образ Ивана — государственного деятеля, отчасти заслоняется личной драмой — гибелью любимой жены Марии Темрюковны, то во второй пьесе «Трудные годы» перед нами трагедия человека, представленного в таком самозабвении борьбы, когда личная драма только оттеняет идейную.

Разница приемов раскрытия характера вызвана тем, что герой дан в движении: в первой части Иван упрекает себя в робости, нерешительности, во второй — он решился! Может быть, влияние «орлицы» Марии Темрюковны на созревание государственных планов и самосознание деятеля было так значительно, что ее злодейское умерщвление врагами стало поворотным моментом в его пути? Автор на это намекает в своей пьесе, и в пользу этого можно истолковать некоторые исторические свидетельства.

Но искусство имеет свои законы, опирающиеся на законы человеческой природы: картина выражает иногда не то, что хотел сказать автор. В пьесе «Орел и орлица» Иван со

всей силой своей бурной природы увлекается прекрасной женщиной. Внезапно возникло это чувство. В действительности брак с Марией Темрюковной — дочерью черкесского князя, был задуман по политическому расчету: Иван хотел создать базу для дальнейшего расширения русского государства на Северном Кавказе. Под предлогом защиты тестя от крымского хана Девлет Гирея он построил на Тереке ряд крепостей. Но в пьесе брак по расчету становится браком по любви. Иван открывает в прекрасной черкешенке «орлицу», друга своей души и мечты. Страшная скорбь Ивана о Марии Темрюковне в сильной сцене последнего целования, заключающей первую пьесу. Смерть царицы — политическое убийство, говорит нам автор. Скорбит не только безутешный супруг, а деятель, потерявший друга. Однако кельза переубедить нас в том, в чем убеждают нас картины любви Ивана к Марии Темрюковне: первая пьеса оказывается в большой мере любовной трагедией Ивана.

Но разве деятель не проявляет себя и в любви как личность? Разве характер не сказывается и в личном чувстве? Да, но в образе деятеля, видимому, должна быть найдена мера в соотношении между личным и общим. В пьесе «Трудные годы» такая мера найдена: Анна помогает понять Ивана и, если бы не было этого женского образа, Иван стал бы суше, беднее.

Историческое дело Ивана Васильевича было для него всепоглощающим. Но в этом сердце, говорит нам автор повести, жила огромная потребность в любви, в созерцании красоты. Иван Васильевич был поэтически натурой не только в своей деятельности; в женской красоте была для него магия. Может быть, в этом сказывался протест широкой природы против поглощения всей жизни делом... Анна в повести А. Н. Толстого проходит, как будто случайным эпизодом, в то время как Мария Темрюковна поставлена рядом с Иваном как «орлица». Каждая из этих женских фигур по-своему плегательна. На сцене, в спектакле, резкая, темпераментная Мария Темрюковна может быть чрезвычайно эффектной и, пожалуй, «забьет» тихую и немного странную Анну. Но отношения с Анной обнажают трагический конфликт между общим и личным в характере Ивана Грозного, отразившем становление абсолютистского государства.

Правдива скорбь Ивана Васильевича о Марии Темрюковне. Перед естественной силой этой личной драмы отступает все, чем живет Иван. На пире, где Мария Темрюковна почувствовала себя плохо, Иван Васильевич обращается к ней с тихим вопросом: «Или младенец, что ли, томит тебя?» Когда Мария Темрюковна признается, что съела кусочек яблочка, и падает, она успевает сказать мужу: «Страшно... Дитя не шевелится во мне, лежит, как мертвое... Не забывай, ладо мое...» В последнюю минуту женщина, а не орлица говорит о ребенке и о любви. Так и должно быть: никто не поверил бы, если бы Мария Темрюковна, внезапно умирая, говорила бы политические речи.

Беспредельное отчаяние Ивана Васильевича тоже правдиво: он бросается на пол, рвет на себе волосы, требует, чтобы его положили вместе с любимой женой в гроб. Но чем более естественна и правдива эта сцена, тем

труднее поставить в один ряд скорбь Ивана Васильевича о Марии Темрюковне с тем чувством сиротства, кегодования и гнева, которое вызывает у него признание Владимира Андреевича у ее гроба о боярском заговоре в Новгороде. А между тем финал первой пьесы, очень сильный драматически, едва ли не сводит к гибели Марии Темрюковны причину нового политического курса Ивана...

После смерти Марии Темрюковны Иван Васильевич мучается своим олячеством. Крафта Анны — жены князя Афанасия Вяземского — поразила его. Он такком пробрается по утрам в Успенский собор к ранней обедне, чтобы видеть ее. Иван Васильевич мог бы силой завладеть Анной. — Басманов ему это и предлагает; вразы той эпохи давали царю полную возможность легко добаться своей цели. Но Иван Васильевич согласен о другом думает. Он жаждет любви страстной и чистой. Иван вовсе не робкий воздыхатель, он — грешник, земной, чувственный. но он и не Синяя борода из сказки Красота для него высшее выражение жизни. «Искушение мое... Заря прекрасная... Царство небесное променявают на такую кривую...» — самозабвенно шепчет он Анне в Успенском соборе. В Ливонском лагере шатер Афанасия Вяземского неспроста оказывается поблизости от царского шатра. Вяземский приезжает к себе жену. Встреча царя с Анной многое позволяет понять в этом любовном конфликте.

Иван еще не знает, что Вяземский — изменник, что он сводит свою жену с царем по поручению заговорщиков. Анна с восхищением следит за Иваном, когда он на коне, забыв все на свете, — и о ней забыв, — руководит осадой ливонского города. Она уже любит Ивана, ужасается своему чувству, не может понять самое себя, не может понять и оправдать царя в его жестокой расправе с изменниками. И по верному женскому чувству жалеет его. Может быть, для Ивана Васильевича «блеснет любовь улыбкою прощальной»? Но любовь прошла мимо. И этой мечте при жизни деятеля не суждено было исполниться. Поверила ли Анна, смиренница, что дело Ивана не злое, а доброе, что «не легко добро творить, легче — злое», — это неясно. Она любит, но оставляет свет, уходит в монастырь. Мечтатель остается один со своим непомерным замыслом и непомерной мукой повседневного дела.

* * *

Прав ли А. Н. Толстой, допустив в своей драматической повести об Иване Грозном откровенную идеализацию отношений между царем и народом?

Мне кажется, что неправ, что у автора не хватило смелости сказать всю правду, которая несколько не умаляла бы красоты образа и величия его героя. Народ мучился и терпел, но, верный своему историческому чувству, оправдал Ивана. Этим и оправданы народные фигуры в драматической повести А. Н. Толстого — блаженный Василий и мужики, поднимающиеся на защиту Москвы от татар. Их сознание долга перед государством, жертвенность, стойкость и бескорыстие потрясают. Конечно, реальная историческая действительность вопиюще расходилась с надеждами крестьян на улучшение своего по-

ложения: они гибли массами во время «пребора людешек», разорялись государственными налогами, страдали от царевых любимцев так же, как и от его врагов, закрепощались во имя интересов централизованного государства. А царь, мечтавший о Третьем Риме, принимал все это как должное. Правда, царь принимал мечту народа о всеобщем счастье, о победе добра над злом и снисходительно относился поэтому к религиозным ересям в народе, которые никогда не ставил на одну доску с возмущениями своих политических противников. В повести А. Н. Толстого у Ивана даже есть национальная гордость в том, что он русских еретиков ставит выше Лютера:

«Спорил я с лютеранами — тощие духом. У заволжских старцев, да хоть у того же еретика Матвея Башкина, в мизинце более разума, чем у Лютера... Где — третья правда? Ибо мир не для лжи и суеги создан. Быть Третьему Риму в Москве! Русская земля непомерна...»

Иван не казнил Матвея Башкина, но он сослал его и заточил: Матвей Башкин слишком реально представлял себе тот Третий Рим, о котором грезил Иван. Башкин, сын боярский, оспариваясь на христовом законе «возлюби ближнего своего как самого себя», протестовал против усиления крепостнического гнета, выражая недовольство народа существующими социальными отношениями. Наряженный для расследования ереси Башкина церковник так излагал его программу с его слов:

«...мы-де Христовых рабов у себя держим, Христос всех братею нарицает, а у нас-де на иных и кабалы, на иных — беглые, а на иных — нарядные, а на иных — полные, а я-де благодарю Бога моего, у меня-де что было кабал полных, то-де есмь все изодрал да держу-де, государь, своих добровольно: добро-де ему, и он живет, а не добро, и он куда хочет...» (Е. Голубинский «История русской церкви», период второй, Изд. Имп. о-ва истории и древностей российских, 1900).

Понятно, почему в повести А. Н. Толстого Иван гордится Башкиным — человеком горячего нравственного чувства, чья мечта опередила и учение Лютера, проникшее в это время в Москву. Но непонятно, з чем мечта Матвея Башкина расходится с мечтой Ивана. Так это и осталось неосвещенным во всей повести А. Н. Толстого.

Автор «Петра I», идя в глубь истории по собственным следам, уверенно рисовал конфликт Ивана Грозного со своей средой. Только положение Ивана во много раз труднее, чем у Петра. Если бы не Малюта, растленные приверженцы покоя и застоя убили бы его. Если б не власть, которую Иван уверенно сосредоточивает в своих руках, они связали бы крылья его мечте. Но сила на стороне Ивана, и поэтому мечта его не бескрыла, среда его не заела. Бояре говорят, что царь умом тронулся, безумцем называет Ивана Курбский. Но «горя от ума» нет в повести А. Н. Толстого.

Мечта Ивана — созерцание, а действие, потому что в его руках власть. От него исходит передовая мысль. Он горит, как пламенный, а бояре чадят, как плошки. «Русскому и невозможное возможно», — с этой верой можно переделывать мир. Страшной силой власти ломает Иван страшную силу привычки своей

среды. В муках рождается русское государство, и нужен был такой характер, как Иван Грозный, чтобы поднять эту глыбу, расчистить для Руси ее историческую дорогу.

Драматическая повесть А. Н. Толстого обрывается на самом крутом разбеге. Ничего окончательно не решено. Мечтатель вглядывается и рвется сердцем в даль: «Сказано, четвертому не быть... Се правда русская, родина человекам...»

Мы с Иваном в лагере под Серпуховым. Татары перелезли через Оку, жгут московские предместья. Горит Москва, горит сердце Ивана. Далеко видит он, поразительно его чувство момента. Из-под Москвы он посылает Малюту с казной уплатить жалованье «до последней денежки» войскам, бьющимся в Ливонии. В плен попался Мустафа, улан Девлет Гирея, осатанелый от злобы фанатик. Иван приказывает отпустить его, чтобы передать хану подарок, который стоит самого язвительного письма в стиле Ивана Грозного—историческую саблю, взятую на Куликовом поле в ханском шатре после панического бегства Мамая. Такова будет судьба и Девлет Гирея и всех новоявленных «ханов», осмелившихся вторгнуться в пределы Руси.

В последней картине образ Ивана собрал в одно все отдельные силы этого характера: творческую страсть и трезвую осмотрительность, воображение и прозрание. Вдохновение и расчет в каждом слове, в каждом шаге грозного царя. Трудные годы впереди. Но не слабеет воля к борьбе, не меркнет свет великого замысла.

«Горит, горит Третий Рим... Горит и не сгорает, костер нетленный и огонь неугасимый...»

Мы слышим взволнованные голоса людей, звук их речей, их споры, видим цвета и краски быта, различаем выражения лиц в массовых сценах, дышим воздухом далекой эпо-

хи, живем вместе с Иваном его сложной душевной жизнью. Мы беседуем с самой мыслью минувших поколений, которая стала благодаря художнику близка нам. В диалогах действующих лиц, в их языке обнажаются характеры, отношения, нравы общества того времени.

Читая повесть А. Н. Толстого, мы как бы переносимся к родниковым истокам языка и в нем самом переживаем опромное радостное чувство единства национальной истории: так мыслили, так чувствовали наши предки. Но на один миг мы не утрачиваем ощущения давности событий. А в то же время никакой стилизации и любования древностью, никакого щегольства умершими формами языка, которые могли бы превратить повесть в музейный документ, отяжеляли бы книжностью. Что за чудесник слова автор! Вчитываясь, вслушиваясь в драматическое повествование А. Н. Толстого, мы как бы видим спектакль уже поставленным, людей двигающимися, краски ожившими и сверкающими, переживания героев воплощенными в телесные образы.

Иван Грозный— неисчерпаемая тема в нашей художественной литературе. Еще до Карамзина князь Щербатов писал в своей «Истории Российской»: «Иван Грозный, именитый в земных владыках—его разумом, узаконениями, честолюбием, завоеваниями, потерями, гордостью, низкостью и суровством, в толь разных видах представляется, что часто не единым человеком является...» Чтобы дойти до последних тайников этой странной натуры, нужно, может быть, такое перо, как у Достоевского...

Драматическая повесть А. Н. Толстого об Иване Грозном заслуживает того, чтобы говорить о ней как о событии в русской литературе именно потому, что автор дает свое решение загадки характера, запечатлевшего себя в нашей истории столь великими деяниями.

Образ хирурга

Наша критика уже отметила, как несомненный успех молодого обещающего автора, новую повесть Н. Емельяновой «Хирург»¹. Писатель затронул тему большого социального значения. Военная медицина — важнейший участок великой народной войны. Это своего рода продолжение поля сражения. Начиная от передового перевязочного пункта, где медицинские работники разделяют с бойцами все опасности и тяготы войны, и кончая тыловым госпиталем, работающим почти в мирных условиях, — везде кипит неустанная напряженная борьба за сохранение жизни, за восстановление здоровья и физической полноценности тысяч и тысяч героев, кому родина обязана своим спасением, славой, победами. Для огромной массы людей госпиталь — это воскрешение, облегчение жестоких страданий, возвращение в строй, к жизни. К госпиталю прикованы мысли родных и близких наших раненых. Они знают, что от искусства, опытности, энергии и самоотверженности медицинского персонала зависит судьба дорогих им людей. Наконец вопросы военной медицины представляют животрепещущий интерес для всех тех, кто так или иначе связан с этой профессией, для целой армии медицинских работников и для тех, кто еще только готовится вступить в ее ряды.

К бесспорным достоинствам произведения Емельяновой относится то, что автор сумел правдиво, с подкупающей простотой воспроизвести картину госпитальной жизни, дать ряд удачных зарисовок врачей, медицинского персонала, раненых.

Но, как видно из заглавия, автор не ограничивался стремлением показать лишь картины госпитальной жизни. В его замысел входило создать художественный образ выдающегося хирурга, носителя творческой научной мысли и блестящего мастера своего дела.

«Хирург» и «хирургия», особенно в условиях военного времени, — эта тема выдвигает ряд сложных проблем, ожидающих своего разрешения в художественном плане.

Заметим, что в литературе, в сущности, нет яркого произведения, посвященного образу хирурга и вопросам его профессии, несмотря на явную притягательность такой темы для писателя. Нет сомнения, что проблемы врачебной деятельности живо волнуют самый широкий круг людей. Когда свыше сорока лет тому назад появилась публицистическая книга В. Вересаева «Записки врача», она всколыхнула всю русскую общественность, явилась настоящим событием в общественной жизни страны. Успех книги заключался в

том, что автор поставил в ней ряд животрепещущих и смелых проблем профессионального и этического порядка. Можно представить, что постановка подобных проблем в форме художественного произведения вызвала бы еще более острый интерес.

Освещение образа хирурга в литературе не может не привлекать писателя хотя бы уже потому, что в сознании множества людей профессия хирурга особенно трудна и потому почетна. Хирург — это не только ученый, мастер своего дела, но и человек «дерзаний», держащий человеческую жизнь на острие скальпеля, берущий на себя огромную ответственность за жизнь человека. Все это предполагает волевой характер, крепкие нервы, безусловную уверенность в себе и в своем мастерстве. Раскрыть образ хирурга во всеоружии его познаний и искусства, показать процесс его формирования, его душевные переживания, описать его жизненный путь, путь служения своему высокому делу, — задача трудная, но благодарная тема для писателя.

Есть немало выдающихся произведений, посвященных полководцам, мореплавателям, художникам, музыкантам. Большое полотно о хирурге по праву должно занять в их ряду видное место, тем более, что среди хирургов насчитывается немало ярких, принадлежащих истории личностей. Достаточно вспомнить хотя бы светлый образ выдающегося русского ученого Пирогова.

Достижения советской хирургии получили всемирное признание. В условиях великой отечественной войны советские хирурги показали свое мастерство.

Емельянова рассказывает о двух хирургах: один — старый опытный врач Петр Александрович; другой — его молодой ученик, быстро совершенствующийся, Семен Иванович. Петр Александрович делает блестящую операцию летчику Звягинцеву, вырывает из когтей смерти героя Калинушкина. Но и Семен Иванович не менее искусной операцией спасает жизнь Лосеву. Однако между обоими врачами нельзя поставить знак равенства, нельзя допустить, что за короткий срок, в результате какой-то сверходаренности, Семен Иванович стал первоклассным хирургом. Здесь как раз и заключается неразрешенная в повести проблема хирургического мастерства. Каким образом оно достигается? Об этом читатель может лишь смутно догадываться. Автор не ответил на этот вопрос. Лишь мельком говорится о накопленном опыте, о знаниях, о творческой мысли. Зато «первым планом» поданы «руки хирурга», и у неискушенного читателя может сложиться впечатление, что только в них «секрет мастерства».

¹ Н. Емельянова. Хирург. «Советский писатель». 1944. 160 стр., ц. 3 р.

на руках хирурга и их особенных свойствах:

«Он (Петр Александрович) поднял обе руки и стал показывать окружающим врачам, как ловко его слушаются мускулы пальцев. Первые суставы, которые у большинства людей сгибаются только с соседними — вторыми, свободно сгибаются каждый по очереди. Было хорошо смотреть на четкие, красивые движения этих рук мастера и хотелось назвать их «умными».

Далее сам Петр Александрович читает диссертацию о значении тренировки мускулов рук у хирурга. Он вновь демонстрирует ловкость своих пальцев и суставов. К рукам хирурга автор возвращается и в ряде других мест.

«— А какие руки у Петра Александровича! — восклицает молоденькая сестра Виктория.

— Да, это руки! — подтверждает сестра Ната Ивановская».

Спору нет, ловкость и гибкость пальцев для хирурга необходимы. Но, во-первых, дело здесь сложнее, чем изображается в повести. Самостоятельного движения суставов и пальцев может добиться почти каждый человек после сравнительно недолгой тренировки. От хирурга требуется другое, еще более важное и трудное: чрезвычайно тонкое чувство осязания, приобретаемое лишь огромной практикой в процессе работы и предполагающее абсолютное знание человеческого тела.

Среди французских хирургов широко известно то, что называется «le coup des prosecteurs de Paris». Искусство состоит в том, чтобы одним взмахом ножа вскрыть все брюшные покровы, включая тонкую пленку брюшины, не поранив, понятно, при этом кишечника. Специалисты знают, как это трудно.

Обычно даже самый опытный хирург вскрывает брюшную полость постепенно. Брюшина приподнимается двумя щипчиками и вскрывается особо. Однако молодые прозекторы сотни раз производят манипуляции над трупами, чтобы овладеть техникой вскрытия брюшной полости одним ударом ножа. Зачем это? Чтобы развить чувство осязания через инструмент. Бывают случаи, когда хирург не может медлить.

Но и это еще далеко не все в технике операций. Надо уметь тонко препарировать любую, самую сложную область человеческого тела, создать «операционное поле», где все видно, доступно. Здесь не поможет никакая гибкость пальцев, да она и не нужна. Там, где это возможно, хирург всегда заменяет пальцы инструментом. Мастерство достигается здесь годами кропотливой, усидчивой работы над трупами. Каждый хороший хирург должен пройти длительный прозекторский стаж.

Мне приходилось видеть в анатомичках молодых хирургов, давно уже самостоятельно оперирующих, но все еще продолжающих совершенствоваться в прозекторской работе. Они сдали трудный конкурс на прозектора. Их анатомические препараты поражают тонкостью работы и выставлены в лабораториях или анатомических музеях в качестве образцов, а они все еще продолжают годами посещать анатомичку, вновь и вновь повторяя давно проделанные работы. Так достигается «ловкость рук», поражающая нас у знаменитых хирургов.

Само собой разумеется, хирургия — не только техника. От хирурга требуется огромный запас знаний и блестящая память. Описательная и топографическая анатомия в общей сложности представляют 6—10 фолиантов в тысячи страниц. Специальные оперативные руководства, где описывается «технология» операций, являются не менее объемистыми фолиантами.

Все это хирург должен раз навсегда вобрать и держать в своей памяти. Мало того, он должен видеть внутренним зрением любую область человеческого тела и в любом плане ее разреза. Разветвления сосудов и нервов, их соотношение с соседними органами, их расстояние от ориентиров, специфический цвет каждой ткани и каждого органа, бесконечное количество других подробностей — все это должно зафиксироваться в памяти хирурга, чтобы уже никогда больше ее не покидать. Инженер или архитектор могут не помнить расчетных таблиц, не знать наизусть каких-либо коэффициентов, деталей механизмов. Создавая проекты, они всегда имеют время заглянуть в руководство или справочник. Хирург в ряде случаев лишен этой возможности. Его будят среди ночи: перед ним незнакомый больной, требующий срочного хирургического вмешательства, ему приходится немедленно приступить к операции, он должен все знать и все помнить.

Хирург должен держать в голове не только томы анатомии и оперативных руководств, но и не менее капитальные курсы патологии, физиологии и пр. Он, конечно, должен знать опыт других хирургов. Кроме того, от него требуется огромный талант диагноста. Иногда ему приходится ставить диагноз уже на операционном столе после начала операции и в зависимости от этого радикально менять ее характер. Прекрасный оператор, но слабый диагност будет иметь на своей совести не менее человеческих жизней и искалеченных людей, чем хирург, посредственно владеющий ножом. Ко всему этому надо обладать живой творческой мыслью, способностью срочно принимать ответственные решения.

Все это, помимо таланта, требует колоссальной работы и практики.

Читатель повести Емельяновой не получит представления об этом длинном и трудном процессе формирования хирурга. Проблема хирургического мастерства остается в повести нераскрытой. Он запомнит эффектную демонстрацию Петром Александровичем ловкости и гибкости своих пальцев, выведет заключение, что это какая-то особо одаренная натура, не подозревая, ценю каких усилий дается совершенство. На примере Семена Ивановича он получит ложное представление, будто мастерство приходит внезапно, в результате какой-то «интуиции». Проникся Семен Иванович особым чувством к Лосеву — и ему открылся путь к спасению раненого. Это может лишь ввести в заблуждение. У молодежи возникает иногда представление, что все зависит от одного таланта, дарования, удачи. Появляется стремление обойти вопрос первостепенной важности: необходимость упорного труда, огромной работы над собою и над освоением своей профессии. Повесть не помогает рассеять такие иллюзии.

Сам автор, видимо, почувствовал, что облик хирурга будет неполным, если не показать путь его жизненного развития. В повести есть глава, содержащая биографические све-

дения о Семене Ивановиче. Но легко заметить, что композиционно она плохо вяжется со всем повествованием и кажется лишней. Это происходит потому, что в этом ретроспективном эскизе автор меньше всего останавливался на профессиональном формировании своего героя.

Мы узнаем о некоторых фактах его детства и юности, но можно подменить эти биографические детали другими, совершенно отличными, и это никак не скажется на основном развитии сюжета. Мы узнаем мимоходом, что Семен Иванович избрал медицинский факультет не по какой-либо специальной склонности, но лишь потому, что карьера инженера его не привлекала, неприятно ассоциируясь с паяльной мастерской, где он работал в детстве. Мы не знаем даже, увлекала ли его медицина с самого начала, ибо автор ограничивается ремаркой о том, что ученье ему легко давалось. Работа с Петром Александровичем порождает в душе Семена Ивановича лишь восхищение мастерством и сознание, что ему не хватает опыта и еще чего-то, весьма смутно определяемого автором. И это все. Путь развития Семена Ивановича как хирурга остался неосвещенным.

Ускользнули из поля зрения автора и достижения современной хирургии. Тщательно и подробно описанные им операции в конце концов совершались теми же методами и с таким же успехом двадцать и даже сорок лет тому назад. С тех пор хирургия далеко шагнула вперед. Укажем хотя бы на замечательные работы Н. Н. Бурденко в области мозговой хирургии. Перед автором был богатый выбор иллюстраций, показательных для новейшего этапа хирургии. Остановись он на одной из них, повесть приобрела бы значительно больший интерес.

События повести приурочены к моментам, когда жизнь госпиталя немногим отличается от обстановки мирного времени, если не считать, что в палаты и на операционный стол поступают не большие, а раненые, да еще воздушные тревоги создают добавочные волнения и заботы. Это, конечно, право автора. Никто не упрекнет его в неправдоподобии. Значительную часть времени тыловой госпиталь, конечно, не похож на лазарет в разгар сражения. И все же повесть полного представления о работе хирурга в военное время не дает. Каждый, кто работал в военном госпитале, никогда не забудет именно те напряженные часы, когда палаты внезапно наполняются чужими тяжело ранеными, часто прошедшими лишь примитивную обработку, когда персонал сбивается с ног, когда хирурги часами и даже сутками не отходят от операционного стола, превозмогая усталость, борясь со сном... Не лучшее ли всего раскрываются в такие моменты все качества и душевные свойства хирурга? И разве не выиграла бы повесть, если бы автор ввел в нее один из таких моментов?

Автор уделяет много внимания психологии своих героев. Но здесь зачастую второстепенное, случайное, эпизодическое заслоняет собою характерное и типическое. Мы впервые знакомимся с героем повести Семеном Ивановичем, когда он, придя в госпиталь, ловит себя на том, что отдал швейцару свою фуражку тем же самым жестом, что и его шеф, и стыдится этого.

Автор и далее возвращается к этой теме, заверяя, что все молодые врачи проходят че-

рез стадию бессознательного подражания старшему хирургу и лишь постепенно ее преодолевают. Во всем этом можно, конечно, усомниться. Нам кажется, например, что когда Семен Иванович входил в госпиталь, его мысли занимало не то, займствована ли его манера снимать фуражку у Петра Александровича, а совсем другое: не температура ли оперированный им раненый, не попробовать ли применить новый метод лечения к больному, каковы будут трудности в предстоящей ему операции и т. п. Но дело даже не в этом, а в том, что эти мелочи не соответствуют диапазону повествования и выглядят лишними и надуманными. Стоило ли так старательно их подчеркивать и анализировать?

Другой пример: вспышки «ребяческого тщеславия» у Петра Александровича. Автор придает им особое значение и выдвигает их на первый план. Он несколько раз останавливается на их болезненном преломлении в психологии окружающих, боготворящих своего шефа и считающих это недостойной слабостью со стороны столь большого человека. Вспомним хотя бы сцену демонстрации «ловкости пальцев» после операции Звягинцева.

«Ну, пошло теперь,— облегченно и вместе с тем негодующе думала Ната,— начал хвастаться. Ну зачем это, зачем? Как это такой замечательный, удивительный человек может хвалить себя, как мальчик?»

К этой теме автор возвращается неоднократно на протяжении повести, возводя этот мелкий штрих до уровня психологической проблемы. Автор старается «извинить» Петра Александровича. Устами Наты автор говорит: «Хотя что же это я? Разве, можно Петра Александровича равнять с другими? И вот какой он чудесный: как маленький, рад и счастлив. И лицо у него какое хорошее».

Тот, кто хорошо знаком с медицинской средой, не найдет здесь большой психологической загадки. Если бы Петр Александрович хотел подвить своим превосходством других, он нашел бы более достойный сюжет, чем демонстрация гибкости пальцев или юмористический рассказ о «косметической операции». Но почему у Петра Александровича вдруг является стремление «поболтать» после операции? Да очень просто: после напряженной работы ему необходима разрядка. В такой момент человек говорит и делает первое, что придет ему на ум, не заботясь об эффекте. Мне приходилось наблюдать такую реакцию у многих знаменитых хирургов, и у всех она выражалась по-разному. Почтенные, убежденные седной профессора показывали свое искусство завязать несложный хирургический узел или рассказывали веселые анекдоты. Известный хирург, силач и боксер, раздавал дружеские подзатыльники студентам или вертел волчком тяжелый операционный стол. Все это никого не удивляло, ибо принимавшие участие в операции или следившие за ней сами испытывали ту же потребность в разрядке.

Мы останавливаемся на этом лишь потому, что этот мелкий «психологизм» заслоняет в повести подлинные большие душевные переживания хирурга. А эти переживания и сложны и многообразны.

В повести, например, мельком упоминается о многочисленных мелких ошибках Семена Ива-

новича. Но ведь каждая «мелкая» ошибка хирурга подчас крупная трагедия для пациента и для самого врача, а у Семена Ивановича нет из-за этих ошибок глубоких переживаний или терзаний. У него лишь возникает холодное чувство неудовлетворенности своим несовершенством. Здесь либо автор недостаточно проникся психологией хирурга, либо избрал своим героем исключительно черствую натуру, а между тем Семен Иванович как будто не таков. Каждый, кто прошел тернистый путь хирургических дебютов, испытал на себе гнет переживаний в результате совершенных ошибок и неудач или хотя бы страх перед возможным несчастьем. Сознание моральной ответственности за непоправимую ошибку омрачает жизнь хирурга на долгие годы.

Один из выдающихся европейских хирургов писал: «У меня много оперированных и еще больше таких, которых предстоит оперировать; они занимают все мои мысли; из года в год увеличивается их число, и время становится все тяжелее». В восьмидесятых годах прошлого столетия известный русский хирург профессор Колодкин оперировал больную, применяя незадолго перед тем открытый местный наркоз. Он ввел ей применявшуюся тогда крупную дозу кокаина, и больная умерла на столе. Профессор был неповинен в ее смерти. Он не превысил рекомендуемой авторитетами дозы. Но смерть эта произвела на него такое впечатление, что, вернувшись домой, он застрелился. Можно по-разному расценивать этот поступок. Можно считать, что Колодкин проявил душевную слабость и слишком строго осудил себя. Но в данном случае нас интересует другое: острота душевных страданий, доведших его до самоубийства.

Душевные переживания хирурга, связанные с его успехами и неудачами, представляют особенно актуальный интерес сейчас, когда масса молодых врачей, только вчера покинувших университетскую скамью, никогда не державших как следует ножа в руках, призваны в трудных военных условиях производить

сложные, смелые и ответственные операции. Сколько здесь должно быть колебаний, сомнений, сложных переживаний. Не должен ли писатель, избравший врачебную тему, осветить все эти душевные состязания?

Можно было бы многое еще сказать об особенном душевном складе хирурга, который и формируется под воздействием своей профессии. Редко в какой другой профессии ученый так интимно сочетается с художником. Все это накладывает на хирурга особый отпечаток. Но мы ограничимся сказанным. Укажем лишь еще на один серьезный пробел в повести. Емельянова замкнула своих героев в узкие рамки госпиталя. Их образы становятся от этого односторонними, теряют в своей рельефности, обедняются. Каким бы крупным специалистом ни был человек, богатство его внутреннего мира не исчерпывается чисто профессиональной деятельностью. У хирурга существует семейная, личная, общественная жизнь. В прошлую войну мне приходилось встречать молодого французского хирурга де Мартеля, уже тогда выдвинувшегося в первые ряды специалистов по операциям мозга. Разносторонне одаренный, он поражал страстной любовью в свое дело. Позже он стал одним из выдающихся французских хирургов. Но в день, когда немцы вошли в Париж, этот человек в расцвете сил покончил с собой. Он не смог перенести позора поражения. Патриот взял в нем верх над ученым. Нельзя абстрагировать профессиональный образ хирурга. Если не показать все многообразие и многосторонность его личности, она потеряет свою жизненность.

Емельянова — вдумчивый, одаренный писатель. При всех пробелах ее новая повесть составляет отрядное явление в нашей литературе. Пусть автор лишь затронул большие проблемы. Пусть ему не удалось раскрыть их во всей их сложности. Но и для него самого, и для других писателей небольшая повесть «Хирург» — залог создания подлинно больших художественных произведений.

Переключка в веках

(«Песнь о Давиде Гурамишвили» С. Чиковани)

I

Горестная жизнь Франсуа Вийона» называл Жарко свою книгу о прославленном и злополучном родоначальнике новой французской поэзии. Если окинуть взглядом ряды создателей мировой литературы,—сколько еще горестных жизней придется описать: непонятых гениев, обогнавших свой век, гонимых обществом разоблачителей его, отщепенцев, горьких страстотерпцев, людей, не желавших загнать свои страсти в возведенные господствующей моралью темницы... Все они трагически жили, трагически погибали, в большинстве случаев уверенные в том, что единственное оправдание их горестей—плоды их творчества,—так же обречены на уничтожение, как и они сами.

За что бы им ни приходилось расплачиваться — за революционные стремления, за беспощадную правду, за излишнюю остроту зрения, за сарказм, за страстность — отвергнувшее их общество почти всегда обвиняло свои жертвы в порочности. Но бывают случаи, когда даже пристрастные обвинители или «судьи неправедные» не могут ни единого камня кинуть в поэта или художника, и все-таки жизнь его полна неудач и пыток—оттого ли, что на родину его как раз в эту минуту пали особенно тяжкие испытания, оттого ли, что цепь злых случайностей изломала его жизнь и парализовала силу сопротивления. Такова была судьба крупнейшего грузинского поэта восемнадцатого века Давида Гурамишвили. Обстоятельства сложились так, что у Давида не было ни времени, ни возможности проявить в полную меру свои наклонности, хотя он обладал огненным темпераментом.

Трудно — даже в кругу отверженцев — представить себе большее разорение, внутреннее и внешнее, чем выпавшее на долю Давида Гурамишвили. В юности был он богат и знатен, был щедро одарен талантом, бескорыстен, смел, правдив и чист душою. Поэзия его была признана только после его смерти. Правда, он выдвинулся уже в тридцатых годах XVIII столетия, но все ранние его стихи погибли, до нас дошли только плоды поздней, старческой, полной разочарованности поры его творчества.

II

Начало жизни Давида было блестящим. Знатная семья, политическая деятельность, занятия древнегрузинской литературой, которую он знал превосходно. И все это, кроме знания литературы, оказалось непрочным.

Юный Гурамишвили был похищен лезгинами и с тех пор уж не возвращался на родину. Книг его великих предшественников не было при нем во время его бесконечных скитаний, а между тем творения их служили ему ежедневной поддержкой и как поэту и как изнемогающему от жизненных тягот человеку.

Гурамишвили был замечательным мастером слова, писал образно и лаконично. Стих его полон изящества, в каждой строфе чувствуется богатая речевая культура. Он широко пользовался песенным жанром, реформировал грузинскую версификацию, обновил язык родной поэзии, приблизив к народному, пытался внести в эту поэзию элементы фольклора украинского и русского. Он работал над стихом и над образом так, как будто к услугам его были древние библиотеки и как будто жил он спокойно в наследственном имении, окруженный заботой близких, любителями и знатоками литературы, внимательными слушателями...

Лезгины захватили Давида у ручья, на поле, куда он пришел взглянуть, как жнут его дворовые. Теперь сам он стал слугою и рабом в лезгинской сакле. Бежал, был пойман; брошен в яму, снова бежал, решил лучше умереть, чем томиться в плену. Шел по звездам, питался ягодами, страшился человека больше, чем зверя. Счастливо пробрался к русской границе. Казаки ласково приняли пришельца. Полвека спустя Давид воспел своих спасителей в превосходных стихах. Тут он впервые понял,—и рассказал об этом,— что такое дружба народов, познанная в дни лишения и скорби, как скрепляется эта дружба куском хлеба, протянутым бедняком бедяку, до чего полны смысла и прелести — поле, жатва, созревающие злаки—символы жизни, чистой, гармоничной, преодолевающей зло и смерть...

Давид отдохнул, его одели. Переселенцы-грузины рассказали ему о том, что царь Вахтанг ведет в Москве переговоры о военном союзе против Ирана. Давид снова пустился в путь через Терки, Согаг, Астрахань на север, добрался до Москвы и не только был прият в свиту Вахтанга, но стяжал первые—и, вероятно, последние при жизни—лавры как поэт во время традиционных, воскрешенных на чужбине соревнований.

Русские войска не выдержали натиска иранцев. Партия Вахтанга VI проиграла игру. Царь отрекся от престола и вскоре умер. Приближенным его не было возврата на родину, и они вынуждены были поступить на русскую службу. Императрица Анна Иоан-

новна наделила их небольшими поместьями на Украине. Местная шляхта восприняла этот акт как нарушение своих прав. Грузины, в том числе и Гурамишвили, сражались с врагами России,— турками, шведами, немцами, а возвратясь домой, находили разоренные усадьбы.

Вот как сам Давид рассказывает об этом беспокойном периоде своей жизни, продлившемся до самой его старости:

Расскажу о нашей службе, чтобы кончилась беседа.

Мы в семьсот тридцать девятом приехали в Хотин победоу.

В сорок первом подпалили в Фридрихгофене мы шведа.

В пятьдесят седьмом пруссакам причинили злые беды.

В пятьдесят девятом все же нас пруссаки в беду вовлек,

Разлучил меня с друзьями. Я остался одинок.

В плен попался в Магдебурге, был посажен под замок.

Воротясь домой из плена, только просо сеять мог.

Урожай был мой обилен, но не снял я урожая.

Приказали, бросил жатву, не по воле уезжая.

Не хотел с тобой встречаться, жизнь бездомная, чужая!

Знаю в жизни горечь злую. Сладость лишь воображаю¹.

«Горечь злая» становилась все невыносимее. Поэт был изранен, болен, истомлен душевно, беден. Ему с трудом удалось избавиться от службы и выйти в отставку. Давид ослеп на один глаз. Но так велики были его духовные силы, что «даже слепота его не состарила», он «сохранил здоровое сердце» — нашел в себе силы для любви, попытался в стихах осмыслить историю родины и свои злосчастья, и даже занялся изобретательством,— придумал подъемный кран для ирригации полей и сложные приспособления для водяной мельницы...

Писал он неустанно, точно стремясь наверстать потерянные годы. И какое это бурное, самозабвенное творчество!

Давид страстно эмоционален, и в то же время мысль его — как подземный родник, встречающийся в горных ущельях Грузии: он подрывает скалы и, вырвавшись на свободу, сверкающим столбом низвергается в пропасть. Эпизоды из истории отчизны, автобиография, плачи о погибшей жизни, не уступающие по напряжению плачам Экклезиаста, возвышенная и пламенная в безнадежности своей любовная лирика, любованье человеческой доблестью, ядовитая сатира на лживых и своекорыстных исторических деятелей, лирика, разрывающая эпос, эпос, раздвигающий лирику до пределов философской поэзии, реализм, до грубости, символика обобщающих, озаряющих будущее образов... этот «Бенвенуто Челлини ненастей», этот грузинский Экклезиаст в степях Украины, сплавляющий воедино родные и чужеземные мелодии в то время, когда ему угрожает полная слепота, и недостает средств выстроить мельницу по собственным чертежам,— таков Давид Гурамишвили.

¹ «Беды Грузин». Перевод П. Антокольского. Д. Гурамишвили, «Избранное», М., 1939, стр. 74.

швили, семидесятилетний — все сызнова начинающий поэт, восьмидесятилетний — во всей силе своей поэтической зрелости.

Давид тосковал, что умрет бездетным, поэмы свои называл сиротами. Но как мало подходит это слово к его бурным, полнокровным творениям — к монументальной «Давитиани», к «Бедам Грузин», к озорному и жизнерадостному «Пастуху Кацвия».

Эта буря звуков и мыслей была сжата в краткое, беспощадное к себе и к другим «Заветание». Давид почувствовал, что пришла смерть, и, встречая ее, кинул прощальный взгляд на мир как власть имущий. Он был мастером гармонии и мыслителем. Саркастическими противопоставлениями того, о чем мечтает и к чему стремится человек, тому, чем награждает его «превратный мир», расплатился Давид с миром за все свои огорчения и невзгоды.

III

О Давиде Гурамишвили сложил свою «Песнь» современный советский поэт С. Чиковани. Это своеобразная попытка проникнуть в душевный мир давно умершего поэта, подслушать его голос, воссоздать те моменты внутренней и внешней его биографии, которые представляются одинаково значительными и ему, Гурамишвили, и нам, строителям и участникам новой, но в чем-то соответствующей понятиям этого пылкого поэта жизни. С. Чиковани пленится силою сарказма, напором противоречий в поэзии Давида, почувствовав, что такой сарказм, такой и противоречия, такой и негодование на превратности мира могут быть порождены только могучей, утверждающей волей, только великой любовью к жизни, чистой и возвышенной.

С. Чиковани достигает раскрытия и воссоздания творческой личности Давида с помощью ряда приемов, которые нельзя назвать формально-литературными приемами, настолько они естественно вытекают из его углубленного общения с Гурамишвили: он вводит в текст своей «Песни» изблюбленные образы старого поэта, заимствует у Гурамишвили элементы его богатой лексики, чередует лирические высказывания Гурамишвили со своими собственными, протягивает золотую нить от общественных чаяний Гурамишвили к нынешним их осуществлениям.

В итоге сложилось произведение, в котором как бы непрерывно перекликаются два голоса: один более звонкий, молодой — Чиковани, другой приглушенный далью времен, но мощный по диапазону и бесконечно богатый переливами. — Гурамишвили. На первый взгляд «Песнь» кажется несложной по фактуре: цитата или заимствованный у Гурамишвили образ, лирический комментарий к нему Чиковани, осторожные, лирические, не навязчивые сравнения с современностью, но чем внимательнее вчитываешься в текст «Песни», тем богаче и разнообразнее представляется ее эмоциональная и идейная ткань.

Если в лексике, в отборе образов, в основных построениях «Песни» Чиковани послушно и любовно следует за своим учителем, точно Дант за Вергилием, спускаясь по кругам во мрак гурамишвилиевского ада и пытаясь понять смысл событий, которые волновали Давида,— речь идет в раздорах, погубивших Грузию, то, обращаясь к современности, Чиковани

ни обгоняет своего проводника. Внук как бы мягко подсказывает деду то, чего тот не додумал, любовно влечет его, утомленного отчаянием, к истинам нашего времени и утешает надломленного бедствиями поэта тем, что он многое если не предвидел, то почувствовал.

История в «Песни» освещена двойным светом — мерцающей свечой Гурамишвили и солнечным светом нашего, светского дня. Это двойное освещение, гармонично сливающееся, не оскорбительное для прошлого, подтверждающее силу настоящего, новидимому и является основным замыслом С. Чиковани, вдохновившем его на «Песнь». Так, в предпосланном «Песни» посвящении украинским поэтам (Гурамишвили творил и умер в их краю, на Полтавщине) Чиковани говорит:

На наковальне мастера выковывается
железо.

Зреет чувство, вылившееся песней...
Гурамишвили плакал среди вас.
Он ли плакал, или я?
Взвешивал я его слезы пригоршней,
Запел и я на старинный лад.
Я видел в храме нашего прошлого
Его лицо, сторевшее в молитвах у свечи,
Потом в дождь трепет его крыл...

И тотчас же от «храма прошлого» Чиковани переносится к настоящему: он говорит о сталинской дружбе народов, запечатлевает волнующие предвестия этой дружбы, подслушанные у Гурамишвили:

Так утверждается истинное братство,
И в сердце зажжется пламя,
Перелетит к нам чувство,
Ровесник боли наших предков...
Был ли он¹ с мечом или с серпом,
Его зачарозало бы, как и меня чарует,
Имя мудрого создателя братства².

IV

В этом двойном освещении событий гурамишвилиевской эпохи и биографии сказался вкус к историзму, столь свойственный грузинской литературе и прошлой и современной. Всякий народ помнит и чтит имена своих героев и обращается к их теням в роковые минуты своего бытия.

Грузинский народ, быть может больше, чем другой, сохранил в неприкосновенности и укрепил связь и взаимодействие исторического прошлого и настоящего. Случилось это, вероятно, потому, что вся дооктябрьская история Грузии была заполнена непрерывной борьбой народа с более сильными и жестокими соседями, — в этом смысле характер грузинской истории не менялся на протяжении веков; личная стойкость и доблесть часто бывали последним шансом в неравной борьбе, той духовной силой, которая решала исход исторически битв. При таком напряжении народных сил память о героях была и осталась надежным воспитательным средством и залогом единства. Имена их были действительными лозунгами,

¹ Он — Д. Гурамишвили.

² С. Чиковани говорит здесь о товарище И. В. Сталине. И здесь и ниже цитирую «Песнь» о Давиде Гурамишвили не по переводу В. Державина, а по подстрочнику в переводе Ел. Гогоберидзе, чтобы полностью сохранить смысл оригинала и точно передать его интонации. — Е. Л.

слава их передавалась из поколения в поколение как народное знамя. Вот почему все значительные поэты Грузии любили форму исторической поэмы, вливая в нее злостное содержание. Такой историзм не отвлекает от текущих исторических задач.

Никогда общественная роль поэта в Грузии не была такой значительной, как на исходе девятнадцатого века. И. Чавчавадзе, А. Церетели, В. Пшавела были в такой же степени борцами за свободу, как и служителями муз, и все они согласно обращались к истории, когда от народа требовались стойкость и мужество.

Современные советские поэты Грузии так же широко пользуются наследием славного прошлого, как и их учителя. В этом смысле С. Чиковани не составляет исключения. И тем не менее его историкам в «Песни» о Давиде Гурамишвили совсем другого звучания, чем историзм Г. Леонидзе, или Гр. Абашидзе, или грузинских драматургов: Чиковани ищет у поэта не созвучной нам героики, не призывов, а сходственных настроений, предвидений, едва осязаемых троп, уводящих Гурамишвили от юдсли плача, — ищет и находит их. Оттого его «Песнь» так интимна и сердечно тепла. Он историю представляет нам не в виде широких батальных полотнищ, но преломленной в спокойном, горьком сознании взыскующего истины Давида.

Об исторических событиях почти нет речи в «Песни», но каждая строка овеяна эпичными событиями, напоминает о двигающих силах истории, о незримой кузнице, в которой выковывается оружие народной силы. На поверхностный взгляд в «Песни» Чиковани современность представлена как вторичного порядка явление на фоне гурамишвилиевской судьбы, — на деле же оказывается, что основу «Песни» составляет именно современное наше миропонимание. Гурамишвили умер в скорби, ему уже ничем нельзя помочь, но поэзия его, оживленная этим новым миропониманием, как бы зацветает иным, неизвестным ее творцу цветом, более богатым и ярким. Вот как сам Чиковани говорит об этом обновлении древних поэтических ценностей:

Оросил ты слезою книгу
И согрел мечтой.
Я приземлился на твоих страницах
И услышал жгучий твой голос.
Твой причитания слушал и я,
Дымкой простиравшийся к небу.
Я писал чернью твоих слез,
Так, чтобы услышала родная земля...
...И я заплакал бы у могилы,
Если бы над твоим гнездом
Не пронеслись уже беды Грузии,
Если бы на нашей земле
Не восстал народный герой

V

Последнее, что видел юноша Гурамишвили на родине, были поле, жатва, снопы. Первою радостью его, когда он вырвался из плена, были ток, снопы, хлеб. Слепнувший и согбенный, он пережил свой старческий творческий подъем, наслаждался горькою любовью, додумывал последние свои мысли среди колосющихся полей, под звуки цепов на току, в виду мельницы, куда свозят «золотое зерно» собравшие «святую жатву» крестьяне. Поле, жатва, снопы, хлеб, мельница — мир труженика, исконная радость его. Золотое зерно — ис-

точник его силы и богатства, его живая связь с землею. И психологически оправдано, что родное поле, жатва и зерно навеки запечатлелись в памяти похищенного лезгинами юноши. С. Чиковани делает эти образы лейтмотивами своей поэмы, и они ведут воображение читателя за пределы его биографии.

Убегая от лезгин, Давид помнит: «Время жатвы вновь придет», — и преодолевает страх.

Провожая его в скитаньях по Дагестану, под ливнями, в виду смертельной опасности, Чиковани предчувствует «будущую жатву» творчества, чеканные образы, которые создаст через десятки лет этот «Челлини ненастий».

Ты собрал в пути, завязал в снопы дождем
В гуле ветра крылатые мысли...

В «Хуле господу» Давид грозит, что сам он, вопреки господней воле, «обопрется на жердь судьбы и заслонит своим телом обгорелые поля».

Только солнце одно спаситель,
Языческое, рассекающее тьму...
Все же я влюблен в солнечный ток,
И поросль родной земли
Может залечить рану.

Давид счастливо добрался до казачьих поселений, увидел «расшитый тенями ток и вздохнул отрадню».

Дома оставил ты поле несжатое,
Гут вновь перед тобою святой ток.
О, где ты, серп грузинский,
Колосьев зыбь и трепет...

Хлеб, протянутый пришельцу казаками,
«сеет в сердце братства зерно».

Сладок тебе был ломоть хлеба русского,
Братской радостью ты взволновался.
За столом расцвел тот сердечный порыв,
Что дожил до нас...
Свечами горели сердца,
Истине был подобен хлеб...

Давид познает, что «человек, выросший на равнине, ровня человеку гор».

Ты был ветром карталинским,
Занесенным на Русь.
Обоим достались тернии,
На шее лежало ярмо,
Но на току поклялись вы
В братстве, навеки нерушимом...

Воспоминание об этой клятве «пело в сердце народа», «разрослось в чувство».

А ныне у очага Гори
Зацвело, как персиковое дерево.

Как же, как образ хлеба, обрастают эмоциями и мыслями исторического порядка образы поля, зерна, снопа, свечи, мельницы, ложась в основу этого произведения, этой «Песни» поэта — о поэте. В «Приписке» — эпилоге «Песни» Чиковани представляет себе, как обрадовался бы Давид, если б увидел сейчас Грузию:

Из мельницы увидел бы ясно
Нынче солнечную погоду в горийских садах,
Словно павлин, разукрашенное Картли...
Услышал бы ты, где поет Руставели,
Сосуд любви братских народов...
И сказал бы им: оботрите мне слезы,
Вся Грузия вспоминает нас с любовью,
Источником бессмертия поит нас народ...

„66 писем из Осло“

Маленькая Норвегия дала миру большое количество выдающихся писателей. Чехов однажды подсчитал, что в Норвегии один писатель приходится на 226 жителей.

«Великие писатели потому и велики,—писал недавно Мартин Андерсен Нексе,— что они идут вместе с народом».

В тяжчайшие дни испытаний, когда над страной опустилась черная завеса, сказалось истинное величие верных сынов народа, всеми доступными им средствами ведущих борьбу за свободу и независимость родины.

В Норвегии, известной своими древними литературными традициями, за годы оккупации появилось новое литературное определение: писатели внутреннего фронта и писатели-эмигранты. К числу последних принадлежит завоевавший себе мировую известность Нурдаль Григ, с оружием в руках борющийся за захватчиками. Позже, эмигрировав в Англию, он писал пламенные стихи-листовки, стихи, призывавшие к борьбе, стихи, учившие не примиряться и вселившие веру в победу. Нурдаль Григ сам принимал участие в смелых налетах на норвежское побережье и на Германию и погиб смертью храбрых во время одного из таких налетов.

Таким же писателем-эмигрантом является и Лиза Линдбек, выпустившая недавно книгу «Тысяча норвежских кораблей» о норвежских моряках, ведущих борьбу с немцами на всех семи морях под своим национальным флагом и под флагами союзных наций, и снискавших себе заслуженную славу.

Имена многих писателей внутреннего фронта нам пока неизвестны, за исключением тех, которые брошены немцами в концентрационные лагеря, как, например, крупнейший норвежский поэт Арнульф Эверлянд.

Но благодаря писателям внутреннего фронта миру становится известно то, что происходит в стране. Их стихи, очерки, статьи, находящие себе путь, несмотря на герметически закрытые границы,—это куски живой жизни, в них биение пульса гордых, непримиримых норвежцев, которых немецкие палачи вместе с кучкой презренных местных предателей в течение четырех лет безуспешно пытаются постыдить на колени.

Один из таких писателей скрывается под псевдонимом Бьорн Сталларе. Его «66 писем из Осло» печатались в выходящих за границей газетах Свободной Норвегии и в конце 1943 года были выпущены отдельной книгой в Стокгольме.

«Письма из Осло»—это короткие рассказы, похожие на мгновенные фотографии, в которых ярко и выпукло запечатлены отдель-

ные эпизоды из жизни и борьбы норвежского народа, благородные образы патриотов, отглаголивающие фигуры захватчиков и местных квислинговцев.

Немцы безудержно, с первого дня оккупации грабят страну. В рассказе «Порядок сдачи бочки из-под сельдей» читаем:

«Каждое утро в 10 часов поезд с отпускниками отправляется в Германию из Лоенги в Старом Городе. Солдаты тащили чемоданы, распухшие от козьего сыра и шоколада, в 1940 и в первую половину 1941 года, чемоданы, полные мясных консервов и чулок—во вторую половину 1941 года, сушеной рыбы и норвежских деревянных изделий в 1942 году, и собственного грязного белья и картонных коробок в 1943 году».

Норвежцы голодают. Проезжающая по улицам города телега с колбасами и сидящими на них двумя немцами вызывает буквально оцепенение. Увидевшая ее девочка кричит: «Смотри, мама, смотри хорошенько! Скорей иди сюда, смотри!»

И мать спешит увидеть чудо. «Подумать только—целая телега, полная колбас, небрежно сваленных в груды. А на вершине красуется телячья нога с темнокрасными мускулами и желтыми жилами и прожилками. Это такое великолепное зрелище, что оно кажется неправдоподобным».

Телега движется дальше, мимо пожарной станции, к Дейхманской библиотеке. У студентов перерыв. Они ходят взад и вперед, жуя четвертую часть суточного хлебного пайка,—два тонких ломтика.

— Смотрите,—вдруг кричит один из них.— Смотрите, телега!—Он так возбужден, что все они взбираются на кучу камней и оттуда наблюдают райскую телегу. Колбасы лежат как попало, обвивая друг друга, как змеи в переполненной клетке. А телячья нога вызывающе выглядывает наружу, намекая на то, что внизу лежит целый теленок» («Большой зимний убой»).

Все блага страны или вывозятся, или распределяются преимущественно среди немцев.

«Домохозяйки, вошедшие в магазины, обнаружили к великой своей радости, что на длинном прилавке налево были и сыр и колбаса, масло и мед, и бросились к нему. Но у прилавка им с сожалением объявили, что право покупки здесь имеют только немцы и лица с немецкими документами».

«Магазины в Норвегии—это в миниатюре Европа «Нового порядка». Нас причаляют к тому, что говорящие по-немецки «сверхчеловеки» обращаются к прилавку налево, где есть мед, а вассалы,—будьте любезны,—идите к прилавку направо, где сегодня, к сожалению, ничего нет» («Немецкий прилавок»).

¹ Bjorn Stallare. «66 skinnbrev fra Oslo».

Немцы, громко трубившие о своих победах, молдо замалчивают свои поражения.

В витрине крупного магазина рядом с портретом Гитлера красовалась большая карта восточного фронта, «шепчовый шнур на ней старательно передвигался на восток. Но когда шнур не смог больше двигаться на восток и должен был начать двигаться в обратном направлении, карта была удалена. Вместо нее нам преподнесли Тихий Океан и японскую экспансию. Но когда и она кончилась, Тихий Океан также исчез» («Царапины на лице Осло»).

Прямо пропорционально поражениям, наносимым немцам на восточном фронте, увеличивается бегство из организации национал-социалистов «Националь Самлинга» (национал-социалистическая партия Норвегии). Предатели, расширявшие свое жизненное пространство за счет ограбления и угнетения своих земляков, начинают терять почву под ногами.

Владелец авиазавода Эрлинг Хр. Ханеборг, перешедший на сторону немцев сразу же после 9 апреля 1940 года и предоставивший в их полное распоряжение и завод и самого себя, грозивший рабочим всеми возможными карами, если они не будут изо всех сил угодждать своим новым господам, теперь стал вежливым человеком. Он ушел с завода и ходит по улицам города, заискиваяще заглядывая в глаза своим бывшим рабочим, и уже издала снимает шляпу, приветствуя их. «...Слишком поздно. Рабочие ничего не забыли. Они никогда не ответят вежливостью самому вежливому человеку в Лиллестрэме» («Самый вежливый человек в Лиллестрэме»).

Автор разоблачает крыс, бегущих с тонущего корабля и старающихся уже сейчас спрятаться за спины других, надеясь, что их преступления забудутся, когда придет время расплаты.

«Но они должны знать, что нет заслуги в том, чтобы выйти из партии, сделавшей ставку не на ту лошадь у Сталинграда. Чем сильнее будет превосходство союзников, тем больше таких перебежчиков мы будем встречать на своем пути. И тем крепче мы должны смыкать свои ряды, чтобы они всегда были на виду» («Те, которые выходят из «НС»).

Предатели не смеют рассчитывать получить права гражданства. Наиболее злостные должны быть уличтожены, остальные исключены из общества, ибо «они совершили преступление против свободы».

Беспощадно и обнаженно рисует автор портреты этих людей. «Квислинговец» — есть что отвратительное в самих буквах, составляющих это слово. Что-то нечистое, похожее на змеиный шелест» («Кличка»).

Мы видим их перед собой: и гвардейца, «за ничтожную плату стоящего на страже безопасности фюрера», одного из этих молочнокобледных арийцев с присыпанными тальком прыщами и взглядом властителя под красно-белыми, как у свиньи, ресницами» («Квислинговский гвардеец»), и господина Хансона, всеми способами увеличивающего количество квадратных метров своих владений — квартиры, квартиры, бота. Это не трудно, если ты усвоил методы своих господ. «Если сосед не уходит добром из своей конторы или дачи, нужной тебе, ты его просто выбрасываешь отсюда» («Господин Хансон расширяет жизненное пространство»). Мы видим и девушку — с мозгом «величиной с горошину». Она знала

одно-единственное слово по-немецки — «Доннерветтер», и это слово стало для нее магическим, похожим на «сезам, откройся». Этого слова было достаточно для того, чтобы пригласить пойти с собой немецкого солдата.

Несмотря на всевозможные блага, вроде бесплатного посещения кино и охрану от патриотов, обещанные норвежским женщинам, пожелавшим вступить в близкие отношения с немцами, — норвежские женщины не идут на это. «Немцы, живущие в стране уже несколько лет, чувствуют себя так, как будто они случайно и на короткое время попали сюда». Только девушки типа «Доннерветтер», девушки, «которых нужно искать у водосточных канав, предоставили себя в их распоряжение».

Хансоны, «Доннерветтеры» — все это жалкие уроды в большой, хорошей и дружной семье. Это единицы, и их безошибочно узнают даже по внешнему виду. Им противостоит основная масса норвежцев-патриотов. Правда, патриоты еще не объединены, еще действуют разрозненно, кто как может, но всех их роднит одно: непреклонная ненависть к врагу, страстное желание освободить свою родину от презренных захватчиков и квислинговцев.

Живыми встают перед нами в «Письмах» отдельные образы этих простых мужественных людей. Человек, живущий в доме, населенном немцами, каждый вечер поднимается на чердак и зажигает свет в выходящем на крышу окне. «После этого он спускается к себе и спит сном праведника, в нескольких метрах от окна, указывающего путь бомбам. Ничего не поделаешь, бомбы должны попасть в цель» («Затемнение в Осло»).

Двенадцатилетний мальчик с глубоким презрением говорит двум своим товарищам, вступившим в хирду (молодежная фашистская организация), что все будет забыто — и ошибки в учебе, и ошибки в играх, но «даже когда вам будет по сто лет, все будут помнить, что вы были в этой «хирде» («Двенадцатилетний патриот»).

Люди предпочитают скорее быть арестованными, чем сидеть в трамвае или подzemке рядом с немцем или квислинговцем. Невидимые и неизвестные патриоты ежедневно с риском для жизни делают патриотические надписи на немецких пропагандистских плакатах, надписи, появляющиеся независимо от охраны, как бы возникающие сами по себе, как «химические формулы справедливости».

Простыми и ясными словами автор говорит о насущной необходимости борьбы для каждого честного человека. Сможешь ли ты сразу же, когда война кончится, или через десять, через двадцать лет после нее, сказать твоим детям, или взрослым, которые будут спрашивать тебя о второй мировой войне, свидетелем которой ты был, сможешь ли ты, положи руку на сердце, сказать, что ты всегда был тверд, что ты ни разу не изменил?»

У Нурдала Грига есть замечательные слова о значении искусства: «Задача искусства заключается в том, чтобы показывать жизнь в ее победоносном движении вперед. Искусство — это напиток, дающий нам силу, вселяющий в нас веру в человечество, в нашу борьбу за бесконечно высокие цели».

Бьорн Сталларе в своих «Письмах» обвиняет и разоблачает, указывает путь «победоносного движения вперед», вселяет веру в неизбежность победы человека в его борьбе с фашистским зверем...

I. СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

ВЕРЕСАЕВ В. В. Избранное. М. Гослитиздат. 1944. 380 стр. Цена 10 р.

В книгу вошли повести, положившие начало литературной известности автора, рисующие духовный кризис, пережитый передовой русской интеллигенцией на рубеже столетий («Без дороги», «Поветрие»), вошли произведения, посвященные изображению рабочей среды («Два конца»), деревенские очерки («Лизар», «В степи»).

Творчество Вересаева досоветского периода представлено достаточно полно, если не говорить о таких больших его вещах, как «На войне», «Записки врача», очевидно преднамеренно не введенных в сборник. Недостаточно представлена литературная работа Вересаева последних лет. А его произведения этой поры, — в первую очередь художественно-мемуарные опыты, — существенно дополняют привычные представления о писателе. Об этом пробеле в сборнике нельзя не пожалеть.

* * *

СЕРАФИМОВИЧ А. В. Родных местах. Рассказы. М. Военмориздат. 1944. 55 стр. Цена 50 к.

Небольшая книжка одного из старейших советских писателей А. С. Серафимовича содержит семь рассказов, написанных в дни отечественной войны. Большинство из них напоминает дневниковые записи, сделанные по горячим следам событий.

С подкупающей простотой показаны в рассказе «Веселый день» советские бойцы, уведшие ночью с «ничьей земли», из-под носа немцев, танк.

Интересен рассказ А. С. Серафимовича о городе Серафимовиче, также побывавшем в руках у гитлеровцев.

«Немцы, отступая, сжигали, взрывали дома, вырубали сады, убивали и грабили. Так было и в Серафимовиче, хотя немцы недолго хозяйничали там и были выбиты из города стремительным штурмом. Лучшие дома в городе разрушены и сожжены. И вдруг я узнаю, что мой дом в городе не тронут... Немного погодя выяснилась причина такого бережного отношения немцев к моему дому. Оказывается, в бро-

шенных немецким штабом бумагах найден приказ, подписанный самим фюрером: Гитлер подарил мой дом маршалу Манштейну в благодарность за разбой на Дону».

Книжка А. С. Серафимовича будет читаться с несомненным интересом и пользой.

* * *

ШИШКОВ Вячеслав. Прохиндей. М. «Советский писатель». 1944. 188 стр. Цена 8 р.

Вячеслав Шишков собрал огромный материал по истории восстания Пугачева. Основная часть его вошла в капитальный труд — историческое повествование «Емельян Пугачев». Той же эпохе Шишков посвятил повесть «Прохиндей».

И увлекательность фабулы, и ясность изложения самых сложных общественных взаимоотношений делают эту книгу доступной даже школьнику.

На сравнительно небольшом полотне автор дал галерею образов русских людей от исторических лиц — Суворова, Пугачева, до безвестных мужиков и старых солдат. Каждому лицу автор, стесненный объемом повести, мог посвятить всего несколько строк, в лучшем случае несколько эпизодов, и все же они стоят перед нами живые, надолго запоминаются. Любимый герой Шишкова, Емельян Пугачев, написан великолепно. Он правдив в каждом слове и движении. Верись в его административные способности и проницательность, в его талант государственного деятеля.

Шишков показывает и организованность пугачевской армии, и стихийность движения.

Пугачеву противопоставлены чиновничество и офицерство Екатерины, лихоимство и глупость ржевского воеводы Таракана, легкомыслие блестящего Орлова и др.

Эта повесть о народной силе и правде, которая, и побежденная, не умирает.

Прохиндей — Долгополов, заслуженно кончает позорным наказанием, казненный Пугачев остается жить в истории.

* * *

ПРИШВИН М. Избранное. М. Гослитиздат. 1944. 239 стр. Цена 7 р.

В «Избранном» представлены все этапы творческого пути писателя — от написанного в 1911 г. «Черного араба» до появившейся перед отечественной войной поэмы «Fascia».

Тут первая часть автобиографической эпопеи «Кашеева цепь» — повесть «Курымушка», призывающая к традиции русских автобиографических повестей о детстве, циклы превосходных маленьких — в полторы-две странички — рассказов о животных и природе, простых и прозрачно ясных по языку, рассчитанных одновременно и на детей, и на взрослого читателя («Рассказы егеря Михал Михалыча», «Лисичкин хлеб», «Дедушкин валенок»). В книгу вошли своеобразные наброски, напоминающие записи, листки из писательского дневника и одно из лучших произведений Пришвина — «Корень жизни Жень-Шень».

Удачно составленный сборник портит то, что повесть «Курымушка» дана в отдельных извлечениях. Эти отрывки знакомят читателя с общим характером произведения, но далеко не достаточно освещают его основную тему, — тему роста творческой личности.

* * *

ФИСАНОВИЧ И. Записки подводника. М. Военмориздат. 1944. 60 стр. Цена 40 к.

Обаяние достоверности отличает «Записки подводника», принадлежащие перу Героя Советского Союза И. Фисановича.

Фисанович — один из замечательных представителей трудной профессии подводников, прославленный истребитель фашистских кораблей. Имя его с уважением произносится моряками нашего флота и союзных с нами держав. Но в книге нет самодовольства, нет желанья рассказать о своих успехах и победах. Скромно и просто рассказывает Фисанович о делах и днях своей «малютки», ставшей грозой немецкого флота. Мимходом он упоминает: «Рассказам о походе удивлялись, хотя не все их понимали. Интересовались, было ли страшно. Никто не мог ответить на этот вопрос толково: не помнили. Было слишком много работы».

Однажды командир английской подлодки попросил Фисановича показать ему карту вражеского порта с нанесенным на нее маршрутом лодки. Внимательно разглядев линии курсов, измерив циркулем длину и ширину фиорда, он восторженно пожал руку советскому командиру и сказал:

— Эту карту я вставил бы в рамку и повесил на стене своей каюты.

Читая «Записки подводника», мы входим в мир больших опасностей, большой доблести и большого военного искусства советских подводников.

* * *

В ТЫЛУ ВРАГА. Очерки, дневники, записки об участии комсомола и молодежи в партизанской борьбе. Предисловие генерал-лейтенанта П. К. Пономаренко. М. Изд. ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия». 1943. 221 стр. Цена 15 р.

Половина всего состава партизан — это молодежь. Свыше пятнадцати тысяч комсомольцев и молодых партизан за героизм и мужество, проявленные в борьбе против немецких захватчиков, награждены правительством Советского

Союза орденами и медалями. Восемь тысяч молодых партизан и партизанок награждены медалью «Партизану Отечественной войны». В одной только Белоруссии среди партизан насчитывается свыше тридцати тысяч комсомольцев и много десятков тысяч молодежи.

Эти красноречивые цифры приведены генерал-лейтенантом П. К. Пономаренко в его предисловии к сборнику «В тылу врага».

Открывается сборник очерком Л. Леонова («Твой брат Володя Курпыленко») о юном Герое Советского Союза Владимире Курпыленко. За ним следуют очерки: К. Левина — о Герое Советского Союза Михаиле Сильницком, Ю. Нагибина — об организаторе партизанского отряда лейтенанте Филиппе Стрельце, К. Симонова — о народных мстителях, скрывавшихся в керченских каменоломнях. А. Дроздов посвящает рассказ «Скрипка» тринадцатилетнему мальчику-скрипачу, взорвавшему пристанище немецких захватчиков вместе со всеми его обитателями.

Содержателен очерк В. Некрасова о летчиках, поддерживающих связь между партизанами и «Большой землей».

Очень интересны записки и дневники самих партизан. Командир диверсионной группы Н. Пушкин описывает два рейда в тылу врага. Секретарь брянского горкома ВЛКСМ И. Мартынов, взорвавший немало вражеских мостов и железнодорожных эшелонов, рассказывает о работе подрывников, требующей исключительного мужества и самообладания. С. Свиридов вспоминает о газете «Ключ партизана», которую он вместе со своими друзьями выпускал в белорусских лесах. В записках партизанок Т. Лагуновой и О. Карповой обрисован их боевой путь.

Сборник завершает «Рассказ о сыне» Е. Кошевой, матери Героя Советского Союза Олега Кошевого. Героический образ организатора молодых подпольщиков Краснодона, шестнадцатилетнего юноши, воплотившего в себе лучшие черты советской молодежи, будет вдохновлять миллионы на борьбу и на подвиги.

Издательство «Молодая Гвардия» любовно оформило сборник. Снимки с документов партизан — листовок, газет, плакатов, писем — отлично дополняют текст книги.

* * *

УРАЛЬЦЫ В БОЯХ ЗА РОДИНУ. Вып. 1. Молотов, Молотовское обл. изд. 1941. 119 стр. Цена 12 р.

В первом разделе сборника помещены очерки об уроженцах Урала, удостоенных высокого звания Героя Советского Союза, — это подводник Валентин Стариков, пулеметчик Завьялов, партизан Наумов; второй раздел посвящен истории формирования и боевым делам Уральского добровольческого танкового корпуса, его бойцам и офицерам.

Очень интересна эта история Уральского танкового корпуса, сформированного исключительно из добровольцев, оснащенного рабочими и колхозниками Урала всем необходимым, начиная с самого современного оружия и кончая мелкими предметами бытового обихода бойцов и офицеров.

К сожалению, литературный уровень очерков очень неровен. Язык большинства из них бесцветен и невыразителен. В сборнике даются

портреты самых разнообразных людей: здесь и зеленая молодежь, прямо со школьной скамьи попавшая в армию, и почтенный профессор философии, и рабочий-стахановец, и скромный бухгалтер и пр. и пр., — но редкие из этих портретов запомнятся читателю.

Объединенный в сборнике интереснейший фактический материал заслуживает более тщательной, а главное — более углубленной разработки.

* * *

НАД СИНИМ НЕМАНОМ. Сб. рассказов. Пер. с литовского. М. Гослитиздат. 1944. 124 стр. Цена 3 р.

Пылает под ногами захватчиков непокоренная литовская земля. О растерзанной врагами, но несломленной, непокоренной Литве рассказывают литовские писатели в сборнике «Над синим Неманом».

Выдающийся литовский писатель Петрос Цвирка в новелле «Соловушка» рисует образ бесстрашного мальчика-партизана. Бесчинства немцев в литовской деревне и грабительский «новый порядок» изображены в рассказах «Немец» Цвирки и «Земля Берташюса» Корсакаса. Задушевно и тепло написан образ русской женщины в новелле Цвирки «По дорогам войны». Изнемогающий от усталости боец литовской дивизии находит в доме крестьянки Марья Павловны материнскую заботу и ласку. «Русская земля и литовская земля — одна земля, большая, могучая земля любви и правды», — взволнованно говорит он ей, прощаясь, и эти слова звучат как символ великого братства литовского и русского народов.

Вошедшие в сборник рассказы переведены на русский язык И. Капланасом, Р. Янушкевичем, А. Баужа.

Кроме названных авторов в сборнике участвуют литовские писатели: Ионас Шимкус, Антанас Венцлова, Юозас Балтушис, Ионас Марцинкевичус.

2. ПОЭМЫ, СТИХИ, ПЕСНИ

БЕРГГОЛЬЦ О. Ленинград. Стихи и поэмы. М. «Советский писатель». 1944. 80 стр. Цена 2 р.

Сборник распадается на три раздела.

«1941 год» — начало блокады. Здесь: «Письмо сестре», два письма матери на Каму, «Разговор с соседкой Дарьей Васильевной» — первый эскиз образа героической ленинградки, великой в своем повседневном скромном мужестве.

Раздел «1942 год» посвящен страданиям и борьбе осажденного города. Он включает широко известные поэмы («Февральский дневник», «Ленинградская поэма»), рисующие ленинградский «блокадный» быт, — ослепевших женщин,двигающихся с саночками по проспектам, везущих воду с каналов, мертвцов — на кладбище, жалкий скарб — в новье жилище. В этих поэмах Берггольц показывает силу советского человека, способного в «блокаде и бою» не только самоотверженно и упорно трудиться, но и испытывать радость творческого труда во имя победы, познавать счастье человеческой дружбы.

Лирические стихи раздела развивают и углубляют эту тему.

В разделе «1943 год» помещено стихотворение «Ленинградке», декларирующее творческое исповедание О. Берггольца в духе горьковского понимания правды в искусстве, как правды, раскрывающей и возвышающей человека-труженика и героя.

* * *

БЛАГОВ А. Избранные стихи. Иваново. Ивановское обл. гос. изд. 1944. 120 стр. Цена 2 р. 25 к.

Автор этих стихов — старый кадровый рабочий, ткач. Более тридцати лет он работает на ивановских текстильных предприятиях. Почти так же солиден его литературный стаж; наиболее ранние из вошедших в сборник стихотворений снабжены датами почти полувековой давности, последние — написаны в дни отечественной войны.

Своеобразие жизненной судьбы автора определяет и слабые и сильные стороны его творчества. Его стихотворениям присущ дилетантизм, но они представляют незаурядный интерес как поэтические произведения, прямо и непосредственно отражающие труд и быт рабочих масс одного из крупнейших промышленных центров нашей страны. Характерно, что и дарование автора наиболее заметно проявляется в стихотворениях, конкретно связанных с местной обстановкой, с фабрично-заводской жизнью. Некоторые из стихов положены на музыку и стали рабочими песнями.

В предпосланной сборнику вступительной статье поэзия Благова характеризуется как «неприкрашенное и правдивое свидетельство о тех путях, которыми шел русский рабочий, — от захолустного жития в рабочей слободке до жизни, просветленной социализмом». Содержание сборника полностью оправдывает эту оценку.

* * *

ТАНК Максим. Янук Сялиба. Поэма. М. Гослитиздат. 1944. 76 стр. Цена 3 р.

Типичный белорусский пейзаж. Село Червонный лог, заброшенное среди болот и мхов. Здесь такой край, что «где ступишь — там эхо, там сказка, былина...»

Когда село захватывают фашисты, лучшие люди села уходят в лес, чтобы вести борьбу против немецких хитников.

Об их борьбе, о героической жизни Янука Сялибы и его жены Райны, не пожелавшей стать наложницей предателя-старосты, и рассказывается в поэме Максима Танка.

Свою личную судьбу, свое личное счастье герои поэмы не отделяют от судьбы своего государства, своей родной земли. Они твердо знают и верят, что, как бы тяжелы ни были испытания, вооруженный народ победит захватчиков и освободит свою страну.

Перевод поэмы выполнен П. Семьиным.

* * *

БОРЯН Гурген. Огненным языком. Стихи. Пер. с армянского. М. Гослитиздат. 1944. 32 стр. Цена 1 р.

С произведениями Гургена Боряна, молодого армянского поэта, читатель не раз встречался

и до войны. Его «Песнь, написанная в городе Гори», была в свое время опубликована в ряде русских изданий.

Гражданский пафос, характерный для довоенной лирики Боряна, особенно выразителен в его военных стихах, собранных в настоящей книжке. В стихотворениях «Вперед», «В атаку, воин молодой!», «Армянский военный марш» поэт призывает к защите родины. Глубокой любовью проникнуты его стихи, посвященные Украине, России. В написанном незадолго до войны стихотворении, воспеваящем «древний Аиастан» — Армению, читаем:

Сегодня ты обилен и богат
И песнями и золотом полей,
Садами и улыбками ребят,
Свободой красавиц-доcherей.
И счастьем тем, той пышною красой,
Что словно пояс обвила твой стан,
Обязан ты, как матери родной,—
России ты обязан, Аиастан!

Долгие месяцы войны Гурген Борян провел на фронте, активно работая на фронтовой печати.

Значительная часть стихов, вошедших в сборник, навеяна непосредственными впечатлениями фронтовой жизни.

Стихи Гургена Боряна переведены В. Звягинцевой, М. Петровых, О. Румером, Н. Асановым, К. Арсеновой, В. Серебряковым, С. Мар, Э. Левитиным и Н. Беленович.

3. ПЕСЫ, СЦЕНАРИИ, ЭСТРАДА

ГОРБАТОВ Борис. Юность отцов. Пьеса в трех актах, восьми картинах, с прологом и эпилогом. М.—Л. «Искусство». 1944. 116 стр. Цена 3 р. 50 к.

«Приходится мне часто встречаться с генералами, иногда и с наркочами. Все народ го сударственный, обремененный заботами. А по говоришь с ним по душам... и видишь — наш, старый комсомолец. Комсомольское не отмывается», — так говорит полковник Рябинин, герой пьесы Горбатова. И он рассказывает о юности своего поколения, «О том, почему они были такими... как жили... как любили...»

Это рассказ о первом горьком комсомола в одном из южных городов, рассказ о комсомольской коммуне «номер раз», о комсомольских спорах, чаяниях, мечтах, рассказ о том, как уходили комсомольцы на войну с немецкой интервенцией, как боролись в подполье, как шли на смерть, это рассказ и о том, как любили первой любовью и как пронесли эту любовь через всю жизнь.

Действие пьесы начинается в наши дни. К полковнику Рябинину явилась для исполнения боевого задания группа девушек-комсомолок. Среди них он увидел одну, поразившую его сходством с Наташей Логиновой, погибшей от руки немецких интервентов в 1919 г. Девушка эта оказалась дочерью Наташи.

Перед нами встает жизнь первого комсомольского поколения, и мы видим, что трудную, но славную юность своих отцов и матерей продолжают сейчас наши комсомольцы. Пьеса воспринимается как произведение о современности. Правда, не о том сейчас спорят комсомольцы, нет больше коммуны «номер раз». Но

жива комсомольская сущность: чистота мысли, горячность, искренность, преданность родине, общему делу — то самое комсомольское, которое «не отмывается».

Наташа Логинова оставила письмо своей дочке: «Когда тебе исполнится семнадцать лет, ты прочтешь это письмо... И ты узнаешь, что твой отец пал в бою, а мать казнена... Я уйду из жизни с сознанием исполненного долга... И если бы у меня была не одна жизнь, а десять, я все б их отдала так, как отдала эту, единственную, не жалея. Я завещаю тебе, моя Аленушка, сделать все, чего я не успела сделать. Я завещаю тебе мою неизрасходованную ненависть и неистраченную любовь. Я завещаю тебе будущее... А ты будешь замечательно жить, моя девочка! Будь же достойна этой жизни, она оплачена кровью твоего отца и твоей матери...»

В этих словах основная мысль пьесы, и эта мысль делает ее современной и волнующей.

* * *

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЭСТРАДА. Вып. 1. М.

Центральный дом Красной Армии. 1944. 100 стр.

Лишь незначительная часть появившихся в печати рассказов, отрывков, стихотворений проникала раньше на эстраду. С первых месяцев войны положение резко изменилось. Так называемые «эстрадные» авторы не в силах были обслужить многочисленные фронтовые бригады и огромное количество самодеятельных красноармейских кружков, нуждавшихся в новом материале, который отражал бы каждый новый этап великой отечественной войны, воспевал бы за стремительной сменой событий.

Так открылась широкая дорога на эстраду огромному количеству рассказов, стихов, фельетонов, газетных очерков, отражающих события текущего дня.

Однако разобраться во всем этом обилии материала, отобрать действительно самое ценное не всегда было под силу не только самодеятельным исполнителям-бойцам, но и актерам-профессионалам. Выявилась необходимость систематического издания специальных репертуарных сборников, составляемых как из опубликованного материала, так и из произведенных, специально написанных для эстрады.

Составление таких сборников приняли на себя отделение Красноармейской художественной самодеятельности ЦДКА им. М. В. Фрунзе и Всесоюзный дом народного творчества им. Н. К. Крупской.

Выпущенный ими первый выпуск сборника «Красноармейская эстрада» за 1944 год включает большое количество разнообразного материала. Красноармейские самодеятельные кружки найдут в нем стихи Джамбула, Прокофьева, Суркова, Кирсанова, Инбер, Берггольц, Лебедева-Кумача, Софронова, Твардовского, Исаковского, Антокольского и других поэтов, рассказы и очерки Фадеева (из книги «Ленинград в дни блокады»), Шолохова (отрывок из романа «Они сражались за родину»), монтаж сцен из пьесы Б. Горбатова «Юность отцов», многочисленные частушки, песни, куплеты, сатирические произведения и проч.

К сборнику приложен список произведений, рекомендуемых к исполнению.

* * *

ЗДРАВСТВУЙ, УКРАИНА! Литературно-эстрадный сборник произведений украинских писателей. Сост. Борис Турганов, М.—Л. «Искусство». 1944. 136 стр. Цена 6 р.

Выход сборника как нельзя более своевременен. В течение долгих месяцев фашистской оккупации Украины внимание народов Советского Союза было приковано к изнывавшему под гитлеровским игом братскому украинскому народу. Освобождение украинской земли героической Красной Армией наполнило радостью сердца советских людей. Десятки, сотни песен, стихотворений, рассказов, очерков, написанных в связи с великими освободительными походами 1943—1944 гг., выражали сокровенные чувства советского народа.

К сожалению, настоящий сборник не полностью отвечает своему назначению.

Подавляющее большинство вошедших в книгу произведений написано в первые меся-

цы исторических битв. Это предопределяет характер значительной части материалов сборника. В нем больше радости ожидания встречи с родной землей, чем описаний самой встречи. В нем больше пожеланий суровой кары фашистским бандитам, чем заслуженного удовлетворения тем, что меч справедливого народного суда начал разить выродков человечества.

Почти не нашли отражения в сборнике и такие важнейшие темы борьбы за Украину, как всемирно-историческая битва за Днепр, стремительное наступление Красной Армии на правобережье Днепра, окружение и ликвидация Корсунь-Шевченковской группировки немцев.

Однако и в этом виде сборник обогатит эстрадный репертуар художественно-полноценным и политически-актуальным материалом. Стихи Первوماйского, Рыльского, Тычины, Бажана, Сосюры, новеллы Яновского, Голованевского, Скляренко и др.—в исполнении мастеров художественного слова найдут благодарных слушателей в самых широких аудиториях.

II. КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ТУРГЕНЕВ И. С. Избранное. Подбор текста и вступ. статья Н. Калитина. М. Гослитиздат. 1944. 119 стр. «Писатели-патриоты великой родины». Цена 3 р.

«Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись»,— эта формула, вложенная Тургеневым в уста одного из персонажей «Рудина», как нельзя лучше определяет его творческий облик как выдающегося художника-патриота.

Показать отношение Тургенева к родной стране и родному народу на конкретном материале его литературного наследия—такова задача, которую имел в виду составитель настоящего сборника. Большое место отведено им художественным произведениям, рисующим образы русских людей, картины русской жизни и русской природы. Составитель поступил правильно, обратившись прежде всего к небольшим по объему вешам, которые могли быть воспроизведены в сборнике целиком. Наиболее широко использованы «Записки охотника» и «Стихотворения в прозе».

Справедливо рассматривая роман «Отцы и дети» как попытку создать образ положительного героя, «изобразить решительную, волевою натуру», составитель ввел в сборник большой отрывок из этого романа.

Отрывок «Вешних вод» иллюстрирует последовательно отрицательное отношение Тургенева к «жалкому филистерству, мещанской самовлюбленности немецкого бюргера».

Вдумчиво отобранные и включенные в сборник высказывания великого романиста из его критико-публицистических статей, воспоминаний и писем.

* * *

СТАНЮКОВИЧ К. Похождения одного матроса (Морские рассказы. Книга 1). М. Военмориздат. 1944. 408 стр. Цена 7 р.

Пятую книгу издаваемого Военмориздатом многотомного собрания морских рассказов Станюковича целиком занимает повесть «По-

хождения одного матроса». Сильная, как и другие произведения Станюковича, сочувственным изображением русского матроса, повесть эта не столько дает картины жизни на военном корабле, сколько описания нравов и обычаев низших слоев американской буржуазии в шестидесятые годы прошлого века.

Сюжет повести очень занимателен. Молодой матрос Чайкин, отбившись от товарищей, заблудился в Сан-Франциско и опоздал вернуться на корабль к назначенному сроку. Зная об угрожающем ему наказании линьками, Чайкин решает не возвращаться на корабль и остается в Америке. С этого момента начинаются разнообразные похождения Чайкина.

В Сан-Франциско Чайкина нанимают на бриг «Динору», отправляющийся в Австралию за ружьями для Южных штатов (действие происходит в годы войны Севера с Югом за освобождение негров). После трудного плавания, под командой жестокого, бесстрашного и удачливого в рискованных предприятиях капитана Блэка Джексона, Чайкин на «Диноре» достигает Нью-Орлеана. Контрабандно провезенные ружья сдаются по назначению. Разбогатевший капитан едет на Север. Вместе с капитаном отправляется по Миссисипи и Чайкин. Затем, расставшись с ним, он добирается до Канзаса, откуда в дилижансе возвращается в Сан-Франциско.

Чайкин усерден, честен. Он с большой восприимчивостью воспринимает несправедливости, совершаемые над подневольными людьми. С виду тщедушный и даже робкий человек—он в действительности храбр, способен совершать настоящие подвиги. Он бросается с корабля в море, чтобы спасти враждебно к нему относящегося человека, спасает из огня забытую в доме во время пожара девочку,—трогательный, не без сентиментальных ноток рассказанный эпизод.

Автор характеризует Чайкина как человека, который старался уяснить себе «тот идеал правды, какой как-то стихийно требовало его сердце», и, не имея никаких представлений о

том, что над этой «правдой» давно думают и работают великие мыслители, строил наивные планы насчет того времени, когда все будут жить по правде: когда не будет ни очень богатых, ни очень бедных. Чайкина не соблазняют возможности быстро обогащения, которые предоставляет каждому Америка. Ему недостает атмосферы русской душевности, и он возвращается в Россию, которая к тому времени уже встает на новый исторический путь, отмеченный крестьянской реформой 1861 года.

Как воспроизведение быта и нравов русского флота, большая повесть Станюковича дает меньше, чем некоторые из его коротких морских рассказов. Но среди немногочисленных в русской литературе произведений об Америке «Похождения одного матроса» с их чудесным образом Чайкина — интересная книга.

* * *

УКРАИНКА Леся. Лесная песня. Драма-феерия в трех действиях с прологом. Пер. с укр. М. Исаковского. М.—Л. «Искусство». 1944. 139 стр. Цена 4 р.

Русский читатель знает Лесю Украинку, главным образом, по ее лирическим стихотворениям и поэмам. В последние годы он смог познакомиться с произведениями замечательной поэтессы, классика украинской литературы, в новых переводах советских поэтов. «Лесная песня», переведенная Михаилом Исаковским, обнаруживает еще одну грань в ее творчестве, чрезвычайно богатом по содержанию и оригинальному по форме.

В этой драме-феерии главными действующими лицами являются сказочные существа, населяющие леса и воды,—создания поэтической выдумки украинского народа: Водяной, Русалка, Леший, Мавка, Перелесник, Потерчатая, Злыдни. Они вступают в общение с людьми,—и тот, кто чист душой и любит природу, может видеть их и получать от них помощь.

Сюжет драматической сказки Леси Украинки—любовь Мавки, внучки Лешего, к чернобровому, стройному хлопцу Лукашу. В «Лесной песне» тонко обрисована непосредственная, стихийная сила любви Мавки и скованность Лукаша всевозможными предрассудками и мелочными повседневными заботами, сквозь пути которых он с трудом прорывается. В произведении этом немало грусти, тоски. Но, как говорит Леся Украинка, «тоска не может, не смеет быть сильнее красоты!» Эта красота чарует читателя. Перед ним раскрываются

несметные богатства могучей народной поэзии, воспевавшей больше человеческие чувства, которые оказываются сильнее житейских расчетов и которые побеждают и разлуку и смерть.

* * *

РАЙНИС Ян. Песни борьбы и мужества в переводах русских поэтов. М. Гослитиздат. 1944. 44 стр. Цена 2 р.

Ненависть латышского народа к немецким поработителям сложилась веками. Она звучит в латышских народных песнях, в эпосе и сказке, нашла свое выражение и в художественной литературе.

Этой ненавистью пронизано творчество и великого латышского поэта Яниса Райниса.

Во весь свой рост Райнис встает перед нами лишь сейчас. Только в 1940 году, когда к власти в Латвии пришел народ, стали известны в творческом наследии поэта те странички, которые царская и буржуазно-фашистская цензура скрывала от широких масс.

В настоящий сборник, наряду с опубликованными ранее произведениями Райниса, известными русскому читателю главным образом по переводам В. Брюсова, вошел ряд стихотворений, обнаруженных в подлиннике лишь в последние годы перед войной. Стихи эти, включенные в изданный в 1940 году в советской Латвии сборник «Муза в боях», свидетельствуют о глубокой народности творчества Райниса—великого патриота и борца за независимость. Райнис указывает, куда направлен народный гнев: он прямо обращается к немецким баронам:

Вы — господа нашей жизни и крови,
Вы знак подадите — ножи наготове.
Вы всемогущи, вы — бич страны,
Вы грозны и сильны, но мне не страшны.
Вы и сейчас дрожите часами,
Пленных казня руками своими.
Вы и сейчас бледнеете сами,
Убивая мильоны, глумясь над ними.

Стихи эти как будто написаны сегодня,—в годы новых тяжелых испытаний, выпавших на долю латвийского народа, временно подпавшего под власть фашистских разбойников, потомков извечных врагов Латвии.

Новые переводы стихов Райниса на русский язык выполнили: А. Глоба, Н. Асанов, М. Земаховская, О. Румер, С. Мар, Д. Бродский, Б. Лейтин.

III. НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

ПЕСНИ БОЕВЫХ ПОХОДОВ. Иваново. Ивановское обл. гос. изд. 1944. 176 стр. Цена 7 р. 50 к.

В предпосланной сборнику вступительной статье составитель так определяет свою задачу: «Собрать воедино наиболее удачные военные песни, разбросанные по различным источникам, и, распределив их в хронологическом порядке, соответственно историческим событиям, дать возможность массовому читателю познакомиться с лучшими образцами русской народной военной песни».

Эта благодарная задача разрешена, однако, составителем неудачно.

Хронологические рамки использованного в сборнике материала чересчур широки — от XVI века до наших дней. Многие из помещенных здесь образцов, особенно ранних, к песенному фольклору вообще никакого отношения не имеют, являясь всецело произведениями эпического характера. Другие—из числа позднейших и современных — никак и ни в каком смысле не могут быть отнесены к жанру военной или солдатской песни даже при самом расширенном и вольном толковании этого по-

ятия. Вообще принципы, которыми руководился автор, работая над антологией, не продуманы и неясны. Источники, которыми он пользовался, часто мало авторитетны и свидетельствуют о слабом знакомстве с соответствующей литературой. О малой подготовленности составителя говорит и низкий уровень сопроводительных редакционных комментариев.

При всех этих недостатках сборник все же не лишен какого-то положительного значения. Материал в нем плохо подобран, неумело расположен и прокомментирован, но сам по себе имеет все права на внимание читателя. «Книга

может быть использована агитаторами и пропагандистами, лекторами и докладчиками, учителями школ и учащейся молодежью, а также работниками клубов, красных уголков, избчитален и агитколлективами в их культурно-массовой работе», — указывает составитель. Действительно, все перечисленные читатели найдут не мало интересного для себя в сборнике.

Хочется только пожелать, чтобы он как можно скорее был заменен аналогичной по заданию книгой военных песен, сделанной с настоящим знанием дела.

IV. ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

МАРШАК С. Английские баллады и песни. М. Гослитиздат. 1944. 112 стр. Цена 4 р.

Перед нами второе, дополненное издание книги переводов Маршака, выпущенной в свое время издательством «Советский писатель».

Сборник открывается рядом народных баллад и песен, колыбелью которых была Шотландия, затем идут образцы поэзии Шекспира, Роберта Бэрнса, Вильяма Блейка, Зордсворта, Стивенсона, Киплинга. Заканчивается книга циклом народных детских песен.

Богатство интонации, ритма, выразительность стиха, характеризующие переводы С. Маршака, передают творческую индивидуальность каждого поэта, дают ощущение его поэтического своеобразия.

По сравнению со сборником переводов Маршака, выпущенным издательством «Советский писатель» в 1941 году, этот сборник значительно расширен. В него вошло двенадцать новых переводов разных авторов, народных песен и баллад, в том числе шесть стихотворений Вильяма Блейка, из которых лишь одно — баллада «Король Гвин» — было опубликовано в сборнике английских песен и баллад, изданном Детгизом в 1942 году.

* * *

МАРШАЛ Ф. и КРЭЙН Д. Боливар. Пер. с испанского Н. Любимова. Последействие Ф. В. Кельина М. Гослитиздат. 1944. 192 стр. Цена 6 р.

Симон Боливар — один из популярнейших национальных героев Южной Америки, борца за ее независимость и освобождение от векового испанского ига. В глазах южноамериканских народов его облик навсегда остался скруженным светлым ореолом. В честь его Боливар получила свое имя. Памятники «Освободителя» украшают большинство городов Колумбии, Венесуэлы, Перу и ряда других государств Латинской Америки. Уже при жизни Боливара его слава далеко перешагнула за пределы американского континента. Вспомним хотя бы строки «Онегина»: «надев широкий боливара, Онегин едет на бульвар...» Широкополый цилиндр Боливара являлся невинным символом преклонения перед героем освободительного движения.

Но Боливар не только выдающийся полководец и государственный деятель. Это человек, глубоко воспринявший высокие идеи европейских просветителей и французской революции. Он был одним из первых борцов против рабства в Америке. В нашу эпоху титанической

борьбы против фашистского ига и мракобесия имя Боливара вновь привлекает к себе внимание. В борьбе южноамериканских народов против фашизма исторические традиции времен Боливара призваны сыграть важную роль.

Книга Ф. Маршалла и Д. Крэйна написана легко, увлекательно, почти в беллетристической форме. Авторы не ставили своей целью создания исчерпывающей биографии Боливара. Биография остается неполной, так как она обрывается 1825 г. и оставляет неосвещенным пять последних лет жизни героя.

В послесловии даются некоторые данные по истории южноамериканских государств, о характере национально-освободительной борьбы южноамериканских народов и о последних годах жизни Боливара.

* * *

ИРАСЕК Алоис. Старинные сказания чешского народа. Вступ. статья проф. З. Недлы. М. Гослитиздат. 1943. 104 стр. Цена 3 р.

Книга была написана в 1894 г. и пользовалась огромной популярностью не только в Чехии, но и далеко за ее пределами. Настоящее издание не претендует на полноту. Сюда не вошел ряд сказаний, другие же подверглись некоторым сокращениям. Но и в этом виде книга не потеряла своей ценности.

В течение веков Чехия находилась под немецким игом и вела борьбу за свою независимость. В этой борьбе воспоминания чешского народа о своем прошлом играли огромную роль — поддерживали его мужество и энергию, наполняли его национальной гордостью, утверждали в его сознании право на самостоятельное государственное существование. Источниками этих воспоминаний были не только исторические летописи, но и многочисленные поэтические предания, сохранившиеся в литературе и в устных рассказах, передававшихся из поколения в поколение в чешском народе.

А. Ирасек — один из передовых чешских писателей конца прошлого и начала нынешнего века, он видный деятель чешского национально-освободительного движения в период, предшествовавший возрождению чехословацкого государства. Ирасек излагает родные предания в трогательно простой форме. Его книга проникнута горячей любовью к родине.

Она знакомит нас с сокровищами чешской литературы, освещает прошлое братского нам народа, дает ключ к пониманию его великих патриотических чувств, источников его неиссякаемой энергии в борьбе с захватчиками.

У. ВОСПОМИНАНИЯ, ДНЕВНИКИ, ДОКУМЕНТЫ

БРУСИЛОВ А. А. Мои воспоминания. Изд. 3-е. М. Воениздат. 1944. 264 стр. Цена 6 р.

Выход в свет третьего издания известных мемуаров А. А. Брусилова в дни, когда войска Красной Армии ведут наступление в предгорьях Карпат, как нельзя более своевременен. Не только офицеры Красной Армии, но и широкие массы гражданского читателя с особенным интересом прочтут сейчас страницы воспоминаний этого блестящего русского полководца, посвященные действиям русских войск осенью 1914 года в Галиции, выходу их к Карпатам и наступлению 1916 года, вошедшему в историю мировой войны под названием «Брусиловского прорыва». «Это были лучшие дни моей жизни, ибо я жил одной общей радостью со всей Россией»,—пишет Брусилов в своих воспоминаниях о днях прорыва русскими бражеского фронта в 1916 году.

Последний полководец старой русской военной школы, донесший ее, лучшие традиции до наших дней, Брусилов был в то же время замечательным русским патриотом, горячо любившим свою родину. «От русского народа,—

говорил он,—я не отделись и останусь с ним, что бы ни случилось».

В приложении к книге впервые опубликованы выдержки из некоторых приказов Брусилова, относящихся к началу первой мировой войны, когда он командовал 8-й армией. Новые публикации открываются следующей выдержкой из приказа от 7 августа 1914 года: «Поздравляю славные войска с переходом границы. Приказываю объяснить нижним чинам, что мы вступаем в Галицию, хотя и составляющую часть Австро-Венгрии, но это исконная русская земля, населенная главным образом русским народом... Русская армия не ведет войн с мирными жителями. Русский солдат для мирного жителя, к какой бы народности тот ни принадлежал, не враг, а защитник, а тем более он защитник для родного по крови галичанина».

Вторая часть книги заново пересмотрена и подготовлена к печати по оригиналу, хранящемуся в Центральном государственном военно-историческом архиве.

Книге предпослано содержательное предисловие генерал-майора Галактионова.

VI. БИОГРАФИИ, ПОРТРЕТЫ.

БРАГИН Михаил. Полководец Кутузов. М. Гослитиздат. 1944. 176 стр. Цена 5 р.

Полководческое искусство Кутузова долгое время оставалось загадкой для военных теоретиков. Не только современники, но и позднейшие исследователи склонны были признавать «слабостями» Кутузова как раз те его решения и поступки, к которым он приходил в результате глубокого и проницательного анализа обстановки, дававшего великому полководцу необычайную силу предвидения. Возникло, как известно, немало нелепых легенд о «пассивности», «дряхлости» полководца, который сумел победить Наполеона и противопоставить свою волю воле русского царя Александра. Различные отголоски этих легенд нетрудно встретить в многочисленной литературе о Кутузове. В немалой степени они отражались и на образе Кутузова в «Войне и мире» Л. Толстого.

Настоящая книга рисует полководческое искусство Кутузова как одно из высших достижений русской военной мысли.

Автор подчеркивает, что Кутузов как командир рос в эпоху расцвета передовых идей в русском военном искусстве. Это были годы, когда после свержения Петра III, кумиром которого был прусский король Фридрих II, русскую армию «поворачивали на указанный Петром I путь развития». Ученик и сподвижник Суворова, Кутузов провел огромное число походов и кампаний, участвовал в многочисленных сражениях. Через десятилетия боев и войн, через всю свою жизнь он пронес указания своего гениального учителя. Отличительными особенностями Кутузова-полководца были: способность к безошибочному анализу обстановки, воля в проведении принятых на основе этого анализа решений, великая вера в силы и способности русского

солдата, в талантливость и патриотизм народа.

Автор показывает, как проявлялись эти черты Кутузова в действии, как обеспечивали армии замечательные успехи и победы.

Дипломатические способности и достижения Кутузова были основаны на том же умении предвидеть события, трезво оценивать противника, проникать в его психологию.

Книга Брагина, не будучи работой исследователя характера, в живой форме дает широкому читателю правильное общее представление об одном из величайших русских полководцев.

В книге использован немалый документальный материал: записи бесед Кутузова, его приказы, письма и т. д.

Проф. КОРОБКОВ Н. М. Вице-адмирал Корнилов. М. Военмориздат. 1944. 31 стр. Цена 40 к.

Владимиру Алексеевичу Корнилову принадлежит почетное место в истории русского флота как талантливейшему военному организатору и администратору, превосходному мастеру морской стратегии и тактики,—как отважному воину, человеку огромного личного мужества.

В условиях царской России его блестящие способности не могли быть оценены и практически использованы в полной мере. Его энергия и темперамент нередко разбивались о косность высших правительственных кругов. Выдвинутый им проект повышения боеспособности Черноморского флота был принят в очень урезанном виде и не принес того эффекта, который мог бы принести. Когда, в начале войны 1853—1855 гг., Корниловым был разра-

ботан смелый план захвата Синопа и Сизополя, который,— будь он осуществлен,— мог бы сообщить иной, гораздо более благоприятный оборот всему ходу событий,— план был отвергнут командованием как слишком рискованный.

В дни осады Севастополя Корнилов возглавил работу по обороне города,— он руководил «оружиями укреплений, а затем непосредственными боевыми операциями. Эту свою деятельность Корнилов, впрочем, едва успел начать: при первом же артиллерийском обстреле Севастополя он был тяжело ранен осколком разорвавшегося ядра и вскоре умер, передав командование Нахимову.

В книжке сообщаются основные биографические данные о Корнилове, дается общая характеристика его заслуг в области военноморского строительства и его боевой практики. Рассчитана книжка на массового читателя, написана легко, доступно.

* * *

ГУДЗИИ Н. К. Лев Толстой, Изд. 2-е, доп. М. Гослитиздат. 1944. 120 стр. Цена 3 р.

Перед автором этой книги стояла трудная задача: на протяжении ста с небольшим страниц, обращаясь к самой широкой, не имеющей никакой специальной подготовки аудитории, дать развернутую характеристику Толстого как одного из величайших гениев русской и мировой культуры.

Задача эта разрешена самым успешным образом: автору удалось не только сообщить читателю какой-то необходимый минимум фактических сведений, не только обстоятельно обрисовать основные этапы идейной и художественной эволюции Толстого, но и в большой мере воссоздать его сложный и противоречивый облик как писателя и мыслителя. При этом точностью и содержательностью изложения автор ни разу не пожертвовал ради его увлекательности. Оставаясь все время в рамках популярного очерка, он удачно избегал каких бы то ни было элементов упрощенности и схематизма — с одной стороны, и беспредметной патетики, — с другой.

Книга с благодарностью будет принята и с пользой прочитана и педагогом-словесником, и школьником старших классов, и просто читателем, интересующимся культурным прошлым нашей страны.

* * *

БОГОСЛОВСКИЙ Николай. Чернышевский. Книга 1. Годы исканий. М. «Советский писатель». 1944. 172 стр. Цена 4 р. 50 к.

Первая книга начатой Н. Богословским популярно-биографической работы о Н. Г. Чернышевском в большей своей части посвящена студенческим годам великого писателя-революционера.

«Чернышевский,— говорил В. И. Ленин,— единственный действительно великий русский писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до 88-го года остаться на уровне цельного философского материализма». Эта цельность и твердость мировоззрения одного из крупнейших предшественников русской со-

циал-демократии, гиганта революционной мысли, человека непоколебимой, истинно-русской стойкости духа была результатом сложного и длительного процесса исканий, который и пытается раскрыть Н. Богословский в своей книге. Она дает читателю не столько историю жизни молодого Чернышевского (детству и отрочеству будущего писателя в книге уделено всего два десятка страниц), сколько историю формирования его духовной личности. Годы исканий — это история превращения робкого юноши, выросшего в патриархально-религиозной провинциальной семье, в убежденного «партизана социалистов и коммунистов», как называл себя двадцатилетний Чернышевский в дневнике 1848 года.

В годы, о которых рассказано в первой книге, мировоззрение Чернышевского, естественно, не приобрело еще отличающей его впоследствии философской цельности. Юноша еще не представлял себе, кем же он будет — философом или ученым, писателем или политиком? Но путеводная нить жизни была уже найдена, и он твердо знал, что никогда не отступится от нее. Клятвой звучат слова молодого Чернышевского, обращенные в письме к другу, — «содействовать славе не переходящей, а вечной отечества и благу человечества,— что может быть выше и вождеднее этого?»

* * *

НАГОРНЫЙ С. Георгий Яковлевич Седов. М. Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия». 1943. 80 стр. Цена 1 р. 25 к.

Книга С. Нагорного — краткий очерк жизни и деятельности замечательного русского исследователя Арктики — организатора и начальника первой русской экспедиции к Северному полюсу Г. Я. Седова.

Рассказывая о детстве Седова, о тяжелых испытаниях, выпавших на его долю в годы юности, бесчисленных препятствиях, стоявших на жизненном пути капитана «Фокя», автор рисует образ человека несгибаемой воли, «одаренного теми свойствами ума и сердца, которые отличают русского человека: пытливостью, размахом, отвагой, жизнерадостностью, готовностью умереть за отчизну».

Почти половина всей книги посвящена описанию знаменитой экспедиции на Северный полюс, закончившейся трагической гибелью Г. Я. Седова. Имя Седова замкнуло собою длинный список русских исследователей-одиночек. В центр Арктики проникла уже советская экспедиция. Прошла она, как указывает автор, по тому маршруту, который когда-то наметил Седов.

Книга выпущена в серии «Великие люди русского народа».

* * *

Проф. СТРУМИНСКИЙ В. Я. Константин Дмитриевич Ушинский. М. Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия». 1943. 69 стр. Цена 1 р.

Книга представляет собою сжатый, популярно написанный очерк жизни и научно-общественной деятельности Константина Дмитриевича Ушинского (1824—1870) — одного из самых

выдающихся представителей передовой русской педагогической мысли прошлого века, автора обширной монографии «Человек, как предмет воспитания», создателя знаменитого «Родного слова» — учебной книги для детей, из которой воспитывалось несколько поколений русских школьников.

Характеризуя педагогические воззрения и педагогическую практику Ушинского, автор отмечает их широко-демократическую основу. Важнейший принцип всей его деятельности в области народного образования — принцип народности. В его теоретических построениях этот принцип сочетается с материализмом в духе русских просветителей-шестидесятников, с

которыми Ушинский в идейном отношении ближайшим образом связан.

В 1941 г., выступая на совещании работников народного образования и выдвигая ряд практических соображений по постановке школьного дела в СССР, М. И. Калинин говорил: «Все это я вычитал у старых русских педагогов, большей частью у Ушинского... Это — настоящие педагогические идеи. Мало того: я считаю, что они только в нашем социалистическом обществе и могут быть полностью осуществимы».

Эта высокая оценка хорошо определяет значение творческого наследия Ушинского для нашей эпохи.

VII. ИСКУССТВО

ЩЕКОТОВ Н. М. Картины В. И. Сурикова. Очерки. М.—Л. «Искусство». 1944. 199 стр. Цена 10 р.

Н. М. Щекотов поставил перед собой задачу раскрыть в картинах В. И. Сурикова те особенности «в характере русского народа, которые были развиты и укреплены в многовековом историческом его развитии и которые воплощаются сейчас в доблестных деяниях наших людей на фронте и в тылу». «Каждая картина Сурикова,— говорит автор в своем вступлении,— это поэма, отражающая какое-либо из бурных событий русской истории, каждая живописует характер русского народа с особенной стороны, освещает его особенным светом».

В сборник включены очерки о наиболее известных и популярных картинах Сурикова: «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни», «Меньшиков в Березове», «Покорение Сибири», «Ермак», «Переход Суворова через Альпы» и «Степан Разин».

Автор подробно анализирует сюжет картины, отдельные образы и характеры, идею произведения, ее связь с вопросами общественно-политической жизни второй половины XIX века. Наиболее содержательны в этом плане очерки о картинах «Меньшиков в Березове», «Утро стрелецкой казни» и «Боярыня Морозова».

Напоминая читателю исторические факты, которые легли в основу сюжета этих картин (раскольничье движение, опала Меньшикова и его место в истории петровского времени, покорение Сибири и т. д.), автор дает творческую историю каждого полотна, привлекая разнообразные биографические материалы, освещающие происхождение и историю создания отдельных образов. В этом отношении особенно разработан очерк о картине «Степан Разин».

Книга читается с интересом и может быть полезна при ознакомлении с творчеством Сурикова, хотя и не излагает систематической истории творческого пути художника.

* * *

СИТНИК К. Меркулов Сергей Дмитриевич, народный художник СССР. М. «Искусство». 1944. 16 стр. Массовая библиотека. Цена 1 р.

Имя выдающегося мастера советской монументальной скульптуры С. Д. Меркулова свя-

зано с созданием величественных образов вождей Великой Октябрьской социалистической революции — Ленина и Сталина.

Монументы В. И. Ленина и И. В. Сталина на канале Москва — Волга, монумент И. В. Сталина на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве, статуя В. И. Ленина в зале заседаний Верховного Совета в Кремле знакомы если не в оригинале, то по многочисленным воспроизведениям, самым широким слоям советского народа.

Сообщая краткие биографические данные о С. Д. Меркулове, автор большую часть своего очерка посвящает его творческой характеристике, рассказывает о работе скульптора над эскизом грандиозной статуи В. И. Ленина, о создании им образа Верховного Главнокомандующего, Маршала Советского Союза, величайшего полководца современности, ведущего наш народ к окончательной победе над врагом,— образа товарища Сталина.

Наиболее характерные из работ С. Д. Меркулова воспроизведены в книжке.

* * *

ТИХОМИРОВ А. Н. Греков Митрофан Борисович. 1882—1934. М. «Искусство». 1944. 20 стр. Массовая библиотека. Цена 1 р.

Краткий очерк А. Н. Тихомирова посвящен одному из виднейших представителей советской батальной живописи, художнику-конноармейцу, как называли Грекова в легендарной Первой конной армии.

Сын донского казака, кровно связанный с природой Дона, «конник от рождения», Греков через всю свою жизнь и творчество пронес любовь к родному краю. Первым его учителем в области искусства был дед, вырезавший ему из дерева волы и коней. Одаренность юноши Грекова помогла ему получить специальное образование в одесской школе живописи, а затем и в Академии художеств под руководством Репина и выдающегося баталиста, автора знаменитой севастопольской панорамы, Ф. А. Рубо.

Расцвет творчества Грекова падает на советские годы. Одна из первых его картин революционных лет посвящена вступлению Красной Армии в Новочеркасск. С этого вре-

мени начинается плодотворная творческая связь художника с бойцами и командирами Первой конной армии.

Автор кратко характеризует крупнейшие живописные работы художника: «На Кубань», «На пути к Царицыну», «Бой под Большими Садами», «Жлобинцы под Новочеркасском», «Бой под Егорлыкской», «Товарищи Сталин, Ворошилов и Шаденко в окопах под Царицыном» и др., и рассказывает о начатой Грековым незадолго до смерти гигантской работе по созданию панорамы перекопских боев.

К очерку приложены воспроизведения наиболее значительных работ художника.

* * *

ДУРЫЛИН С. Екатерина Павловна Корчагина-Александровская. М.—Л. «Искусство», 1944. 50 стр. Массовая библиотека. Цена 2 р.

Книга С. Дурылина рассказывает о жизненном и творческом пути одного из крупнейших мастеров советской сцены, народной артистки СССР Корчагиной-Александровской. Автор кратко останавливается на детстве Екатерины Павловны, выросшей в семье провинциальных

актеров Корчагиных, выступавших под фамилией Ольгины. «Маленькая девочка, чуть ли не родившаяся за кулисами, могла бы повторить слова из старинного водевиля: «Театр — отец, театр — мне мать. Театр — мое предназначенье!» — пишет автор. В 1880 г. состоялся первый дебют шестилетней артистки. С этого дня, — в течение шестидесяти трех лет, — Корчагина-Александровская не покидает сцены.

Провинциальная сцена, Московский частный театр Е. Н. Горевой, снова провинция и затем Петербург: театр В. Ф. Комиссаржевской, «Петербургский театр» Красова, театр Литературно-художественного общества и, наконец, Александринский, в котором артистка играет и до сих пор, — таковы основные этапы творческого пути Корчагиной-Александровской.

С. Дурылин дает анализ наиболее характерных ролей, исполнявшихся Екатериной Павловной за всю ее долгую и плодотворную сценическую жизнь, подчеркивая, что любимейшим драматургом артистки был и остался Островский.

Заключительная глава книги посвящена общественной деятельности Е. П. Корчагиной-Александровской, краткому обзору ее работы как депутата Верховного Совета СССР и творчеству в годы великой отечественной войны.

VIII. КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ГАЙДАР Аркадий. Избранное. М.—Л. Детгиз. 1944. 220 стр. Цена 5 р. 50 к.

Вошедшие в эту книгу произведения Гайдара, как и все им написанное, проникнуты огромной любовью к детям и стремлением воспитать из них сильных и смелых граждан великой родины.

Каждое из произведений давно знакомо сотням тысяч юных, — да и не только юных, — читателей.

Наряду с широко известным рассказом «Голубая чашка», который можно назвать поэмой о дружбе, наряду с чудесным рассказом «Чук и Гек», одинаково интересным и дошкольнику и взрослому читателю, вслед за увлекательной повестью «Судьба барабанщика» в сборнике напечатана повесть «Тимур и его команда». Повесть эта давно вошла в нашу действительность десятками тысяч тимуровцев, которые продолжили в жизни дело юного литературного героя.

Пером Гайдара двигали те же благородные стремления писателя-гражданина, которые вдохновляли Николая Островского на его писательский труд и подвиг. Юный Тимур Гайдара так же воплотился в тимуровцах, как Корчагин — в корчагинцах.

Гайдару, как и Островскому, выпало великое счастье: он увидел воочию осуществление цели его писательской работы — воспитание мужественного, сильного и благородного поколения.

Аркадий Гайдар героически погиб на фронте борьбы с немецкими захватчиками. Его произведения, которыми зачитываются советские ребята, останутся памятником этой благородной жизни.

СОЛОВЬЕВ ЛЕОНИД. Возмутитель спокойствия. М. Детгиз. 1944. 164 стр. Цена 3 р. 50 к.

«Возмутитель спокойствия» впервые был опубликован в альманахе «Год XXII» (Гослитиздат. М. 1939) с подзаголовком «Ходжа Насреддин в Бухаре». Сюжетной основой для романа послужили анекдоты турецкого баснописца XIV—XV веков Ходжи Насреддина, давшего свое имя главному их персонажу.

В устной передаче анекдоты о Ходже Насреддине до сих пор живут в народных массах Турции и Ирана. Знают их и у нас в среднеазиатских республиках, на Кавказе, в Крыму и даже в Западной Европе (в Италии, например).

Вряд ли можно назвать «Возмутителя спокойствия» историческим романом. Бухара XVI века, куда перенес Соловьев Ходжу Насреддина и где разыгрываются его полусказочные приключения, воспроизведена автором лишь в самых общих чертах. Перед Л. Соловьевым совсем другая цель — раскрыть исторический смысл мечты народа, воплощенной в образе Ходжи Насреддина, который всегда берет верх над эмирами, султанами, визирями и муллами — если не благодаря своей силе, то благодаря «смелости, честному лукавству и благородной хитрости».

Непринужденно-весело и в то же время лирично рассказывает писатель о похождениях своего героя.

* * *

СЛАВИН Л. Александр Молодчий. М. Детгиз. 1944. 24 стр. Цена 80 к.

Внешне жизнь Александра Молодчего как будто мало отличается от биографий многих

известных летчиков. Детство—увлечение авиамоделизмом, планеризмом, юность—летная школа. И вот—война, упорная, неустанная боевая подготовка и, наконец, первый боевой вылет. Высокое летное мастерство, смелость, а главное—непреклонная воля к победе, принесла Александру Молодому высокое звание дважды Героя Советского Союза.

В книге Л. Славина за этими внешними, как будто «обычными» событиями вырастает живой обаятельный образ советского молодого человека, советского воина.

Александр Молодчий, «герой и постоянный кандидат в новые герои», в каждом пионере, в каждом школьнике вызовет желание быть на него похожим.

* * *

БЕК Александр Панфиловцы на первом рубеже. М.—Л. Детгиз. 1944. 103 стр. Цена 2 р. 35 к.

Имя панфиловцев тесно связано с великой битвой под Москвой. В октябрьские дни 1941 г. немцы, прорвав фронт под Вязьмой, ринулись к Волоколамскому шоссе, и здесь им преградили путь панфиловцы. Месяц спустя, враг снова попытался завладеть столицей, и в первом ряду войск, сдержавших напор немцев и отбросивших их, мы снова встречаем панфиловцев.

Панфиловская дивизия была тогда очень молода. Ей минуло только три месяца, когда она приняла первое боевое крещение.

Книга Александра Бека «Панфиловцы на первом рубеже» рассказывает историю одного батальона этой дивизии. За первые месяцы войны батальон прошел большой и трудный путь.

Перед читателем одна за другой проходят картины формирования воинской части: и первые уроки дисциплины, и тяжелый пятидесятикилометровый марш в знойный июльский полдень, и учебная тревога, и радость первой победы над врагом. Живо обрисованы образы командиров и красноармейцев. Мягко, с любовью и тактом показан генерал Панфилов.

Один из серьезных недочетов повести: рассказ в ней ведется от лица командира батальона казаха Мамыш-Улы, и порой кажется, что писатель заглушает голос своего героя.

Книга «Панфиловцы на первом рубеже» издана Детгизом. Впервые она была напечатана в журнале «Знамя». При переиздании автор внес в текст ряд исправлений.

* * *

РАДИЩЕВ. А. Путешествие из Петербурга в Москву. М.—Л. Детгиздат. 1944. 168 стр. Цена 2 р. 50 к.

Ленин отводил Радищеву почетное место в ряду тех деятелей русского прошлого, которыми по праву может гордиться русский народ.

Бесстрашный революционер, которого не сломили ни смертный приговор, ни годы ссылки; выдающийся политический мыслитель и публицист, неутомимый проповедник передовых воззрений своего времени; даровитый поэт, смелый литературный новатор—таков Радищев. В «Путешествии из Петербурга в Москву» его мысли и стремления получили, как известно, яркое воплощение.

Массовое издание этого подлинно классического произведения, рассчитанное, в первую

очередь, на школьников старших классов, должно быть признано вполне своевременным.

Кроме «Путешествия из Петербурга в Москву», в книгу включена ода «Вольность»—основное поэтическое произведение Радищева. В краткой вступительной статье Л. Тимофеева дается общая характеристика Радищева и раскрывается особое значение его наследия нашей эпохи. «В наши дни, когда мы боремся с врагом, замыслившим свергнуть в рабство все человечество, облик Радищева нам особенно близок и дорог»,—пишет автор. Книжка снабжена словарем исторических и мифологических имен и украшена несколькими рисунками художника В. Бехтеева.

* * *

ДАВЫДОВ Денис. Избранные стихотворения. М.—Л. Детгиздат. 1944. 47 стр. Цена 75 коп.

В наши дни Денис Давыдов и его творческое наследие привлекают, естественно, особое внимание. Человек, имя которого, как одного из героев Отечественной войны 1812 года пользовалось некогда мировой известностью зачинатель и организатор партизанского движения, незаурядный военный теоретик, поэт ярко выраженной патриотической темой,—всеми этими сторонами своей деятельности Денис Давыдов нам особенно близок и интересен. Настоящий сборник, при всей своей компактности, дает представление об его поэзии. Текстовый материал подобран удачно: здесь находим и его юношеские басни, свободомыслия которых столь повредило дальнейшей военной карьере Давыдова, и образцы его творчества: как поэта-эпика, и собственно гусарские вещи и, наконец, произведения его сатирической лирики,—такие, как знаменитая «Современная песня», дающая саркастическую характеристику внешнего покаянного вольнолюбия: занявшая видное место в позднейшей радикальной публицистике.

Пресловутое гусарство Дениса Давыдова представляло собою явление гораздо более сложное, чем может это показаться на первый взгляд. «В молодечестве и задорном своеобразии гусарской молодежи была не только бесшабашность прожигавших жизнь светских офицеров,—правильно отмечает автор вступительной статьи к настоящему изданию.—В это сказывалось своеобразное военное свободомыслие, выражалась ненависть к арапчищине и бюрократической системе, пропахшей мертвящим духом пруссачества».

Предпосланная стихотворным текстам вступительная статья грешит некоторым схематизмом, а подстрочные объяснения некоторых слов и исторических имен часто чересчур упрощены и поверхностны.

* * *

КОРОЛЕНКО В. Г. Рассказы. М.—Л. Детгиздат. 1944. 112 стр. Цена 2 р. 50 к.

«Детство, юность—это великие источники идеализма!»—писал Короленко, разумея под «идеализмом» веру человека в силу добра. Тактичных строках одного из вшедших в эту книгу рассказов Короленко говорит «первых планах крылатой и честной юности».

Сам Короленко в огромной мере обладал неиссякаемой верой в человека. Но не только эта особенность делает его близким юному

пателю. Ясность и простота психологического рисунка, исключительное целомудрие жетов, пристально-любовное внимание к человеку, направленное прежде всего в сторону радующих и ищущих выхода к свету и агостью народных масс,— все это не может находить отклика в душе молодежи.

Постоянная дума о судьбе русского народа твердая, обоснованная вера в его могучие, агодатные внутренние силы составляют основу каждого произведения Короленко.

Глубокое чувство природы, общая атмосфера тончайшей поэзии, свежесть и какая-то кобенная мягкость юмора наряду с лиризмом, наконец красота его чистого мелодического языка— все это делает произведения Короленко особенно привлекательными для юношей и подростков и хорошо воспитывает их.

В настоящую книгу вошло пять произведений Короленко, обладающих всеми перечисленными достоинствами и достаточно разнообразно представляющими его творчество. Это — рассказ «Сон Макара», положивший начало литературной известности автора, не менее популярный рассказ «В дурном обществе», очерки «Приемыш» и «На Сеже», представляющие собою третий и четвертый очерки изленительного описания поездки по Ветлуге и Черженцу, «В пустынных местах» и, наконец, в своем роде баллада в прозе «Мгновенье», развивающая мысль, что мгновенье жизни на вободе дороже долгих лет прозябания в неволе.

Учитывая возраст читателя, которому адресован сборник, в рассказе «Приемыш» издательством сделана небольшая купюра, а к авторским сноскам к тексту рассказов добавлен

ряд новых, поясняющих отдельные слова и некоторые собственные имена.

* * *

ЕРШОВ П. Конек-горбунок. М.—Л. Детгиздат. 1944. 112 стр. Цена 1 р. 50 к.

Литературная судьба Ершова исключительно своеобразна. Сам он как писатель оказался забытым потомками. Сочинения его ни разу не были собраны, биография и творчество его почти не изучались.

Его «Конек-горбунок» при первом появлении в свет был холодно встречен в литературных кругах,— только один Пушкин отнесся к нему сочувственно и благожелательно. Зато необычайный успех имела его сказка среди массового читателя.

На протяжении ста лет свыше тридцати раз переиздавался ее подлинный текст, а количество всевозможных подражаний, переделок, пересказов не поддается учету. Объясняется это исключительной близостью «Конька-горбунка» народному творчеству. Не являясь переложением каких-либо определенных фольклорных образцов, сказка Ершова превосходно воссоздает общий тон народной поэзии; она проникнута бодростью и жизнерадостностью; меткость языка, характерность образов также отличают ее. Благодаря этим качествам «Конек-горбунок» сохраняет свое значение и для наших дней. Настоящее массовое издание предназначено юному читателю. Но как произведение народное в истинном значении этого слова «Конек-горбунок» может рассчитывать на внимание самых широких и разнообразных читательских кругов.

Содержание

	Стр.
ПАВЕЛ ШУБИН — Благодарность вождя, карелия, На Вермане, У самого моря, Верность. Полмига, стихи	1
ЛЕОНИД СОБОЛЕВ — Дорогами побед. (Одесса, Крым, Севастополь), очерки	4
В. ИЛЬЕНКОВ — Площадь цветов, драма	32
ПЕТР КОМАРОВ — На краю России, Хинганский родник, Топтугары, стихи	55
А. ШТЕПЕНКО — Особое задание, записки штурмана	57
СИМОН ЧИКОВАНИ — Песнь о Давиде Гурамишвили, главы из поэмы	89
ВЯЧ. ШИШКОВ — Емельян Пугачев, историческое повествование (продолжение)	94
АЛЕКСАНДР ЯШИН — Севастополь, Поле боя, Очень много солнечного света, стихи :	144

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

М. РОЗЕНТАЛЬ — О героизме и поэзии труда	146
В. ПЕРЦОВ — Писатель и его герой в дни войны	152
В. БРОУН — Образ хирурга	169
ЕВГ. ЛУНДБЕРГ — Переключка в веках	173
Н. КРЫМОВА — «66 писем из Осло»	177
Книжные новинки	179

Редакция: В. П. ИЛЬЕНКОВ, П. А. ПАВЛЕНКО, Ф. И. ПАНФЕРОВ,
 И. В. ШАМОРИКОВ, С. П. ШИПАЧЕВ.
 М. М. ЮНОВИЧ (отв. секретарь).

Адрес редакции: Москва, Б. Черкасский пер., 2/10, телефон К 3-44-22.

19-й год издания.	Тираж 25 000 экз.	Подписано к печати 15 июля 1944 г.
А 7893. Печ. листов 12.	Уч.-авт. л. 24,16.	В печ. л. 80 540 экз. Цена 10 руб.

Типография газеты «Правда» имени Сталина, Москва, ул. «Правды», 24.